Отсрочка

Дороги свободы

Жан-Поль Сартр

Annotation

Вторая часть тетралогии «Дороги свободы» «Отсрочка» повествует о начале войны в Европе. Чехословакия предана. Война неминуема. Герои Сартра оказываются перед лицом смерти. Жизнь как бы сравнялась со смертью по своей «неестественности». И на глазах читателя совершается стремительная метаморфоза: от неприятия смерти герои приходят к неприятию жизни.

- II. Отсрочка
  - Жан Поль Сартр
  - ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
  - СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
  - ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ
  - ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
  - ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
  - СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
  - НОЧЬ С 29 НА 3 °СЕНТЯБРЯ
  - ПЯТНИЦА, 3 °СЕНТЯБРЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52

- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Все книги автора

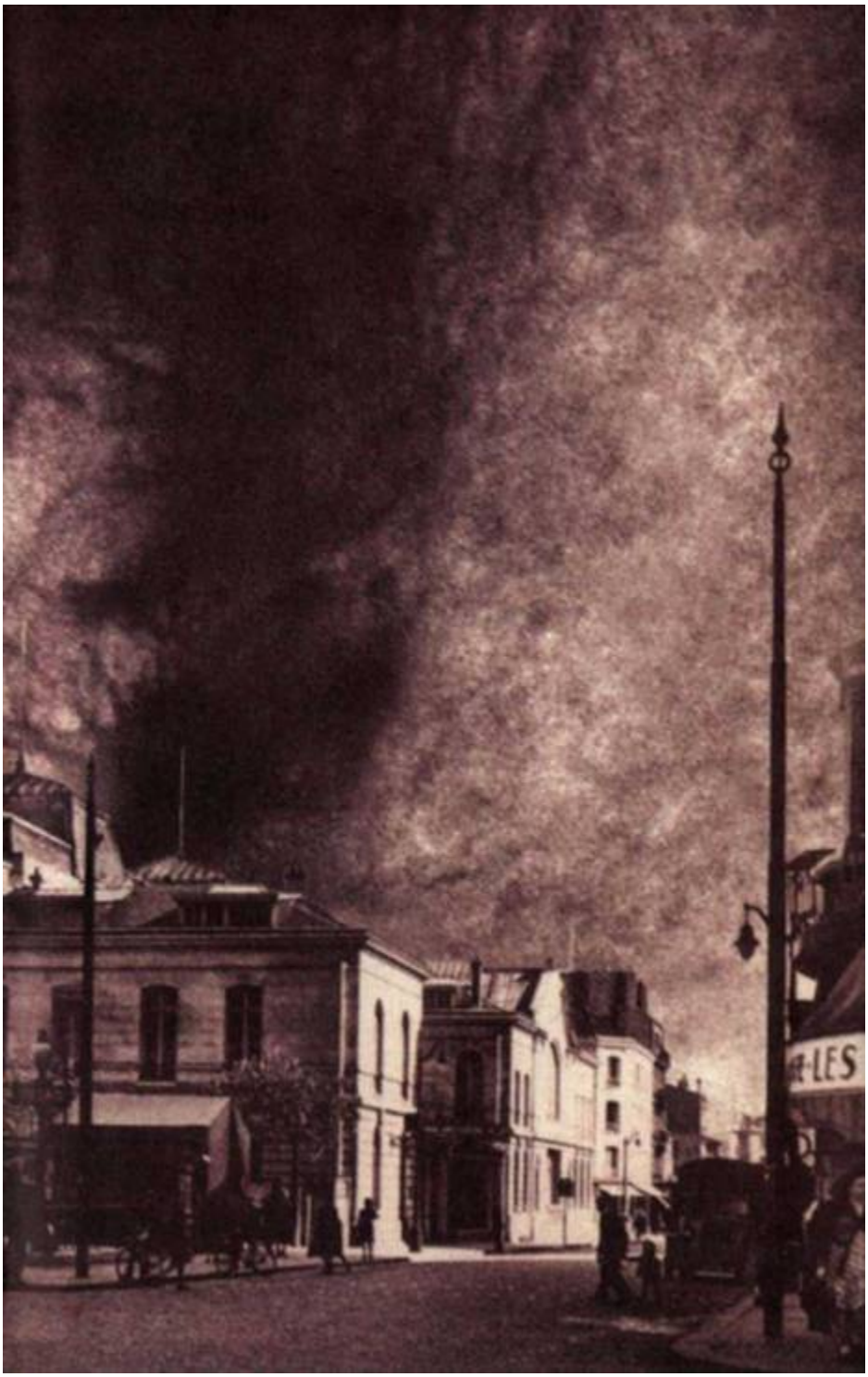
Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

II. Отсрочка

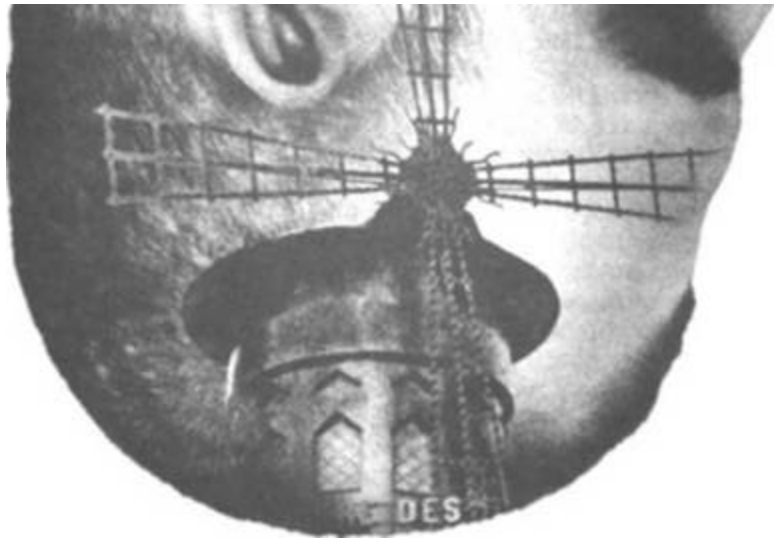
Жан Поль Сартр

(Дороги свободы — 2)


LES

Les Chemins de la liberté

Jean-Paul Sartre


DES

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

Шестнадцать тридцать в Берлине, пятнадцать тридцать в Лондоне. Отель скучал на своем холме, пустынный и торжественный, со стариком внутри. В Ангулеме, Марселе, Генте, Дувре думали: «Чем он там занят? Ведь уже четвертый час, почему он не выходит?» Старик сидел в гостиной с полузакрытыми жалюзи, взгляд его под густыми бровями был неподвижен, рот полуоткрыт, как будто он вспоминал о чем-то стародавнем. Старик больше не читал, его дряхлая пятнистая рука, еще держащая листки, повисла вдоль колен. Он повернулся к Горацию Вильсону и спросил: «Который час?», и тот сказал: «Приблизительно половина пятого». Старик поднял большие глаза, добродушно засмеялся и сказал: «Жарко». Рыжая, потрескивающая, усыпанная блестками жара спустилась на Европу; жара была у людей на руках, в глубине глаз, в легких; измученные пеклом, пылью, тревогой, все ждали. В холле отеля ждали журналисты. Во дворе ждали три шофера, неподвижно сидя за рулем своих машин; по другую сторону Рейна неподвижно ждали в холле отеля «Дрезен»[1] долговязые пруссаки, одетые во все черное. Милан Глинка больше ничего не ждал. Не ждал с позавчерашнего дня. Позади был этот тяжелый черный день, пронзенный молниеносной догадкой: «Они нас бросили!» Потом время снова начало течь как попало, нынешних дней как бы не было. Они стали только завтрашним днем, остались только завтрашние дни.

В пятнадцать тридцать Матье еще ждал на кромке устрашающего будущего; одновременно с ним, начиная с шестнадцати тридцати, Милан лишился будущего. Старик встал и благородным подпрыгивающим шагом с негнущимися коленями пересек комнату. Он сказал «Господа!» и приветливо улыбнулся, потом положил документ на стол и пригладил листки кулаком; Милан стоял у стола; развернутая газета покрывала всю ширину клеенки; он прочел в седьмой раз:

«Президенту республики и правительству[2] ничего не оставалось, как принять предложения двух великих держав по поводу будущего положения. Мы вынуждены были смириться, ибо остались в

одиночестве». Невилл Гендерсон и Гораций Вильсон подошли к столу, старик повернулся к ним, у него был беззащитный и обреченный вид, он сказал: «Больше ничего не осталось». Смутный шум проникал через окно, и Милан подумал: «Мы остались одни».

Тонкий мышиный голосок пискнул на улице: «Да здравствует фюрер!»

Милан подбежал к окну: «Ну-ка подожди! — закричал он. — Подожди, пока я выйду!»

За окном кто-то улепетывал, шлепая галошами; в конце улицы мальчишка обернулся, порылся в переднике и поднял руку, размахиваясь. Потом послышались два резких удара в стену.

— Маленький бродячий Либкнехт, — усмехнувшись, сказал Милан.

Он высунулся в окно: улица была пустынной, как по воскресеньям. Шёнхофы на своем балконе вывесили красно-белые флаги со свастикой. Все ставни зеленого дома были закрыты. Милан подумал: «А у нас нет ставен».

— Нужно открыть все окна, — сказал он.

— Зачем? — спросила Анна.

— Когда окна закрыты, то бьют стекла. Анна пожала плечами:

— Как бы то ни было… — начала она.

Их пение и вопли доносились невнятными волнами.

— Эти всегда тут как тут, — сказал Милан.

Он положил руки на подоконник и подумал: «Все кончено». На углу улицы появился тучный мужчина. Он нес рюкзак, тяжело опираясь на палку. У него был усталый вид, за ним шли две женщины, сгибаясь под огромными тюками.

— Егершмитты возвращаются, — не оборачиваясь, сказал Милан.

Они бежали в понедельник вечером и, видимо, пересекли границу в ночь со вторника на среду. Теперь они возвращались с высоко поднятой головой. Егершмитт подошел к зеленому дому и поднялся по ступенькам крыльца. На сером от пыли лице играла странная улыбка. Он стал рыться в карманах куртки и извлек ключ. Женщины поставили тюки на землю и следили за его движениями.

— Возвращаешься, как только опасность миновала! — крикнул ему Милан.

Анна живо остановила его:

— Милан!

Егершмитт поднял голову. Он увидел Милана, и глаза его сверкнули.

— Возвращаешься, как только опасность миновала?

— Да, возвращаюсь! — крикнул Егершмитт. — А вот ты теперь уйдешь!

Он повернул ключ в замке и толкнул дверь; женщины пошли за ним. Милан обернулся.

— Подлые трусы! — буркнул он.

— Не надо их провоцировать, — сказала Анна.

— Это трусы, — повторил Милан. — Подлое немецкое отродье. Еще два года назад они нам сапоги лизали.

— Неважно. Не стоит их провоцировать.

Старик кончил говорить; его рот оставался полуоткрытым, как будто он молча продолжал излагать свои суждения по поводу сложившейся ситуации. Его большие круглые глаза наполнились слезами, он поднял брови и вопросительно посмотрел на Горация и Невилла. Те молчали. Гораций резко отвернулся; Невилл подошел к столу, взял документ, некоторое время рассматривал его, а затем недовольно оттолкнул. У старика был сконфуженный вид; в знак бессилия и чистосердечности он развел руками и в пятый раз сказал: «Я оказался в совершенно неожиданной ситуации; я надеялся, что мы спокойно обсудим имевшиеся у меня предложения». Гораций подумал: «Хитрая лиса! Откуда у него этот тон доброго дедушки?» Он сказал: «Хорошо, ваше превосходительство, через десять минут мы будем в отеле "Дрезен"».

— Приехала Лерхен, — сказала Анна. — Ее муж в Праге; она беспокоится.

— Пусть она придет.

— Ты считаешь, что ей будет спокойнее с таким сумасшедшим, оскорбляющим людей из окна, как ты… — усмехнулась Анна.

Он посмотрел на ее тонкое спокойное осунувшееся лицо, на ее узкие плечи и огромный живот.

— Сядь, — сказал он. — Не люблю, когда ты стоишь. Она села, сложив на животе руки; человечек потрясал газетами, бормоча: «Последний выпуск «Пари-Суар». Покупайте, осталось два экземпляра!» Он так кричал, что осип. Морис купил газету. Он

прочел: «Премьер-министр Чемберлен направил рейхсканцлеру Гитлеру письмо, на которое, как предполагают в британских кругах, последний должен ответить. Вследствие этого встреча с господином Гитлером, назначенная на сегодняшнее утро, перенесена на более позднее время».

Зезетта смотрела в газету через плечо Мориса. Она спросила:

— Есть новости?

— Нет. Все одно и то же.

Он перевернул страницу, и они увидели темную фотографию, изображавшую что-то вроде замка: средневековая штуковина на вершине холма, с башнями, колоколами и множеством окон.

— Это Годесберг, — сказал Морис.

— Это там находится Чемберлен? — спросила Зезетта.

— Кажется, туда послали полицейское подкрепление.

— Да, — сказал Милан. — Двух полицейских. Итого шесть. Они забаррикадировались в участке.

В комнате опрокинулась целая тележка криков. Анна вздрогнула; но лицо ее оставалось спокойным.

— А если позвонить? — предложила она.

— Позвонить?

— Да. В Присекнице.

Милан, не отвечая, показал ей на газету: «Согласно телеграмме Германского информационного агентства, датированной четвергом, немецкое население Су-детской области занято наведением порядка, включая вопросы, связанные с употреблением немецкого и чешского языков».

— Может, это неправда, — сказала Анна. — Мне сказали, что такое происходит только в Эгере.

Милан стукнул кулаком по столу:

— Сто чертей! И еще просить о помощи!

Он протянул руки, огромные и узловатые, в коричневых пятнах и шрамах — вплоть до того несчастного случая он был лесорубом. Милан смотрел на руки, растопырив пальцы. Он сказал:

— Они могут заявиться. По двое, по трое. Ну, ничего, посмеемся минут пять, и все.

— Они будут появляться человек по шестьсот, — сказала Анна.

Милан опустил голову, он почувствовал себя одиноким.

— Послушай! — сказала Анна.

Милан прислушался: теперь шум доносился более отчетливо, должно быть, они двинулись в путь. Он в бешенстве задрожал; перед глазами все плыло, голова болела. Тяжело дыша, он подошел к комоду.

— Что ты делаешь? — спросила Анна.

Милан склонился над ящиком, прерывисто дыша. Склонившись еще ниже, он, не отвечая, выругался.

— Не надо, — сказала она. — Что?

— Не надо. Дай его мне.

Он обернулся: Анна встала, она опиралась на стул, у нее был вид праведницы. Милан подумал о ее животе; он протянул ей револьвер.

— Хорошо, — сказал он. — Я позвоню в Присекнице. Он спустился на первый этаж в школьный зал, открыл окна, потом снял трубку.

— Соедините с префектурой в Присекнице. Алло?

Его правое ухо слышало сухое прерывистое потрескивание. А левое — их. Одетта смущенно засмеялась. «Никогда точно не знала, где эта самая Чехословакия», — сказала она, погружая пальцы в песок. Через некоторое время раздался щелчок:

— Да? — произнес голос.

Милан подумал: «Я прошу помощи!» Он изо всех сил стиснул трубку.

— Говорит Правниц, — сказал он, — я учитель. Нас двадцать чехов и еще три немецких демократа, они прячутся в погребе, остальные в Генлейне; их окружили пятьдесят членов Свободного корпуса, которые вчера вечером перешли границу, они согнали их на площадь. Мэр с ними.

Наступило молчание, потом голос нагло произнес:

— Bitte! Deutsch sprechen[3].

— Schweinkop![4] — крикнул Милан.

Милан повесил трубку и, хромая, поднялся по лестнице. У него болела нога. Он вошел в комнату и сел.

— Они уже там, — сказал он.

Анна подошла к нему и положила руки ему на плечи:

— Любовь моя.

— Мерзавцы! — прорычал Милан. — Они все понимали, они смеялись на том конце провода.

Он привлек ее, поставив меж колен. Ее огромный живот касался его живота.

— Теперь мы совсем одни, — сказал он.

— Не могу в это поверить.

Он медленно поднял голову и посмотрел на нее снизу вверх: она была серьезная и прилежная в деле, но у нее, как и у всех женщин, было все то же в крови: ей всегда нужно было кому-то доверять.

— Вот они! — сказала Анна.

Голоса слышались совсем близко: должно быть, они уже были на главной улице. Издалека радостные клики толпы походили на крики ужаса.

— Дверь забаррикадирована?

— Да, — сказал Милан. — Но они могут влезть в окна или обойти дом через сад.

— Если они поднимутся сюда… — сказала Анна.

— Тебе не нужно бояться. Они могут все разметать, я не пошевелю и пальцем.

Вдруг он почувствовал теплые губы Анны на своей щеке.

— Любовь моя, я знаю, что ты это сделаешь ради меня.

— Не ради тебя. Ты — это я. Это ради малыша. Они вздрогнули: в дверь позвонили.

— Не подходи к окну! — крикнула Анна.

Он встал и направился к окну. Егершмитты открыли все ставни; над их дверью висел нацистский флаг. Нагнувшись, он увидел крошечную тень.

— Спускаюсь! — крикнул он. Он пересек комнату.

— Это Марика, — сказал он.

Он спустился по лестнице и пошел открывать. Грохот петард, крики, музыка над крышами: праздничный день. Он посмотрел на пустынную улицу, и сердце его сжалось.

— Зачем ты пришла сюда? — спросил он. — Уроков не будет.

— Меня послала мама, — сказала Марика. Она держала корзиночку, в ней были яблоки и бутерброды с маргарином.

— Твоя мать с ума сошла. Сейчас же возвращайся домой.

— Она просит, чтобы вы меня не отсылали.

Марика протянула вчетверо сложенный листок. Он развернул его и прочел: «Отец и Георг совсем потеряли голову. Прошу вас оставить

Марику до вечера у себя».

— Где твой отец? — спросил Милан.

— Они с Георгом стали за дверью. У них топоры и ружья. — Она серьезно добавила. — Мама провела меня через двор, она говорит, что с вами мне будет лучше, потому что вы человек благоразумный.

— Да, — сказал Милан. — Это верно. Я человек благоразумный. Заходи.

Семнадцать тридцать в Берлине, шестнадцать тридцать в Париже. Легкая растерянность на севере Шотландии. Господин фон Дернберг появился на лестнице «Гранд-Отеля», журналисты окружили его, Пьерриль спросил: «Он выйдет?» Господин фон Дернберг держал в правой руке бумагу, он поднял левую руку и сказал: «Еще не решено, встретится ли сегодня вечером господин Чемберлен с фюрером».

— Это здесь, — проговорила Зезетта. — Здесь я продавала цветы с маленькой зеленой тележки.

— Я знаю, ты старалась, — сказал Морис.

Он послушно смотрел на тротуар и мостовую, они ведь для этого сюда и пришли. Но все это ни о чем ему не говорило. Зезетта выпустила его руку и тихо смеялась, глядя на пробегающие машины. Морис спросил:

— Ты сидела на стуле?

— Иногда. На складном, — ответила Зезетта.

— Наверно, нелегко было.

— Весной тут славно, — сказала Зезетта.

Она говорила с ним вполголоса, не оборачиваясь, как говорят в комнате больного; уже некоторое время она манерно двигала плечами и спиной, выглядела она ненатурально. Морис томился скукой; у витрины было по меньшей мере двадцать человек, он подошел и стал смотреть поверх их голов. Возбужденная Зезетта осталась на краю тротуара; вскоре она присоединилась к нему и взяла за руку… На граненой стеклянной пластинке было два куска красной кожи с красным украшением вокруг, похожим на пуховку для пудры. Морис засмеялся.

— Ты веселишься? — прошептала Зезетта.

— Туфли смешные, — сказал Морис.

На него стали оборачиваться. Зезетта шикнула на Мориса и увела его.

— А что такого? — удивился Морис. — Мы же не на мессе.

Но все же он понизил голос: люди, крадучись, шли гуськом, казалось, они друг с другом знакомы, но никто не разговаривал.

— Я уже лет пять сюда не приходил — прошептал он. Зезетта с гордостью показала на ресторан «Максим».

— Это «Максим», — прошептала она ему на ухо. Морис посмотрел на ресторан и быстро отвернулся: ему о нем рассказывали, это была мерзость, в 1914 году здесь буржуа пили шампанское, в то время как рабочие погибали. Он процедил сквозь зубы:

— Подонки!

Но он чувствовал себя смущенным, сам не зная почему. Он неторопливо шагал, чуть раскачиваясь; люди казались ему хрупкими, и он опасался их толкнуть.

— Возможно, — сказала Зезетта, — но все равно красивая улица, правда?

— Я от нее не в восторге, — буркнул Морис. — Ничего особенного.

Зезетта пожала плечами, и Морис стал думать о бульваре Сент-Уан. Когда он утром уходил из гостиницы, его обгоняли, посвистывая, какие-то люди с рюкзаками за спиной, склонившись над рулем велосипедов. Они чувствовали себя счастливыми: одни остановились в Сен-Дени, другие продолжали свой путь, все шли в одном направлении — рабочий класс действовал. Морис сказал Зезетте:

— Здесь мы в краю буржуа.

Они сделали несколько шагов среди запаха ароматизированного табака, потом Морис остановился и перед кем-то извинился.

— Что ты сказал? — спросила Зезетта.

— Ничего, — смущенно ответил Морис.

Он толкнул еще кого-то; все остальные преспокойно шли, опустив глаза, все равно им удавалось в последний момент разминуться, вероятно, в силу привычки.

— Ты идешь?

Но ему больше не хотелось продолжать путь, он боялся что-нибудь разбить, и потом, эта улица никуда не вела, она не имела направления, одни прохожие шли к Бульварам, другие спускались к Сене, третьи уткнулись носом в витрины, это были отдельные водовороты, а не совместное движение, здесь как нигде чувствуешь

себя одиноким. Морис протянул руку и положил ее на плечо Зезетты, стиснув сквозь ткань упругую плоть. Зезетта ему улыбнулась, она была довольна, со светским видом она жадно поглядывала окрест, мило вертела маленькими ягодицами. Он пощекотал ей шею, она захихикала.

— Морис, — сказала она, — хватит!

Он любил яркие краски, которые она накладывала себе на лицо: белую, похожую на сахар, и красивые красные румяна. Вблизи от нее пахло вафлями. Он тихо спросил у нее:

— Тебе нравится?

— Я узнаю тут все, — сказала Зезетта, блестя глазами. Он отпустил ее плечо, и они снова пошли молча: она знала этих буржуа, они покупали у нее цветы, она им улыбалась, были и такие, кто пытался ее пощупать. Морис посмотрел на ее белую шею, и ему стало не по себе: хотелось смеяться и злиться одновременно.

— «Пари-Суар»! — выкрикнул голос.

— Купим? — спросила Зезетта.

— Это тот же номер.

Люди окружили продавца и молча расхватывали газеты. Из толпы вышла женщина на высоких каблуках и в громоздкой умопомрачительной шляпке. Она развернула газету и на ходу стала читать. Лицо ее сразу осунулось, она издала глубокий вздох.

— Посмотри на нее, — сказал Морис. Зезетта взглянула и сказала:

— Наверное, ее муж уходит.

Морис пожал плечами: казалось нелепым, что можно быть действительно несчастной в такой шляпке и в таких туфлях — как у проститутки.

— Ну и что? — сказал он. — Видать, ее муж офицер.

— Даже если и офицер, — сказала Зезетта, — его могут там прикончить, как и наших товарищей.

Морис покосился на нее:

— Сдохнуть можно с твоими офицерами. Посмотрела бы ты на них в четырнадцатом году, кого из них там прикончили?

— Может, и нет, — сказала Зезетта. — Но я думала, и среди них было много убитых.

— Убивали крестьян и таких, как мы, — ответил Морис. Зезетта прижалась к нему:

— Морис, ты действительно думаешь, что будет война?

— Откуда мне знать? — сказал Морис.

Еще утром он был в этом уверен, и его товарищи были уверены в том же. Они бродили по берегу Сены, смотрели на вереницу подъемных кранов и землечерпалку, там были парни без пиджаков, крепыши из Женневилье, рывшие траншею для электрокабеля, и было очевидно, что скоро разразится война. В конечном счете, для этих парней из Женневилье мало что изменится: они будут рыть траншеи где-нибудь на севере, под палящей жарой, под свист пуль, снарядов, фанат, как и сегодня им грозят обвалы, падения и все прочее, сопутствующее их работе, они будут ждать конца войны, как ждали конца своей нищеты. Сандр тогда сказал: «Мы пойдем на войну, ребята. Но когда вернемся, оставим винтовки у себя».

Теперь он был больше не уверен ни в чем: в Сент-Уане война была безотлучно, но не здесь. Здесь был мир: витрины, предметы роскоши, яркие ткани, зеркала, чтобы смотреться в них, разнообразный комфорт. У людей был грустный вид, но это у них с рождения. За что они будут сражаться? Они ничего не ждут, у них все есть. В этом было что-то зловещее — ни на что не надеяться, а только ждать, чтобы жизнь бесконечно текла, как это было с самого начала.

— Буржуазия не хочет войны, — вдруг сказал Морис. — Она боится победы, потому что это будет победа пролетариата.

Старик встал и проводил Невилла Гендерсона и Горация Вильсона до дверей. Он растроганно посмотрел на них, в эту минуту он был похож на тех стариков с изнуренными лицами, которые окружали продавца газет на улице Руаяль и газетные киоски на улице Пелл-Мелл и ничего больше не желали кроме как конца своей жизни. Думая об этих стариках, о детях этих стариков, он сказал:

— Помимо всего прочего, вы спросите у господина фон Риббентропа, считает ли рейхсканцлер Гитлер нужным, чтобы у нас состоялась завершающая беседа перед моим отъездом, и обратите его внимание на то, что наше принципиальное согласие предусматривает для господина Гитлера необходимость ставить нас в известность о своих предложениях. Особо подчеркните мою решимость сделать все, что в человеческих силах, чтобы урегулировать спор путем

переговоров, ибо мне кажется недопустимым, чтобы народы Европы, не желающие войны, были втянуты в кровавый конфликт из-за вопроса, по которому согласие в основном достигнуто. Удачи.

Гораций и Невилл поклонились, они спустились по лестнице, и церемонный, боязливый, надтреснутый интеллигентный голос еще звучал у них в ушах, Морис смотрел на нежную, дряхлую, цивилизованную плоть стариков и женщин и с отвращением думал, что нужно будет пустить им кровь.

Нужно будет пустить им кровь, это будет более отвратительно, чем раздавить улитку, но это необходимо. Пулеметы обстреляют продольным огнем улицу Руаяль, затем на несколько дней она останется в запустении: разбитые окна, звездчатые отверстия в стеклах, опрокинутые столики на террасах кафе среди осколков стекла; самолеты будут кружить в небе над трупами. Потом уберут мертвых, поставят на место столики, вставят стекла, и возобновится жизнь, крепкие люди с мощными красными затылками в кожаных тужурках и фуражках вновь заполнят улицу. Во всяком случае, так было в России, Морис видел фотографии Невского проспекта; пролетарии завладели этим роскошным проспектом; они прогуливались по нему, и их больше не ошеломляли дворцы и большие каменные мосты.

— Простите, — смущенно извинился Морис.

Он сильно толкнул локтем с спину старую даму, которая возмущенно посмотрела на него. Он почувствовал себя усталым и обескураженным: под большими рекламными стендами, под золотыми почерневшими буквами, прикрепленными к балкону, среди кондитерских и обувных магазинов, перед колоннами церкви Св. Магдалины можно было представить только такую толпу со множеством семенящих старых дам и детей в матросских костюмчиках. Грустный золотистый свет, запах бензина, громоздкие здания, медовые голоса, тревожные и сонные лица, безнадежное шуршание подошв по асфальту — все шло вперемёт, все было реальным, а Революция была всего лишь мечтой. «Я не должен был сюда приходить, — подумал Морис, зло посмотрев на Зезетту. — Место пролетария не здесь».

Чья-то рука коснулась его плеча; он покраснел от удовольствия, узнав Брюне.

— Здорово, паренек, — улыбаясь, сказал Брюне.

— Привет, товарищ, — откликнулся Морис. Рукопожатие мозолистой руки Брюне было крепким, и Морис ответил ему таким же. Он посмотрел на Брюне и радостно засмеялся. Он чувствовал себя пробудившимся от спячки, он ощутил всюду вокруг себя товарищей: в Сент-Уане, в Иври, в Монтрейе, даже в Париже — в Белльвиле, в Монруже, в Ла-Вилетте; они прижимались друг к другу локтями и готовились к тяжелым испытаниям.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Брюне. — Ты безработный?

— Просто у меня оплаченный отпуск, — объяснил, немного смутившись, Морис. — Зезетта захотела сюда прийти, она здесь когда-то работала.

— А вот и Зезетта, — сказал Брюне. — Привет, товарищ Зезетта.

— Это Брюне, — сказал Морис. — Ты сегодня утром читала его статью в «Юманите».

Зезетта открыто посмотрела на Брюне и протянула ему руку. Она не боялась мужчин, будь то буржуа или ответственные товарищи из партии.

— Я его знал, когда он был вот такой, — сказал Брюне, показывая на Мориса, — он был в «Красных соколах», в хоровом кружке, я в жизни не слышал, чтобы кто-нибудь так же фальшиво пел. В конце концов договорились, что во время демонстраций он будет только рот открывать.

Они засмеялись.

— Так что? — спросила Зезетта. — Будет война? Вы-то должны знать, вы занимаете такое высокое положение.

Это был по-женски глупый вопрос, но Морис был ей благодарен за то, что она его задала. Брюне посерьезнел.

— Не знаю, будет ли война, — сказал он. — Но ее не нужно бояться: рабочий класс должен знать, что ее не избежать, идя на уступки.

Он говорил хорошо. Зезетта подняла на него полные доверия глаза, она нежно улыбалась, слушая его. Морис разозлился: Брюне изъяснялся газетным языком[5], и он не говорил больше того, о чем пишут в газетах.

— Вы считаете, что Гитлер сдрейфит, если ему дадут острастку? — спросила Зезетта.

Брюне стал официальным, казалось, он не понимал, что у него спрашивают его личное мнение.

— Вполне возможно, — сказал он. — Но что бы ни произошло, СССР с нами.

«Конечно, — подумал Морис, — партийные шишки не станут снисходить до того, чтобы сообщить свое мнение какому-то механику из Сент-Уана». И все-таки он был разочарован. Он посмотрел на Брюне, и радость его совсем угасла: у Брюне были сильные крестьянские руки, тяжелая челюсть, глаза умного, уверенного человека; но у него был белый воротничок и галстук, фланелевый костюм, и он не так уж выделялся среди буржуа.

Темная витрина отражала их силуэты: Морис увидел женщину без шляпки и высокого детину в куртке и в заломленной фуражке, ведущего беседу с респектабельным господином. Однако он продолжал стоять, засунув руки в карманы, и не решался покинуть Брюне.

— Ты по-прежнему в Сен-Манде? — спросил Брюне.

— Нет, — ответил Морис, — в Сент-Уане. Работаю у Флева.

— Да? Я думал, что ты в Сен-Манде! Слесарем?

— Механиком.

— Хорошо, — сказал Брюне. — Хорошо, хорошо, хорошо. Что ж!.. Привет, товарищ.

— Привет товарищ, — отозвался Морис, он чувствовал себя неловко и был несколько разочарован.

— Привет, товарищ, — широко улыбаясь, сказала Зезетта.

Брюне смотрел, как они уходили. Толпа поглотила их, но огромные плечи Мориса высились над шляпами. Видимо, он держал Зезетту за талию: его фуражка касалась ее прически, и они раскачивались — голова к голове — среди прохожих. «Славный паренек, — подумал Брюне. — Но мне не нравится его шлюха». Он продолжал свой путь, он был серьезен, но его слегка мучили угрызения совести. «Что я мог ей ответить?» — подумал он. В Сен-Дени, в Сент-Уане, в Сошо, в Крезо ждали сотни тысяч людей с таким же тревожным и доверчивым взглядом. Сотни тысяч лиц, похожих на это, добрые, округлые и грубоватые лица, неловко скроенные, лица грубой заточки, настоящие мужские лица, обращенные на восток, к Годесбергу, к Праге, к Москве. И что можно им ответить? Защитить

их: сейчас это все, что можно для них сделать. Защитить их вязкую и медлительную мысль от негодяев, которые пытаются сбить ее с пути. Сегодня мамаша Боненг, завтра Доттен, секретарь профсоюза учителей, послезавтра пивертисты[6] — таков его жребий; он пойдет от одних к другим, он попытается заставить их замолчать. Мамаша Боненг будет мягко смотреть на него, она ему будет говорить об «ужасе кровопролития», размахивая идеалистическими руками. Толстая женщина лет пятидесяти: белый пушок на щеках, короткие волосы и мягкий взгляд священника за очками; она носила мужской пиджак с орденской лентой Почетного Легиона. «Я ей скажу: женщины должны попридержать языки; в четырнадцатом году они заталкивали своих мужей в вагоны, тогда как нужно было лечь на рельсы и не дать тронуться поезду, а сегодня, когда есть смысл сражаться, вы образуете лиги за мир, вы делаете все, чтобы уничтожить в людях чувство долга». Перед ним вновь предстало лицо Мориса, и Брюне с раздражением передернул плечами: «Одно слово, одно единственное слово иногда им открывает глаза, а я не смог его найти». Он с обидой подумал: «Все из-за его девки, они умеют задавать дурацкие вопросы». Нарумяненные щеки Зезетты, ее похабные глаза, ее отвратительные духи; такие бабы пойдут повсюду собирать подписи, эти упорные и кроткие, тучные радикальные голубки, еврейки-троцкистки, оппозиционеры из разных фракций, они будут соваться повсюду с дьявольским нахальством, они набросятся на старую крестьянку, доящую корову, прижмут к ее широкой влажной ладони ручку: «Подпишите, если вы против войны». Необходимы переговоры. Мир прежде всего. Нет войне. А что сделает Зезетта, если ей вдруг протянут ручку? Сохранила ли она классовую закваску в достаточной мере, чтобы рассмеяться в лицо этим толстым доброжелательным дамам? Она потащила Мориса в фешенебельные кварталы. Она возбужденно смотрит на витрины, накладывает на щеки густой слой румян… Бедный паренек, будет некрасиво, если она повиснет у него на шее и не даст ему уехать; им этого не нужно… Интеллектуал. Буржуа. «Она мне противна, потому что у нее штукатурка на лице и обгрызанные ногти». Однако не каждый товарищ может быть холостяком. Брюне почувствовал себя усталым и отяжелевшим, он подумал: «Я порицаю ее за то, что она мажется, потому что не люблю дешевую косметику». Интеллектуал.

Буржуа. Надо любить их. Надо любить их всех, каждого и каждую без различия. Он подумал: «Я не должен даже хотеть их любить, это должно происходить само собой, естественно, как дыхание». Интеллектуал. Буржуа. Раз и навсегда обособленный. «Напрасно я буду стараться, у нас никогда не будет общих воспоминаний». Жозеф Мерсье, тридцати трех лет, с врожденным сифилисом, преподаватель естественной истории в лицее Бюффон и в коллеже Севинье, поднимался по улице Руаяль, шмыгая носом и периодически кривя рот и влажно причмокивая; его не оставляла боль в левом боку, он чувствовал себя несчастным и временами думал: «Заплатят ли жалованье мобилизованным служащим?» Он смотрел себе под ноги, чтобы не видеть все эти беспощадные лица, он случайно толкнул высокого рыжего человека в сером фланелевом костюме, который отшвырнул его к витрине; Жозеф Мерсье поднял глаза и подумал: «Какой шкаф!» Это и в самом деле был шкаф, целая стена, один из тех типов, бесчувственных и жестоких животных, вроде здоровяка Шамерлье, преподавателя арифметики, который насмехался над ним при учениках, один из тех типов, которые никогда не сомневаются ни в себе самих, ни в чем-то еще, никогда не болеют, у них нет нервных тиков, они хапают жизнь и женщин загребущими руками и идут прямиком к своей цели, отшвыривая других к витрине. Улица Руаяль плавно текла к Сене, и Брюне тек вместе с ней, кто-то его толкнул, он увидел, как удирает тощая личинка с провалившимся носом, в котелке и с большим пристежным, словно фарфоровым, воротничком, он подумал о Зезетте и Морисе и вновь ощутил застарелую привычную тревогу, стыд перед этими неискупимыми воспоминаниями: белый дом на берегу Марны, библиотека отца, длинные душистые руки матери, воспоминания о том, что навсегда отделило его от товарищей.

Был прекрасный золотистый вечер, воистину сентябрьский спелый плод. Стивен Хартли, перегнувшись через перила балкона, шептал: «Огромные медлительные водовороты вечерней толпы». Шляпы, шляпы, целое фетровое море, несколько непокрытых голов плыли меж волн, он подумал: «как чайки». Он подумал, что так и напишет: «как чайки», две светлые головы и одна седая, красивая рыжая шевелюра поверх остальных, с наметившейся плешинкой; Стивен подумал: «типичная французская толпа» и был тронут. Небольшое скопление героических и стареющих человечков. Он

напишет: «французская толпа спокойно и достойно ожидает развития событий». В одном из номеров «Нью-Йорк Геральд» будет напечатано жирными буквами: «Я прислушивался к французской толпе». Маленькие люди, не слишком чистые на вид, большие женские шляпы, молчаливая, безмятежная, грязноватая толпа, позолоченная тихим парижским вечером между церковью Св. Магдалины и площадью Согласия под лучами заходящего солнца. Он напишет «лицо Франции», он напишет «вечное лицо Франции». Скольжение, шепот, которые можно назвать уважительными и восхищенными, нет «восхищенными» будет слишком; высокий рыжий француз, лысоватый, спокойный, как солнце на закате, несколько солнечных бликов на стеклах автомобилей, несколько оживленных голосов; мерцание голосов, подумал Стивен. И решил: «Моя статья готова».

— Стивен! — позвала у него за спиной Сильвия.

— Я работаю, — не оборачиваясь, сухо произнес Стивен.

— Но ты должен мне ответить, мой дорогой, — сказала Сильвия, — на «Лафайете» остался только первый класс.

— Возьми первый класс, возьми люкс, — ответил Стивен. — Возможно, «Лафайет» — последний пароход в Америку на много дней вперед.

Брюне шел медленно, вдыхая запах ароматизированного табака, затем он поднял голову, посмотрел на почерневшие, позолоченные буквы, прикрепленные к балкону; война началась: она была здесь, внутри этой светящейся зыбкости, начертанная, как очевидность, на стенах этого прекрасного хрупкого города; это был застывший взрыв, надвое раскалывавший улицу Руаяль; люди проходили сквозь войну, до времени не видя ее; Брюне ее видел. Она всегда была здесь, но люди этого пока не знали. Брюне подумал: «Небо обрушится нам на голову». И все начало обрушиваться, он увидел дома такими, какие они были наяву: замершее падение. Этот изысканный магазин заключал в себе тонны камней, и каждый камень, скрепленный с остальными, уже пятьдесят лет упрямо напирал на основу; несколькими килограммами больше, и падение свершится; колонны, дрожа, округлятся и покроются безобразными рваными трещинами; витрина разлетится вдребезги; массы камней обрушатся на подвал, расплющив тюки с товарами. У немцев есть бомбы в четыре тонны. У Брюне сжалось сердце: еще недавно на этих хорошо выровненных

фасадах цвела человеческая улыбка, смешанная с золотистой вечерней пылью. Она угасла: сотни тонн камней; люди, бродящие среди застывших руин. Солдаты среди развалин, сам он, возможно, убит. Он увидел черноватые полосы на наштукатуренных щеках Зезетгы. Пыльные стены, поверхности стен с большими зияющими дырами в квадратах голубой или желтой бумаги, в пятнах проказы; красный каменный пол среди обломков, плитки, проросшие сорняками. Затем дощатые бараки военного лагеря. Впоследствии построят большие однообразные казармы, как на внешних бульварах. Сердце Брюне сжалось: «Я люблю Париж», — с волнением подумал он. Очевидность вдруг исчезла, и город вокруг него преобразился. Брюне остановился; он почувствовал подслащенность трусливой доброты и подумал: «Если б не было войны! Если б можно было избежать войны!» И жадно оглядел большие подъезды, сверкающую витрину «Дрисколла», голубые обои пивной Вебера. Через какое-то время ему стало стыдно, он зашагал снова, он подумал: «Я слишком люблю Париж». Как Пильняк в Москве, слишком любивший старые церкви. Партия права, что не доверяет интеллектуалам. Смерть вписана в человека, а разрушение — в предметы; придут другие люди, которые восстановят Париж, восстановят мир. Я ей скажу: «Значит, вы хотите мира любой ценой?» Я буду говорить с ней мягко, пристально глядя ей в глаза, я скажу ей: «Пусть женщины оставят нас в покое. Сейчас не время приставать к мужчинам со своими глупостями». — Я хотела бы быть мужчиной, — сказала Одетта.

Матье приподнялся на локте. Теперь он был бронзовый от загара. Улыбаясь, он спросил:

— Чтобы играть в солдатики? Одетта покраснела.

— Нет, нет! — живо возразила она. — Но мне кажется, что глупо быть сейчас женщиной.

— Да, это не слишком-то удобно, — согласился он.

Она опять, в который раз, была похожа на попугайчика; слова, которые она употребляла, всегда оборачивались против нее. Однако ей казалось, что Матье не смог бы ее порицать, если б она умела выразиться правильно; надо было бы сказать ему, что мужчины всегда ставили ее в неловкое положение, когда в ее присутствии говорили о войне. Они выглядели неестественными, они выказывали слишком много уверенности, как будто хотели убедить ее, что это мужское

дело, и все-таки у них был вид, будто они чего-то от нее ждали: нечто вроде третейского суда, потому что она женщина и не уйдет на войну, а останется парить над схваткой. А что она могла им сказать? Оставайтесь? Отправляйтесь? Она не могла решать за них именно потому, что она была женщиной. Или нужно им сказать: «Делайте, что хотите». А если они ничего не хотят? Она уходила в тень, притворялась, будто не слышит их, она подавала им кофе или ликеры, окруженная раскатами их решительных голосов. Она вздохнула, набрала в руку песок и стала ссыпать его, теплый и белый, на свою загорелую ногу. Пляж был пустынным, море говорливым и мерцающим. На деревянном понтоне «Провансаля» три молодые женщины в пляжных костюмах пили чай. Одетта закрыла глаза. Она лежала на песке в серёдке надвременного, надвозрастного зноя: это был зной ее детства, когда она закрывала глаза, лежа на этом же песке, и представляла себя саламандрой, окруженной огромным красно-голубым пламенем. Тот же зной, та же влажная ласка купальника; кажется, что чувствуешь, как он дымится на солнце, тот же жар песка на затылке, дальние годы, она сливалась с небом, морем и песком, она больше не отличала настоящее от прошлого. Она выпрямилась, широко открыв глаза: сегодня ее окружала подлинная реальность; была эта тревога под ложечкой, был обнаженный и загорелый Матье, сидящий по-турецки на белом халате. Он молчал. Одетте тоже хотелось бы молчать. Но когда она не понуждала его непосредственно обращаться к ней, она его теряла: он предупредительно давал себе время произнести маленькую речь четким, хрипловатым голосом, а потом уходил, оставив в залог свое вежливое холеное тело. Если бы можно было предположить, что он хотя бы погружается в приятные мысли: но он смотрел прямо перед собой с видом, от которого сжималось сердце, в то время как его большие руки машинально лепили из песка пирожки. Пирожок тут же разваливался, руки без устали его восстанавливали; Матье никогда не смотрел на свои руки; в конце концов это раздражало.

— Пирожки не делают из сухого песка, — проговорила Одетта. — Это знают даже малыши.

Матье засмеялся.

— О чем вы думаете? — спросила Одетта.

— Нужно написать Ивиш, — сказал он. — Это меня тяготит.

— Не сказала бы, что это вас тяготит, — промолвила Одетта, усмехнувшись. — Вы ей послали уже целые тома.

— Да. Но какие-то идиоты нагнали на нее страху. Она стала читать газеты, хотя ничего в них не понимает: она хочет, чтобы я ей все объяснил. Это будет не слишком сложно: она путает чехов с албанцами и думает, что Прага находится на берегу моря.

— Это очень по-русски, — сухо заметила Одетта. Матье, нахмурившись, не ответил, и Одетта почувствовала досаду. Он с усмешкой сказал:

— Все усложняется тем, что она меня яростно возненавидела.

— Почему?

— Потому что я француз. Она спокойно жила среди французов, и вдруг они захотели сражаться. Она считает это возмутительным.

— Очень мило! — вскинулась Одетта. Матье принял добродушный вид:

— Но поставьте себя на ее место, — мягко сказал он. — Она злится на нас, потому что мы готовимся быть убитыми или ранеными! Она считает, что раненым недостает такта, потому что они вынуждают других думать об их теле. Она называет это физиологичным. А физиологию и у себя, и у других она ненавидит.

— Экая милашка, — усмехнулась Одетта.

— И все это совершенно искренне, — сказал Матье. — Она целыми днями не ест, потому что процесс еды вызывает у нее омерзение. Когда ночью ей хочется спать, она пьет кофе, чтобы взбодриться.

Одетта не ответила; она подумала: «Хорошая порка — вот что ей нужно». Матье ворошил руками песок с поэтичным и глуповатым видом. «Она не ест на людях, но я уверена, что она прячет в своей комнате огромные банки с вареньем. Мужчины — круглые дураки». Матье снова принялся лепить пирожки; он опять отбыл бог знает куда и насколько. «А я ем мясо с кровью и сплю, когда хочу», — с горечью подумала Одетта. На понтоне «Провансаля» музыканты наигрывали «Португальскую серенаду». Их было трое. Итальянцы. Скрипач был неплох; играя, он закрывал глаза. Одетта почувствовала себя растроганной; это всегда так волнует, когда слушаешь музыку на свежем воздухе, таком разреженном, таком пустом. Особенно сейчас: тонны зноя и войны давили на море, на песок, и еще этот комариный

писк, вздымавшийся прямо к небу. Она повернулась к Матье и хотела ему сказать: «Мне очень нравится эта музыка», но промолчала: возможно, Ивиш ненавидит «Португальскую серенаду». Руки Матье замерли, пирожок рассыпался.

— Мне очень нравится эта музыка, — сказал он, поднимая голову. — Что это?

— «Португальская серенада», — ответила Одетта.

Восемнадцать десять в Годесберге. Старик ждет. В Ангулеме, в Марселе, в Генте, в Дувре думают: «Что он делает? Спустился ли? Разговаривает ли с Гитлером? Может, они в этот самый момент все полюбовно уладили». И они ждут. Старик в гостиной с полуопущенными жалюзи тоже ждет. Он один, он отрыгнул и подошел к окну. Бело-зеленый холм спускается к реке. Рейн совсем черный, он похож на асфальтовую дорогу после дождя. Старик отрыгнул еще раз, во рту у него кислый привкус. Он барабанит по оконному стеклу, и испуганные мухи кружатся вокруг него. Белая и пыльная жара, чопорная, скептическая, устаревшая, жара воротничков эпохи Фридриха II; внутри этой жары скучает старый англичанин времен Эдуарда VII, а весь остальной мир в 1938 году. В Жуан-ле-Пене[7] 23 сентября 1938 года в семнадцать часов десять минут полнотелая женщина в белом полотняном платье садится на складной стул, снимает солнцезащитные очки и начинает читать газету. Это «Пти Нисуа». Одетта Деларю видит крупный заголовок: «Хладнокровие» и, напрягшись, разбирает подзаголовок: «Господин Чемберлен адресует послание Гитлеру». Она задумывается: «Действительно ли я боюсь войны?» и сама себе отвечает: «Нет. Нет, не на самом деле». Если бы она боялась ее на самом деле, она бы вскочила, побежала на вокзал, закричала бы, простирая руки: «Не уезжайте! Останьтесь дома!» На мгновение она воображает себя: выпрямившаяся, со скрещенными руками, кричащая — и у нее кружится голова. Потом она с облегчением думает, что неспособна к такой грубой бестактности. Во всяком случае, не вполне. Благопристойная женщина, француженка, благоразумная и сдержанная, с большим количеством запретов, с правилом: ничего не додумывать до конца. В Лаоне, в темной комнате, ожесточенная, возмущенная девочка изо всех сил отвергает войну, отвергает упрямо и слепо. Одетта говорит: «Война ужасна!»; она говорит: «Я постоянно

думаю о несчастных, уходящих на войну». Но она еще толком ни о чем не думает, она терпеливо ждет: она знает, что ей скоро скажут, что именно следует думать, говорить и делать. Когда ее отец был убит в 1917 году, ей сказали: «Все в порядке, нужно быть мужественной», и она очень скоро научилась носить траурный креп и с отважной грустью устремлять на людей ясный взгляд военной сироты. В 1924 году ее брат был ранен в Марокко, он вернулся хромым, и Одетте снова сказали: «Все в порядке, не надо его так уж жалеть»; и Жак через несколько лет ей сказал: «Любопытно, я считал Этьена более сильным, он так и не смирился со своим увечьем и порядком ожесточился». Жак уйдет на войну, Матье уйдет на войну и это тоже будет «все в порядке», она была в этом уверена. В данный момент газеты еще колебались; Жак говорил: «Это будет глупая война», и в крайне правом «Кандиде» писали: «Мы не будем воевать из-за того, что судетские немцы хотят носить белые чулки». Но очень скоро страна станет сплошным единодушным одобрением, палата депутатов единогласно одобрит политику правительства, «Жур» будет прославлять наших отважных фронтовиков. Жак скажет: «Рабочие великолепны», прохожие будут улыбаться друг другу на улице благоговейно и понимающе: это война, Одетта тоже ее одобрит и примется вязать шерстяные шлемы. Матье здесь, он как будто слушает музыку, он знает, что действительно следует думать, но не говорит. Он пишет Ивиш письма на двадцати страницах, чтобы растолковать ей ситуацию. Одетте же он ничего не объясняет.

— О чем вы думаете? Одетта вздрогнула:

— Я… ни о чем.

— Вы не совсем честны, — сказал Матье. — Я же вам ответил.

Она, улыбаясь, наклонила голову; но ей не хотелось говорить. Матье казался совершенно проснувшимся: он смотрел на нее.

— Что случилось? — смущенно спросила она. Он не ответил, а только удивленно засмеялся.

— Вы заметили, что я существую? — сказала Одетта. — И это вас удивило. Так?

Когда Матье смеялся, вокруг глаз собирались морщинки, и он становился похож на китайчонка.

— Вы воображаете, что вас можно не заметить? — спросил он.

— Я не слишком подвижна, — сказала Одетта.

— Верно. И к тому же не слишком разговорчивы. Более того, вы делаете все возможное, чтобы о вас забыли. Так вот, это вам не удается: даже когда вы совсем смирная и благопристойная и смотрите на море, производя не больше шума, чем мышь, знаешь, что вы здесь. Это так. В театре это называется эффектом присутствия; есть актеры, у которых это есть, а у других нет. У вас есть.

У Одетты прилила кровь к щекам:

— Вы испорчены русскими, — живо сказала она. — Эффект присутствия, должно быть, очень славянское качество. Но я сомневаюсь, что это в моем. стиле.

Матье серьезно посмотрел на нее.

— А что в вашем стиле? — спросил он.

Одетта почувствовала, что ее глаза заметались, забегали в глазницах. Она справилась со взглядом и направила его на свои обнаженные ноги с накрашенными ногтями. Одетта не любила, когда о ней говорили.

— Я обывательница, — весело сказала она, — простая французская обывательница, в этом нет ничего интересного.

Она почувствовала, что кажется ему недостаточно убедительной и, чтобы закончить спор, добавила:

— Какая разница, кто я.

Матье не ответил. Одетта искоса поглядела на него: его руки снова просеивали песок. Одетта спросила себя, какую оплошность она допустила. Во всяком случае, он мог бы хотя бы из вежливости что-то возразить.

Через некоторое время она услышала его мягкий хрипловатый голос:

— Трудно чувствовать себя невесть кем, а?

— Привыкаешь, — сказала Одетта.

— Верно. А вот я так и не привык.

— Но вы-то не невесть кто, — живо возразила она. Матье рассматривал пирожок, который он только что соорудил. На сей раз получился красивый, не рассыпающийся пирожок. Он смахнул его движением руки.

— Все мы невесть кто, — сказал Матье и рассмеялся. — Это так глупо.

— Какой вы печальный, — проговорила Одетта.

— Не больше других. Все мы немного выбиты из колеи опасностью войны.

Она подняла глаза, намереваясь заговорить, но встретила его взгляд, прекрасный, спокойный и нежный взгляд. Она промолчала. Невесть кто — мужчина и женщина смотрят друг на друга на пляже; война была здесь, вокруг них; она засела в них самих и сделала их похожими на прочих, всех прочих. «Он чувствует себя невесть кем, он смотрит на меня, он улыбается, он улыбается не мне, а невесть кому». Он ничего у нее не просил, кроме молчания, кроме того, чтобы она оставалась никем как обычно. Нужно было молчать; скажи она ему: «Вы не невесть кто, вы красивы, сильны, романтичны, вы ни на кого не похожи», и поверь он ей, он ускользнул бы от нее сквозь пальцы, он бы снова ушел в свои мечты, возможно, он бы еще больше полюбил другую, к примеру, ту русскую, которая пьет кофе, когда ей хочется спать. Одетта почувствовала укол самолюбия и быстро проговорила:

— На этот раз все будет ужасно.

— Скорее, глупо, — отозвался Матье. — Они уничтожат все, до чего смогут добраться. Париж, Лондон, Рим… То-то будет картина!

Париж, Рим, Лондон. И белую роскошную виллу Жака на берегу. Одетта вздрогнула; она посмотрела на море. Море было всего лишь мерцающим маревом; обнаженный и коричневатый, слегка выгнутый вперед, лыжник, влекомый моторной лодкой, быстро скользил по этому мареву. Нет, никто на свете не сможет уничтожить это светящееся мерцание.

— Но это, во всяком случае, останется, — сказала она.

— Что?

— Море.

Матье покачал головой:

— Даже этого не останется, — сказал он. — Даже этого. Одетта удивленно посмотрела на него: она всегда не до конца понимала, что он хочет сказать. Она решила расспросить его, но ей вдруг нужно было уйти. Она вскочила, надела босоножки и завернулась в халат.

— Что вы делаете? — спросил Матье.

— Мне нужно идти, — сказала она.

— Так вдруг?

— Я вспомнила, что обещала Жаку к ужину чесночную похлебку. Мадлен одна не управится.

— Вы редко долго остаетесь на одном месте, — сказал Матье. — Что ж, я пойду купаться.

Она поднялась по усыпанным песком ступенькам и уже на террасе оглянулась. Она увидела Матье, бегущего к морю. «Он прав, — подумала она, — мне не сидится на месте». Всегда уходить, всегда спохватываться, всегда убегать. Как только ей хоть немного где-то нравилось, ее охватывало смущение и чувство вины. Она смотрела на море и думала: «Я всегда чего-то боюсь». В ста метрах сзади была вилла Жака, приготовление чесночной похлебки, толстая Мадлен, трапеза. Одетта отправилась в путь. Она спросит у Мадлен: «Как здоровье вашей матушки?» и Мадлен, немного сопя, ответит: «Да все так же», и Одетта ей скажет: «Ей нужно сварить немного бульону, и потом отнесите ей белого мяса, перед тем как подать на стол, оторвите крылышко, увидите, она съест его с аппетитом», и Мадлен ответит: «Ах, мадам, она ни к чему не притрагивается». Одетта скажет: «Дайте-ка мне». Она возьмет цыпленка, собственноручно отрежет крылышко и почувствует себя оправданной. «Даже этого!» Она бросила прощальный взгляд на море. «Он сказал: «Даже этого». Однако море было таким легким, как небо наизнанку; что у них могло быть против него? Оно было густое и сине-зеленое, или цвета кофе с молоком, такое гладкое, монотонное, каждодневное, оно пахло йодом и лекарствами, их море, их морской бриз, они за него платят сто франков в день; он приподнялся на локтях и посмотрел на детей, игравших на сером песке, маленькая Симона Шассье бегала и смеялась, подволакивая левую ногу в ортопедическом ботинке. У лестницы был мальчик, которого он не знал, бесспорно, новенький, устрашающе худой, с огромными ушами, он засунул палец в нос и серьезно смотрел на трех девочек, лепивших пирожки. Он горбил острые плечи и подгибал колени, но крупное туловище было неподвижно, как камень. Корсет. Туберкулезный сколиоз. «Помимо этого, он, скорее всего, дебил».

— Ложитесь, — сказала Жаннин. — Лягте ровно. Какой вы сегодня беспокойный.

Он повиновался и увидел небо. Четыре белых облачка. Он услышал скрип коляски на дороге: «Что-то его рано везут назад, кто это может быть?»

— Привет, харя! — произнес грубый голос.

Он быстро поднял обе руки и повернул зеркальце над головой. Они уже прошли, но он узнал тяжелый зад санитарки: это была Даррье.

— Ты когда сбреешь свою бороду? — крикнул он ей.

— Как только ты отрежешь свои шары! — ответил удаляющийся голос Даррье.

Он радостно засмеялся: Жаннин не любила грубости.

— Скоро меня увезут назад?

Он увидел руку Жаннин, рука порылась в кармане белого халата и извлекла оттуда часы.

— Еще минут пятнадцать. Вам скучно?

— Нет.

Он никогда не скучал. Цветочные горшки не скучают. Когда светит солнце, их выставляют наружу, а потом с наступлением вечера возвращают обратно. У них никогда не спрашивают их мнения, они ничего не должны решать, ничего не должны ждать. Как захватывающе впитывать воздух и свет всеми порами! Небо загремело, как гонг, и он увидел пять маленьких аспидных точек в форме треугольника, поблескивавших меж двух облаков. Он вытянулся, и у него задвигались большие пальцы ног: звук приходил большими медными слоями, это было приятно и ласкающе, это походило на запах хлороформа, когда усыпляют на большом операционном столе. Жаннин вздохнула, и он исподтишка посмотрел на нее; она подняла голову и казалась встревоженной, определенно, что-то ее беспокоило. «А! Вспомнил: скоро будет война». Он улыбнулся.

— Значит, — сказал он, немного повернув шею, — ходячие решились начать свою войну.

— Напоминаю, — сухо ответила она. — Если вы будете так говорить, я больше не буду вам отвечать.

Он замолчал, у него было много времени, самолет гудел в его ушах, он себя хорошо чувствовал, молчание его не раздражает. Она не могла сопротивляться, ходячие всегда обеспокоены, им нужно говорить, двигаться: наконец, она не выдержала:

— Боюсь, что вы правы: скоро будет война.

Она выглядела, как в операционные дни, — одновременно разнесчастным ребенком и старшей медсестрой. Когда она вошла в

самый первый день и сказала ему: «Приподнимитесь, я уберу судно», у нее был именно такой вид. Он потел, чувствовал собственный запах, отвратительный запах кожевенного завода, а она стояла, все понимающая и незнакомая, она протягивала к нему роскошные руки и выглядела именно так, как сегодня.

Он слегка облизнул губы: с тех пор он попортил ей немало крови. Он сказал ей:

— У вас такой взволнованный вид…

— Еще бы!

— А вам-то что до этой войны? Вас это не касается. Она отвернулась и с раздражением похлопала по краю фиксатора. К чему ей расстраиваться из-за войны? Ее профессия — ухаживать за больными.

— А мне плевать на войну, — сказал он.

— Зачем вы притворяетесь злым? — мягко сказала она. — Вы же не хотите, чтобы Францию разгромили.

— Мне это безразлично.

— Месье Шарль! Когда вы такой, вы меня пугаете.

— Я же не виноват, что я нацист, — ухмыльнулся он.

— Нацист! — обескураженно повторила она. — Что это вы на себя наговариваете! Нацист! Они убивают еврее.* и всех, кто с ними не согласен, они их сажают в тюрьму, и священников тоже, они подожгли Рейхстаг, это бандиты. Такое нельзя говорить; такой юноша, как вы, не имеет права говорить, что он нацист, даже в шутку.

Он сохранил на губах понимающую провоцирующую улыбочку. Он не испытывал антипатии к нацистам. Они были мрачными и свирепыми, казалось, они хотят все уничтожить: посмотрим, до каких пределов они дойдут, увидим. У него появилась забавная мысль:

— Если будет война, все станут горизонтальными.

— И он доволен! — возмутилась Жаннин. — Что еще взбредет ему на ум?

Он сказал:

— Стоячие устали стоять, они лягут плашмя в ямы. Я на спине, они на животе: все станут горизонтальными.

Уже много времени они склонялись над ним, мыли, чистили, обтирали ловкими руками, а он оставался неподвижным под этими руками, он смотрел на их лица, начиная с подбородка, на запекшиеся

ноздри над выступом губ, на черную линию ресниц чуть выше. «Теперь их очередь лечь». Жаннин не реагировала: она была не так оживлена, как обычно. Она мягко положила руку ему на плечо.

— Злюка! — сказала она. — Злюка, злюка, злюка! Это был миг примирения. Он сказал:

— Что сегодня вечером дадут лопать?

— Рисовый суп и картофельное торе, а потом — вы будете довольны — налима.

— А на десерт? Сливы?

— Не знаю.

— Наверное, сливы, — сказал он. — Вчера был абрикосовый компот.

Оставалось еще пять минут; он вытянулся и надулся, чтобы еще больше ими насладиться, он посмотрел на свой кусочек мира, отраженный в его третьем глазу, в зеркальце. Пыльный и неподвижный глаз с коричневыми трещинами: он немного искажал движения, и это было забавно, они становились одеревенелыми и механическими, как в довоенных фильмах. Вот в нем проскользнула женщина в черном, лежащая на фиксаторе, проскользнула и исчезла мальчик толкал коляску. — . — Кто это? — спросил он у Жаннин.

— Я ее не знаю, — сказала Жаннин. — Кажется, она с виллы «Монрепо», вы ее знаете, тот большой рыжеватый дом на берегу моря.

— Это там оперировали Андре? — Да.

Он глубоко вздохнул. Свежее, шелковистое солнце текло ему в рот, в ноздри, в глаза. А что здесь делает этот солдат? Зачем ему дышать воздухом, предназначенным для больных? В зеркальце прошел солдат, негнущийся, как изображение в волшебном фонаре, вид у него был озабоченный, Шарль приподнялся на локте и с любопытством проследил за ним взглядом: «Он ходит, ощущает свои ноги и бедра, все его тело давит на ступни». Солдат остановился и стал разговаривать с медсестрой. «А, это кто-то здешний», — с облегчением подумал Шарль. Солдат говорил серьезно, покачивая головой и не меняя печального выражения лица. «Он умывается и одевается сам, он идет, куда хочет, ему необходимо все время заниматься собой, он чувствует себя чудным, потому что стоит: я это знал раньше. Что-то с ним скоро произойдет. Завтра будет война, и что-то произойдет со всеми. Но не со мной. Я — просто вещь».

— Уже пора, — сказала Жаннин. Она грустно посмотрела на него, глаза ее наполнились слезами. Какая она противная. Он ей сказал:

— Вы любите меня, свою игрушку?

— Да, да!

— Не трясите меня как при ходьбе.

— Хорошо.

Слезы брызнули и покатились по бледным щекам. Он недоверчиво посмотрел на нее.

— Что с вами?

Она не ответила и, всхлипывая, склонилась над ним, поправляя ему одеяло: он видел ее ноздри.

— Вы что-то от меня скрываете… Она не отвечала.

— Что вы от меня скрываете? Вы поссорились с мадам Гуверне? Ну? Не люблю, когда со мной обращаются, как с ребенком!

Жаннин выпрямилась и посмотрела на него с отчаянной нежностью.

— Вас собираются эвакуировать, — плача, сказала она. Шарль не понял. Он спросил:

— Меня?

— Всех больных из Берка[8]. Мы слишком близко от границы.

Шарль задрожал. Он поймал руку Жаннин и сжал ее:

— Но я хочу остаться!

— Здесь никого не оставят, — сказала она хмуро. Он изо всех сил сжал ей руку:

— Я не хочу! — сказал он. — Я не хочу!

Она, не отвечая, высвободила руку, прошла за коляску и стала ее толкать.

Шарль наполовину приподнялся и затеребил уголок одеяла.

— Но куда нас отправят? Когда отъезд? Сестры поедут с нами? Скажите же что-нибудь!

Она не отвечала, и он услышал, как она вздохнула над его головой. Он снова лег и в бешенстве сказал:

— Они меня доконают.

Я не хочу смотреть на улицу. Милан встал у окна, он смотрит, он мрачен. Их еще здесь нет, но они уже шаркают по всему кварталу. Я их слышу. Я нагибаюсь над Марикой и говорю:

— Стань здесь. — Где?

— У стены между окнами. Она меня спрашивает:

— Почему меня сюда отослали? Я не отвечаю; она спрашивает:

— Кто это кричит?

Я молчу. Шаркающие сапоги, это их звуки: шушушу-шу-у-у-шу. Я сажусь на пол рядом с ней. Я тяжелая. Я ее обнимаю. Милан стоит у окна, он отрешенно грызет ногти. Я ему говорю:

— Милан! Иди к нам; не стой у окна.

Он ворчит, перевешивается через подоконник, нарочно перевешивается. Шаркающие сапоги. Через пять минут они будут здесь. Марика хмурит брови:

— Кто это идет?

— Немцы.

Она произносит: «А?», и ее лицо снова становится безмятежным. Она смирно слушает шаркающие сапоги, как слушает мой голос во время урока, или дождь, или ветер в листве: потому что эти звуки слышны. Я смотрю на нее, и она мне отвечает ясным взглядом. Именно этот взгляд, надо быть только этим взглядом, ничего не понимающим, ничего не ждущим. Я хотела бы стать глухой, быть зачарованной этими глазами, читать в этих глазах шум. Мягкий шум, лишенный смысла, как шум листвы. Но я знаю, что означают эти шаркающие сапоги. Они мягкие, они мягко придут, эти люди будут его бить, пока он не станет в их руках совсем мягким. Он здесь, пока еще крепкий и твердый, он смотрит в окно: они будут держать его на вытянутых руках, он станет дряблым, с тупым выражением на разбитом лице; они будут его бить, они опрокинут его на землю, и завтра ему будет стыдно передо мной. Марика вздрагивает в моих объятиях, я у нее спрашиваю:

— Ты боишься?

Она отрицательно качает головой. Она не боится. Она серьезная, как когда я пишу на черной доске, а она, открыв рот, следит за моей рукой. Она старается: она уже поняла, что такое деревья и вода, потом животные, которые самостоятельно ходят, потом люди, потом буквы алфавита. Теперь же было вот что: молчание взрослых людей и эти шаркающие сапоги на улице; вот что нужно осмыслить. Все это потому, что мы — маленькая страна. Они придут, они пустят танки по нашим полям, они будут стрелять в наших мужчин. Потому что мы —

маленькая страна. Боже мой! Сделай так, чтобы французы пришли к нам на помощь, Боже, сделай так, чтобы они не оставили нас в беде.

— Вот они, — сказал Милан.

Я не хочу смотреть на его лицо, только на лицо Марики, потому что она ничего не понимает. Они рядом: они приближаются, они шаркают сапогами по нашей улице, они выкрикивают наши имена, я их слышу. Я здесь, я сижу на полу, тяжелая и неподвижная, револьвер Милана в кармане моего передника. Он смотрит на Марику, она приоткрывает рот; ее глаза чисты, она все еще ничего не понимает.

Он шел вдоль рельсов, он смотрел на лавки и смеялся от удовольствия. Он смотрел на рельсы, он смотрел на лавки; он смотрел на лежащую перед ним белую улицу, щуря глаза, и думал: «Я в Марселе». Лавки были закрыты, железные жалюзи опущены, улица пустынна, но он в Марселе. Он остановился, поставил мешок, снял кожаную куртку и перебросил ее через руку, затем вытер лоб и снова вскинул мешок на спину. Ему хотелось с кем-нибудь поболтать. Он сказал себе: «У меня в носовом платке двенадцать окурков сигарет и один окурок сигары». Рельсы блестели, длинная белая улица слепила его, он сказал: «У меня в мешке бутылка красного». Было жарко, и он бы с удовольствием выпил, но он предпочел бы выпить рюмочку полынной водки в забегаловке, если только они не все закрыты. «Никогда бы не подумал», — сказал он себе. Он опять зашагал между рельсами, улица промеж черных домиков сверкала, как река. Слева было много лавок, но невозможно узнать, что там продавалось, потому что железные жалюзи закрыты; справа тянулись пустые, открытые всем ветрам дома, похожие на вокзалы, время от времени возникала кирпичная стена. Но зато это был Марсель. Большой Луи[9] спросил себя:

— Где они могут быть? Кто-то выкрикнул:

— Быстро сюда!

На углу переулка была открытая забегаловка. На пороге стоял крепыш с торчащими усами, он кричал: «Быстро сюда!», и люди возникли разом, как из-под земли, и побежали к забегаловке. Большой Луи побежал тоже; он хотел зайти вслед за парнями, но усатый тип ладонью толкнул его в грудь и рявкнул:

— А ну, вали отсюда!

Мальчик в переднике нес круглый стол больше, чем он сам, и пытался занести его в кафе.

— Ладно, папаша, — сказал Большой Луи, — ухожу. У тебя, случаем, нет полынной водки?

— Я тебе сказал: сматывайся.

— Ухожу, — сказал Большой Луи. — Не надо бояться; я не лезу в компании, где меня не хотят.

Крепыш повернулся к нему спиной, одним толчком снял наружный засов и вошел в кафе, закрыв за собой дверь. Большой Луи посмотрел на дверь: на месте засова осталась маленькая круглая дыра с неровными краями. Он почесал затылок и повторил: «Ухожу, не надо бояться». И все-таки он подошел к окну и попытался заглянуть в кафе, но кто-то изнутри задернул шторы, и он ничего не увидел. Он пробормотал: «Никогда бы не подумал». Улица шла обочь его, рельсы блестели, на рельсах стояла брошенная черная вагонетка. «Я бы хотел куда-нибудь зайти», — подумал Большой Луи Ему хотелось выпить полынной водки в бистро и поболтать с хозяином. Он объяснил себе, почесывая голову: «Я привык торчать на улице». Когда он бывал на улице, то обычно и другие были там же, овцы и прочие пастухи, и это все-таки была компания, а когда не было никого, to не было никого, вот и все. Сейчас он был на улице, а все остальные — внутри, за своими стенами и дверьми без засовов. Он был на улице совсем один, на пару с вагонеткой- Большой Луи побарабанил в окно кафе и подождал. Никто не ответил: если бы он собственными глазами не видел, как туда вошли люди, он бы поклялся, что в кафе никого не было. Он сказал себе: «Я ухожу» и действительно ушел; ему чертовски захотелось пить; он представлял себе Марсель не таким. Он шел, и ему казалось что улица пахнет затхлым. Он спросил себя: «Где бы мне присесть?» и услышал сзади гул: так гудит стадо овец, когда его перегоняют в горы. Он обернулся и увидел вдалеке небольшую толпу со знаменами. «Что ж, посмотрю на них», — сказал он и обрадовался. С другой стороны рельсов было что-то вроде площади, ярмарочного поля с двумя зелеными лачугами, прилепившимися к высокой стене; он сказал: «Там и присяду, чтобы поглядеть, как они проходят». Одна из лачуг оказалась лавкой, около нее пахло колбасой и жареной картошкой. Большой Луи увидел старика в белом переднике, ворошившего в печке. Он сказал ему:

— Папаша, дай жареной картошки. Старик обернулся.

— А этого не хотел?! — рявкнул он.

— У меня есть деньги, — сказал Большой Луи.

— А этого не хотел?! Плевал я на твои деньги. Я закрываюсь.

Он вышел и начал вертеть ручку. Железные жалюзи с грохотом стали опускаться.

— Еще семи нет! — крикнул Большой Луи, чтобы перекричать грохот.

Старик не ответил.

— Я подумал, что ты закрываешься, потому что уже семь! — крикнул Большой Луи.

Железные жалюзи опустились. Старик вынул ручку, выпрямился и плюнул.

— Ты что, придурок, не видел, что они идут, а? Я не собираюсь отдавать жареную картошку задарма, — сказал он, возвращаясь в лачугу.

Большой Луи еще с минуту посмотрел на зеленую дверь, затем сел на землю посреди ярмарочного поля, положил под спину мешок и стал греться на солнце. Он подумал, что у него есть буханка круглого хлеба, бутылка красного вина, двенадцать окурков от сигарет и один от сигары, он сказал себе: «Ну что ж, заморим червячка». По другую сторону рельсов двинулись люди, они размахивали знаменами, пели и вопили; Большой Луи вынул из кармана нож и смотрел на них, пережевывая свой харч. Одни поднимали кулаки, другие кричали ему: «Пошли с нами!», и он, смеясь, приветствовал их, он любил шум и движение, это его малость развлекало.

Он услышал шаги и обернулся. К нему приближался высокий негр, на нем была выцветшая розовая рубашка с короткими рукавами; голубые брюки болтались при каждом шаге на длинных худых икрах. Как видно, он не торопился. Неф остановился и стал выкручивать коричнево-розовыми руками плавки. Вода капала в пыль и свертывалась в шарики. Негр завернул плавки в полотенце и, равнодушно посвистывая, стал смотреть на демонстрацию.

— Эй! — крикнул Большой Луи. Неф посмотрел на него и улыбнулся.

— Что они делают?

Неф подошел к нему, раскачивая плечами: как видно, он не торопился.

— Это докеры, — сказал он.

— Они что, бастуют?

— Забастовка закончилась, — сказал неф. — Но эти хотят начать ее снова.

— А-а, вот оно что! — протянул Большой Луи.

Неф с минуту молча смотрел на него, казалось, он подыскивает слова. В конце концов он сел на землю, поло-жид полотенце на колени и начал свертывать сигарету. Он продолжал насвистывать.

— Откуда идешь? — спросил он.

— Из Прад, — ответил Большой Луи.

— Не знаю, где это, — сказал негр.

— Как так не знаешь? — засмеялся Большой Луи. Они оба посмеялись, потом Большой Луи пояснил: — Мне там разонравилось.

— Ты пришел искать работу? — спросил негр.

— Я был пастухом, — пояснил Большой Луи. — Я пас овец на Канигу. Но это мне разонравилось.

Негр покачал головой.

— Тут работы больше нет, — строго сказал он.

— Э-э, я найду! — заверил его Большой Луи. Он показал свои руки. — Я умею делать все, что угодно.

— Тут работы больше нет, — повторил негр.

Они замолчали. Большой Луи смотрел на орущих демонстрантов. Они кричали: «К стенке! Сабиани к стенке!» С ними были женщины; простоволосые и раскрасневшиеся, они разевали рты, как будто хотели все съесть, но не было слышно, о чем они говорят, так как мужчины горланили громче их. Большой Луи был доволен: теперь у него есть компания. Он подумал: «Здорово». Среди других прошла толстая женщина, ее груди болтались. Большой Луи подумал, что неплохо было бы с ней позабавиться как-нибудь после еды, руки были бы полны ее грудью. Неф захохотал. Он хохотал так сильно, что задохнулся дымом от сигареты. Он хохотал и кашлял одновременно. Большой Луи постучал кулаком ему по спине.

— Ты чего смеешься? — смеясь, спросил он. Неф посерьезнел.

— Просто так, — ответил он.

— Выпей глоток, — предложил ему Большой Луи. Неф взял бутылку и отхлебнул из горлышка. Большой

Луи тоже выпил. Улица вновь опустела.

— Где ты спал? — спросил неф.

— Не знаю, — ответил Большой Луи. — На какой-то площади с вагонетками под брезентом. Там воняло углем.

— У тебя есть деньги?

— Может, и есть, — сказал Большой Луи.

Дверь кафе открылась, вышла группа людей. Некоторое время они оставались на улице; затеняя глаза руками, они смотрели туда, куда ушли забастовщики. Потом одни, закурив, медленно уходили, другие маленькими группками толклись на улице. Среди них был бурно жестикулирующий багровый пузатый мужчина. Он гневно крикнул молодому тщедушному парню:

— Нам война уже в затылок дышит, а ты нам что-то толкуешь о синдикализме!

Пузатый взмок, он был без куртки, рубашка расстегнута, под мышками мокрые круги. Большой Луи повернулся к негру.

— Война? — спросил он. — Какая война?

— Скамейка! — сказал Даниель. — Она-то нам и нужна!

Это была зеленая скамейка у стены фермы, под открытым окном. Даниель толкнул перекладину и вошел во двор. К нему с лаем бросилась собака, волоча за собой цепь; на пороге дома появилась старуха, она держала кастрюлю.

— Пошла, пошла! — сказала она, размахивая кастрюлей. — Заткнись!

Собака, немного порычав, легла на живот.

— Моя жена немного устала, — снимая шляпу, сказал Даниель. — Вы ей позволите посидеть на этой скамейке?

Старуха недоверчиво сощурила глаза: может, она не понимала по-французски? Даниель громко повторил:

— Моя жена немного устала.

Старуха повернулась к Марсель, припавшей к перекладине, и ее недоверие растаяло.

— Конечно, ваша жена может сесть. Для того и скамейки. Она ее не просидит. Вы идете из Пейреорада?

Марсель вошла во двор и, улыбаясь, села.

— Да, — сказала она. — Мы хотели дойти до утеса; но теперь это для меня далековато.

Старуха понимающе подмигнула.

— Еще бы! — сказала она. — В вашем положении нужно быть осторожной.

Марсель прислонилась к стене, полузакрыв глаза, она счастливо улыбалась. Старуха поглядела с понимающим видом на ее живот, затем повернулась к Даниелю, покачала головой и уважительно осклабилась. Даниель сжал набалдашник трости и тоже улыбнулся. Все улыбались, живот был здесь в безопасности. Из дома, спотыкаясь, вышел ребенок, он замер и удивленно уставился на Марсель. Он был без штанов, его красные ягодицы покрывали болячки.

— Я хотела увидеть утес, — с шаловливым видом повторила Марсель.

— Но в Пейреораде есть такси, — сказала старуха. — Оно принадлежит Ламблену-сыну, последний дом по дороге на Бидасс.

— Знаю, — кивнула Марсель.

Старуха повернулась к Даниелю и погрозила ему пальцем:

— Ах, месье, нужно быть к своей жене внимательным; сейчас надо ей во всем потакать.

Марсель улыбнулась.

— Он ко мне внимателен, — заверила она. — Я сама захотела пройтись пешком.

Она вытянула руку и погладила мальчика по голове. Вот уже недели две, как она интересовалась детьми; это пришло внезапно. Она трогала и щупала их, как только они оказывались в пределах ее досягаемости.

— Это ваш внук?

— Нет, сын моей племянницы. Ему около четырех.

— Хорошенький, — сказала Марсель.

— Да, когда послушный. — Старуха понизила голос: — У вас будет мальчик?

— Не знаю, — сказала Марсель, — я бы очень этого хотела!

Старуха засмеялась.

— Каждое утро нужно молиться святой Маргарите[10]. Наступила округлая, населенная ангелами тишина. Все смотрели на Даниеля. Он склонился над тростью, смиренно по-мужски сурово потупив глаза.

— Простите за беспокойство, мадам, — мягко сказал он. — Не соблаговолите ли принести для моей жены чашку молока? — Он повернулся к Марсель: — Вы выпьете чашку молока?

— Сейчас принесу, — отозвалась старуха. Она исчезла в кухне.

— Сядьте рядом со мной, — предложила Марсель. Он опустился на скамейку.

— Как вы предупредительны! — воскликнула Марсель, беря его за руку.

Он улыбнулся. Она растерянно смотрела на него, а Даниель продолжал улыбаться, подавляя зевоту, растянувшую ему рот до ушей. Он думал: «Недопустимо выглядеть до такой степени беременной». Воздух был влажным, слегка горячечным, запахи плавали неуклюжими сгустками, как водоросли; Даниель пристально смотрел на зелено-рыжее мерцание кустарника по другую сторону изгороди, его ноздри и рот были полны листвой. Еще две недели. Две зеленые мерцающие недели, две недели в деревне. Деревню он ненавидел. Робкий палец прогуливался по его руке с неуверенностью ветки, колеблемой ветром. Он опустил глаза и посмотрел на палец — белый, пухловатый, на нем было обручальное кольцо. «Она меня обожает», — подумал Даниель. Обожаемый. День и ночь это покорное и вкрадчивое обожание втекало в него, как живительные ароматы полей. Он прикрыл глаза, и обожание Марсель слилось с шумящей листвой, с запахом навозной жижи и эспарцета.

— О чем вы думаете? — спросила Марсель.

— О войне, — ответил Даниель.

Старуха принесла чашку пенящегося молока. Марсель взяла ее и стала пить медленными глотками. Верхняя губа глубоко погрузилась в чашку и шумно втягивала молоко, с певучим звуком проникавшее ей в горло.

— Как приятно, — вздохнула она. Над ее верхней губой обозначились белые усики.

Старуха с выражением добросердечия смотрела на нее.

— Сырое молоко, вот что нужно для малыша, — сказала она. Обе женщины понимающе рассмеялись, и Марсель встала, опираясь о стену.

— Я чувствую себя совсем отдохнувшей, — промолвила она, обращаясь к Даниелю. — Если хотите, пойдемте.

— До свиданья, мадам, — сказал Даниель, опуская купюру в руку старухи. — Мы вам признательны за любезный прием.

— Спасибо, мадам, — задушевно улыбаясь, сказала Марсель.

— До свиданья, — ответила старуха. — На обратном пути идите потихоньку.

Даниель поднял перекладину и уступил дорогу Марсель; она споткнулась о большой камень и пошатнулась.

— Ай! — издалека вскрикнула старуха.

— Обопрись на мою руку, — сказал Даниель.

— Я такая неловкая, — сконфуженно проговорила Марсель.

Она взяла его за руку; он почувствовал ее рядом, теплую и уродливую; он подумал: «Как только Матье мог ее хотеть?»

— Идите медленно, — сказал он.

Темные изгороди. Тишина. Поля. Черная линия сосен на горизонте. Мужчины тяжелыми неторопливыми шагами возвращались на фермы, сейчас они сядут за длинный стол и молча съедят свой суп. Стадо коров перешло дорогу. Одна из них чего-то испугалась и, подпрыгивая, шарахнулась в сторону. Марсель прижалась к Даниелю.

–. Представьте себе, я боюсь коров, — сказала она вполголоса.

Даниель нежно сжал ее руку. «Пошла бы ты к черту!» — мысленно ругнулся он. Марсель глубоко вздохнула и замолчала. Он покосился на нее и увидел мутные глаза, сонную улыбку, блаженный вид: «Готово! — подумал он с удовлетворением. — Она снова отключилась». Это временами на нее находило, когда ребенок шевелился в животе, или когда ее охватывало какое-то незнакомое ощущение; должно быть, она чувствовала себя до упора заселенной, переполненной — млечный путь. Так или иначе, он выиграл минут пять. Даниель подумал: «Я гуляю в деревне, мимо проходят коровы, эта тучная женщина — моя жена». Ему захотелось смеяться: за всю жизнь он не видел столько коров. «Ты этого хотел! Ты этого хотел! Ты загодя желал катастрофы, что ж, ты ее получил!» Они шли медленно, как двое влюбленных, под руку, вокруг жужжали мухи. Какой-то старик, опершись на лопату, неподвижно стоял на краю своего поля, он смотрел, как они проходили, и улыбнулся им. Даниель почувствовал, что густо краснеет. В этот момент Марсель вышла из оцепенения.

— Вы верите, что война будет? — быстро спросила она. Ее движения потеряли агрессивную напряженность, они были грузными и томными. Но она сохранила грубоватый категоричный тон. Даниель смотрел на поля. Что это за поля? Он не отличал кукурузного поля от свекольного. До него донесся голос Марсель, повторившей:

— Вы в это верите?

Даниель подумал: «Если б разразилась война!» Марсель стала бы вдовой. Вдова с ребенком и с шестьюстами тысячами франков наличности. Не считая благоговейных воспоминаний о несравненном муже: чего она могла еще хотеть? Даниель резко остановился, потрясенный своим желанием; он изо всех сил сжал набалдашник трости и подумал: «Господи, хоть бы началась война!» Сумасшедшая молния, которая взорвет эту мягкую тишину, чудовищно вспашет эти деревни, изроет воронками эти поля, преобразует эти ровные и монотонные земли в беспокойное море, война, повальная гибель людей доброй воли, мясорубка для невинных». Они искромсают это чистое небо собственными руками. Как они будут ненавидеть друг друга! Как они будут содрогаться от ужаса! А сам я буду трепетать в этом море ненависти». Марсель удивленно смотрела на него. Он едва не рассмеялся. — Нет. Я в это не верю.

Дети на дороге, их звонкие беззащитные голоса, их смех. Мир. Солнце рябит в изгородях, как вчера, как завтра; на повороте дороги показалась колокольня Пейреорада. Каждая вещь на свете имеет свой запах, свою вечернюю тень, бледную и длинную, свое неповторимое будущее. И совокупность всех этих будущих — мир: до него можно дотронуться, коснувшись трухлявого дерева этой изгороди, нежной шейки этого мальчугана, его можно прочесть в его пытливых глазах, он поднимается из согретой дневным солнцем крапивы, он слышен в перезвоне этих колоколен. Повсюду люди собрались вокруг дымящихся супниц, они ломают хлеб, наливают в стаканы вино, вытирают ножи, их повседневные движения образуют мир. Он здесь, сотканный из всех будущих, в нем есть изменчивое упорство природы, он — вечное возвращение солнца, дымчатый покой полей, суть трудов человеческих. Нет ни одного движения, которое его не призывает и не реализует, даже тяжелая походка Марсель рядом со мной, даже нежная хватка моих пальцев на ее руке. Град камней в окно: «Вон отсюда! Вон отсюда!» Милан едва успел отскочить назад. Резкий

голос выкрикивал его имя: «Глинка! Милан Глинка, вон отсюда!» Кто-то запел: «Чехи, как блохи в немецкой шубе!» Камни покатились по полу. Булыжник разбил каминное зеркало, другой упал на стол и размолотил чашку с кофе. Кофе разлился по клеенке и медленно закапал на пол, под окном все горланили по-немецки Он подумал: «Они разлили мой кофе!» и схватил стул за спинку. Он покрылся испариной. Он поднял стул над головой.

— Что ты делаешь? — закричала Анна.

— Я швырну его им в морду.

— Милан, не смей! Ты не один.

Он поставил стул и с удивлением поглядел на стены. Это была больше не его комната. Они ее разворотили; красный туман заволок ему глаза; он засунул руки в карманы и мысленно повторял: «Я не один. Я не один». Даниель думал: «Я один». Один со своими кровавыми мечтами в этом беспредельном безмятежном мире. Танки и пушки, самолеты, грязные воронки, обезобразившие поля, — это был всего лишь маленький шабаш в его голове. Никогда это небо не расколется; будущее осеняло эти селенья; Даниель был внутри, как червь в яблоке. Будущее всех этих людей: они его творили собственными руками, медленно, годами, и они мне в нем не оставили крохотного местечка, самого скромного шанса. Слезы бешенства навернулись на глаза Милану, Даниель повернулся к Марсель: «Моя жена, мое будущее, единственное, что мне осталось, потому что мир уже распорядился своим спокойствием».

Как крыса! Он приподнялся на локтях и смотрел, как мимо пробегали лавки.

— Ложитесь! — плачущим голосом взмолилась Жаннин. — И не вертитесь во все стороны: у меня уже голова кружится.

— Куда нас отправят?

— Я же вам сказала, что не знаю.

— Вы знаете, что нас собираются эвакуировать, и не знаете, куда? Так я вам и поверил!

— Но клянусь, этого мне не сказали. Не мучьте меня!

— Прежде всего, кто вам об этом сказал? Может, все это враки? Вы готовы проглотить все что угодно.

— Главный врач клиники, — с сожалением призналась Жаннин.

— И он не сказал, куда?

Коляска катилась вдоль рыбного магазина Кюзье; он, начиная с ног, погрузился в резкий и пресный запах свежей рыбы.

— Быстрее! Здесь пахнет немытой девчонкой!

— Я… я не могу идти быстрее. Я вас умоляю, моя куколка, не волнуйтесь, вы нагоните себе температуру. -

Она вздохнула и добавила про себя: — Я не должна была вам этого говорить.

— Естественно! А в день отъезда мне дали бы хлороформ или сказали бы, что везут на пикник.

Он снова лег, потому что они должны были проходить мимо книжного магазина Наттье. Он ненавидел этот книжный магазин с его грязно-желтой витриной. И потом, старуха всегда стояла на пороге и сплетала руки, когда видела, как его провозят мимо.

— Вы меня трясете! Осторожно!

Как крыса! Есть люди, которые могут вскочить, побежать, спрятаться в погребе или на чердаке. Я же мешок, им достаточно прийти и взять меня.

— Вы будете наклеивать этикетки, Жаннин?

— Какие этикетки?

— Этикетки для отправки: верх, низ, бьется, будьте осторожны. Одну наклеите мне на живот, другую — на задницу.

— Злюка! — возмутилась она. — Злюка! Злюка!

— Ладно! Нас, естественно, повезут на поезде?

— Да. А как же еще?

— На санитарном поезде?

— Но я не знаю! — закричала Жаннин. — Я не хочу выдумывать, я вам уже сказала, что не знаю!

— Не кричите — я не глухой.

Коляска резко остановилась, и он услышал, что Жаннин сморкается.

— Что с вами? Вы меня остановили посреди улицы… Коляска снова покатилась по неровной мостовой. Он продолжит.

— Однако нам часто говорили, что следует избегать поездок на поезде.

Над его головой слышалось тревожное сопение, и он замолчал: он опасался, что она разревется. В этот час улицы кишели больными; хороша же будет картина: взрослого парня везет плачущая

медсестра… Но тут ему пришла в голову мысль, и он, не сдержавшись, процедил сквозь зубы:

— Ненавижу переезжать.

Они все решили за него, они берут на себя все, у них здоровье, сила, свободное время; они проголосовали, выбрали своих вождей, они стояли с важным и озабоченным видом, они бегали по всей земле, они договорились между собой о судьбах планеты и, в том числе, о судьбе несчастных больных — тех же взрослых детей. И вот результат война, доигрались. Почему я должен расплачиваться за их глупости? Я больной, никто не спросил моего мнения! Теперь они вспомнили, что я существую, и хотят увлечь меня за собой, в свое дерьмо. Меня возьмут за подмышки и щиколотки, скажут мне: «Извини, брат. Но мы воюем», сунут меня в угол, как помет, чтобы я не осмелился помешать их кровавым стрельбищам. Вопрос, от которого он долго удерживался, едва не сорвался с губ. Он ей причинит боль, ну и пусть: он все равно спросит.

— А вы… а сестры будут нас сопровождать?

— Да, — сказала Жаннин. — Некоторые.

— А… а вы?

— Нет, — ответила Жаннин. — Я — нет. Он, задрожав, прохрипел:

— Вы нас бросаете?

— Меня направляют в госпиталь в Дюнкерке.

— Ладно, ладно! — сказал Шарль. — Все сестры стоят друг друга, а?

Жаннин не ответила. Он привстал и осмотрелся. Его голова вертелась сама по себе слева направо и справа налево, это было утомительно, и в глазах у него сухо пощипывало. Навстречу им катилась коляска, которую толкал высокий элегантный старик. На фиксаторе лежала молодая женщина с худым лицом и золотистыми волосами; на ноги ей набросили роскошное меховое манто. Она мельком взглянула на Шарля, откинула голову и пробормотала несколько слов в склоненное лицо пожилого господина.

— Кто это? — спросил Шарль. — Я уже давно ее вижу.

— Не знаю. Кажется, артистка мюзик-холла. Ей ампутировали ногу, потом руку.

— Она знает? — Что?

— Я хочу сказать, больные, они знают?

— Никто не знает, доктор запретил об этом распространяться.

— Жаль, — проговорил он с усмешкой. — Может, она не так чванилась бы.

— Побрызгайте инсектицидом, — сказал Пьер перед тем, как сесть в фиакр. — Здесь пахнет насекомыми.

Араб послушно распылил немного жидкости на белые чехлы и подушки сидения.

— Готово, — сказал он. Пьер нахмурил брови:

— Гм!

Мод закрыла ладонью его рот.

— Не надо, — умоляюще сказала она. — Не надо! И так сойдет.

— Как хочешь. Но если наберешься блох, потом не жалуйся.

Он подал ей руку, чтобы помочь подняться в фиакр, и уселся рядом. Худые пальцы Мод оставили на его ладони сухой лихорадочный жар: у нее всегда была небольшая температура.

— Повезите вокруг крепостных стен, — распорядился Пьер.

Что ни говори, бедность делает человека вульгарным. Мод была вульгарна, он ненавидел ее панибратство по отношению к кучерам, носильщикам, гидам, официантам: она постоянно принимала их сторону, и если их заставали на месте преступления, всегда старалась найти им извинения.

Кучер стегнул лошадь, и фиакр, скрипя, тронулся.

— Ну и колымага! — смеясь, сказал Пьер. — Того и гляди, ось сломается.

Мод высунулась из окошка и посмотрела окрест большими, серьезными и совестливыми глазами.

— Это наша последняя прогулка.

— Да! — ответил он. — Последняя.

Она настроена на лирический лад, так как это последний день, и завтра мы сядем на пароход. Это его раздражало, но он лучше переносил ее задумчивость, нежели веселость. Она была не очень красива, и когда хотела выказать любезность или живость, это сразу превращалось в бедствие. «Вполне достаточно», — подумал он. Будет завтрашний день, три дня плавания, а потом, в Марселе, до свиданья, каждый пойдет своей дорогой. Он был доволен, что заказал себе место в первом классе: в третьем путешествовали четыре женщины, он

пригласит ее в свою каюту, когда захочет, но, будучи робкой, она никогда не осмелится подняться в первый класс, если он сам за ней не придет.

— Вы заказали себе место в автобусе? — спросил он. Мод немного смутилась.

— Мы не поедем автобусом. Нас подвезут на автомобиле в Касабланку.

— Кто?

— Один знакомый Руби, солидный господин, совершенно обворожительный, нам придется сделать крюк через Фес.

— Жаль, — вежливо отозвался он.

Фиакр выехал из Марракеша и теперь катил среди европейского города. Перед ними всухую гнил огромный участок с развороченными бидонами и пустыми консервными банками. Фиакр проезжал меж большими белыми кубами со сверкающими стеклами; Мод надела темные очки, Пьер немного морщился из-за солнца. Аккуратно расположенные бок о бок, кубы не давили на пустыню; подуй ветер — и они, казалось, улетели бы. На одном из них повесили указатель: «Улица маршала Лйоте». Но улицы не было: совсем маленький рукав асфальтированной пустыни между зданиями. Три туземца глазели на проезжающий фиакр; у самого молодого было на глазу бельмо. Пьер приосанился и строго посмотрел на них. Всегда следует показать свою силу, чтобы не быть вынужденным ею воспользоваться — эта формула не имела смысла только для военных властей, но она предписывала нормы поведения колонистам и даже обычным туристам. Не нужно демонстрировать свое могущество: надо лишь не забываться и просто держаться прямо. Тревога, угнетавшая его с утра, испарилась. Под тупыми взглядами этих арабов он чувствовал, что представляет Францию.

— Что будет, когда мы вернемся? — вдруг спросила Мод. Он, не отвечая, стиснул кулаки. Дура — она внезапно возродила его тревогу. Мод настаивала:

— Возможно, будет война. Ты уедешь, а я стану безработной.

Он терпеть не мог, когда она говорила о безработице с серьезным видом работяги. Тем не менее, она была второй скрипкой в женском оркестре «Малютки»[11], гастролировавшем по Средиземноморью и

Ближнему Востоку: это могло сойти за артистическую профессию. Он раздраженно дернулся:

— Прошу тебя, Мод, давай не говорить о повившее. Хотя бы один раз, а? Это наш последний вечер в Марракеше.

Она прижалась к нему:

— Действительно, это наш последний вечер.

Он погладил ее по волосам; но во рту у него оставался горький привкус. Это был не страх — вовсе нет; ему было с кого брать пример, он знал, что никогда не испугается. Это было скорее… разочарование.

Теперь фиакр ехал вдоль крепостных стен. Мод показала на красные ворота, над которыми зеленели верхушки пальм:

— Пьер, ты помнишь? — Что?

— Сегодня ровно месяц, как мы встретились — именно здесь.

— Ах, да…

— Ты меня любишь?

У нее было худощавое личико, немного костистое, с огромными глазами и красивыми губами.

— Да, я люблю тебя.

— Скажи повыразительней! Он наклонился и поцеловал ее.

У старика был сердитый вид, хмуря брови, он смотрел им прямо в глаза. Он отрывисто произнес: «Меморандум! Вот и все их уступки!» Гораций Вильсон покачал головой, он подумал: «К чему он ломает комедию?» Разве Чемберлен не знал, что будет меморандум? Разве все не было решено еще накануне? Разве они не согласились со всем фарсом, когда остались наедине с этим двуличным доктором Шмидтом?[12]

— Обними свою маленькую Мод, у нее сегодня вечером скверное настроение.

Он обнял ее, и она заговорила детским голоском:

— Ты не боишься войны?

Он почувствовал неприятную дрожь, пробежавшую по затылку.

— Моя бедная девочка, нет, не боюсь. Мужчина не должен бояться войны.

— А я точно могу сказать, что Люсьен боится! Это меня и отвратило от него. Он слишком труслив.

Он нагнулся и поцеловал ее в волосы: он недоумевал, почему у него вдруг возникло желание дать ей пощечину?

— Прежде всего, — продолжала она, — как мужчина может защищать женщину, если он все время дрейфит?

— Это не мужчина, — мягко сказал он. — А я — мужчина.

Она взяла его лицо в свои руки и начала говорить, обнюхивая его:

— Да, вы были мужчиной, месье, да, вы были мужчиной. Черные волосы, черная борода — вам можно было дать двадцать восемь лет.

Он высвободился; он чувствовал себя податливым и пресным; тошнота поднималась от желудка к горлу, и он не знал, от чего его больше тошнило — от этой мерцающей пустыни, от этих красных стен или от этой женщины, которая съежилась в его объятиях. «Как же я устал от Марокко!» Он хотел бы оказаться в Туре, в родительском доме, и чтобы было утро, и мать принесла ему в постель завтрак! «Итак, вы спуститесь в салон для журналистов, — сказал он Невилу Гендерсону, — и сообщите, что в соответствии с просьбой рейхсканцлера Гитлера я прибуду в отель «Дрезен» приблизительно в двадцать два тридцать».

— Кучер! — сказал он. — Кучер! Возвращайтесь в город через эти ворота!

— Что с тобой? — удивилась Мод.

— Мне надоели крепостные стены! — вскинулся он. — Мне надоела пустыня и Марокко тоже.

Но он сразу же совладал с собой и двумя пальцами взял ее за подбородок.

— Будешь умницей, — сказал он ей, — купим тебе мусульманские туфли.

Войны не было в музыке манежей, не было в кишащих забегаловках улицы Рошешуар. Ни дуновения ветра. Морис истекал потом, он чувствовал у своего бедра теплое бедро Зезетты, сыграть в белот — и все в порядке, войны не было в полях, в неподвижном дрожании теплого воздуха над изгородями, в звонком, чистом щебете птиц, в смехе Марсель, она возникла в пустыне вокруг стен Марракеша. Поднялся горячий, красный ветер, он вихрем закружился вокруг фиакра, пробежал по волнам Средиземного моря, ударил в лицо Матье; Матье обсыхал на пустынном пляже, он думал: «Даже этого не останется», и ветер войны дул ему прямо в лицо.

Даже этого! Немного похолодало, но ему не хотелось сразу возвращаться. Один за другим люди уходили с пляжа; наступило

время ужина. Само море обезлюдело, оно лежало, пустынное и одинокое, большой лежачий свет, и черный трамплин для лыжников дырявил его., как верхушка кораллового рифа.

«Даже этого не останется», — думал Матье. Она вязала у открытого окна, ожидая писем Жака. Время от времени она со смутной надеждой поднимала голову, она искала взглядом свое море. Ее море: буек, ныряльщик, плещущая о теплый песок вода. Тихий садик, столь подходящий для людей, садик с несколькими широкими аллеями и бесчисленными тропинками. И каждый раз она возобновляла свое вязание с тем же разочарованием: ей изменило ее море. Территория страны, ощетинившаяся штыками и перегруженная пушками, втянет в себя это побережье; вода и песок будут вовлечены в эту воронку и продолжат свою сумрачную жизнь каждый сам по себе. Колючая проволока избороздит белые каменные лестницы звездчатыми тенями; пушки на бульварах между соснами, часовые у вилл; офицеры вслепую будут шагать по этому городу скорбных вод. Море вернется к своему одиночеству. Купаться будет запрещено: вода, охраняемая военными, примет у кромки пляжа казенный вид; вышка для прыжков и буйки не будут больше заманчиво маячить вдалеке; все маршруты, которые Одетта прочертила на волнах со времен своего детства, будут стерты. Но открытое море, наоборот — открытое море, неспокойное и бесчеловечное, с морскими сражениями в пятидесяти милях от Мальты, с гроздьями потопленных кораблей у Палермо, с глубинами, изборожденными железными рыбами, открытое море ополчится против нее, повсюду, во всем будет обнаруживаться его ледяное присутствие, открытое море поднимется на горизонте стеной безнадежности. Матье встал; он уже высох и стал ладонью очищать плавки. «Война, как это омерзительно!» — подумал он. А после войны? Это будет уже другое море. Но какое? Море победителей? Море побежденных? Через пять, через десять лет он, возможно, снова будет здесь, быть может, таким же сентябрьским вечером, в тот же самый час, он будет сидеть на том же песке перед этой огромной желатиновой массой, и те же золотистые лучи будут скользить по поверхности воды. Но что он увидит?

Матье встал, завернулся в халат. Сосны на террасе чернели на фоне неба. Он бросил последний взгляд на море: война еще не разразилась; люди спокойно ужинали на виллах; ни одной пушки, ни

одного солдата, нет колючей проволоки, флот стоит на рейде в Бизерте, в Тулоне; еще дозволено видеть море в цвету, море одного из последних мирных вечеров. Но оно останется спокойным и нейтральным: огромное пространство соленой воды, слегка потревоженное, но молчаливое. Он пожал плечами и поднялся по каменным ступеням: уже несколько дней все поочередно покидало его. Он не ощущал запахов, всех южных запахов, не ощущал вкуса. А теперь — море. «Как крысы бегут с тонущего корабля». Когда наступит день отъезда, он будет совсем пуст, ему будет не о чем сожалеть. Он медленно пошел к вилле, а Пьер выпрыгнул из фиакра.

— Идем, — сказал он, — ты заслужила пару туфель.

Они вошли на рынок. Было поздно; арабы спешили добраться до площади Джемаа-эль-фна до захода солнца. Пьеру стало веселее; волнение толпы его приободрило. Он смотрел на женщин в чадрах, и когда они отвечали на его взгляд, он наслаждался своей красотой, отраженной в их глазах.

— Смотри, — сказал он, — вот и туфли.

Прилавок был переполнен: целая груда дешевых тканей, ожерелий, вышитых туфель.

— Как красиво! — сказала Мод. — Остановимся.

Она запустила руки в этот пестрый беспорядок, и Пьер немного отодвинулся: он не хотел, чтобы арабы видели, как европеец поглощен созерцанием женских безделушек.

— Выбирай, — рассеянно сказал он, — выбирай, что хочешь.

За соседним прилавком продавали французские книги; он, от нечего делать, стал их перелистывать. Тут была уйма детективов и кинороманов. Он слышал, как справа от него под пальцами Мод звякали кольца и браслеты.

— Нашла туфли своей мечты? — спросил он через плечо.

— Я ищу, ищу, — ответила она. — Надо выбрать.

Он вернулся к книгам. Под стопкой «Джека из Техаса» и «Буйвола Билла» он обнаружил книгу с фотографиями.

Это было произведение полковника Пико[13] о ранениях лица; первых страниц не хватало, другие были загнуты. Он хотел быстро положить ее на место, но было слишком поздно: книга открылась сама собой; Пьер увидел ужасное лицо, от носа до подбородка зияла дыра, дыра без губ и зубов; правый глаз вырван, широкий шрам

прорезал правую щеку. Изувеченное лицо сохранило человеческое выражение — отвратительно насмешливый вид. Пьер почувствовал ледяные покалывания по всей коже головы и подумал: как эта книга сюда попала?

— Хороший книга, — сказал торговец. — Не скучаешь. Пьер принялся листать ее. Он увидел людей без носов, без глаз или без век, с выпученными, как на анатомических плакатах, глазными яблоками. Он был загипнотизирован, он просматривал фотографии одну за другой и повторял про себя: «Как она попала сюда?» Самым ужасным было лицо без нижней челюсти; на верхней челюсти не было губы, открылись десны и четыре зуба. «Он жив, — подумал Пьер. — Этот человек жив». Он поднял глаза — облезлое зеркало в позолоченной раме отразило его собственное лицо, он с ужасом посмотрел на него…

— Пьер, — сказала Мод, — посмотри ка, я нашла.

Он замешкался: книга жгла ему руки, но он не мог решиться отшвырнуть ее в общую кучу, отойти от нее, повернуться к ней спиной.

— Иду, — сказал он.

Он указал торговцу пальцем на книгу и спросил:

— Сколько?

Юноша метался, как хищный зверь в клетке, по небольшой приемной. Ирен печатала на машинке любопытную статью о преступлениях военщины. Она остановилась и подняла голову:

— У меня от вас голова кружится.

— Я не уйду, — упорствовал Филипп. — Не уйду, пока он меня не примет…

Ирен засмеялась:

— В чем же дело! Вы хотите его видеть? Что ж, он там, за дверью; вам нужно только войти — и вы его увидите.

— Прекрасно! — сказал Филипп. Он сделал шаг вперед и остановился:

— Я… это будет неловко, я его потревожу. Ирен, пожалуйста, спросите его! В последний раз, клянусь вам, в последний раз.

— Какой вы надоедливый, — сказала она. — Оставьте все это. Питто — подлец; неужели вы не понимаете: вам повезло, что он не хочет вас видеть! Вам же только хуже будет.

— А, куда уж хуже! — иронично сказал он. — Разве мне можно повредить? Сразу видно, что вы не знаете моих родителей: они — сама добродетель, а мне оставили только водить компанию со Злом.

Ирен посмотрела ему в глаза:

— Вы думаете, я не знаю, чего он от вас хочет? Юноша покраснел, но ничего не ответил.

— И потом, после всего, — сказала она, пожимая плечами.

— Пойдите спросите еще, Ирен, — умоляюще повторил Филипп. — Пойдите спросите еще. Скажите ему, что я на пороге кардинального решения.

— Ему на это плевать.

— И все-таки пойдите и скажите.

Она толкнула дверь и вошла, не постучав. Питто поднял голову и скривился.

— Что такое? — прорычал он. Ирен его не боялась.

— Все в порядке, — сказала она. — Не надо так кричать. Там этот мальчик. Мне надоело с ним нянчиться. Вас не очень затруднит, если я вам подброшу его на минутку?

— Я сказал нет! — рявкнул Питто.

— Он говорит, что собирается принять кардинальное решение.

— Какое мне до этого дело, черт побери!

— Ну вас! Разбирайтесь сами, — нетерпеливо сказала она. — Я ваша секретарша, а не его нянька.

— Ладно, — сказал он, сверкнув глазами. — Пусть войдет! Так он собирается принять кардинальное решение! Кардинальное решение! Что ж, а я собираюсь его кардинально прикончить.

Она рассмеялась ему в лицо и вернулась к Филиппу.

— Идите.

Юноша так и бросился, но на пороге кабинета благоговейно застыл, и она вынуждена была его подтолкнуть, чтобы заставить войти. Она закрыла за ним дверь и вернулась к своему столу. Почти тотчас же по ту сторону двери послышалась громкая брань. Ирен, не обращая внимания, продолжала печатать: она знала, что для Филиппа партия проиграна. Он корчил из себя человека, стоящего над общественной моралью, и преклонялся перед Питто; Питто хотел воспользоваться этим, чтобы приголубить его, и все это из чистой порочности: он даже не был педерастом. В последний момент малыш

струсил. Он был как все мальчишки — хотел иметь все, не давая ничего взамен. Теперь он умолял Питто сохранить с ним дружбу, но Питто еще раньше послал его к черту. Она слышала, как он кричал: «Пошел вон! Ты маленький трус, маленький буржуа, маменькин сынок, корчишь из себя сверхчеловека!» Она засмеялась и напечатала еще несколько строк статьи. «Можно ли представить себе более гнусных животных, чем высшие офицеры, осудившие капитана Дрейфуса?» «Как он их приложил», — развеселившись, подумала она.

Дверь с шумом распахнулась и захлопнулась. Филипп стоял перед ней. Лицо у него было заплаканное. Он склонился над столом, направив указательный палец в грудь Ирен:

— Он довел меня до крайности, — сказал он со свирепым видом. — Никто не имеет права доводить людей до крайности. — Он запрокинул голову и засмеялся. — Вы обо мне еще услышите!

— Не забивай себе голову чепухой, — вздохнув, сказала Ирен.

Санитарка закрыла крышку чемодана: двадцать две пары туфель, он, видно, не часто обращался к сапожникам, когда пара изнашивалась, он бросал ее в чемодан и покупал другую; более сотни пар носков с дырами на пятке и большом пальце, в шкафу шесть поношенных костюмов, и везде грязь, настоящее логово холостяка. Ничего не случится, если она оставит его на пять минут; она прошмыгнула в коридор, вошла в туалет, подняла юбки, оставив на всякий случай дверь приоткрытой. Она быстро облегчилась, внимательно прислушиваясь к малейшему шуму; но Арман Вигье продолжал послушно лежать, совсем один в своей комнате, его желтые руки покоились на простыне, худое лицо с седой бородой и впавшими глазами запрокинулось, он отстраненно улыбался. Маленькие ноги вытянулись под простыней, а ступни образовывали одна с другой угол в восемьдесят градусов, его ногти остро торчали — ужасные ногти больших пальцев нот, подрезаемые перочинным ножиком каждые три месяца, они-то в течение двадцати пяти лет и дырявили все носки. На ягодицах у него были пролежни, хотя под него и подкладывали резиновый круг, но они больше не кровоточили: он был мертв. На ночной столик положили его пенсне и вставную челюсть в стакане.

Мертв. А его жизнь была здесь повсюду, неощутимая, законченная, суровая и полная, как яйцо, до того заполненная, что все

силы на свете не смогли бы просунуть в нее и скрупул, до того пористая, что Париж и мир проходили сквозь нее, разбросанная по четырем сторонам Франции и полностью сконцентрированная в каждой точке пространства, большая, неподвижная и крикливая ярмарка; здесь были крики, смех, свистки локомотивов и взрывы шрапнели, 6 мая 1917 года, эта кровавая бомбежка в его голове, когда он падал между двумя траншеями, здесь были окоченевшие шумы, и настороженная санитарка слышала лишь журчание под своими юбками. Она выпрямилась, из уважения к смерти не спустила воду и вернулась к изголовью Армана, проходя через большое неподвижное солнце, навеки освещающее лицо женщины в лодке 20 июля 1900 года. Арман Вигье умер, жизнь его плавала, вобрав в себя неподвижные горести, большой полосатый узор, который от одного до другого конца пересекает март 1922 года, его межреберную боль, нерушимые маленькие сокровища, радугу над набережной Берси субботним вечером, когда шел дождь, и мостовые блестели, смеясь, промчались два велосипедиста, удушливым мартовским полднем шум дождя на балконе, цыганский напев, исторгнувший из глаз слезы, капли блестевшей в траве росы, взлет голубей на площади Святого Марка. Она развернула газету, поправила на носу очки и прочла: «Последние новости. Встреча господина Чемберлена с рейхсканцлером Гитлером сегодня в полдень не состоялась». Она подумала о своем племяннике, которого, безусловно, мобилизуют, положила газету рядом с собой и вздохнула. Мир был еще здесь, как радуга, как солнце, как светлый рукав реки, осиянный светом. Мир 1939, а потом и 1940, и 1980 года, огромный мир людей; санитарка сжала губы, она подумала: «Это война». Она посмотрела вдаль, и взгляд ее проходил мир насквозь. Чемберлен покачал головой, он сказал: «Естественно, я сделаю, что смогу, но особых надежд у меня нет». Гораций Вильсон почувствовал, как неприятная дрожь пробежала по спине, он сказал себе: «Искренен ли он?», а санитарка подумала: «Муж в четырнадцатом году, племянник в тридцать восьмом: я жила между двумя войнами». Но Арман Витье знает: только что родился мир, Шанталь у него спрашивает: «Почему ты воевал, с твоими-то убеждениями?», и он отвечает: «Чтобы эта война была последней». 27 мая 1919 года. Отныне и во веки веков. Он слушает Бриана, совсем крошечного на трибуне под прозрачным

небом, он затерялся в толпе паломников, мир спустился на них, они касаются его, они его видят, они кричат: «Да здравствует мир!» Отныне и во веки веков. Он сидит на железном стульчике в Люксембургском саду, отныне он будет всегда смотреть на эти цветущие каштаны, война стала достоянием прошлого, он вытягивает изящные ноги, смотрит на бегающих детей, он думает, что они никогда не узнают ужасов войны. Предстоящие годы будут безмятежной столбовой дорогой, время распускается веером. Он смотрит на свои старые руки, согретые солнцем, он улыбается, он думает: «Это благодаря нам. Войны больше не будет. Ни в моей жизни, ни после меня». 22 мая 1938 года. Отныне и во веки веков. Арман Вигье умер, и никто не может больше признать, прав он или неправ. Никто не может изменить нерушимое будущее его остывшего тела. Днем больше, одним-единственным днем, и все его надежды, возможно, рухнули бы, он вдруг обнаружил бы, что вся его жизнь была расплющена между двумя войнами, как между молотом и наковальней. Но он умер 23 сентября 1938 года в четыре часа утра после семи дней агонии. Он унес с собой мир. Мир, весь мир планеты, казалось, нерушимый. В дверь позвонили, санитарка вздрогнула, должно быть, это кузина из Анжера, его единственная родственница, вчера ее известили телеграммой. Санитарка отворила маленькой женщине в черном, с крысиной мордочкой, полузакрытой волосами. — Я — мадам Вершу.

— Очень хорошо, проходите, пожалуйста.

— Его еще можно увидеть?

— Да. Он здесь.

Мадам Вершу подошла к кровати, посмотрела на впалые щеки и ввалившиеся глаза.

— Он очень изменился, — сказала она.

Двадцать часов тридцать минут в местечке Жуан-ле Пен, двадцать один тридцать в Праге.

— Не выключайте радио. В ближайшие минуты последует очень важное сообщение. Не выключайте радио. В ближайшие минуты…

— Ушли, — сказал Милан.

Он стоял в оконном проеме. Анна не ответила. Она нагнулась и начала собирать осколки стекла, самые большие камни положила в

передник и выбросила в окно. Лампа была разбита, комната стала темно-синей.

— А сейчас, — сказала она, — я хорошенько подмету. Она повторила «подмету» и задрожала.

— Они у нас заберут все, — плача, сказала она, — все разломают, нас отсюда выгонят.

— Замолчи, — оборвал ее Милан. — Ради бога, не плачь! Он подошел к приемнику, повернул ручки, и внутри засветились лампы.

— Работает, — удовлетворенно сказал он. Внезапно комнату заполнил суховатый механический голос:

— Не выключайте радио. В ближайшие минуты последует важное сообщение. Не выключайте радио. В ближайшие минуты последует важное сообщение…

— Слушай, — изменившимся голосом сказал Милан, — слушай!

Пьер шел широкими шагами. Мод трусила рядом с ним, прижимая рукой туфли. Она была довольна.

— Какие красивые, — лепетала она. — Руби умрет от зависти; она купила себе туфли в Фесе, но куда им до этих. И потом, это так удобно, надеваешь их, едва выпрыгнув из постели, не нужно даже притрагиваться к ним руками, а с обычными туфлями столько возни. Тут же всего одно движение, чтобы не потерять их, нужно просто выгнуть стопу, ставя большие пальцы вот так; я расспрошу у горничной в отеле, она арабка.

Пьер продолжал хранить молчание. Мод бросила на него беспокойный взгляд и продолжала:

— Тебе нужно купить себе такие же, а то ты всегда ходишь по комнате босиком; знаешь, они подходят и женщинам, и мужчинам…

Пьер резко остановился посередине улицы.

— Хватит! — прорычал он.

Она в недоумении тоже остановилась.

— Что с тобой?

— «Подходят и женщинам, и мужчинам!» — передразнил он Мод. — Сколько можно? Ты прекрасно знаешь, о чем я думал, пока ты болтала! Ты ведь тоже об этом думала, — в бешенстве добавил Пьер. Он облизал губы и язвительно усмехнулся. Мод хотела что-то сказать, но посмотрела на него и осеклась.

— Просто никто не хочет смотреть правде в глаза, — продолжал он. — Особенно женщины: когда они о чем-то думают, тут же начинают говорить о другом. Разве не так?

— Но, Пьер, — растерянно сказала Мод, — ты совсем сошел с ума! Я не понимаю, что ты говоришь. О чем, по-твоему, я думаю? И о чем думаешь ты?

Пьер вынул из кармана книгу, открыл ее и сунул ей под нос:

— Об этом.

Это была фотография обезображенного лица: носа не было, на глазу белела повязка.

— Ты… ты это купил? — изумилась она.

— Да, — сказал Пьер, — ну и что? Я мужчина, и я ничего не боюсь: я просто хочу видеть, какое лицо у меня будет через год.

Он помахал фотографией у нее перед носом.

— Ты будешь меня любить, когда я стану таким?

Ей стало страшно от такой мысли, она все отдала бы, лишь бы он замолчал.

— Отвечай! Будешь любить такого?

— Хватит, — сказала она, — умоляю тебя, хватит.

— Эти люди, — сказал Пьер, — живут в приюте Валь-де-Грас. Они выходят только по ночам, да и то с маской на лице.

Она хотела взять у него книгу, но он вырвал ее и сунул в карман. Мод посмотрела на него, губы у нее дрожали, она боялась разрыдаться.

— Пьер, — прошептала она. — Так значит, ты боишься? Он резко умолк и недоуменно уставился на нее. Оба на минуту замерли, затем он протянул:

— Все люди боятся. Все. Не боятся только дураки; храбрость тут ни при чем. И ты не имеешь права осуждать меня, потому что воевать будешь не ты.

Они молча зашагали дальше. Мод думала: «Он трус!» Она смотрела на его высокий загорелый лоб, на флорентийский нос, на его красивые губы и думала: «Он трус. Как Люсьен. Как же мне не везет».

Силуэт Одетты плавал в световом мареве, тень ее уходила в сумрак гостиной; облокотившись о перила балкона, Одетта смотрела на море; Большой Луи думал: «Какая еще война?» Он шел, и красноватый свет заката плясал на его руках и бороде; Одетта

чувствовала спиной уютную полутемную комнату, уютное прибежище, белую скатерть, слабо светившуюся в темноте, но Одетта была на свету, свет, знание и война входили в нее через глаза, она думала, что скоро он снова уйдет на войну, электрический свет сгущался пучками в зыбкости уходящего дня, пучками яично-желтого цвета, Жаннин повернула выключатель, руки Марсель двигались в желтизне под лампой, она попросила соли, ее руки отбрасывали тени на скатерть, Даниель сказал: «Это блеф, нужно только немного продержаться, скоро он откроет карты». Жесткий свет царапает глаза, как наждак, на юге всегда так, до последней минуты. Сейчас полдень, но потом внезапно кубарем скатывается ночь, Пьер болтал, он хотел заставить ее поверить, что он снова обрел спокойствие, но Мод молча шла рядом с ним с таким же жестким, как этот свет, взглядом. Когда они пришли, Мод испугалась, что он предложит ей вместе провести ночь, но Пьер снял шляпу и холодно сказал: «Нам завтра рано вставать, и тебе еще вещи собирать, думаю, тебе лучше сегодня переночевать с подругами». Она ответила: «Я тоже думаю, что так лучше». И он сказал ей: «До завтра». «До завтра, — ответила она, — до завтра на пароходе».

«Не выключайте радио, в ближайшие минуты последует важное сообщение». Он лежал, положив руки под голову, и чувствовал себя, как во хмелю, он сказал: «Мы любим нашу маленькую куколку». Она вздрогнула и ответила: «Да…» Как и каждый вечер, она боялась. «Да, я вас очень люблю!» Иногда она соглашалась, иногда говорила нет, но сегодня вечером не посмела. «Значит куколка получит маленькую ласку, маленькую вечернюю ласку?» Жаннин вздохнула, ей было стыдно, и это было забавно. Она сказала: «Не сегодня». Он отдышался и проговорил: «Бедная куколка, она так волнуется, это ее так успокоило бы. Это ей поможет уснуть, разве вы этого не хотите? Не хотите? Ты же знаешь, это меня всегда успокаивает…» Она напустила на себя вид старшей медсестры, как в минуты, когда сажала его на судно, голова ее одеревенела, глаза она не закрыла, но старалась ничего не видеть, а ее руки профессионалки быстро расстегивали его, лицо ее стало совсем грустным, и это было ужасно забавно, она запустила ему под одежду руку, мягкую, как миндальное тесто, Одетта вздрогнула и сказала: «Вы меня испугали. Жак с вами?» Шарль вздохнул, Матье сказал: нет. «Нет, — сказал Морис, — нужно

то, что нужно». Он снял ключ со щита. «Пахнет мочой, фу, как противно». — «Это малыш мадам Сальвадор, — ответила Зезетта, — она его выгоняет, когда принимает мужчин, а он развлекается: по всем углам спускает штанишки».

Они поднялись по лестнице: «Не выключайте радио, важное сообщение…» Милан и Анна склонились над приемником, победный гул врывался через окна. «Сделай немного потише, — сказала Анна, — не нужно их провоцировать», рука, нежная, как миндальное тесто, Шарль распускался, расцветал, огромный плод набух, стручок вот-вот лопнет, плод, направленный прямо в небо, сочный плод, унушающе-оглушающе-нежнаявесна; молчание, стук вилок и долгие атмосферные помехи в приемнике, ласка ветра на большом бархатистом плоде, Анна вздрогнула и сжала руку Милана.

«Сограждане,

Чехословацкое правительство объявляет всеобщую мобилизацию; все мужчины в возрасте до сорока лет и специалисты всех возрастов должны немедленно собраться. Все офицеры, унтер-офицеры и солдаты запаса и резерва всех степеней, все отпускники должны немедленно собраться в мобилизационных пунктах. Все должны быть одеты в поношенную гражданскую одежду, иметь при себе военные билеты и сухой паек на двое суток. Крайний срок прибытия на соответствующие пункты сбора — четыре тридцать утра.

Весь транспорт, автомобили и самолеты временно конфискуются. Продажа бензина дозволена только с разрешения военных властей. Сограждане! Наступил решающий момент. Успех зависит от каждого из нас. Пусть каждый отдаст все силы на благо родины. Будьте отважны и верны. Наша борьба — борьба за справедливость и свободу!

Да здравствует Чехословакия!»

Милан выпрямился, он весь пылал, он положил руки на плечи Анны и сказал ей:

— Наконец-то! Анна, началось! Началось!

Женский голос повторил обращение на словацком, они больше ничего не понимали, кроме некоторых слов, но это звучало, как боевая музыка. Анна повторила: «Наконец-то! Наконец-то!», и слезы потекли

по ее щекам. «Die Regierung hat entschlossen» — это уже по-немецки, Милан повернул ручку до упора, и радио завопило, этот голос разобьет о стены их отвратительные песни, их праздничный гвалт, он выйдет через окна, он разобьет оконные стекла Егершмиттов, он найдет их в мюнхенских гостиных, в их маленьком семейном кругу, и нагонит на них страху. Запах мочи и прокисшего молока подстерегал его, он его глубоко вдохнул, запах вошел в него, как от взмаха веника, очищая его от золотистых опрятных ароматов улицы Руаяль, это был запах нищеты, это был его запах. Морис стоял у двери, пока Зезетта вставляла ключ в замочную скважину, а Одетта весело твердила: «К столу, к столу, Жак, тебя ждет сюрприз»; он чувствовал себя сильным и бодрым, он снова обрел ощущение гнева и бунта; на третьем этаже выли дети: их отец вернулся домой пьяным; в соседней комнате слышались мелкие шажки Марии Прандзини, ее муж, кровельщик, упал с крыши в прошлом месяце, звуки, цвета, запахи — все казалось таким подлинным, он очнулся, подступала реальность войны.

Старик повернулся к Гитлеру; он посмотрел на эту злую детскую мордочку, мордочку мухи, и почувствовал себя до глубины души потрясенным. Вошел Риббентроп, он сказал несколько слов по-немецки, и Гитлер подал знак доктору Шмидту: «Мы узнали, — сказал по-английски доктор Шмидт, — что правительство господина Бенеша объявило всеобщую мобилизацию». Гитлер молча развел руками, как бы сожалея, что события подтвердили его правоту. Старик любезно улыбнулся, и в его глазах зажегся багровый огонек. Огонек войны. Ему оставалось только насупиться, как фюрер, развести руками, как бы говоря: «Ну что? Стало быть, так!» — и стопка тарелок, которую он удерживал в равновесии в течение семнадцати дней, обрушится на паркет. Доктор Шмидт с любопытством смотрел на него, думая, что, должно быть, заманчиво расставить руки, когда в течение семнадцати дней несешь стопку тарелок, в голове у него промелькнуло: «Вот исторический момент», он подумал, что они наконец-то причалили к последней гавани, и старый лондонский коммерсант[14] угодил в ловушку. Теперь фюрер и старик молча смотрели друг на друга, и никакой переводчик был им не нужен. Доктор Шмидт слегка отступил.

Он сел на скамейку на площади Желю и положил рядом банджо. Под платанами стоял темно-синий сумрак, слышалась музыка, был

вечер, мачты рыболовецких судов чернели у кромки суши, а с другой стороны порта сверкали сотни окон. Какой-то мальчик баловался водой в фонтане, на соседнюю скамейку уселись другие негры и поздоровались с ним. Он не хотел ни есть, ни пить, он искупался за дамбой, он встретил высокого, заросшего человека, казалось, свалившегося с луны, и тот дал ему выпить, все было прекрасно. Он вынул банджо из футляра, ему захотелось петь. Секунду-другую он кашляет, прочищает горло, сейчас он запоет, Чемберлен, Гитлер и Шмидт молча ожидали войну, она разразится через мгновенье, нога отекла, но это пройдет, через мгновенье он высвободит ее из ботинка, Морис, сидя на кровати, стягивал его изо всех сил, через мгновенье Жак доест бульон, Одетта больше не услышит этот легкий раздражающий шелест, фейерверк, кишение снарядов, готовых выскочить из орудий, через мгновенье солнца скопом ударят вверх, ее куколка через мгновенье запахнет полынной водкой, и нечто теплое, обильное, клейкое зальет его парализованные бедра, в это мгновение звучный и нежный голос взмоет через платановую листву; в то же мгновенье Матье ел, ела Марсель, ел Даниель, ел Борис, ел Брюне; у всех у них мгновенные души, заполненные до краев маленьким вязким наслаждением, мгновенье — и она войдет, закованная в сталь, устрашающая Пьера, принятая Борисом, алкаемая Даниелем, война, большая война ходячих, безумная война белых. Мгновенье — и она разразилась в комнате Милана, она вышла наружу через все окна, она с грохотом обрушилась на Егершмиттов, она бродила у крепостной стены Марракеша, она дула на море, она заставляла проседать здания на улице Руаяль, она наполнила ноздри Мориса своим запахом мочи и прокисшего молока; в полях, на конюшнях, в фермерских дворах ее еще не было, она разыгрывалась в орла и решку между двумя зеркалами трюмо в лепных салонах отеля «Дрезен». Старик провел рукой по лбу и беззвучно произнес: «Что ж, если угодно, мы обсудим одну за другой статьи вашего меморандума». И доктор Шмидт понял, что переводчикам следует вновь приступить к работе.

Гитлер подошел к столу, и прекрасный низкий голос взмыл в воздух; на шестом этаже гостиницы «Массилиа» женщина, отдыхавшая на балконе, услышала его и сказала: «Гомес, иди послушай негра, это восхитительно!» Милан вспомнил о своей ноге, и радость его померкла, он стиснул плечо Анны и проговорил: «Меня

не призовут, я больше ни на что не гожусь». А негр пел. Арман Вигье мертв, его бледные руки вытянуты на простыне, две женщины бдели у его одра, обсуждая события, они сразу же прониклись взаимной симпатией, Жаннин взяла махровое полотенце и вытерла руки, затем стала вытирать ему бедра, Чемберлен сказал: «Что касается первого параграфа, то я позволю себе два замечания», а негр пел: «Bei mir, bist du schon, что значит: «Для меня вы самая красивая».

Остановились две женщины, он их знал, Анина и Долорес, две потаскушки с улицы Ласидон, Анина сказала: «Ты поешь?», и он не ответил, он пел, и женщины улыбнулись ему, а Сара нетерпеливо позвала: «Гомес, Пабло, идите же! Чем вы там заняты? Здесь негр поет, это прелестно!»

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

В Кревильи[15] в шесть часов папаша Крулар вошел в жандармерию и постучал в дверь кабинета. Он подумал: «Они меня разбудили». Он им так и скажет: «Зачем меня разбудили?» Гитлер спал, Чемберлен спал, его нос посвистывал, как флейта, Даниель, покрытый испариной, сидел на кровати и думал: «Это был всего лишь кошмар!»

— Войдите! — крикнул жандармский лейтенант. — А, это вы, папаша Крулар? Нужно будет постараться.

Ивиш тихо застонала и повернулась на бок.

— Меня разбудил малыш, — сказал папаша Крулар. Он с обидой посмотрел на лейтенанта и промолвил: — Это, должно быть, что-то важное…

— Ну, папаша Крулар, настало время смазывать сапоги! Папаша Крулар не любил лейтенанта. Он удивился:

— При чем тут сапоги? У меня нет сапог, у меня сабо.

— Настало время смазывать сапоги, — повторил лейтенант, — смазывать сапоги: ну и влип же я!

Без усов он был похож на девушку. У него было пенсне и розовые щеки, как у учительницы. Он наклонился вперед и расставил руки, опершись на стол кончиками пальцев. Папаша Крулар смотрел на него и думал: «Это он приказал меня разбудить».

— Вас предупредили, что нужно принести пузырек с клеем? — спросил лейтенант.

Папаша Крулар держал клей за спиной; он молча показал его.

— А кисточки? — осведомился лейтенант. — Все нужно сделать быстро! Домой возвращаться уже некогда.

— Кисточки у меня в кармане, — с достоинством ответил папаша Крулар. — Меня разбудили неожиданно, но все же я не забыл кисточки.

Лейтенант протянул ему рулон:

— Одно объявление повесите на фасаде мэрии, два — на главной площади и одно — на доме нотариуса.

— Метра Бельомма? Но там запрещено вешать объявления, — возразил папаша Крулар.

— Плевать! — отрезал лейтенант. Вид у него был беспокойный и веселый. — Я беру это на себя, я все беру на себя.

— Значит, и вправду мобилизация?

— Вправду! — крикнул лейтенант. — Все мы пойдем в р-р-рукопашную, папаша Крулар, мы пойдем в р-р-ру-копашную!

— Какое там! — вздохнул папаша Крулар. — Мы-то с вами, наверное, останемся здесь.

В дверь постучали, и лейтенант торопливо пошел открывать. На пороге стоял мэр. Он был в сабо, с перевязью поверх рубашки.

— Так за чем вы прислали ко мне малыша?

— Вот плакаты, — ответил лейтенант.

Мэр надел очки и развернул рулоны. Он вполголоса прочел: «Всеобщая мобилизация» и быстро положил объявления на стол, как будто боялся обжечься. Он сказал:

— Я был в поле, забежал только взять свою перевязь. Папаша Крулар протянул руку, свернул плакаты и засунул рулон под рубашку. Он обратился к мэру:

— Я удивился: с чего бы это меня в такую рань разбудили?

— Я забежал только взять свою перевязь, — повторил мэр. Он с беспокойством посмотрел на лейтенанта: — Там ничего нет о реквизиции.

— Это на другом плакате, — пояснил лейтенант.

— Боже мой! — воскликнул мэр. — Боже мой! Снова все начинается!

— Я воевал, — сообщил папаша Крулар. — Четыре с лишним года, и без единой царапины! — Он сощурил глаза, развеселившись от этого воспоминания.

— Хорошо, — сказал мэр. — Вы воевали на той войне, но не будете воевать на этой. И потом, вам плевать на реквизиции.

Лейтенант властно ударил по столу:

— Надо что-то делать! Нужно как-то отреагировать.

У мэра был растерянный вид. Он просунул руки под перевязи и выгнул спину.

— Барабанщик болен, — сказал он.

— Я умею бить в барабан, — ввернул папаша Крулар. — Могу его заменить. — Он улыбнулся: вот уже десять лет, как он мечтал стать барабанщиком.

— Барабанщик? — переспросил лейтенант. — Вы пойдете бить в набат. Вот что вы будете делать!

Чемберлен спал, Матье спал, кабил приставил лестницу к автобусу, взвалил на плечи чемоданы и стал подниматься, держась за поручни, Ивиш спала, Даниель спустил ноги с кровати, в голове его вовсю гремел колокол, Пьер посмотрел на черно-розовые ступни кабила, он думал: «Это чемодан Мод». Но Мод здесь не было, она уедет позже с Дусеттой, Франс и Руби в автомобиле богатого старика, влюбленного в Руби; в Париже, в Нанте, в Маконе клеили на стены белые плакаты, в Кревильи бил набат, Гитлер спал, Гитлер еще ребенок, ему четыре года, на него надели красивое платьице, прошла черная собака, он хотел поймать ее сачком; бил набат, мадам Ребулье внезапно проснулась и сказала:

— Где-то пожар.

Гитлер спал, он маникюрными ножничками кромсал на полосы брюки своего отца. Вошла Лени фон Рифеншталь, она подняла фланелевые полосы и сказала: «Я заставлю тебя их съесть в салате».

Набат бил, бил, бил, Моблан сказал жене:

— Наверняка лесопилка загорелась.

Он вышел на улицу. Мадам Ребулье, стоя в розовой рубашке за ставнями, видела, как он прошел, видела, как он окликнул бегущего мимо почтальона. Моблан кричал:

— Эй! Ансельм!

— Мобилизация! — прокричал в ответ почтальон.

— Что? Что он говорит? — спросила мадам Ребулье подошедшего к ней мужа. — Разве это не пожар?

Моблан посмотрел на два плаката, вполголоса прочел их, потом развернулся и пошел домой. Его жена стояла на пороге, он велел ей: «Скажи Полю, пусть запрягает двуколку». Он услышал шум и обернулся: это Шапен на тележке; он спросил у него: «Куда так спешишь?». Шапен молча взглянул на него и не ответил. Моблан посмотрел вслед тележке: два вола медленно шли следом, привязанные за подуздки. Он вполголоса сказал: «Красивые животные!» «Да, красивые! — разозлился Шапен. — Красивые, черт

возьми!» Набат бил, Гитлер спал, старик Френьо говорил сыну: «Если у меня заберут двух лошадей и тебя, как я работать буду?» Нанетта постучала в дверь, и мадам Ребулье спросила ее: «Это вы, Нанетта? Узнайте, почему бьет набат», и Нанетта ответила: «Разве мадам не знает? Всеобщая мобилизация».

Как и каждое утро, Матье думал: «Все, как каждое утро». Пьер прильнул к стеклам: он смотрел через окно на арабов — те сидели на земле или на разноцветных сундуках и ждали автобуса из Уарзазата[16]; Матье открыл глаза, глаза новорожденного, еще незрячие, и как каждое утро, подумал: «Зачем?» Утро ужаса, огненная стрела, выпущенная на Касабланку, на Марсель, автобус сотрясался у него под ногами, мотор вращался, шофер, высокий мужчина в фуражке из бежевого драпа с кожаным козырьком, докуривал, не спеша, сигарету Пьер думал: «Мод меня презирает». Утро, как всякое утро, стоячее и пустое, ежедневная помпезная церемония с медью и фанфарами, с прилюдным восходом солнца. Когда-то были другие утра: утра-начала — звонил будильник, Матье одним махом вскакивал с постели с суровыми глазами, совсем свежий, как при звуках горна. Теперь больше не было начал, нечего было начинать. И однако же надо было вставать, участвовать в церемониале, пересекать по этой жаре дороги и тропинки, делать все культовые жесты, подобно утратившему веру священнику. Он спустил с кровати ноги, встал, снял пижаму. «Зачем?» И снова упал на спину, совершенно голый, положив под голову руки, сквозь белесый туман он начал различать потолок. «Пропащий человек. Абсолютно пропащий. Когда-то я носил дни на хребте, заставлял их переходить с одного берега на другой; теперь они несут меня». Автобус сотрясался, он бился, трясся под ногами, пол горел, Пьеру казалось, что его подошвы плавятся, его большое трусливое сердце билось, стучало, колотилось о теплые подушки спинки, стекло было горячим, но он заледенел, он думал: «Начинается». А кончится в окопе под Седаном или Верденом, но пока это только начало. Презрительно глядя на него, она сказала: «Значит, ты трус». Он представил ее разгоряченное серьезное личико: темные глаза, тонкие губы, и почувствовал толчок в сердце, автобус тронулся. Было еще очень прохладно; Луизон Корней, сестра дежурной на переезде, приехавшая в Лизье помогать своей больной сестре вести хозяйство, вышла на дорогу, чтобы поднять шлагбаум, и

сказала: «Как прохладно, даже покалывает». У нее было хорошее настроение — она была обручена. Уже два года она была обручена, но каждый раз, когда она об этом думала, это приводило ее в хорошее настроение. Она стала крутить ручку и вдруг остановилась. Луизой чувствовала, что за ее спиной на дороге кто-то был. Выйдя из дому, она и не подумала оглянуться, но теперь она была в этом уверена. Она обернулась, и у нее перехватило дыхание: более сотни тележек, двуколок, телег с быками, старых колясок неподвижно ждали у шлагбаума, выстроившись в нескончаемую очередь. На козлах продрогшие парни с кнутами в руках сидели молча, со злым видом. Кое-кто был верхом, иные пришли пешком, таща на веревке волов. Это было так странно, что она испугалась. Луизон быстро повернула ручку и отскочила на обочину. Парни стегнули лошадей, и повозки двинулись мимо, автобус катился по долгой красной пустыне, повсюду были арабы. Пьер подумал: «Чертовы козлы, я всегда неспокоен, когда чувствую их за спиной, я всегда думаю: что они замышляют?» Пьер бросил взгляд в глубину автобуса: они молча скучились, посеревшие и позеленевшие, с закрытыми глазами. Женщина в чадре пробиралась между мешками и тюками против движения, под чадрой виднелись ее опущенные веки. «Однако это неприятно, — подумал он. — Через пять минут они начнут блевать, у этих людей никудышные желудки». Пока они проезжали, Луизон узнавала их; это были парни из Кревильи, все из Кревильи, она могла каждого назвать по имени, но у них были какие-то странные лица, рыжий здоровяк — это сын Шапена, как-то она танцевала с ним на празднике Сен-Мартен, она ему крикнула: «Эй, Марсель, какой ты бравый!» Он обернулся и сердито посмотрел на нее. Она сказала: «Вы что, на свадьбу едете?» Он буркнул: «Черт бы все побрал. Угадала: на свадьбу». Телега, раскачиваясь, пересекла рельсы, за ней брели два вола, два красивых животных. Прошли другие телеги, она смотрела на них, держа ладонь козырьком. Она узнала Моблана, Турню, Кошуа, они не обращали на нее внимания, они проезжали, выпрямившись на козлах, держа свои кнуты как скипетры, они походили на развенчанных королей, Ее сердце сжалось, она крикнула им: «Это война?» Но никто ей не ответил. Они проезжали в раскачивающихся, подпрыгивающих колымагах, волы с потешным благородством брели за ними, повозки одна за другой исчезли, Луизон еще с минуту

постояла, держа руку козырьком и глядя на восходящее солнце, автобус летел, как ветер, поворачивал и, рыча, делал виражи, она думала о Жане Матра, своем женихе, который служил в Ангулеме в саперном полку, повозки снова появились, как мухи на белой дороге, приклеенные к склону холма, автобус катил между бурыми валунами, поворачивал, при каждом вираже арабы падали друг на друга и жалобно восклицали: «Уех!» Женщина в чадре порывисто встала, и ее невидимый под белым муслином рот исторг ужасные проклятия; она потрясала над головой руками, толстыми, как ляжки, на конце рук танцевали легкие и пухленькие пальцы с накрашенными ногтями; в конце концов она скинула с себя чадру, высунулась в окошко, и ее начало рвать, она стонала. «Готово, — сказал себе Пьер, — готово; сейчас они нас обблюют». Повозки не продвигались, они как будто приклеились к дороге. Луизон долго смотрела на них: они двигались, они все же двигались, одна за другой они подъезжали к вершине холма и исчезали из виду. Луизон уронила руку, ее ослепленные глаза моргали, затем она пошла домой заниматься детьми. Пьер думал о Мод, Матье думал об Одетте, он накануне видел ее во сне, они держали друг друга за талию и пели баркароллу из «Сказок Гофмана» на понтоне «Провансаля». Теперь Матье был гол и весь в поту, он смотрел в потолок, и Одетта незримо присутствовала рядом с ним. «Если я еще не умер от скуки, то этим я обязан только ей». Белесая влага еще подрагивала в его глазах, остатняя нежность еще подрагивала в его сердце. Белая нежность, грустная легкая нежность пробуждения, удобный предлог, чтобы еще несколько минут полежать на спине. Через пять минут холодная вода потечет по его затылку и попадет в глаза, мыльная пена будет потрескивать у него в ушах, зубная паста обклеит его десны, у него не останется нежности ни к кому. Цвета, свет, запахи, звуки. И потом слова — вежливые, серьезные, искренние, смешные — слова, слова, слова — до самого вечера. Матье… фу! Матье — это будущее. Но будущего больше не было. Не было больше и Матье, кроме как во сне, между полуночью и пятью часами утра. Шапен думал: «Два таких красивых животных!» На войну ему было плевать: еще поглядим. Но за этими животными он ухаживал пять лет, он их сам кастрировал, ему разрывало сердце расставанье с ними. Он ударил хлыстом лошадь и направил ее налево; его двуколка медленно объехала телегу Сименона. «Ты чего это?» —

спросил Сименон. — «Мне надоело, — сказал Шапен, — хочу поскорее добраться до места!» «Ты загонишь своих животных», — пытался его урезонить Сименон. «Теперь мне плевать», — ответил Шапен. Ему хотелось всех обогнать; он встал, зацокал языком и крича: «Но! Но!» проскользнул мимо телеги Пополя, мимо телеги Пуляйя. «Ты что, скачки устраиваешь?» — спросил Пуляй. Шапен не ответил, и Пуляй крикнул вдогонку: «Осторожно с животными! Ты же их загонишь!», и Шапен подумал: «Пусть хоть околеют». Все стегали лошадей, но Шапен был теперь впереди, остальные следовали за ним и скорее из соперничества настегивали своих лошадей; стучали, Матье встал и потер глаза; стучали; автобус сделал резкий поворот, чтобы не сбить велосипедиста-араба, который вез на раме толстую мусульманку в чадре; СТУЧАЛИ, Чемберлен вздрогнул, он спросил: «Кто там? Кто стучит?», и ему ответили: «Уже семь часов, ваше превосходительство». У входа в казарму был деревянный шлагбаум. Шапен натянул вожжи и крикнул: «Эй! Эй! Черт возьми!» «Что? — спросил часовой. — Что? Откуда вы заявились?» «Давай! Поднимай эту штуку», — распорядился Шапен, показывая на шлагбаум. «У меня нет приказа, — возразил солдат. — Откуда вы?» «Кому я сказал, подними эту штуку». Из караульного помещения вышел офицер. Телеги остановились; он с минуту смотрел на них, потом прошипел: «Какого черта вы сюда явились?» «Как? Мы мобилизованные, — удивился Шапен. — Мы что, вам не нужны?» «У тебя есть мобилизационное предписание?» — спросил офицер. Шапен начал рыться в карманах, офицер смотрел на всех этих молчаливых и мрачных парней, неподвижных на козлах, с видом рядовых, и он почувствовал гордость, не зная почему. Он приблизился на шаг и крикнул: «А остальные? У вас тоже есть мобилизационные предписания? Предъявите ваши военные билеты!» Шапен вынул свой военный билет. Офицер взял его и полистал. «Ну и что? — сказал он. — У тебя же билет N3, осел. Ты поторопился, твоя очередь в следующий раз». «Говорю вам, я мобилизован, — настаивал Шапен». «Ты что, лучше меня знаешь?» изумился офицер. «Да, знаю! — запальчиво ответил Шапен. — «Я сам читал плакат». За их спиной парни заволновались. Пуляй кричал: «Ну что? Все, что ли? Мы заезжаем?» «Плакат? — переспросил офицер. — Вот он, твой плакат. Полюбуйся на него, если умеешь читать». Шапен отложил кнут,

спрыгнул на землю и подошел к стене. Там было три плаката. Два цветных: «Вступайте в колониальные войска, оставайтесь на сверхсрочную службу в колониальной армии» и третий совсем белый: «Немедленный призыв некоторых категорий резервистов». Он медленно вполголоса прочел и сказал, качая головой: «У нас там другой». Моблан, Пуляй, Френьо сошли на землю. «Это не наше объявление». «Откуда вы?» — спросил офицер. «Из Кревильи», — ответил Пуляй. «Не знаю, — сказал офицер, — но, наверное, в жандармерии в Кревильи сидит набитый дурак. Хорошо, дайте ваши билеты и пошли к лейтенанту». На главной площади в Кревильи, у церкви, женщины окружили мадам Ребулье, которая сделала столько хорошего для округи, там были Мари, Стефани, жена сборщика налогов и Жанна Френьо. Мари тихо плакала, на мадам Ребулье была большая черная шляпа, и мадам говорила, размахивая зонтиком: «Не надо плакать, сейчас нужно держаться. Да! Да! Нужно стиснуть зубы. Вот увидите, ваш муж вернется с благодарностями в приказе и медалями. Как знать, может, ему и повезет! На этот раз все мобилизованы, все: женщины, как и мужчины».

Она ткнула зонтиком на восток и почувствовала себя помолодевшей на двадцать лет. «Вот увидите, — сказала она. — Вот увидите! Может, именно гражданские и выиграют войну». Но вид у Мари был глуповато-скаредный, ее плечи сотрясали рыдания, сквозь слезы она смотрела на памятник павшим, храня раздражающее молчание. «Слушаюсь, — сказал лейтенант, прижимая трубку к уху, — слушаюсь». А ленивый раздраженный голос неистощимо тек: «Так вы говорите, они уехали? Да-а, мой бедный друг, ну, вы и натворили дел! Не скрою, это вам может стоить должности!» Папаша Крулар пересекал площадь с клеем и кисточками, под мышкой он нес белый рулон. Мари крикнула: «Что это? Что это?», и мадам Ребулье с досадой отметила, что ее глаза загорелись глупой надеждой. Папаша Крулар смеялся в свое удовольствие, он показал белый рулон и сказал: «Ничего. Лейтенант перепутал плакаты!» Лейтенант положил трубку, ноги его подкосились и он сел. В ушах еще звучал голос: «Это вам может стоить должности!» Он встал и подошел к открытому окну: на стене напротив красовался плакат, совсем свежий, еще влажный, белый, как снег: «Всеобщая мобилизация». Его горло сжал гнев; он подумал: «Я же ему сказал: надо сначала снять этот плакат, но он

нарочно снимет его последним». Внезапно он перепрыгнул через подоконник, помчался к плакату и начал его сдирать. Папаша Крулар окунул кисточку в клей, мадам Ребулье с сожалением следила за его действиями, лейтенант царапал, царапал стену, под ногтями у него появились белые шарики; Бломар и Кормье остались в казарме; остальные вернулись к повозкам и неуверенно переглядывались; им хотелось смеяться и злиться, они чувствовали себя опустошенными, как на следующий день после ярмарки. Шапен подошел к своим волам и погладил их, Морды и грудь у них были в пене, он грустно подумал: «Если б знать, я бы их так не загнал». «Что будем делать?» — спросил у него за спиной Пуляй. «Сразу возвращаться нельзя, — сказал Шапен. — Нужно дать отдохнуть животным». Френьо посмотрел на казарму, и она вызвала у него некие воспоминания, он толкнул локтем Шапена и сказал, посмеиваясь: «Ну что? Может, пойдем?» «Куда ты хочешь пойти, парень?» — спросил Шапен. «В бордель», — ответил Френьо. Ребята из Кревильи окружили его, хлопали по плечу и ржали, они говорили: «Чертов Френьо! Он всегда что-нибудь придумает!» Даже Шапен повеселел: «Парни, я знаю, где это. Садитесь в двуколки, я вас отвезу».

Восемь часов тридцать минут. Уже вертелся лыжник вокруг трамплина, влекомый моторной лодкой; временами до Матье доносилось урчание мотора, а потом лодка удалялась, лыжник становился черной точкой, и больше не было слышно ни звука. Море — гладкое, белое и суровое — походило на пустынный каток. Скоро оно заголубеет, заплещется, станет текучим и глубоким, превратится в море для всех, усеется черными головами, заполнится криками. Матье пересек террасу, некоторое время шел по бульвару. Кафе были еще закрыты, проехали две машины. Он вышел без определенной цели: купить газету, вдохнуть терпкий запах морских водорослей и эвкалиптов, витающий в порту, вышел, чтобы как-то убить время. Одетта еще спала, Жак работал до десяти часов. Матье свернул на торговую улицу, поднимавшуюся к вокзалу, навстречу ему, смеясь, прошли две молодые англичанки; у плаката стояло четыре человека. Матье подошел: это поможет ему скоротать еще минутку Маленький господин с бородкой качал головой. Матье прочел:

«По приказу министра обороны[17] офицеры, унтер-офицеры и резервисты, имеющие предписание или военный билет белого цвета с цифрой «2», обязаны незамедлительно явиться на мобилизационные пункты, не ожидая индивидуальной повестки.

Все должны явиться в места сбора, указанные в предписании или в военном билете в соответствии с указаниями.

Суббота, 24 сентября 1938 г., 9 часов.

Министр обороны».

«Э-хе-хе!» — осуждающе произнес какой-то господин. Матье улыбнулся ему и внимательно перечитал плакат — один из тех скучных, но полезных для ознакомления документов, которые с некоторого времени заполняли газеты под заголовками «Заявление британского министерства иностранных дел» или «Сообщение с Кэ д'Орсе[18]». Их нужно было всегда перечитывать дважды, чтобы ухватить суть, Матье прочел: «…обязаны явиться в места сбора» и подумал: «Но ведь у меня как раз военный билет N2!». Плакат вдруг нацелился на него; как будто кто-то мелом написал на стене его имя с оскорблениями и угрозами. Мобилизован — это было здесь, на стене, а возможно, это читалось и на его лице. Он покраснел и поспешно удалился. «Военный билет N2. Готово. Я становлюсь интересным». Одетта будет смотреть на него со сдержанным волнением, Жак примет воскресный вид и скажет: «Старик, мне нечего тебе сказать». Но Матье ощущал себя человеком скромным и не хотел становиться интересным. Он свернул налево в первый попавшийся переулок и ускорил шаг: справа на тротуаре у плаката галдела темная группка людей. И так было по всей Франции. По двое. По четверо. Перед тысячами плакатов. И в каждой группе был, по крайней мере, один человек, который нащупывал бумажник и военный билет через ткань пиджака и чувствовал, что становится интересным. Улица де ля Пост. Два плаката, две группки людей, говорящих об одном и том же. Матье двинулся по длинному темному переулку. Тут он был, во всяком случае, спокоен: клейщики плакатов его пощадили. Он был один и мог поразмышлять о себе. Он подумал: «Готово». Этот круглый заполненный день, который должен был мирно скончаться от старости, внезапно вытянулся в стрелу, он с грохотом вонзился в ночь, помчался в темноте, в дыму, по пустынным полям, сквозь скопление

осей и платформ, и скользил внутри, как спортивные сани, он остановится только на исходе ночи, в Париже, на перроне Лионского вокзала. Искусственный свет уже сопутствовал дневному, будущий свет ночных вокзалов. Смутная боль уже угнездилась в глубине его глаз, резкая боль его будущих бессонниц. Это его не огорчало: это или что-либо другое…Но и не радовало; в любом случае, в этом было что-то от забавной истории, что-то красочное. «Нужно узнать расписание поездов на Марсель», — подумал он.

Переулок незаметно привел его к горной дороге. Внезапно он очутился в ярком свете и уселся за столиком только что открывшегося кафе. «Кофе и расписание поездов». Господин с серебристыми усами сел рядом. С ним была почтенная женщина. Господин раскрыл «Эклерер де Нис», дама повернулась к морю. Матье с минуту смотрел на нее и погрустнел. Он подумал: «Нужно привести в порядок свои дела. Поселить Ивиш в моей парижской квартире, дать ей доверенность на получение моего жалованья». Лицо господина возникло над газетой: «Это война», — сказал он. Дама, не отвечая, вздохнула; Матье посмотрел на лоснящиеся гладкие щеки господина, на его твидовый пиджак, на его сорочку в фиолетовую полоску и подумал: «Это война».

Это война. Что-то, едва-едва державшееся за него, отделилось, осело и запало назад. Это была его жизнь; она скончалась. Скончалась. Он обернулся и посмотрел на нее. Вигье скончался, его руки вытянуты на белой простыне, на его лбу жила муха, а будущее его простиралось за горизонт, беспредельное, находившееся вне игры, застывшее, как его застывший под мертвыми веками взгляд. Его будущее: мир, будущее планеты, будущее Матье. Будущее Матье было здесь, обнаженное, застывшее и стекловидное, тоже находившееся вне игры. Матье сидел за столиком кафе, он пил, он был за пределами своего будущего, он смотрел на него и думал: «Мир». Госпожа Вершу показала санитарке на Вигье, ее мучили ревматические боли в шее, в глазах покалывало, она сказала: «Он был славным человеком». Она подыскивала немного более торжественное слово, чтобы оценить покойника; она была самой близкой его родственницей, и ей следовало дать ему завершающее определение. Ей пришло на ум слово «кроткий», но оно не показалось ей достаточно убедительным. Она сказала: «Это был мирный человек». Мирное будущее: он любил,

ненавидел, страдал, и будущее было вокруг него, над его головой, повсюду, как океан, и каждое его возмущение, каждое несчастье, каждая его улыбка питались его невидимым и присутствующим здесь будущим. Улыбка, простая улыбка была залогом завтрашнего мира, следующего года, века; иначе я не посмел бы никогда улыбнуться. Годы и годы грядущего мира заранее наложились на все и сделали все созревшим и золотистым; взять свои часы, ручку двери, руку женщины — значит взять в руки мир. Послевоенное время было началом. Началом мира. Эти мирные годы протекут не торопясь, как проживают утро. «Джаз был началом, и кино, которое я так любил, тоже было началом. И сюрреализм. А коммунизм. Я сомневался, я долго выбирал, у меня было достаточно времени. Время и мир были одним и тем же. Теперь будущее здесь, у моих ног, оно мертво. Это было ложное будущее, обман». Он смотрел на эти двадцать лет, которые он прожил, штилевые, залитые солнцем, настоящее морское прибрежье, теперь он видел их такими, какими они были на самом деле: определенное количество дней, спрессованных меж двух высоких стен безнадежности, каталогизированный период с началом и концом, который будет фигурировать в учебниках истории под названием: «Период между двумя войнами». «Двадцать лет: 1918–1938. Только двадцать лет! Вчера это казалось одновременно и короче, и длиннее: во всяком случае, и в голову не приходило подсчитывать, потому что это все еще не завершилось. Теперь поставлена точка. Будущее было ложным. Все, что прожито за двадцать лет, прожито ложно. Мы были старательными и серьезными, мы пытались понять, и вот результат: эти прекрасные дни имели тайное черное будущее, они нас дурачили, сегодняшняя война, новая Великая война, исподтишка крала у нас эти дни. Мы были рогоносцами, не зная этого. Теперь пришла война, и моя жизнь мертва; моя жизнь была тем: теперь нужно все начинать сначала». Он поискал в памяти любое воспоминание, все равно какое, то, которое возникает первым, тот вечер, проведенный в Перудже, когда он сидел на террасе и ел абрикосовый джем, глядя вдаль, на дымку безмятежного Ассизского холма. Что ж, это была война, которую следовало разглядеть в алом пыланье заката. «Если бы я мог в золотистом свете, который окрашивал стол и парапет, заподозрить предстоящие бури и кровь, этот свет, по крайней мере, теперь принадлежал бы мне, я сохранил

хотя бы это. Но во мне не было недоверия, лед таял у меня на языке, я думал: «Старое золото, любовь, мистическая слава». А теперь я все потерял». Между столами сновал официант, Матье подозвал его, заплатил, встал, не очень-то сознавая, что делает. Он оставил за собой свою жизнь, я полинял. Он перешел через мостовую и облокотился о балюстраду, лицом к морю.

Он чувствовал себя зловещим и легким: он был, у него все украли. «У меня больше нет ничего своего, даже своего прошлого. Но это было ложное прошлое, и я о нем не сожалею». Он подумал: «Меня избавили от моей жизни. Это жалкая, неудавшаяся жизнь, Марсель, Ивиш, Даниель, неудавшаяся жизнь, мерзкая жизнь, но сейчас мне все равно, потому что она мертва. Начиная с этого утра, с того времени, как на стенах расклеили эти белые плакаты, все жизни не удались, все жизни мертвы. Если бы я сделал, что хотел, если бы я смог хоть раз, хоть один-единственный раз быть свободным, и все-таки это был бы мерзкий обман, потому что я был бы свободен для мира, я и сейчас в этом обманчивом мире, я стою, облокотившись о балюстраду, с лицом, обращенным к морю, а за спиной у меня эти белые плакаты. И все они говорят обо мне со всех стен Франции, они утверждают, что жизнь моя мертва, и что мира никогда не было: и ни к чему было так терзаться и испытывать такие угрызения совести». Море, пляж, тенты, балюстрада: все выглядело холодным, обескровленным. Они потеряли свое будущее, а нового им еще не дали; они плавали в настоящем. Плавал и Матье. Оставшийся в живых, на пляже, голый, среди каких-то тряпок, набрякших от воды, среди развороченных ящиков, предметов без определенного назначения, выброшенных морем на берег. Загорелый молодой человек вышел из палатки, вид у него был спокойный и праздный, в нерешительности смотрел он на море: «Он остался в живых, все мы случайно остались в живых», немецкие офицеры улыбались и приветствовали друг друга, вращался мотор, вращался винт, Чемберлен здоровался и улыбался, потом резко повернулся и поставил ногу на трап.

Вавилонское изгнание, проклятие, тяготеющее над Израилем, и Стена плача — ничто для еврейского народа не изменилось с тех пор, как вереницы плененных, скованных цепями, проходили меж красными башнями Ассирии под жестоким взглядом победителей с бородами, завитыми в кольца. Шалом семенил среди этих людей с

черными, вьющимися, жесткими шевелюрами. Он размышлял о том, что ничто не изменилось, Шалом размышлял о Жорже Леви. Он думал: «Мы утратили былое чувство еврейской солидарности, вот в чем истинное Господнее проклятье!» Он ощущал торжественность минуты, он был отнюдь не в скверном настроении, так как повсюду видел на стенах эти белые плакаты, Он попросил помощи у Жоржа Леви, но Жорж Леви был эльзасским евреем, черствым человеком, он ему отказал. Нет, не то чтобы отказал, но принялся ныть, ломать руки, непрерывно твердил о своей старой матери, о кризисе. Хотя всем было известно, что он ненавидел мать и что в скорняжном деле не было никакого кризиса. Шалом тоже принялся стонать, он воздевал к небесам дрожащие руки, он говорил о новом исходе и бедных еврейских эмигрантах, плоть которых страдает за всех остальных. Леви был жестоковыйный человек, скаредный богатей, он застонал еще пуще и стал подталкивать Шалома к двери тучным животом, сопя ему прямо в лицо. Шалом стонал и пятился, воздевая руки, но ему захотелось улыбнуться, когда он подумал о глумливом хохоте служащих, стоящих по другую сторону двери. На углу улицы Катр-Септамбр сверкала богатая колбасная; Шалом остановился и зачарованно смотрел на сосиски в желе, паштеты с корочкой, связки колбас в лоснящихся шкурках, на пузатые сморщенные сардельки с маленькими розовыми анусами и думал о колбасных Вены. По мере возможности он избегал есть свинину, но неимущие эмигранты вынуждены питаться чем попало. Когда он вышел из колбасной, на пальце у него висел на розовой ленточке пакетик, такой белый, такой хрупкий, что его можно было принять за пакет с пирожными. Шалом был возмущен. Он подумал: «Французы, экие гнусные богачи». Самый богатый народ Европы. Он пошел по улице Катр-Септамбр, призывая гнев небес на гнусных богачей, и небо его словно услышало: краем глаза он увидел у белого плаката группу неподвижных и безмолвных французов. Шалом опустил глаза и прошел рядом с ними, поджав губы, так как в подобный момент бедному еврею не следовало улыбаться на улицах Парижа. Бирненшатц, ювелир: это здесь. Он замешкался и, прежде чем войти, положил пакет с сарделькаами в портфель. Моторы, рыча, вращались, пол трясся, пахло бензином и эфиром, автобус углублялся в пламя, Пьер, значит, ты трус! самолет плыл в солнечном свете, Даниель постукивал по плакату концом

трости и говорил: «Я спокоен, не такие мы дураки, чтобы воевать без самолетов». Самолет пролетал над деревьями, прямо над ними, доктор Шмидт поднял голову, мотор рычал, он увидел самолет сквозь листву, сверканье слюды в небесах, он подумал: «Доброго пути! Доброго пути!» и улыбнулся; побежденные, отчаявшиеся, бледные арабы вповалку лежали в автобусе, негритенок вышел из хижины, помахал рукой и долго смотрел вслед автобусу; вы видели: маленький еврей купил у меня фунт сосисок и больше ничего, а я-то думала, что они не едят свинины! Негритенок и переводчик медленно возвращались, в голове у них еще гудел шум моторов. Это был круглый железный стол, покрашенный зеленой краской, с отверстием посередине для тента, он был в коричневых пятнах, как груша, на столе лежала сложенная пополам газета «Ле Пти Нисуа». Матье кашлянул, Одетта сидела у стола, она уже позавтракала в саду, как я скажу ей об этом? Без осложнений, только бы без осложнений, если бы она могла промолчать, нет, промолчать — это уж слишком, просто встать и сказать: «Что ж, я велю приготовить вам в дорогу бутерброды». Просто. Одетта была в халате, она читала свою почту. «Жак еще не вышел, — сказала она ему. — Сегодня ночью он допоздна работал». Каждый раз, когда они снова встречались, прежде всего она говорила о Жаке, потом речь о нем больше не шла. Матье улыбнулся и кашлянул. «Садитесь, — сказала она, — для вас есть два письма». Он взял письма и спросил:

— Вы читали газету?

— Еще нет, Мариетта принесла ее с почтой, и я пока не решилась ее открыть. Я и раньше не слишком любила читать газеты, а теперь я их просто возненавидела.

Матье улыбался и одобрительно кивал головой, но зубы его оставались стиснутыми. Между ними опять все стало как прежде. Достаточно было плаката на стене, чтобы между ними опять все стало как прежде: она снова сделалась женой Жака, и он не находил больше, что ей сказать. «Сырой окорок, — подумал он, — вот что я предпочел бы в дорогу».

— Читайте, читайте ваши письма, — живо сказала Одетта. — Не обращайте на меня внимания; впрочем, мне нужно переодеться.

Матье взял первое письмо, со штемпелем Биаррица, он выиграл еще немного времени. Когда она встанет, он ей скажет: «Кстати, я

уезжаю-» Нет, это покажется слишком небрежным. «Я уезжаю». Лучше так: «Я уезжаю» Он узнал почерк Бориса и со стыдом подумал: «Я ему не писал больше месяца». В конверте была почтовая открытка. Борис надписал свой собственный адрес и приклеил марку на левой половине открытки. На правой он написал несколько строк:

Дорогой Борис!

Я чувствую себя хорошо/плохо[19].

Причина моего молчания: оправданное/неоправданное раздражение, злая воля, внезапная перемена отношения, безумие, болезнь, лень, обыкновенная низость[20].

Я вам напишу большое письмо через… дней. Извольте принять мои глубокие извинения и выражения покаянного дружества.

Подпись.

— Чему вы смеетесь? — спросила Одетта.

— Это Борис, — пояснил Матье. — Он в Биаррице с Лолой.

Он протянул ей письмо, и Одетта тоже рассмеялась.

— Он очарователен, — сказала она. — Сколько ему?

— Девятнадцать[21], — ответил Матье. — Дальнейшее будет зависеть от продолжительности войны.

Одетта нежно посмотрела на него.

— Ученики сели вам на шею, — заметила она.

Говорить с ней становилось все труднее. Матье распечатал другое письмо. Оно было от Гомеса, мужа Сары. Матье не видел Гомеса со времени его отъезда в Испанию. Теперь он был полковником республиканских войск.

Дорогой Матье!

Я приехал в командировку в Марсель, где ко мне присоединилась Сара с малышом. Уезжаю во вторник, но хочу вас предварительно повидать. Ждите меня четырехчасовым поездом в воскресенье и закажите мне комнату — все равно где, я попытаюсь заскочить в Жуан-ле-Пен. Нам предстоит многое обсудить.

Дружески ваш, Гомес.

Матье положил письмо в карман, он с неудовольствием думал: «Воскресенье завтра, я уже уеду». Ему хотелось увидеть Гомеса; в настоящий момент он был единственным из его друзей, кого он хотел видеть: уж он-то знал, что такое война. «Возможно, мне удастся встретить его в Марселе, в перерыве между двумя поездами…» Он

вынул из кармана смятый конверт: Гомес не написал своего адреса. Матье раздраженно пожал плечами и бросил конверт на стол; Гомес остался самим собой, хоть и стал полковником: могущественный и бессильный. Наконец, Одетта решилась раскрыть газету, она держала ее, расставив красивые руки, и старательно вчитывалась в нее.

— Ой! — произнесла она.

Потом повернулась к Матье и с нарочитым равнодушием спросила:

— Надеюсь, у вас мобилизационный билет не № 2? Матье почувствовал, что краснеет, он прищурился и смущенно ответил:

— Да, именно такой.

Одетта строго посмотрела на него, как будто он был в этом виноват, и Матье поспешно добавил:

— Но я уезжаю не сегодня, я останусь еще на два дня: ко мне приезжает друг.

Он почувствовал облегчение от своего внезапного решения: это отодвигало изменения почти до послезавтра: «Жуан-ле-Пен далеко от Нанси[22], мне простят несколько часов опоздания». Но взгляд Одетты не смягчился, и, отбиваясь от этого взгляда, он повторял: «Я остаюсь еще на два дня, еще на два дня», в то время как Элла Бирненшатц[23] обвила худыми смуглыми руками шею отца.

— Какой же ты душка, папуля! — сказала Элла Бирненшатц.

Одетта резко встала:

— Что ж, я вас оставлю. Мне все-таки нужно переодеться, думаю, Жак скоро спустится и составит вам компанию.

Она ушла, запахивая полы халата, облегавшего ее узкие стройные бедра, Матье подумал: «Она вела себя пристойно. Что ни говори, пристойно», и ощутил к ней благодарность. Какая красивая девушка, какая красивая чертовка, он оттолкнул ее, округлив глаза: у дверей стоял Вайс, выглядел он празднично.

— Ты меня обслюнявила, — сказал Бирненшатц, вытирая щеку. — И испачкала помадой. Вот так чмокнула!

Она засмеялась:

— Ты боишься, что подумают твои машинистки. Так вот тебе! — воскликнула она, целуя его в нос. — Вот тебе, вот тебе! — Он почувствовал на своем лице ее теплые губы, потом поймал ее за плечи и отстранил на всю длину своих больших рук. Она смеялась и

отбивалась, он думал: какая красивая девушка, какая красивая девчурка! Мать ее была жирной и рыхлой, с широкими испуганными и покорными глазами, которые его несколько конфузили, но Элла была похожа на него, хотя, скорее, ни на кого, она сформировалась сама по себе, в Париже; «Я им всегда говорю: что такое раса, если вы встретите Эллу на улице, разве вы примите ее за еврейку? Тоненькая, как парижанка, с теплым цветом лица, как свойственно южанкам, с лицом смышленым и страстным, и одновременно уравновешенным, с лицом без изъянов, без признаков расы, без тавра судьбы, типичное французское лицо». Он отпустил ее, взял на столе ящичек и протянул ей:

— Держи, — сказал он. Пока она смотрела на жемчужины, он добавил: — В следующем году они будут стоить в два раза больше, но это последние: колье будет закончено.

Она хотела его поцеловать еще раз, но он сказал ей:

— Ладно, ладно, это тебе подарок! Беги, не то опоздаешь на лекцию.

Она ушла, напоследок улыбнувшись Вайсу; какая-то девушка закрыла дверь, пересекла секретарское бюро и ушла, и Шалом, сидевший на краешке стула со шляпой на коленях, подумал: «Красивая евреечка»; у нее было маленькое, вытянутое вперед обезьянье личико, которое уместилось бы в ладони, прекрасные большие близорукие глаза, должно быть, это дочь Бирненшатца. Шалом встал и скромно поприветствовал ее, чего она, казалось, не заметила. Он снова сел и подумал: «У нее слишком умный вид; такие уж мы, наша суть запечатлена как каленым железом на наших лицах; можно подумать, что мы их терпим, как мученики». Бирненшатц думал о жемчужинах, он говорил себе: «Неплохое помещение капитала». Они стоили сто тысяч франков, он подумал, что Элла приняла их без чрезмерного восторга, но и без равнодушия: она знала цену вещам и считала естественным иметь деньги, получать красивые подарки, быть счастливой. «Боже, если я сделаю только это, с такой женой, как у меня, и со всеми краковскими стариками за спиной, если мне удалось только это — маленькая девочка, дочь польских евреев, которая не слишком ломает себе голову, которой не нравится страдать, которая считает естественным быть счастливой, — уверен, что я не потеряю времени даром». Он повернулся к Вайсу:

— Ты знаешь, куда она пошла? — спросил он. — Никогда не догадаешься. На лекцию в Сорбонну! Это феномен.

Вайс неопределенно улыбнулся, не меняя своего ненатурального вида.

— Хозяин, — сказал он, — я пришел попрощаться. Бирненшатц посмотрел на него из-под очков:

— Ты уезжаешь?

Вайс утвердительно кивнул, и Бирненшатц сделал большие глаза:

— Я так и знал! У тебя, глупого, конечно же., мобилизационный билет N2?

— Так и есть, — ответил, улыбаясь, Вайс, — у меня, глупого, — N2.

— Что ж, — сказал Бирненшатц, скрестив руки, — ты меня ставишь в затруднительное положение! Что я буду без тебя делать?

Он рассеянно повторял: «Что я буду без тебя делать? Что я буду без тебя делать?» Он пытался вспомнить, сколько у Вайса детей. Вайс искоса с беспокойством поглядывал на него:

— Пустяки! Найдете мне замену.

— Ну, нет! Хватит того, что я плачу тебе за то, что ты ни черта не делаешь; что же мне — повесить себе на шею еще одного бездельника? Твое место останется за тобой, мой мальчик.

Вайс выглядел растроганным; кося глазами, он тер себе нос, он был ужасающе некрасив.

— Хозяин… — начал он.

Бирненшатц прервал его: благодарность всегда конфузит, и потом, он не испытывал к Вайсу ни малейшей симпатии: бегающие глаза и толстая нижняя губа, дрожащая от доброты и горечи — он был из тех, кто несет на лице печать обреченности.

— Хорошо, — сказал Бирненшатц, — хорошо. Ты не покидаешь фирму, ты просто будешь представлять ее в офицерском корпусе. Ты лейтенант?

— Я капитан, — ответил Вайс.

«Обреченный капитан»., — подумал Бирненшатц. У Вайса был счастливый вид, его большие уши были пунцовы. «Обреченный капитан — уж такова война, такова военная иерархия».

— Какая отъявленная глупость эта война, а? — сказал он.

— Гм! — хмыкнул Вайс.

— А что, разве это не глупость?

— Конечно, — сказал Вайс. — Однако я хотел сказать: для нас это не такая уж глупость.

— Для нас? — удивленно переспросил Бирненшатц. — Для нас? О ком ты говоришь?

Вайс опустил глаза:

— Для нас, евреев, — сказал он. — После того что сделали с евреями в Германии, мы имеем все основания сражаться.

Бирненшатц сделал несколько шагов по комнате, он разозлился:

— А что это такое: мы, евреи? Мне это непонятно. Я — француз. Ты что, чувствуешь себя евреем?

— Со вторника у меня живет кузен из Граца. Он мне показал свои руки. Они их прижигали сигарами от локтя до подмышек.

Бирненшатц резко остановился, он схватил сильным! руками спинку стула, и мрачный огонь бешенства полыхнул на его лице.

— Те, кто это сделал, — сказал он, — те, кто это сделал…

Вайс заулыбайся; Бирненшатц успокоился:

— Это не потому, что твой кузен — еврей, Вайс. Это потому, что он — человек. Не выношу, когда совершают насилие над человеком. Но что такое еврей? Это человек, которого другие люди считают евреем. Вот посмотри на Эллу. Разве ты бы принял ее за еврейку, если б не жал ее?

Вайс не казался убежденным. Бирненшатц пошел на него, ткнул его в грудь вытянутым указательным пальцем:

— Послушай, мой маленький Вайс, вот что я тебе скажу: я уехал из Польши в 1910 году, я прибыл во Францию, Меня здесь хорошо приняли, я почувствовал себя здесь как дома, я сказал себе: «Все хорошо, теперь моя родина — Франция». В 1914 году началась война. Ладно, я сказал себе: «Воюю, потому что это моя страна». И я знаю, что такое война, я был на Шмен-де-Дам. И сейчас я могу одно тебе сказать: я — француз, не еврей, не французский еврей: француз. Мне жалко евреев Берлина и Вены, евреев в концлагерях, меня бесит от мысли, что кого-то терзают. Но послушай меня хорошенько. Я сделаю все, что смогу, чтобы помешать французу, одному-единственному французу, сломать себе шею ради них. Я чувствую себя более близким первому попавшемуся прохожему, которого встречу на улице, чем

моим дядям из Ленца или племянникам из Кракова. Дела немецких евреев нас не касаются.

У Вайса был замкнутый и упрямый вид. Он сказал с жалкой улыбкой:

— Даже если это и правда, хозяин, вам лучше этого не говорить. Нужно, чтобы те, кто уходит на войну, имели основания драться.

Бирненшатц почувствовал, как краска смущения залила ему лицо. «Бедняга», — с раскаянием подумал он.

— Ты прав, — сказал он резко, — я всего лишь старая развалина, и нечего мне болтать об этой войне — я в ней все равно не участвую. Когда ты уезжаешь?

— Поездом в шестнадцать тридцать, — ответил Вайс.

— Сегодняшним поездом? Но тогда что ты здесь делаешь? Иди быстрей домой, к жене. Тебе нужны деньги?

— Сейчас нет, благодарю.

— Иди. Пришлешь ко мне свою жену, я все с ней улажу. Иди, иди. Прощай.

Он открыл дверь и вытолкнул его. Вайс кланялся и бормотал невнятные слова благодарности. Бирненшатц через плечо Вайса заметил человека, сидевшего в приемной со шляпой на коленях. Он узнал Шалома и нахмурился: он не любил, когда просителей заставляли ждать.

— Заходите, — сказал он. — Вы давно ждете?

— С полчасика, — улыбаясь, кротко ответил Шалом. — Но что такое полчасика? Вы так заняты. А у меня так много времени. Что я делаю с утра до вечера? Жду. Жить в изгнании — это непрестанное ожидание, разве не так?

— Входите, — быстро сказал Бирненшатц. — Входите. Следовало меня предупредить.

Шалом вошел, он улыбался и кланялся. Бирненшатц вошел следом и закрыл дверь. Он прекрасно узнал Шалома: «Он был кем-то там в баварском профсоюзном движении». Шалом время от времени заходил, брал у него две — три тысячи франков и исчезал на несколько недель.

— Пожалуйста, сигару.

— Я не курю, — сказал Шалом, делая нырок вперед. Бирненшатц взял сигару, рассеянно покрутил ее между пальцами, потом снова

положил в коробку.

— Ну как? — спросил он. — Ваши дела улаживаются? Шалом искал глазами стул.

— Садитесь! Садитесь! — любезно предложил Бирненшатц.

Нет. Шалом не хотел садиться. Он подошел к стулу и поставил на него свой портфель, чтобы было удобнее, затем, повернувшись к Бирненшатцу, издал долгий мелодичный стон:

— А-а-а! Ничего не улаживается. Нехорошо, когда человек живет в чужой стране, его с трудом переносят; его попрекают куском хлеба, а тут еще это недоверие к нам, типично французское недоверие. Когда вернусь в Вену, вот какое впечатление я сохраню о Франции: темная лестница, по которой с трудом поднимаешься, кнопка звонка, которую нажимаешь, дверь, которая наполовину отворяется: «Что вам нужно?» и тут же закрывается. Полиция, мэрия, очередь в префектуру. В сущности, это естественно, мы у них в гостях. Но присмотритесь внимательно: нас могли бы заставить работать: я хочу всего-навсего быть полезным. Но чтобы найти место, нужна рабочая карточка, а чтобы получить рабочую карточку, нужно где-то работать. Как бы я ни старался, мне не удается зарабатывать себе на жизнь. И это самое невыносимое: быть обузой для других. Особенно когда они так жестоко дают это почувствовать. А сколько потерянного времени: я начал писать мемуары, это принесло бы мне немного денег. Но каждый день столько хлопот, что пришлось все это забросить.

Он был совсем маленький, юркий, он поставил портфель на стул, а его освободившиеся руки так и порхали вокруг пунцовых ушей. «До чего же у него еврейский вид». Бирненшатц небрежно подошел к зеркалу и бросил на себя быстрый взгляд: метр восемьдесят роста, сломанный нос, под очками — лицо американского боксера; нет, нет, мы не одной породы. Но он не смел посмотреть на Ша-лома, он чувствовал себя опороченным. «Хоть бы он ушел! Если б он сейчас же ушел!» Но рассчитывать на это не приходилось. Только продолжительностью своих визитов и жизнерадостной живостью своих разговоров Шалом в собственных глазах отличался от простого нищего. «Мне нужно что-то говорить», — подумал Бирненшатц. Шалом имел на это право. Он имел право на три тысячи франков и пятнадцать минут разговора. Бирненшатц присел на край

письменного стола. Правой рукой он поигрывал портсигаром в кармане пиджака.

— Французы черствые люди, — сказал Шалом. Его голос пророчески взмывал и опускался, но в вылинявших глазах подрагивал оживленный огонек. — Черствые люди. С их точки зрения, иностранец в принципе подозрителен, а то и виновен.

«Он говорит со мной так, будто я не француз. Черт возьми: да, я еврей, польский еврей, прибывший во Францию 19 июля 1910 года, никто об этом здесь не помнит, но сам-то он этого не забыл. Еврей, которому повезло». Он повернулся к Шалому и с раздражением посмотрел на него. Шалом немного потупил голову и из почтительности показывал ему лоб, но при этом смотрел из-под выгнутых бровей прямо ему в лицо. Он не сводил с него глаз, и эти большие бесцветные глаза видели в нем еврея. Два еврея в уединении кабинета на улице Катр-Септамбр, два сообщника; а вокруг них, на улицах, в других домах никого, кроме французов. Два еврея, высокий еврей, который преуспел, и маленький худосочный еврейчик, которому не повезло. Ни дать ни взять — Лорел и Харди[24].

— Это черствые люди! — повторил Шалом. — Безжалостные люди!

Бирненшатц резко вздернул плечи.

— Нужно поставить себя на… их место, — сухо заметил Бирненшатц, он не смог выговорить: «на наше место», — знаете, сколько иностранцев осело во Франции с 1934 года?

— Знаю, — сказал Шалом, — знаю. И по-моему, это большая честь для Франции. Но что она делает, чтобы ее заслужить? Смотрите: какие-то молодчики прочесывают Латинский квартал, и если кто-то похож на еврея, они набрасываются на него с кулаками.

— Министр Блюм нанес нам большой ущерб, — заметил Бирненшатц.

Он сказал «нам»; он вступил в сообщество этого маленького чужака. Мы. Мы евреи. Но он это сделал из милосердия. Глаза Шалома изучали его с почтительной настойчивостью. Он был худосочный и маленький, его избили и выгнали из Баварии, теперь он был здесь, ему приходилось ночевать в замызганной гостинице и проводить дни в кафе. «А кузену Вайса прижигали руки сигарами». Бирненшатц смотрел на Шалома и чувствовал себя липким. Не то

чтобы он испытывал к нему симпатию, вовсе нет! Это было…это было…

Она смотрела на него и думала: «Этот человек — хищник. Все они помечены, и это из-за них начинаются войны». Но она чувствовала, что ее давняя любовь не умерла.

Бирненшатц ощупывал свой бумажник.

— Что ж, — доброжелательно сказал он, — будем надеяться, что это не слишком затянется.

Шалом поджал губы и быстро поднял головенку. «Я слишком рано потянулся к бумажнику», — подумал Бирненшатц.

Человек-хищник. Он овладевает женщинами и убивает мужчин. Он думает, что он сильный, но это неправда, он просто помечен, вот и все.

— Это зависит от французов, — сказал Шалом. — Если французы постигнут суть своей исторической миссии…

— Какой миссии? — холодно спросил Бирненшатц. Глаза Шалома заблестели от гнева:

— Германия их провоцирует и всячески оскорбляет, — сказал он резко и жестко. — Чего они ждут? Они что, рассчитывают укротить ярость Гитлера? Каждая очередная сдача позиций удлиняет нацистский режим на десятилетие. А в это время мы здесь, мы жертвы, мы грызем кулаки от бессилия. Сегодня я видел на стенах белые плакаты, и во мне затеплилась надежда. Но еще вчера я думал: у французов в жилах не кровь, и мне суждено умереть в изгнании.

Два еврея в кабинете на улице Катр-Септамбр. Точка зрения евреев на международные события. «Же сюи парту»[25] завтра напишет: «Евреи толкают Францию к войне». Бирненшатц снял очки и протер их платком: он захмелел от гнева. Он тихо спросил:

— А если будет война, вы пойдете воевать?

— Я уверен, что множество эмигрантов вступят в армию, — сказал Шалом. — Но посмотрите на меня, — сказал он, показывая на свое тщедушное тело. — Какая призывная комиссия сочтет меня годным?

— Но тоща почему вы не оставите нас в покое? — прогремел Бирненшатц. — Почему вы не оставите нас в покое? Зачем вы обливаете нас грязью у нас же дома? Я — француз, я не немецкий

еврей, плевать мне на немецких евреев. Затевайте свою войну где-нибудь в другом месте!

Шалом с минуту в оцепенении смотрел на него, затем вновь обрел подобострастную улыбку, вытянул руку, схватил портфель и попятился к двери. Бирненшатц вынул бумажник из кармана:

— Подождите.

Шалом уже дошел до двери.

— Мне ничего не нужно, — сказал он. — Иногда я прошу вспомоществования для евреев. Но вы правы: вы не еврей, я ошибся адресом.

Он вышел, и Бирненшатц долго неподвижно смотрел на дверь. Это человек жестокий, человек — хищник, у них есть счастливая звезда, и им все удается. Но война приходит от них; смерть и страдание тоже от них. Они пламя и пожар, они приносят зло, он мне принес зло, я его ношу, как горящий уголек под веками, как занозу в сердце. «Вот что она обо мне думает». Ему не нужно было ее об этом спрашивать, он знал ее, если б он мог проникнуть в эту темноволосую курчавую голову, он в любой момент нашел бы там эту упорную и неумолимую мысль, по-своему она упряма и никогда ничего не забывает. Он перегнулся в пижаме над площадью Желю, еще прохладно, небо бледно-голубое, серое по краям — это был час, когда вода струится по плиточному настилу, по деревянным прилавкам торговцев рыбой, пахло отъездом и утром. Утро, открытое в бескрайний простор, и там — жизнь, лишенная сомнений, маленькие округлые дымки от гранат на потрескавшейся земле Каталонии. Но за его спиной, за приоткрытым окном, в комнате, полной сна и ночи, угнездилась эта мертвая мысль, она подстерегает его, судит, вызывает угрызения совести. Он уедет завтра, он их поцелует на перроне, они с малышом вернутся в отель, Сара вприпрыжку спустится по величественной лестнице, думая: вот он снова уехал в Испанию. Она никогда не простит ему, что он в Испании; это обволакивало мертвой коркой его сердце. Он перегнулся над площадью Желю, чтобы оттянуть момент возвращения в комнату; ему нужны были вопли, горестное пение, яростные краткие страдания, но не эта всепоглощающая нежность. Вода струилась по площади. Вода, влажные запахи утра, рассветные деревенские крики. Под платанами площадь была скользкой, жидкой, белой и быстрой, как рыба в воде. В

эту ночь пел неф, и ночь казалась тяжелой и сухой, как ночи Испании. Гомес прикрыл глаза, он почувствовал, как терпкая тяга к Испании и войне овладевала им, Сара ничего этого не понимает — ни ночи, ни утра, ни войны.

— Пам, пам! Пам, пам, пам, пам, пам! — во всю глотку заорал Пабло.

Гомес повернулся и ступил в комнату. Пабло надел каску, взял за ствол карабин и стал упражняться им, как палицей. Он бегал по комнате отеля, нанося в пустоту резкие удары и пытаясь при этом сохранить равновесие. Сара следила за ним потухшим взглядом.

— Да тут побоище? — сказал Гомес.

— Я уложу их всех! — не останавливаясь, выкрикнул Пабло.

— Кого «всех»?

Сара в халате сидела на краю кровати. Она штопала чулок.

— Всех фашистов, — сказал Пабло. Гомес откинулся назад и захохотал:

— Убей их! Ни одного не оставляй в живых. По-моему, ты забыл вон того.

Пабло побежал туда, куда показал Гомес, и рубанул воздух карабином.

— Бац, бац! — кричал он. — Бац, бац, бац! Никакой пощады!

Он остановился и, задыхаясь, повернулся к Гомесу, серьезный и разгоряченный.

— Гомес! — сказала Сара. — Вот к чему это приводит! Как ты мог?

Гомес накануне купил Пабло игрушечный военный набор.

— Ему надо научиться сражаться, — пояснил Гомес, гладя мальчика по голове. — Иначе он будет трусом, как все французы.

Сара подняла на него глаза, и он понял, что жестоко обидел ее.

— Не понимаю, — удивилась Сара, — как можно называть людей трусами только потому, что они не хотят воевать?

— Есть моменты, когда этого нужно хотеть, — возразил Гомес.

— Никогда! — возмутилась Сара. — Ни в коем случае. Нет ничего на свете, ради чего стоило бы, чтоб я очутилась однажды на дороге рядом с моим разрушенным домом и с моим раздавленным ребенком на руках.

Гомес не ответил. Ему нечего было ответить. Сара была права. Со своей точки зрения, она была права. Но точка зрения Сары была из тех, которыми следовало из принципа пренебречь, иначе ни к чему не придешь. Сара тихо и горько засмеялась.

— Когда я с тобой познакомилась, ты был пацифистом, Гомес.

— В тот момент нужно было быть пацифистом. И наша цель не изменилась. Но средства для ее достижения иные.

Сара в замешательстве умолкла. Рот ее оставался полуоткрытым, и отвисшая губа обнажала испорченные зубы, Пабло вращал карабином и кричал:

— Ну погоди, подлый француз, подлый французский трус!

— Видишь, — вымолвила Сара.

— Пабло, — вдруг сказал Гомес, — не нужно бить французов. Французы не фашисты.

— Французы — трусы! — выкрикнул Пабло и ударил прикладом по тяжело взлетевшим шторам. Сара промолчала, но Гомес предпочел бы не видеть взгляда, который она бросила на Пабло. Это не был строгий взгляд, нет: взгляд удивленный, скорее, неуверенный, казалось, она видит сына в первый раз. Она отложила в сторону чулок и глядела на этого незнакомого ребенка, на этого нормального маленького злодея, который отрывал головы и разбивал вдребезги черепа, должно быть, она изумленно думала: «И это мой сын!» Гомесу стало стыдно: «Восемь дней, — подумал он. — Хватило всего восьми дней».

— Гомес, — быстро сказала Сара, — ты действительно считаешь, что будет война?

— Очень на это рассчитываю, — ответил Гомес. — Надеюсь, что Гитлер в конце концов вынудит французов воевать.

— Гомес, — проговорила Сара, — знаешь, я в последнее время поняла: люди злы.

Гомес пожал плечами:

— Они ни добры, ни злы. Просто каждый преследует свою цель.

— Нет, нет, — возразила Сара. — Они злы. — Она не отводила взгляда от Пабло, казалось, она тщилась предугадать его судьбу. — Нет, они злы и пытаются непрерывно друг другу навредить.

— Я не злой, — сказал Гомес.

— Злой, — не глядя на него, сказала Сара. — Ты злой, мой бедный Гомес, ты очень злой. И у тебя даже нет оправданий: другие хотя бы несчастны. Но ты счастлив и зол.

Наступило долгое молчание. Гомес смотрел на этот короткий жирный затылок, на это обиженное природой тело, которое он все ночи держал в объятиях, и думал: «Она не испытывает ко мне ни дружбы, ни нежности, ни уважения. Она меня просто любит: кто из нас двоих злее?»

Но вдруг к нему вернулись угрызения совести: однажды вечером он прибыл из Барселоны счастливым, да, поразительно счастливым. Он дал себе восемь дней отгула. Завтра он снова уедет. «Да, я не добрый», — подумал он.

— Есть горячая вода?

— Теплая, — отозвалась Сара. — Кран слева.

— Хорошо, — сказал Гомес. — Пойду-ка побреюсь.

Он вошел в ванную комнату, оставив дверь широко открытой, повернул кран и выбрал лезвие: «Когда уеду, — подумал он, — игрушечное оружие долго не проживет». Вернувшись домой, Сара, без сомнения, запрет его в большом шкафу для лекарств; если только не сочтет, что проще забыть его здесь. «Она учит Пабло только девчачьим играм», — подумал он. Когда еще он свидится с Пабло, и во что она его за это время превратит? Однако у мальчика строптивый вид! Гомес подошел к умывальнику и увидел их обоих в зеркале: Пабло, запыхавшись, застыл посреди комнаты, весь пунцовый, расставив ноги и засунув руки в карманы; Сара стояла перед ним на коленях и, не говоря ни слова, смотрела на него. «Она хочет понять, похож ли он на меня», — подумал Гомес. Он почувствовал себя неловко и бесшумно закрыл дверь.

«…где ко мне присоединилась Сара с малышом… Ждите меня четырехчасовым поездом в воскресенье и закажите мне…», одна рука сильно сжала его левое плечо, другая — правое. Теплое и дружеское пожатие. Ну вот: он положил письмо в карман и поднял глаза.

— Привет.

— Одетта только что мне сказала… — проговорил Жак, погружая взгляд в глаза Матье. — Бедный старик!

Не сводя с брата глаз, он сел в кресло, которое только что покинула Одетта; рука его автоматически приподняла обе брючины;

ноги скрестились сами собой; он не замечал этих мелких побочных действий. Он целиком превратился в собственный взгляд.

— Знаешь, я еду не сегодня, — сказал Матье.

— Знаю. Ты не опасаешься неприятностей?

— Подумаешь, несколькими часами позже… Жак глубоко вздохнул:

— Что тебе сказать? В другие времена, когда человек уходил на войну, ему говорили: защищай своих детей, защищай свою свободу или свой дом, наконец — защищай Францию, всегда можно было найти причину, чтобы рискнуть своей шкурой. Но сегодня…

Он пожал плечами. Матье, опустив голову, постукивал каблуком по земле.

— Молчишь, — проникновенно сказал Жак. — Ты предпочитаешь молчать из страха сказать лишнее. Но я знаю, о чем ты думаешь.

Матье все еще постукивал туфлей по земле, не поднимая головы, он ответил:

— Да нет, не знаешь.

Наступило короткое молчание, затем он услышал неуверенный голос брата:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что я совсем ни о чем не думаю.

— Как хочешь, — сказал Жак с легким раздражением. — Ты ни о чем не думаешь, но ты пришел в отчаяние, а это одно и то же.

Матье заставил себя вскинуть голову и улыбнуться.

— Я вовсе не пришел в отчаяние.

— Не хочешь же ты меня убедить, будто ты уходишь, смирившись, как баран, которого ведут на бойню?

— Да, — сказал Матье, — все же я немного похож на барана, ты не находишь? Я уезжаю, потому что не могу поступить иначе. Справедлива эта война или нет, для меня это второстепенно.

Жак откинул голову и, полузакрыв глаза, посмотрел на Матье:

— Матье, ты меня удивляешь. Ты меня бесконечно удивляешь, я тебя больше не узнаю. Как же так? У меня был бунтующий, циничный, язвительный брат, который никогда не хотел быть одураченным, который мизинцем не мог пошевелить, не пытаясь понять при этом, почему он шевелит им, а не указательным пальцем,

почему он шевелит мизинцем правой руки, а не левой. И вот война, его посылают в первых рядах, и мой бунтарь, мой сокрушитель посуды, не задавая лишних вопросов, покорно уходит, говоря: «Я уезжаю, потому что не могу поступить иначе».

— Моей вины здесь нет, — сказал Матье. — Мне никогда не удавалось сформировать собственное мнение по вопросам такого рода.

— Но давай рассуждать[26], — сказал Жак, — мы имеем дело с неким господином — я имею в виду Бенеша, — который твердо пообещал построить из Чехословакии конфедерацию по швейцарской модели. И он действительно за это взялся, — с силой повторил Жак, — я это прочел в протоколах Мирной конференции, видишь, я от тебя не скрываю своих источников. А это намерение равнозначно гарантии для судетских немцев подлинной национальной автономии. Ладно. Но потом этот господин полностью забывает о своих обязательствах и ставит над немцами чехов, которые за ними надзирают, их судят, ими управляют. Немцам это не нравится: это их естественное право. Тем более, что я знаю чешских чиновников, я был в Чехословакии: ты не представляешь себе, какие они буквоеды! Так вот, им хотелось бы, чтобы Франция, как они утверждают, страна свободы, пролила свою кровь ради их бюрократического произвола над немецким населением, и теперь ты, преподаватель философии в лицее Пастера, собираешься провести свои последние молодые годы в десятифутовых траншеях между Битхе и Виссембургом. Теперь ты понимаешь, почему сейчас, когда ты мне сказал, что уезжаешь, смирившись, и что тебе наплевать, справедливая это война или нет, мне за тебя досадно.

Матье с недоумением смотрел на брата; он думал: «Национальная автономия, никогда бы не додумался». Он все же, для очистки совести, сказал:

— Они хотят не национальной автономии: судеты уже требуют присоединения к Германии.

Жак страдальчески скривился:

— Пожалуйста, Матье, не говори, как мой консьерж, не называй их Судетами. Судеты — это горы. Скажи: су-детские немцы или, если хочешь, просто немцы. Ну и что? Они хотят присоединиться к Германии? Но это наверняка потому, что их довели до предела. Если бы им сразу дали то, чего они просили, всего бы этого не случилось.

Но Бенеш юлил, лукавил, потому что наши шишки внушили ему, будто у него за спиной Франция: и вот результат.

Он с грустью посмотрел на Матье.

— Все это, — сказал он, — я бы еще мог перенести, ибо давно уже знаю, чего стоят политики. Но когда ты, разумный человек с университетским образованием, настолько теряешь элементарное чутье, что утверждаешь, будто идешь на эту бойню потому, что не можешь иначе, этого я перенести не могу. Старик, если таких, как ты, много, Франция пропала.

— Но что, по-твоему, мы должны делать? — спросил Матье.

— Как? Ведь у нас пока еще демократия, Тье! Во Франции, кажется, еще есть общественное мнение.

— Ну и что дальше?

— Что ж, если миллионы французов вместо того, чтобы истощаться в пустых спорах, разом объединились бы, если б они сказали нашим правителям: «Судетские немцы хотят вернуться в лоно Великой Германии? Пусть возвращаются: это касается только их!» Тогда не нашлось бы политика, который из-за подобной безделицы осмелился бы на войну.

Он положил руку на колено Матье и примирительно подытожил:

— Я знаю, ты не любишь гитлеровский режим. Но вполне можно не разделять твоих предубеждений против него: это молодой, динамичный режим, который хорошо проявил себя и имеет неоспоримую притягательность для народов центральной Европы. И потом, как бы то ни было, это их дело: нам не следует во все это вмешиваться.

Матье подавил зевок и подобрал ноги под стул; он исподтишка бросил взгляд на слегка одутловатое лицо брата и подумал, что тот стареет.

— Возможно, — послушно согласился он, — возможно, ты и прав.

Одетта спустилась по лестнице и молча села рядом с ними. В ней была грация и безмятежность домашнего животного: она садилась, уходила, возвращалась уверенная, что ее не замечают. Матье с раздражением повернулся к ней: он не любил видеть их вместе. Когда Жак был здесь, лицо Одетты не менялось, оно оставалось гладким и

ускользающим, как лицо статуи без зрачков. Но его следовало читать по-другому.

— Жак считает, что свой отъезд я воспринимаю слишком легко, — сказал Матье, улыбаясь. — Он пытается внушить мне чувство обреченности, растолковывая мне, что я собираюсь дать себя убить ни за что.

Одетта улыбнулась ему в ответ. Это была не светская улыбка, которой он ожидал, но улыбка для него одного; за одно мгновенье море снова было здесь, и легкое покачивание зыби, и китайские тени, скользящие по волнам, и расплавленное солнце, подрагивающее на волнах, и зеленые агавы, и зеленые иглы, устилающие землю, и игольчатая тень высоких сосен, и белая разбухшая жара, и запах смолы — вся плотность сентябрьского утра в Жуан-де-Пен, Дорогая Одетта. Неудачно вышедшая замуж, недостаточно любимая; но разве имел кто-нибудь право сказать, что она погубила свою жизнь, раз она могла улыбаться, могла возрождать сад на побережье и летний зной на море? Он посмотрел на желтого, жирного Жака; его руки дрожали, он нервно постукивал пальцами по газете. «Чего он боится?» — подумал Матье. В субботу 24 сентября, в одиннадцать часов утра Паскаль Монтастрюк, родившийся в Ниме 6 февраля 1899 года и прозванный Кривым, поскольку он проткнул себе левый глаз ножом 6 августа 1907 года, пытаясь перерезать веревки на качелях своего маленького товарища Жюло Трюффье и посмотреть, что из этого получится, продавал, как всегда по субботам, ирисы и лютики на набережной Пасси, недалеко от станции метро; у него были свои персональные приемы: он накладывал букеты, прекрасные букеты, в ивовую корзинку, поставленную на складной стул, и выскакивал на мостовую, машины, сигналя, проезжали мимо, а он кричал: «Букеты, красивые букеты для вашей дамы!», — потрясая желтым букетом, автомобиль бросался на него, как бык на арене, а он не шевелился и, запрокидывая голову, позволял автомобилю переть на него, как прет большое глупое животное, и кричал в открытую дверцу: «Букеты, красивые букеты!», — и обычно автомобилисты останавливались, он вскакивал на подножку, и автомобиль съезжал к тротуару, потому что были выходные, и эти господа предпочитали вернуться в красивые дома на улице де Винь или дю Ранелаг с букетами для своих дам. «Красивые букеты!», — он отпрыгнул назад, чтобы не попасть под машину,

наверняка, уже сотую, проносившуюся мимо без остановки: «Черт-те что!» Что на них сегодня утром нашло? Водители вели машины быстро и небрежно, сгорбившись над рулем, безмолвные, как горшки. Они не сворачивали на улицу Чарльз-Диккенс или проспект Ламбаль, они на предельной скорости мчались вдоль набережной, как будто хотели достигнуть Понтуаза; Кривой Паскаль больше ничего не понимал: «Но куда они гонят? Куда?». Он уходил, глядя на свою корзину, полную желтых и розовых цветов, сегодня ему не везло.

— Это чистое безумие, — сказал Жак. — Самое великолепное самоубийство в истории. Вдумайтесь: Франция за сто лет подвергалась двум ужасным кровопусканиям — одному во времена Империи, второму в 1914 году; кроме того, каждый день падает рождаемость. Разве это подходящий момент, чтобы ввязываться в новую войну, которая обойдется нам от трех до четырех миллионов человек? Три или четыре миллиона, которых мы больше не сможем воспроизвести, — отчеканил он. — Победительница или побежденная, страна в любом случае переходит в разряд второстепенных держав: вот что абсолютно очевидно. И потом, я сейчас скажу тебе и другое: Чехословакия будет уничтожена, мы и охнуть не успеем. Стоит только посмотреть на карту: у нее вид ошметка мяса между челюстями немецкого волка. Достаточно волку стиснуть челюсти,…

— Но это будет только временно, — сказала Одетга, — после войны Чехословацкое государство восстановят.

— Да? — вызывающе смеясь, сказал Жак. — Так я тебе и поверил! Действительно, есть вероятность, что англичане позволят восстановить это пепелище. Но пятнадцать миллионов жителей и девять разных национальностей — это вызов здравому смыслу. Не стоило бы чехам обманываться, — сурово добавил он, — в их жизненных интересах любой ценой избежать войны.

«Чего он боится?» Он смотрел, сжимая в руке ненужный букет, как мимо проносятся машины, это походило на дорогу из Шантильи в вечер скачек, многие везли на крышах сундуки, матрацы, детские коляски, швейные машинки — все автомобили были битком набиты чемоданами, ящиками, корзинами. «Ну и дела!» — подумал Кривой Паскаль. Машины были так тяжело нагружены, что при каждой неровности дороги щитки чиркали по шинам. «Они удирают, —

подумал он, — они удирают». Он слегка отскочил назад, чтобы не угодить по «сальмсон», но он и не думал возвращаться на тротуар. Они улепетывали, эти господа с холеными от массажа лицами, толстые дети, красивые дамы, им припекало задницу, они улепетывали от бошей, от бомбежек, от коммунизма. Он терял всех своих клиентов. Но ему казалась такой забавной эта вереница автомобилей, это сумасшедшее бегство в сторону Нормандии, что это даже несколько возмещало убытки. Он остался на мостовой, уворачиваясь от машин-беглецов, и от всего сердца расхохотался.

— А скажи на милость, как мы сможем им помочь? В конце концов мы вынуждены будем напасть на Германию. Но как? Откуда? На востоке линия Зигфрида, мы расквасим о нее нос. На севере — Бельгия. Нарушим бельгийский нейтралитет? Так как же? Может, следует сделать обход через Турцию? Чистая авантюра! Мы можем только одно: ждать с оружием наизготовку, когда Германия расправится с Чехословакией. После этого она придет расправиться с нами.

— Что ж, — сказала Одетта, — вот тогда… Жак обратил на нее супружеский взгляд:

— Что «тогда?» — холодно спросил он. Он наклонился к Матье. — Я тебе рассказывал о Лоране, который был шишкой в «Эр Франс» и остался советником Ко и Ги Ла Шамбр? Так вот, я тебе передаю без комментариев, что он мне сказал в июле: «Французская армия располагает от силы сорока бомбардировщиками и семьюдесятью истребителями. Учитывая этот фактор, немцы будут в Париже к Новому году».

— Жак! — возмутилась Одетта.

Чего он боится? Паскаль смеялся до упаду, он отшвырнул букет, чтобы было сподручнее смеяться, он отскочил назад, колесо автомобиля прошло по стеблям букета. Чего он боится? Она сердита, потому что кто-то посмел вообразить поражение Франции. У нее нет симпатии: слова пугают ее. Они боятся дирижаблей и немецких самолетов, я их видел тогда, в 1916 году, и помнится, им было не по себе, и вот все начинается снова; автомобили проносились на предельной скорости по раздавленным стеблям, и у Паскаля выступили на глазах слезы — до того это казалось ему комичным. Морис вовсе не считал это забавным. Он заплатил за угощение

товарищей, и его плечи еще горели от их похлопываний. Теперь он был один, и скоро нужно будет сообщить обо всем Зезетте. Он увидел белый плакат на высокой серой стене заводов Пеноэ и подошел, ему нужно было перечитать одному и медленно: «По приказу министра обороны и военно-воздушных сил». Смерть была не такой уж страшной, всего лишь несчастный случай на работе, Зезетта вынослива и еще достаточно молода, она еще сможет устроить свою жизнь, это легче, когда нет детей. В остальном, что ж, он уйдет на войну, а потом, когда все кончится, сохранит свою винтовку, это решено. Но когда наступит конец войны? Через два года? Через пять лет? Предыдущая война длилась четыре с лишним года. Четыре с лишним года нужно будет повиноваться сержантам, офицерам, всем этим сволочным рожам, столь ему ненавистным. Повиноваться им по мановению пальца, по движению глаз, отдавать им на улице честь, тогда как до сих пор он, когда встречал одного из них, вынужден был глубоко засовывать руки в карманы, чтобы не дать ему в морду. На передовой они вынуждены вести себя прилично, они боятся пули в спину; но на привале донимают солдат, как в казарме. «Да в первой же атаке ухлопают офицерика, идущего впереди». Он двинулся дальше, он чувствовал себя грустным и кротким, как во времена, когда занимался боксом и переодевался в раздевалке за пятнадцать минут до поединка. Война — длинная, длинная дорога, не нужно слишком много о ней думать, иначе в конце концов решишь, что ничто не имеет смысла, даже конец войны, даже возвращение с винтовкой по домам. Длинная, длинная дорога. И, может, он сдохнет на полпути, как будто у него нет другой цели, кроме как дать продырявить себе шкуру ради заводов Шнайдера или сундука господина ае Венделя. Он шел в черной пыли меж стен завода Пеноэ и строительных площадок Жермена; довольно далеко справа он видел покатые крыши мастерских Северной железной дороги и за ними, еще дальше, большую красную трубу винокуренного завода, он шептал: «Длинная, длинная дорога». Кривой хохотал, лавируя между автомобилями, Морис шагал в пыли, а Матье сидел на берегу моря, слушал Жака и говорил себе: «Как знать, возможно, он и прав», — он думал о том, что ему предстоит отбросить свою одежду, профессию, личность, отправиться голяком на самую абсурдную из войн, на заранее проигранную войну, и он чувствовал, что катится в пропасть

безымянности, он больше не был никем — ни старым учителем Бориса, ни старым любовником старой Марсель, ни слишком старым влюбленным в Ивиш; всего лишь лишенный возраста аноним, у которого украли будущее и оставили впереди сплошную непредсказуемость. В одиннадцать тридцать автобус остановился в Сафи, и Пьер вышел размять ноги. Плоские желтые хижины вдоль асфальтированной дороги; сзади невидимый Сафи, скатывающийся к морю. Арабы жарились на солнце, присев на широкой ленте охряной земли, самолет летал над желто-серой шахматной доской, это была Франция. «Этим-то на нее наплевать», — с завистью подумал Пьер; он шел между арабами, он мог прикоснуться к ним, но его меж ними не было; они останутся спокойно покуривать гашиш под солнцем, а он пойдет погибать в Эльзасе, он споткнулся о кочку; самолет провалился в воздушную яму, и старик подумал: «Не люблю летать самолетом». Гитлер склонился над столом, генерал водил по карте и говорил: «Пять танковых бригад. Тысяча самолетов вылетит из Дрездена, Темпельхофа и Мюнхена»; а Чемберлен прижимал ко рту платок и думал: «Это мое второе путешествие самолетом. Не люблю летать самолетом». «Они не могут мне помочь, они присели под солнцем, похожие на маленькие кастрюльки с дымящейся водой; они довольны, они одни на земле. Черт возьми! — с отчаянием подумал он. — Черт возьми! Если б я был арабом!»

В одиннадцать часов сорок пять минут Франсуа Аннекен, фармацевт первого разряда из Сен-Флура, рост 1 метр 70 сантиметров, нос прямой, лоб средний, легкое косоглазие, борода воротником, сильный запах изо рта и от чресел, до семи лет хронический энтерит, эдипов комплекс преодолен около тринадцати лет, степень бакалавра в семнадцать, мастурбация вплоть до военной службы по два-три семяизвержения в неделю, читатель «Тан» и «Митен» (по подписке), бездетный супруг Эсперанс Дьелафуа, верующий католик, два или три причастия в триместр, поднялся на второй этаж, вошел в супружескую спальню, где его жена примеряла шляпку, и сказал: «Ну вот, как я тебе и говорил, они призывают военнообязанных группы № 2». Жена положила шляпку на трельяж, вынула шпильки изо рта и сказала: «Значит, ты уезжаешь сегодня днем?» Он ответил: «Да, пятичасовым поездом». «Боже мой! Я так волнуюсь, я не успею всего тебе приготовить. Что ты возьмешь? —

спросила она. — Естественно, рубашки, кальсоны, у тебя есть шерстяные, муслиновые, хлопчатобумажные, но лучше шерстяные. Да, и еще фланелевые пояса, сможешь взять пять или шесть, предварительно свернув их». «Никаких поясов, — возразил Аннекен, — это гнезда для вшей». «Какой ужас, но у тебя не будет вшей. Возьми их, прошу тебя, доставь мне удовольствие; когда очутишься там, увидишь, они тебе пригодятся. К счастью, у меня есть еще консервы, это те, что я купила в тридцать шестом году, во время забастовок, ты еще смеялся надо мной; у меня есть банка кислой капусты в белом вине, но она тебе не понравится…» «У меня от нее изжога, — сказал он, потирая руки, — но если у тебя есть банка рагу…» «Банка рагу! — воскликнула Эсперанс. — Мой бедный друг, а как же ты ее разогреешь?» «Подумаешь», — сказал Аннекен. «Что «подумаешь»? Ее же разогревают на паровой бане». «Ладно, но есть еще цыпленок в желе, а?» «Да! Действительно, цыпленок в желе и прекрасная болонская колбаса, которую прислали кузены из Клермона». Он с минуту помечтал и сказал: «Я возьму свой швейцарский нож». «А куда я задевала термос для кофе?» «Да, кстати, кофе — нужно что-то горячее, чтобы согреть желудок; в первый раз с тех пор, как я женат, я буду есть без бульона, — сказал он, грустно улыбаясь. — Положи мне несколько слив, пока ты здесь, и фляжку коньяка». «Ты возьмешь желтый чемодан?» Он так и подскочил: «Чемодан? Ни за что на свете, это неудобно, и потом, я не собираюсь его терять; там все воруют, я возьму рюкзак». «Какой рюкзак?» «Тот, который я брал на рыбалку до нашей женитьбы. Куда ты его дела?» «Куда дела? Да не знаю, мой бедный друг, у меня голова идет кругом, наверное, снесла его на чердак». «На чердак! Да ты что, там же мыши! Ну и дела». «Ты бы лучше взял чемодан, он небольшой, только не своди с него глаз. А! Я знаю, где он: у Матильды, я ей одолжила его для пикника». «Ты одолжила рюкзак Матильде?» «Да нет, зачем ты мне говоришь о рюкзаке? Я же тебе сказала: термос». «Так или иначе, мне нужен рюкзак», — твердо сказал Аннекен. «Дорогой, ну что ты от меня хочешь, посмотри, сколько у меня дел, помоги мне немного, поищи его сам, посмотри-ка на чердаке». Он поднялся по лестнице и толкнул дверь на чердак: пахло пылью, ничего не было видно, между ногами прошмыгнула мышь. «Проклятье, его наверное, уже сожрали крысы», — подумал он.

На чердаке громоздились многочисленные чемоданы, манекен из ивовых прутьев, карта полушарий, старая плита, зубоврачебное кресло, фисгармония — все это нужно было передвигать. Если бы, по крайней мере, ей пришло в голову положить его в какой-нибудь чемодан! Он открывал чемоданы один за другим и с яростью захлопывал их. Рюкзак был такой удобный, из кожи, с застежкой-молнией, туда можно было засунуть уйму всего, у него было два отделения. Именно такие вещи помогают пережить дурные времена: даже и не подозреваешь, насколько они незаменимы. «Во всяком случае, я не поеду с чемоданом, — раздраженно подумал Аннекен, — лучше я вообще ничего не возьму».

Он сел на чемодан, руки у него были черны от пыли, он ощущал пыль, как сухой и шершавый клей по всему телу, он поднял руки, чтобы не запачкать свой черный пиджак, ему казалось, что у него никогда не хватит смелости сойти с чердака, у него полное отсутствие желаний, и эта ночь, которую он проведет даже без горячего бульона, чтобы согреть желудок, все было так безысходно, он чувствовал себя одиноким и потерянным здесь наверху, на самом верху, сидя на чемодане, и этот шумный и мрачный вокзал, который его ждет в двухстах метрах отсюда, однако пронзительный крик Эсперанс заставил его вздрогнуть; это был победоносный крик: «Нашла! Нашла!» Он открыл дверь и побежал к лестнице: «Где он был?» «Я нашла твой рюкзак, он был внизу, в стенном шкафу подвала». Он спустился по лестнице, взял рюкзак из рук жены, открыл, посмотрел на него и отряхнул ладонью, затем, ставя его на кровать, сказал: «Дорогая, а не стоит ли мне купить себе пару хороших башмаков?»

К столу! К столу! Они вошли в ослепляющий полуденный туннель; снаружи — белое от зноя небо, снаружи — мертвые белые улицы, снаружи — по man's land[27], снаружи — война; за закрытыми ставнями они задыхались от жары, Даниель постелил салфетку на колени, Аннекен повязал на шее галстук, Брюне взял со стола бумажную салфетку, смял ее и вытер губы, Жаннин ввезла Шарля в почти пустую столовую со стеклами, изборожденными лиловыми отсветами, и положила ему на грудь салфетку; это была передышка; война, что ж, пусть война, но какая жара! Масло в воде, толстый кусок с расплывчатыми тающими контурами, жирная серая вода и маленькие крупинки застывшего масла, плавающие вверх брюшком,

Даниель смотрел, как в салатнице плавились ракушки из масла, Брюне вытер лоб, сыр потел на его тарелке, как старательный работяга, пиво, стоявшее перед Морисом, было теплым, он оттолкнул кружку: «Тьфу! Как моча!» Льдинка плавала в красном вине, Матье выпил, и сначала во рту у него был холод, затем маленькое озерцо выдохшегося вина, еще немного теплого, но сразу же смешавшегося с водой; Шарль немного повернул голову и сказал: «Снова суп! Нужно быть идиотом, чтобы подавать суп в такую жару». Ему поставили тарелку на грудь, она грела ему кожу сквозь салфетку и рубашку, Шарль видел ее фаянсовый край, он погрузил ложку наугад, вертикально поднял ее, но когда лежишь на спине, никогда не уверен в точности вертикали, часть жидкости, расплескавшись, попала снова в тарелку, Шарль медленно поднес ложку к губам и наклонил ее, дерьмо! Всегда одно и то же, обжигающая жидкость потекла по щеке и залила воротник рубашки. Война, ах, да, война! «Нет, — сказала Зезетта, — не включай радио, я больше не хочу, не хочу об этом думать». «Да нет, успокойся, — сказал Морис, — немного музыки». Шерсо… гуддб, ш…шрр, моя звезда, последние известия, «Сомбреро и мантильи», «Я буду ждать» по заказу Югетты Арналь, Пьера Дюкрока, его жены и двух дочерей из местечка.

Ла-Рош-Кашшьяк, мадемуазель Элиан из Калъви и Жана-Франсуа Рокетта для его маленькой Мари-Мадлен и группы машинисток из Тюлю, для их солдат, я буду ждать день 1 ночь, возьмите еще немного ухи, нет, спасибо, отказался Матье, это не может не уладиться, радио потрескивало, струилось над белыми и мертвыми площадями, пронизывало стекла, входило в город, в мрачные душные помещения, Одетта думала: это не может не уладиться, это очевидно; было так жарко. Мадемуазель Элиан, Зезетта, Жан-Франсуа Рокетт и семья Дюкрок из Ла-Рош-Канильяк думали: это не может не уладиться; было так жарко. «Что, по-вашему, они должны делать?» — спросил Даниель; это ложная тревога, думал Шарль, нас оставят здесь. Элла Бирненшатц положила вилку, откинула голову и сказала: «Ну и пусть война, я в нее не верю». Я всегда буду ждать твоего возвращения, самолет летел над пыльным стеклом, лежащим плашмя; на краю стекла, очень далеко, выступало немного замазки, Генри наклонился к Чемберлену и крикнул ему в ухо: это Англия, Англия, и толпа, теснящаяся у турникетов аэродрома

в ожидании его возвращения, моя любовь, всегда, им на минуту овладела слабость, было так жарко, он хотел забыть и завоевателя с мушиной головой, и отель «Дрезен», и меморандум, хотел верить, Господи, верить, что все еще может уладиться, он закрыл глаза, «Моя любимая куколка», по заказу мадам Дюранти и ее маленькой племянницы из Деказевиля, война, Боже мой, да, война, и пекло, и грустный безмятежный послеполуденный сон, Касабланка, вот Касабланка, автобус остановился на белой пустынной площади, Пьер вышел первым, жгучие слезы застили ему глаза; в автобусе задержалось еще немного утра, но снаружи, на солнцепеке, утро уже скончалось. Кончилось утро, моя любимая куколка, кончилась молодость, кончились надежды, вот в чем великая трагедия полудня. Жан Сервен оттолкнул тарелку, он читал спортивную страницу «Пари-Суар», ему был еще неизвестен декрет о частичной мобилизации, он был на работе, он заскочил со службы, чтобы пообедать, и вернется туда к двум часам; Люсьен Ренье давил руками орехи, он уже прочел белые плакаты и думал: это блеф; Франсуа Деспот, юноша из лаборатории института Деррьен, вытирал хлебом тарелку и не думал ни о чем, его жена тоже не думала ни о чем, Рене Мальвиль, Пьер Шарнье также ни о чем не думали. Утром война засела в их головах острой и режущей ледышкой, потом она растаяла, превратилась в маленькую теплую лужицу. «Моя любимая куколка», тяжкий и мротный запах бургундской гавдщны, запах рыб», кусочек мяса между двумя коренными зубами, пары красного вина и зной, зной! Дорогие слушатели, Франция, несокрушимая, но миролюбивая, отважно бросает вызов судьбе.

Он устал, был утомлен, он три раза провел рукой перед глазами, свет причинял ему боль, и Добери сосавший кончик карандаша, сказал своему собрату из «Морнинг Пост»: «У него солнечный улар». Он поднял руку и тихо произнес:

— Теперь, когда я вернулся, моя первейшая обязанность — сообщить французскому и английскому правительству о результатах моей миссии, и пока я это не сделаю, мне будет затруднительно что-либо о ней прилюдно сообщить.

Полдень окутывал его своим белым саваном, Доберн смотрел на него и думал о длинных пустынных дорогах между серыми и

ржавыми, озаренными небесным огнем скалами. Старик еще более слабым голосом добавил:

— Этим я ограничусь: я верю, что все заинтересованные стороны продолжат усилия для мирного разрешения чехословацкой проблемы, ибо именно тут в данный момент кроются возможности европейского мира.

Она сосредоточенно собирает хлебные крошки со скатерти. Она немного подавлена, как в те дни, когда мучились сенной лихорадкой, она мне сказала: «У меня стоит ком в груди» и в расстройстве уронила несколько слезинок: скоро рухнет привычный уклад ее жизни. Я ей ответил: «Это пройдет». Она думает, что несчастна, это маленькое церебральное недомогание она считает несчастьем. Но она держится, полагая, что не имеет права распускаться, так как делит несчастье со всеми женщинами Франции. Достойная, спокойная, внушающая робость, она сидит, положив прекрасные руки на скатерть, и выглядит так, как будто восседает за кассой большого магазина. Она не думает, она не хочет думать, что ей будет спокойнее после моего отъезда. О чем ее мысли? О том, что на подставке для ножей ржавое пятно. Она щурит брови, скоблит ржавое пятно кончиком красного ногтя. Постепенно она успокоится. Ее мать, ее подруги, вышивка, двуспальная кровать для нее одной, она мало ест, она будет жарить себе на плитке глазунью, малышку кормить нетрудно, каши, все время каши, я ей говорил: «Дай мне все равно что, все время одно и то же, не старайся усложнять меню, я никогда не обращаю внимания на еду», — но она упрямилась, это был ее долг. — Жорж!

— Да, любимая?

— Хочешь отвара?

— Нет, спасибо.

Она, вздыхая, пьет отвар, у нее красные глаза. Но она на меня не смотрит, она смотрит на буфет, потому что он стоит прямо напротив нее. Ей нечего мне сказать, или же сейчас она скажет: «Не простудись». Возможно, она вообразит меня сегодня вечером в поезде — худая фигурка, осевшая в глубине купе, но здесь воображение ее остановится, дальнейшее представить слишком трудно; она думает о своем существовании без меня. Мой отъезд создаст в ее жизни пустоту. Совсем небольшую пустоту, моя Анд ре: ведь я произвожу так мало шума. Я сидел в кресле с книгой, она штопала чулок, нам

нечего было друг другу сказать. Кресло всегда будет здесь. Основное — это кресло. Андре будет мне писать. Три раза в неделю. Прилежно. Она станет совсем серьезной, долго будет искать чернила, перо, светлые очки, затем с внушающим робость видом сядет за неудобный секретер, который она получила в наследство от своей прабабки Вассер: «У малышки режутся зубки, моя мать приедет на Рождество, мадам Анселен умерла, Эмильена выходит замуж в сентябре, жених очень хорош, среднего возраста, служит в страховой компании». Если у малышки будет коклюш, она от меня это скроет, чтобы я не волновался. «Бедный Жорж, ему не нужно это знать, он тревожится из-за пустяков». Она будет мне посылать посылки, колбасу, сахар, пачку кофе, пачку табака, пару шерстяных носков, банку сардин, таблетки сухого спирта, соленое масло. Одна посылка из десяти тысяч, такая же, как десять тысяч других; если мне по ошибке дадут посылку соседа, я этого не замечу, посылки, письма, каши Жаннетты, пятна на подставке для ножей, пыль на буфете, ей этого будет достаточно; вечером она скажет: «Я устала, я не могу с этим справиться». Она не будет читать газет, не больше, чем сейчас: она их ненавидит, потому что они потом валяются, где попало, и ими нельзя пользоваться для кухни и туалета в течение двух суток: мадам Эберто будет приходить к ней с новостями: мы одержали крупную победу, или дела идут скверно, мой дружочек, дела идут покуда скверно, наши топчутся на месте. Анри и Паскаль уже договорились с женами о шифрованном языке, чтобы сообщать, где они будут находиться: подчеркиваешь определенные буквы[28]. Но с Андре это бесполезно. Тем не менее, он может попытаться.

— Я постараюсь сообщить тебе, где я буду.

— А это не запрещено? — удивленно спросила она.

— Да, но люди что-то придумывают, знаешь, как во время войны 14-го года, к примеру, ты читаешь отдельно все заглавные буквы.

— Это очень сложно, — вздохнула она.

— Да нет же, вот увидишь, это совсем просто.

— Да, а потом ты попадешься, твои письма выбросят, а я буду волноваться.

— И все же стоит рискнуть.

— Как хочешь, мой друг, но знаешь ли, у меня с географией плохо… Я посмотрю по карте, увижу кружочек с названием внизу, что

мне это даст?

И все же. В каком-то смысле, так лучше, намного лучше. Но, главное, она будет получать мое жалованье…

— Я отдал тебе доверенность?

— Да, любимый, я ее положила в секретер.

Так намного лучше. Но обременительно оставлять человека, который портит себе кровь, чувствуешь себя уязвимым. Я отодвигаю стул.

— Нет, нет! Мой бедняжка, не стоит сворачивать салфетку.

— Действительно.

Она не спрашивает у меня, куда я иду. Она никогда не спрашивает у меня, куда я иду. Я ей говорю:

— Пойду посмотрю на малышку.

— Не разбуди ее.

«Я ее не разбужу; даже если я этого захотел бы, мне не удалось бы достаточно пошуметь, чтобы разбудить ее, я очень легкий». Он толкнул дверь, один ставень открылся, и в комнату проникал ослепительный меловой день; одна половина комнаты была еще в тени, но другая сверкала под пыльным светом; малышка спада в колыбели, Жорж сел рядом с ней. Светлые волосы, нежный ротик и немного отвисшие пухлые щечки, которые придают ей вид английского чиновника. Она уже начинала меня любить. Солнце передвинулось вперед, он тихо переместил колыбель. «Сюда, сюда, вот так!»- Она не будет хорошенькой, она похожа на меня. Бедная девочка, лучше б она походила на мать. Еще вся мягкая, как бы лишенная костей. Но она уже носит в себе ту же непреклонную неопределенность, которая управляет мной, клетки будут размножаться, как это было у меня, позвонки затвердеют, как это происходило со мной, череп окостенеет по моему образцу. Маленькая невзрачная худышка с тусклыми волосами, сколиозом правого плеча и сильной близорукостью, она будет бесшумно скользить, не касаясь земли, обходя стороной людей и предметы, ибо будет слишком легкой и слабой, чтобы сдвигать их с места. Боже мой! Все эти годы, неумолимо предначертанные ей один за другим, и все так тщетно, так бесполезно, так предопределено здесь, в ее плоти, и ей нужно будет пройти свой путь, минуту за минутой, с верой, что судьба ей подвластна, а судьба ее была спрессована целиком здесь,

тошнотворная в силу того, что определена загодя: он инфицировал это дитя собой, и потому ей предстоит прожить мою жизнь капля за каплей; и почему так устроено, что все на этой планете повторяется до бесконечности! Щупленькая малышка, маленькая ясновидящая, боязливая душа — все, что нужно для страдалицы. Я ухожу, я призван к другим обязанностям; она вырастет здесь, упорно и неосторожно, она будет здесь меня замещать. И коклюш, и долгие выздоровления, и эта злополучная тяга к красивым толстым розовотелым подругам, и зеркала, в которые она будет смотреться, думая: «Неужели я так некрасива, что меня никто не полюбит?» И все это день за днем, с горьковатым привкусом уже однажды испытанного, это ли не наказание, милосердный Боже, это ли не наказание? «Она на мгновенье проснулась и с серьезным любопытством посмотрела на отца, для нее это было совсем новое мгновенье, во всяком случае, ей кажется, что оно совсем новое. Он вынул ее из колыбели и крепко сжал в объятиях: «Моя маленькая! Маленькое мое дитя! Бедная моя малышка!» Но девочка испугалась и расплакалась.

— Жорж! — с упреком позвала из-за двери Андре. Он осторожно положил ребенка в колыбель. Еще мгновенье она смотрела на него, сурово нахмурив личико, потом ее глазки закрылись, моргая, открылись и закрылись окончательно. Она уже начинала меня любить. Нужно было бы присутствовать здесь день ото дня и так приучить ее к моему существованию, чтобы она даже не замечала меня. Сколько времени на это уйдет? Пять лет, шесть? Я увижу настоящую маленькую девочку, которая удивленно посмотрит на меня и подумает: «Это мой папа!», — она будет конфузиться из-за меня перед подругами. Это у меня тоже было. Когда мой папа вернулся с войны, мне было двенадцать. Послеполуденный свет наполнял почти всю комнату. Послеполуденная пора, война. Война должна походить на бесконечный излет полдня. Жорж бесшумно встал, тихо прикрыл окно и задернул штору.

Каюта № 19. Она не решалась войти, она стояла у двери с чемоданом в руке, силясь убедить себя, что еще не все потеряно. А вдруг это окажется действительно красивая маленькая каюта с прикроватным ковриком, а то и с цветами в стакане для полоскания зубов на полочке умывальника? Такое бывает, часто встречаются люди, которые говорят: «На таких-то пароходах не стоит брать второй

класс, третий там не менее роскошный, чем первый». В этот самый момент, может, Франс уже смирилась, может, она говорила: «Вот это да! Вот каюта не такая, как другие. Если бы третий класс был всегда таким…» Мод представила себе, что она — Франс. Сговорчивая и безвольная Франс, которая говорила: «Честное слово… По-моему, все можно уладить». Но в глубине души она оставалась какой-то замороженной и уже смирившейся. Мод услышала шаги, она не хотела, чтобы ее застали слоняющейся по коридорам, однажды случилась кража, и ее достаточно неприятным образом допрашивали, когда ты беден, нужно обращать внимание на мелочи, потому что люди безжалостны; она вдруг очутилась одна посреди каюты, и у нее не было даже разочарования, она этого ожидала. Шесть мест: три полки одна над другой справа от нее, три слева. «Что ж, вот так… вот так!» Ни цветов на умывальнике, ни прикроватных ковриков; такого она и вообразить не могла. Ни стульев, ни стола. Четверым здесь было бы тесновато, но умывальник был чистым. Ей захотелось плакать, но даже этого не стоило делать: потому что все было предопределено. Франс не могла путешествовать третьим классом, это факт, от которого следовало отталкиваться, это было неоспоримо. Так же неоспоримо, как и то, что Руби не может ездить в поезде спиной к локомотиву. Бесполезно было задаваться вопросом, почему Франс упорно берет билеты в третьем классе. Франс, как всегда, не заслуживала упрека: она берет самые дешевые билеты в третьем классе, потому что склонна к экономии и весьма разумно заведует финансами оркестра «Малютки»; кто мог бы ее за это упрекнуть? Мод поставила чемодан на пол; секунду-другую она пыталась укорениться в каюте, сделать вид, будто она здесь уже много дней. Тогда полки, иллюминатор, торчащие из перегородок головки винтов, покрашенных в желтый цвет, — все станет привычным и почти свойским. Она самоубеждающе пробормотала: «Очень миленькая каюта». Но внезапно она почувствовала себя усталой, взяла чемодан и стала между полками, не зная, что делать: «Если мы здесь останемся, нужно распаковать вещи, но мы, определенно, не останемся, и если Франс увидит, что я начала устраиваться, она из духа противоречия непременно захочет куда-нибудь перейти». Мод ощутила себя гостьей в этой каюте, на этом пароходе, на этой земле. Капитан был высокий, полный, седовласый. Она вздрогнула и подумала: «Нам наверняка

здесь будет хорошо вчетвером, если только мы будем одни». Но достаточно было одного взгляда, чтобы утратить эту надежду: на правой полке уже стоял багаж: ивовая корзина, закрытая ржавой сеткой, и фанерный чемодан — даже не фанерный, а картонный — с расползающимися углами» В довершение всего Мод услышала неясный звук, подняла голову и увидела лежащую на правой верхней полке женщину лет тридцати, очень бледную, с зажатыми ноздрями и закрытыми глазами. Все кончено. Он посмотрел на ее ноги, когда она шла по палубе; он курил сигару, она хорошо знала подобных мужчин, пахнущих сигарами и одеколоном. Что ж, завтра девушки выйдут, шумные и накрашенные, на палубу второго класса, пассажиры устроятся, перезнакомятся и выберут себе шезлонги, Руби будет идти выпрямившись, с высоко поднятой головой, смеющаяся и близорукая, покачивая бедрами, а Дусетта заботливо скажет: «Ну иди же, мой волчонок, ведь так хочет капитан». Господа, хорошо устроившиеся на палубе с пледами на коленях, проследят за ними холодным взглядом, женщины их глумливо оценят, а вечером в коридорах они встретят каких-нибудь галантерейных джентльменов, распускающих руки. «Остаться, Боже мой! Остаться здесь, меж этих покрашенных в желтый цвет четырех жестяных стен, Боже мой, ведь мы рассчитывали быть одни!»

Франс толкнула дверь, за ней вошла Руби. «Багажа еще нет?» — спросила Франс как можно громче.

Мод знаком призвала ее замолчать, показав на больную. Франс подняла большие светлые безресничные глаза на верхнюю полку; лицо ее оставалось властным и бесстрастным, как обычно, но Мод поняла, что партия проиграна.

— Тут неплохо, — с жаром сказала Мод, — каюта почти посередине: меньше чувствуется качка.

Руби только пожала плечами. Франс равнодушно спросила:

— Как разместимся?

— Как захотите. Я могу занять верхнюю полку, — с готовностью предложила Мод.

Франс не могла уснуть, если чувствовала, что под ней спят еще двое.

— Посмотрим, — сказала она, — посмотрим…

У капитана были светлые холодные глаза и красноватое лицо. Открылась дверь, и появилась дама в черном. Она пробормотала несколько слов и села на свою полку между чемоданом и корзиной. Лет пятидесяти, очень бедно одета, землистое морщинистое лицо и выпученные глаза. Мод посмотрела на нее и подумала: «Кончено». Она вынула из сумочки помаду и стала подкрашивать губы. Но Франс покосилась на нее с таким величественно-самодовольным видом, что Мод, разозлившись, бросила помаду обратно в сумочку. Наступило долгое молчание, которое было Мод уже знакомо: оно царило в похожей каюте, когда «Сен-Жорж» увозил их в Танжер, а годом раньше — на «Теофиле Готье», когда они ехали играть в «Политейоне» Коринфа. Молчание вдруг было нарушено странными гнусавыми звуками: дама в черном вынула платок и, развернув, приложила его к лицу: она тихо, безостановочно плакала, и, казалось, это будет длиться вечно. Через некоторое время она открыла корзину и вынула ломоть хлеба с маслом, кусок жареной баранины и завернутый в салфетку термос. Она принялась, плача, есть, открыла термос и налила горячего кофе в стаканчик, рот ее был набит, крупные блестящие слезы катились по ее щекам. Мод посмотрела на каюту другими глазами: это был зал ожидания, всего-навсего зал ожидания на унылом провинциальном вокзальчике. Только бы не было хуже. Она зашмыгала носом и откинула голову, чтобы не потекла тушь на ресницах. Франс искоса холодно наблюдала за ней.

— Здесь слишком тесно, — громко сказала Франс, — нам здесь будет скверно. В Касабланке мне пообещали, что мы будем одни в шестиместной каюте.

Обстановка изменилась. В воздухе витало что-то зловещее и немного торжественное; Мод робко предложила:

— Можно доплатить за билеты…

Франс не ответила. Усевшись на полу слева, она, казалось, размышляла. Вскоре лицо ее прояснилось, и она весело сказала:

— Если мы предложим капитану дать бесплатный концерт в салонах первого класса, может, он согласится, чтобы наш багаж перенесли в более комфортабельную каюту?

Мод не ответила: слово было за Руби.

— Блестящая идея! — живо откликнулась Руби.

Мод вдруг встрепенулась. Она повернулась к Франс и взмолилась:

— Действуй, Франс! Ты у нас главная, тебе и идти к капитану.

— Нет, моя дорогая, — игриво возразила Франс. — Ты что, хочешь, чтобы такая старуха, как я, пошла к капитану? Он будет гораздо любезнее с милашкой вроде тебя.

Краснолицый здоровяк с седыми волосами и серыми глазами. Он, должно быть, до болезненности чистоплотен, так всегда бывает. Франс протянула руку и нажала на кнопку звонка:

— Лучше сразу все уладить, — сказала она. Женщина в черном все еще плакала. Внезапно она подняла голову и. казалось, только сейчас заметила их присутствие.

— Вы собираетесь сменить каюту? — встревожилась она. Франс холодно оглядела ее. Мод живо ответила:

— У нас много багажа, мадам. Нам здесь будет неудобно, и мы стесним вас.

— Нет-нет, вы меня не стесните? — возразила женщина. — Я люблю компанию.

В дверь постучали. Вошел стюард. «Ставки сделаны», подумала Мод. Она вынула помаду и пудреницу, подошла к зеркалу и стала старательно краситься.

— Спросите, пожалуйста, у капитана, — сказала Франс, — не найдется ли у него минутка, чтобы принять мадемуазель Мод Дассиньи их женского оркестра «Малютки».

— Нет, — ответил стюард, — нет. Держу пари, что нет. Плетеные кресла, тень платанов. Даниель полоскался в допотопных докучных воспоминаниях; в Виши в 1920 году он задремал в плетеном кресле под высокими деревьями парка, на его губах была такая же вежливая улыбка, и его мать вязала рядом с ним, а сейчас Марсель вязала рядом с ним пинетки для ребенка, она с отрешенным видом думала о войне. Вечное жужжание большой мухи, сколько воды утекло со времени Виши, а эта муха все еще жужжала, пахло мятой; за их спиной в гостиной кто-то играл на фортепьяно уже лет двадцать, а может и сто. Немного солнца на пальцах, золотящего волоски фаланг, немного солнца на дне пустой чашки в лужице кофе и кусочке сахара, коричневом и пористом. Даниель раздавил сахар из мрачного удовольствия почувствовать под ложечкой этот скрежет сладкого

песка. Сад мягко скользил к реке, вода была тепла и медлительна, запах нагревшихся растений и «Ревю де Де Монд», забытая месье де Летранжем, отставным полковником, на столе по другую сторону крыльца. Смерть, вечность, которой не избежать, сладкая, вкрадчивая вечность; зеленые пыльные листья над головами; извечный ворох палой листвы. Эмиль, единственный, кто был здесь жив, копал под каштанами. Это был сын хозяев, он бросил рядом с собой, на краю ямы, мешок из серого холста. В мешке лежала Зизи, околевшая собака: Эмиль рыл для нее могилу, на его голове была большая соломенная шляпа; пот блестел на голой спине. Низкорослый паренек, грубый и ничтожный, с топорным лицом — валуном с двумя горизонтальными мшистыми щелями вместо глаз, ему было семнадцать лет, он уже задирал подолы девицам, был местным чемпионом по биллиарду и курил сигары: но у него было такое незаслуженно восхитительное тело.

— Ах! — сказала Марсель, — если бы я решилась вам поверить…

Естественно. Естественно, она не решается ему верить. Но, в сущности, что ей за дело до войны? Она будет по-прежнему нагуливать жирок в какой-нибудь сельской глуши. Но скоро ли она уберется отсюда? Она пропускает час послеполуденного отдыха. Паренек нажимал ногой на лопату и наваливался изо всех сил; что если ласково положить руки ему на бедра и приподнимать их, едва надавливая, как массажист, в то время как он копает, коснуться работающих мышц спины, спрятать кончики пальцев во влажной тени подмышек; его пот пахнет чабрецом. Даниель выпил глоток сока.

— Хорошо, если бы все так и было, — сказала Марсель. — Но ведь уже начинается мобилизация.

— Но, моя дорогая Марсель, как вы можете позволить так обмануть себя? Home Fleet[29] сделает небольшой вояж по Северному морю, во Франции мобилизуют двести тысяч человек, Гитлер сосредоточит на чешской границе четыре танковых дивизии. А потом эти господа, вдоволь натешившись, смогут спокойно беседовать, усевшись вокруг стола.

Женские тела прилипают. Резина, мясо без костей, в руках всегда больше, чем нужно. Это же прекрасное тело вызывает вожделение скульптора, его хочется ваять. Даниель резко выпрямился в кресле и

обратил на Марсель сверкающие глаза. «Только не это, не этот расслабленный порок, у меня еще не тот возраст. Я пью сок, я серьезно рассуждаю о грядущей войне, а в это время взгляд рассеянно скользит по молодой обнаженной спине, по немного напряженным бедрам, упивается всеми усладами летнего дня. Пусть она грянет! Пусть грянет эта война, пусть она придет укротить мои глаза, затушить их, пусть она всем им наконец покажет их грязные, кровоточащие, изуродованные тела, пусть она окончательно оторвет меня от всего вечного, от вечных вялых желаний, от вечных улыбок, от вечной листвы, от вечного жужжания мух, огненный гейзер поднимается к небу, пламя, обжигающее лицо и глаза, пусть покажется, будто вырвало щеки, пусть придет, наконец, безымянное мгновение, не похожее ни на одно другое».

— Но послушайте, — сказала Марсель с нежной снисходительностью, она вовсе не ценила его политическую проницательность, — Германия не может отступить, не так ли? А мы уже дошли до предела в своих компромиссах. Что же дальше?

— Не бойтесь, — горько сказал Даниель. — Предела нашим компромиссам нет. И потом, Германия может позволить себе роскошь отступить, кто осмелится назвать это отступлением? Это назовут великодушием.

Эмиль выпрямился, вытер лоб тыльной стороной ладони, его подмышка пламенела на солнце, он, улыбаясь, смотрел в небо, как молодой бог. Молодой бог! Даниель царапнул ручку кресла: сколько раз, Господи, сколько раз он говорил «молодой бог», созерцая юношу в лучах солнца. Тривиальные словечки старого гомосексуалиста, я педераст, он говорил себе и это, и это тоже были лишь слова, они его не трогали, и вдруг он подумал: «Что может изменить война?» Он будет сидеть на краю бруствера во время затишья, будет рассеянно смотреть на голую спину молодого солдата, роющего киркой землю или ищущего вшей, губы Даниеля сами собой снова будут шептать: молодой бог; от себя никуда не денешься.

— Да и что из того! — резко сказал он. — Почему мы об этом непрестанно думаем? Даже если будет война, это не должно занимать нас более всего остального.

— Даниель! — казалось, Марсель была ошеломлена. — Как вы можете так говорить? Ведь это будет… это будет ужасно.

Слова. Опять слова.

— Весь ужас в том, — улыбаясь, сказал Даниель, — что в мире нет ничего слишком ужасного. Мир — это царство середины.

Марсель немного удивленно посмотрела на него, у нее были мутные покрасневшие глаза. «Ее одолевает сон», — с удовлетворением подумал Даниель.

— Если бы вы говорили только о моральных муках, я бы это еще поняла. Но, Даниель! Есть еще и физические муки…

— Вот-вот! — сказал Даниель, грозя ей пальцем. — Вы уже думаете о ваших предстоящих муках. Что ж, скоро вы убедитесь, что и тут все преувеличено. Скоро убедитесь!

Подавив зевок, Марсель улыбнулась ему.

— Итак, — сказал он, вставая, — не мучьте себя, Марсель. Видите, вы чуть не пропустили время послеобеденного сна. Вы слишком мало спите; в вашем положении нужно спать как можно больше.

— Я недостаточно сплю? — зевая и смеясь в одно и то же время, сказала Марсель. — Скорее наоборот, мне стыдно, что я ничего не читаю и целые дни провожу в постели.

«К счастью» — подумал Даниель, целуя ей кончики пальцев.

— Могу спорить, — сказал он, — вы не написали вашей матери.

— Это правда, — сказала она, — я плохая дочь. — Она зевнула и добавила: — Напишу ой перед тем, как лечь.

— Нет, нет! — живо запротестовал Даниель. — Ложитесь немедленно. Я сам черкну ей несколько слов.

— Даниель! — воскликнула Марсель сконфуженно и восхищенно. — Письмо от зятя, она будет так этим гордиться!

Она, пошатываясь, поднялась на крыльцо, а Даниель снова уселся в кресло. Он зевнул, время текло, он заметил, что прислушивается к фортепьяно. Он посмотрел на часы: было двадцать пять минут четвертого. Марсель спустится в шесть часов, чтобы прогуляться для аппетита. «В моем распоряжении два с половиной часа», — сказал он себе опасливо. Когда-то одиночество было для него как воздух, которым дышишь, не замечая его. Теперь оно было ему даровано лихорадочными урывками, и он не знал больше, что с ним делать. «Но самое поразительное, что я, пожалуй, скучаю меньше, когда Марсель здесь. Ты этого хотел, — сказал он себе, — ты этого хотел!» На дне

стакана оставалось немного сока, он его допил. Тем июльским вечером, когда он решил на ней жениться, он задыхался от тревоги, предчувствуя, что погружается в какой-то кошмар. И все ради того, чтобы закончить этим плетеным креслом, привкусом слегка прокисшего сока во рту, этой обнаженной спиной. Так же будет и на войне. Ужас всегда откладывается на завтра. Я женат, я солдат, везде только я. Даже не я: череда кратких эксцентричных гонок, мелкие центробежные движения, но центра-то и нет. Впрочем, центр есть. Центр один: я, я — и ужас в центре центра. Он поднял голову, муха жужжала на уровне глаз, он отогнал ее. Еще одно бегство. Незначительное движение руки, почти ничего, и он уже удирал от себя самого; что для меня значит эта муха? Быть из камня, неподвижным, бесчувственным, ни жеста, ни шума, быть слепым и глухим, мухи, уховертки, божьи коровки будут ползать взад и вперед по моему телу, свирепая статуя с пустыми глазницами, предмет, не имеющий ни планов, ни забот: может быть, тогда мне удастся совпасть с самим собой, не для того, чтобы принять себя, нет, только не это: чтобы стать, наконец, беспримесным объектом своей ненависти. Произошел разрыв, четыре ноты полонеза, молния этой спины, зуд в большом пальце, потом он собрал себя снова по частям. Быть тем, чем я являюсь, быть педерастом, злыднем, трусом, быть, наконец, этой грязью, которой не удается даже вполне существовать. Он сдвинул колени, положил ладони на бедра, ему захотелось смеяться: «Вот уж, должно быть, у меня благопристойный вид», но туг же пожал плечами: «Дурак! Больше не заботиться о том, как я выгляжу, больше не смотреть на себя, ведь именно когда я смотрю на себя, я неизбежно раздваиваюсь. Быть. В темноте, вслепую. Быть педерастом, как дуб есть дуб. Погаснуть. Загасить свой внутренний взгляд». Он подумал: «Загасить». Слово раскатилось, как гром, и отразилось в огромных пустых залах. Изгнать слова, они размножаются, как мыши, и каждое назначает ему свидание в конце него самого… Еще один разрыв. Даниель ощутил себя сонным скучающим человеком, у него всего два часа впереди, и он развлекается, как может. Быть таким, каким они меня видят, каким меня видит Матье — и Ральф в своей гнусной черепушке; надо прогнать слова, как комаров; он начал мысленно считать: раз, два — в голове у него мелькнуло: развлечение дачника. Но он стал считать

быстрее, он сблизил звенья цепи, и слова больше не проходили. Пять, шесть, семь, восемь, подводные глубины, образ был там, притаившийся, отвратительный, завсегдатай дна жизни, морской паук, он расцветал, двадцать два, двадцать три. Даниель заметил, что сдерживает дыхание; он его отпустил, двадцать семь, двадцать восемь, тот все еще копал там, наверху, на поверхности; образ: это была зияющая рана, горестный рот, он кровоточил, это я, я — две раздвинутые губы, и кровь, булькающая между губами, тридцать три, образ был для него привычным, и тем не менее, он ощутил его впервые. Необходимо изгнать и образы; его охватил странный и легкий страх. Скользить, поддаться скольжению, как будто хочешь уснуть. Сейчас я усну! Он встрепенулся, всплыл на поверхность. Какая тишина вовне; эта расплющивающая, полумертвая тишина, которую он тщетно искал в себе, она была здесь, вне его, она наводила страх. Рассеянное солнце покрывало землю бледными подвижными кругами, околевшая собака, этот шум реки в верхушках деревьев, голая спина, такая близкая и такая далекая, он почувствовал себя таким ужасно чужим, что позволил себе снова уйти, он потек назад, теперь он видел сад внизу, как ныряльщик, который поднимает голову и смотрит на небо сквозь воду. Без шума, без голоса, какая тишина вокруг него, сверху, снизу, и он один, маленькое болтливое отверстие среди мертвой тишины. Раз, два, три, изгнать слово, пересекающее тишину сада, которое сходится и соединяется во мне, надо выровнять дыхание. Медленно, глубоко, чтобы каждая воздушная колонна прижала, как кнопку, слова, пытающиеся родиться. Быть, как дерево, как голая спина, как мерцающие лунки на розовой земле. Надо закрыть глаза: они уводят слишком далеко, прочь от мгновенья, прочь от меня, они уже там, на листве, на голой спине; затравленный, тайный, ускользающий взгляд всегда на оконечности себя, он щупает на расстоянии. Но Даниель не осмелился опустить веки: Эмиль, должно быть, время от времени смотрел на него снизу: наверно, у него вид пожилого господина, охваченного послеобеденной дремотой; сосредоточиться на предмете, скорее, дать пищу взгляду, сковать его, накормить и проскользнуть вглубь самого себя, освобожденного от глаз в моей густой тьме: он уставился на клумбу слева, большое зеленое застывшее движение: остановившаяся волна в момент, когда она рассыпается, потерявшийся взгляд, блуждающий с одного листа

на другой и растворяющийся в этом растительном хаосе. Раз (вдох), два (выдох), три (вдох), четыре (выдох). Он, вращаясь, спускается, на ходу им овладевает щекочущее желание смеяться, я изображаю дервиша, если только не проглочу язык, но язык уже над ним, Даниель погружается, встречая разорванные слова: Страх, Вызов уже на поверхности. Вызов ясному небу, он думает о нем безобразно, бессловесно, небо должно открыться, как отверстие водостока. Под лазурью горький протест, тщетная мольба, Eli, Eli, lamma sabactani[30], это были последние слова, которые он встретил, они поднимались, как легкие пузырьки, зеленое изобилие клумбы было там, не увиденное, не названное, полнота присутствия перед его глазами, это приближается, это приближается. Это разрезало его, как серпом, это было необычное, приводящее в отчаяние, восхитительное. Опфытый, открытый, стручок лопается, открытый, открытый, сам удовлетворенный вечностью, педераст, злыдень, трус. Я вижу. Нет: на меня смотрят. Нет даже иначе: меня видят. Он был объектом взгляда. Взгляда, который обыскивал его до глубин, проникал в него ударом ножа и не был его взглядом; непрозрачный взгляд, сама ночь, которая ждала его там, в глубине его самого, труса, лицемера, педераста навечно. И он сам, трепещущий под этим взглядом и бросающий вызов этому взгляду. Взгляд. Ночь. Так, словно сама ночь была взглядом. Я видим. Прозрачен, проницаем, просверлен насквозь. Но кем? «Я не один», — громко сказал Даниель. Эмиль выпрямился.

— Что случилось, месье Серено? — спросил он.

— Я вас спрашивал, скоро ли вы закончите.

— Дело движется, — ответил Эмиль, — еще пара минут.

Он не торопился сызнова копать, с дерзким любопытством смотрел он на Даниеля. Даниель встал, от страха его била дрожь:

— Не утомительно копать на солнце?

— Я к этому привычный, — сказал Эмиль.

У него была прелестная грудь, немного жирная, с двумя махонькими розовыми пупырышками; он облокотился на лопату с вызывающим видом; в трех шагах… Даниель испытал странное наслаждение, более терпкое, чем обыкновенное сладострастие; этот Взгляд.

— А для меня слишком жарко, — сказал Даниель, — я пойду в дом немного отдохнуть.

Он слегка наклонил голову и поднялся по крыльцу. Во рту у него было сухо, но он решил: в своей комнате, задернув шторы, закрыв ставни, он возобновит эксперимент.

Семнадцать часов пятнадцать минут в Сен-Флуре. Госпожа Аннекен провожала мужа на вокзал, они пошли по крутой тропинке. Аннекен в спортивном костюме с рюкзаком через плечо; он надел новые туфли, которые ему жмут. На полпути они встретили госпожу Кальве. Она остановилась у дома нотариуса, чтобы немного отдышаться.

— Ах! Бедные мои ноги, — сказала она, заметив их. — Совсем становлюсь старухой.

— Вы свежи, как никогда, — возразила госпожа Аннекен, — немногие поднимаются по тропинке, не отдохнув.

— И куда вы так спешите? — спросила госпожа Кальве.

— Увы, Жанна! — воскликнула госпожа Аннекен. — Я провожаю мужа. Он уезжает, его призвали!

— Не может быть, — сказала госпожа Кальве. — А я и не знала! Но ничего не поделаешь! — Господину Аннекену показалось, что она смотрит на него с особым интересом. — Это, должно быть, нелегко, — добавила она, — уезжать в такой прекрасный день.

— Пустяки! — отозвался Аннекен.

— Он очень мужественный человек, — заметила его жена.

— В добрый час! — напутствовала госпожа Кальве, улыбаясь госпоже Аннекен. — Именно это я говорила мужу вчера: французы будут вести себя мужественно.

Аннекен почувствовал себя молодым и отважным.

— Простите, — извинился он, — но нам пора.

— До скорой встречи, — сказала госпожа Кальве.

— До скорой ли… — покачала головой госпожа Аннекен.

— Да, до скорой встречи, до скорой встречи! — с упором повторил Аннекен.

Они продолжили путь, Аннекен шел быстро, и жена приостановила его:

— Тише, Франсуа, — у меня же сердце, я за тобой не поспеваю.

Они встретили Мари, сын которой служил в армии. Аннекен крикнул ей:

— Что передать вашему сыну, Мари? Может, я его встречу: я снова солдат.

Мари, казалось, была поражена.

— Иисусе! — всплеснула она руками.

Аннекен помахал ей на прощание рукой, и они вошли в здание вокзала.

Билеты пробивал Шарло.

— Ну как, месье Аннекен, — спросил он, — на этот раз будет большой бум-бум?

— Зим-бадабум, румба любви, — ответил Аннекен, протягивая ему билет.

Господин Пино, нотариус, был на перроне. Он крикнул им издалека:

— Что, едем в Париж пострелять барышень?

— Да. — в тон ему ответил Аннекен, — или нас постреляют в Нанси. — И серьезно добавил: — Меня мобилизовали.

— Ах, вот как! — воскликнул нотариус. — Вот как!. У вас что, военный билет № 2?

— Ну да!

— Смотрите-ка! — сказал он. — Ну, ничего. Скоро вернетесь, все это больше для вида.

— Я в этом не уверен, — сухо ответил Аннекен. — Знаете ли, в дипломатии бывают такие повороты, когда начинают фарсом, а кончают кровью.

— А… Вы что, готовы сражаться за чехов?

— За чехов или не за чехов, сражаются всегда понапрасну, — ответил Аннекен.

Рассмеявшись, они распрощались. Парижский поезд уже входил в вокзал, но господин Пино успел поцеловать руку госпоже Аннекен.

Аннекен поднялся в вагон без помощи рук. Он со всего размаха швырнул рюкзак на скамью, вернулся в коридор, опустил стекло и улыбнулся жене.

— Ку-ку, вот и я! Я славно устроился, — сказал Аннекен. — Места в купе много. Если так будет дальше, я смогу вытянуть ноги и посплю.

— В Клермоне наверняка сядет уйма людей.

— Боюсь, что да.

— Ты мне будешь писать? — спросила она. — Небольшое письмецо каждый день; не обязательно подробное.

— Договорились.

— Умоляю, не забывай надевать фланелевый пояс.

— Клянусь, — отчеканил он с комической торжественностью.

Он выпрямился, пересек коридор и спустился на подножку.

— Поцелуй меня, старушка.

Он сам поцеловал ее в толстые щеки. Она пролила две слезинки.

— Боже мой! — сказала она. — Вся эта…вся эта суета! Только ее нам недоставало.

— Ну! Ну! — сказал он. — Тш! Тш! Уж не хочешь ли ты… Они замолчали. Он улыбался, она смотрела на него, улыбаясь сквозь слезы, им больше нечего было друг другу сказать. Аннекену захотелось, чтобы поезд тронулся как можно скорее.

Семнадцать часов пятьдесят две минуты в Ниоре. Большая стрелка башенных часов толчками перемещается каждую минуту, немного подрагивает и останавливается. Поезд черный, вокзал черный. Копоть. Она настояла на проводах. Из чувства долга. Я ей сказал: «Не стоит приходить». Ее это покоробило: «Еще чего, Жорж! И не думай!» Я попросил: «Только ненадолго, не оставляй малышку одну». Она ответила: «Я попрошу мамашу Корню последить за ней. Посажу тебя в поезд и сразу вернусь». Теперь она здесь, я высовываюсь в окно своего купе и смотрю на нее. Хочется курить, но я не решаюсь: мне это кажется неприличным. Она смотрит в конец перрона, прикрыв от солнца рукой глаза. Время от времени она вспоминает, что я здесь и что смотреть надо на меня. Она поднимает голову, переводит взгляд на меня, она мне улыбается. По существу, ей нечего мне сказать. Фактически я уже уехал.

— Кому подушки, одеяла, апельсины, лимонад, бутерброды?

— Жорж!

— Да, родная?

— Хочешь апельсинов?

Мой рюкзак и так набит битком. Но ей хочется дать мне еще что-нибудь — ведь я уезжаю. Если я откажусь, ее будут мучить угрызения совести. Я не люблю апельсины.

— Нет, спасибо.

— Нет?

— Нет, не нужно. Ты очень добра.

Бледная улыбка. Я только что поцеловал эти красивые щеки, холодные и тугие, и уголок этой улыбки. Она меня поцеловала тоже, это меня смутило: к чему столько волнений? Поскольку я уезжаю? Но другие уезжают тоже. Правда, их тоже целуют. Сколько прекрасных женщин, которые вот так стоят под лучами заходящего солнца, в дыму и копоти, обращают накрашенную улыбку к мужчинам, высунувшимся из окна вагона! Не слишком ли все это? Должно быть, мы немного смешны: она слишком красивая, слишком отрешенная, я слишком некрасив.

— Пиши мне, — говорит она, — она это уже говорила, но нужно же как-то заполнить время, — пиши так часто, как только сможешь. Не обязательно подробно…

Это не будет слишком подробно… Мне нечего будет ей сказать, со мной ничего не случится, со мной никогда ничего не случается. И потом, я уже видел, как она читает письма. У нее в эти минуты такой прилежный, значительный и скучающий вид; нацепив на кончик носа очки, она читает вслух вполголоса и постоянно умудряется перескакивать через строчки.

— Бедный мой, сейчас мы расстанемся. Попытайся этой ночью хоть немного поспать.

Ничего не поделаешь, нужно же что-то говорить. Но она прекрасно знает, что я никогда не сплю в поезде! Скоро она повторит это мамаше Корню: «Он уехал, поезд переполнен. Бедный Жорж, надеюсь, ему все же удастся поспать».

Она с несчастным видом озирается; большая соломенная шляпа покачивается на ее голове. Рядом с ней остановилась юная пара.

— Мне пора уходить. Из-за малышки. — Она сказала это с нажимом — ради них. Они внушают робость, потому что красивы. Но пара не обращает на нее внимания.

— Да, родная. До свиданья. Иди скорее. При первой же возможности я напишу.

Под занавес все-таки крохотная слезинка. Зачем, Боже мой, зачем? Она мешкает. А если вдруг она протянет ко мне руки, если скажет: «Все это только недоразумение, я люблю тебя, я люблю тебя!»

— Не простудись.

— Постараюсь. До свиданья.

Она все же уходит. Слегка махнула на прощание рукой, ясный взгляд, и вот она удаляется, медленно, немного покачивая красивыми упругими бедрами, семнадцать часов пятьдесят пять минут. Я больше не хочу курить. Юная пара осталась на перроне. Я смотрю на них. Он держит рюкзак, они говорят о Нанси: он тоже призывник. Я смотрю на их руки, на их красивые пальцы, на которых нет обручальных колец. Женщина бледна, высока, стройна, у нее растрепанные черные волосы. Он — высокий блондин с золотистой кожей, его голые руки высовываются из шелковой голубой рубашки с короткими рукавами. Хлопают дверцы, они этого не слышат; они даже не смотрят больше друг на друга, им не нужно больше друг на друга смотреть, они друг в друге.

— По вагонам!

Она молча вздрагивает. Он ее не целует, он заключает в ладони ее прекрасные голые руки на высоте плеч. Ладони медленно скользят вниз, они останавливаются на ее запястьях, худых хрупких запястьях. Кажется, что он сжимает их изо всех сил. Она не сопротивляется, ее руки неподвижно повисли, лицо оцепенело.

— По вагонам!

Поезд трогается, он прыгает на подножку и стоит, уцепившись за медные поручни. Она повернулась к нему, солнце выбеливает ее лицо, она щурит глаза, улыбается. Широкая и теплая улыбка, такая доверчивая, такая спокойная и такая нежная: невозможно, чтобы человек, каким бы красивым и сильным он ни был, уносил подобную улыбку для себя одного. Она меня не замечает, она видит только его, она щурит глаза, борется с солнцем, чтобы еще мгновение лицезреть его. Но я ей улыбаюсь, я отвечаю на ее улыбку. Восемнадцать часов. Поезд выходит с вокзала и попрекается в солнце, все стекла блестят. Она осталась на перроне, совсем маленькая и печальная. Вокруг нее машут платками. Она не двигается, не машет платком, ее руки повисли вдоль тела, но она улыбается, она вся в улыбке. Она, безусловно, улыбается до сих пор, хотя ее улыбки больше не видно. Но сама она еще видна. Она там для него, для всех, кто уезжает, и для меня тоже. Моя жена уже в нашем тихом доме, она сидит рядом с малышкой, тишина и мир восстанавливаются вокруг нее. Я же уезжаю, бедный Жорж, он уехал, надеюсь, ему удастся уснуть, я

уезжаю, я погружаюсь в солнце, и я изо всех сил улыбаюсь маленькой темной фигурке, которая осталась вдалеке на перроне.

Восемнадцать часов десять минут. Питто[31] прохаживается по улице Кассетт, у него на восемнадцать часов назначено свидание, он смотрит на свои часы — восемнадцать десять, через пять минут я поднимусь. В пятистах двадцати восьми километрах к юго-востоку от Парижа Жорж, облокотившись на подоконник, скользит взглядом по пастбищам, смотрит на телеграфные столбы, потеет и улыбается, Питто говорит себе: «Какой еще фортель выкинул этот маленький мудак?» Его пронзило сильное желание подняться, позвонить и закричать: «Что он еще натворил? Я тут ни при чем!» Но он заставил себя повернуть назад, дойду до первого газового фонаря, а там будет видно. Спокойствие, надо ищи не торопясь, он даже упрекал себя, что пришел, надо было ответить на фирменном бланке: «Мадам, если вы желаете со мной поговорить, я каждый день у себя в кабинете, с десяти до двенадцати». Он повернулся спиной к фонарю и невольно ускорил шаг. Париж: пятьсот восемнадцать километров, Жорж вытер лоб, он боком, как краб, скользил в сторону Парижа, Питто думал: «Это мерзкое дело», он почти бежал, поезд был за его спиной, он повернул на улицу де Ренн, вошел в дом номер семьдесят один, поднялся на четвертый этаж и позвонил; в шестистах тридцати восьми километрах от Парижа Аннекен смотрел на ноги своей соседки, полные и округлые, немного волосатые, в чулках из искусственного шелка; Питто позвонил, он ждал на лестничной площадке, вытирая лоб, Жорж вытирал лоб, вагон грохотал; какую глупость он натворил, это гнусная история, Питто стало трудно глотать, пустой желудок урчал, но Питто держался очень прямо, он напряженно поднял голову, слегка раздувая ноздри, и на лице появилась его обычная безобразная гримаса, дверь открылась, поезд Аннекена нырнул в тоннель, Питто нырнул в прохладную темноту прихожей, там удушливо пахло пылью, горничная ему сказала: «Будьте любезны войти!», кругленькая надушенная женщина с обнаженными вялыми руками, мягкая свежая вялость сорокалетней плоти, с белой прядью в черных волосах, бросилась к нему, он почувствовал ее спелый запах.

— Где он?

Он поклонился, она перед этим плакала. Соседка Аннекена сняла ногу с ноги, и он увидел кусочек ляжки над подвязкой, Питто снова безобразно скривился и сказал:

— О ком вы говорите, мадам?

— Где Филипп[32]?

Он почувствовал себя почти растроганным, может, она сейчас заплачет, ломая красивые руки, женщина ее круга наверняка бреет подмышки.

Мужской голос заставил его вздрогнуть, он исходил из глубины прихожей.

— Моя дорогая, мы только теряем время. Если месье Питто соблаговолит зайти в мой кабинет, мы введем его в курс дела.

Ловушка! Он вошел, дрожа от бешенства, нырнул в ослепительный зной, поезд вышел из тоннеля, стрела ослепительного света проникла в купе. Они, естественно, сели спиной к свету, а я к свету лицом. Их было двое.

— Я генерал Лазак, — представился массивный мужчина в военной форме. Он кивнул на своего соседа, флегматичного гиганта, и добавил:

— А это месье Жарди, врач-психиатр, он любезно согласился обследовать Филиппа и немного наблюдал за ним.

Жорж вернулся в купе и сел, маленький брюнетик наклонился вперед, он походил на испанца, он говорил: «Ваш хозяин вам поможет, я за вас рад, но это бывает только у чиновников и служащих. А у меня нет постоянного заработка, я официант кафе, у меня чаевые — вот и весь мой навар. Вы мне говорите, что все скоро кончится, что это только чтоб их попугать, хорошо бы так, но если это продлится месяца два, что будет есть моя жена?»

— Мой пасынок Филипп, — сказал генерал, — ушел из дома рано утром, не предупредив нас. Часов в десять его мать нашла на столе в столовой эту записку. — Он протянул ее Питто через секретер и властно добавил: — Прошу ознакомиться.

Питто с отвращением взял записку, этот мерзкий, неровный мелкий почерк с помарками и кляксами, этот сопляк приходил чуть ли не каждый день, он подстерегал меня часами, я слышал, как он ходил взад-вперед, а потом уходил, оставляя где попало — на полу, под стулом, под дверью — маленькие кусочки мятой бумаги,

покрытые мушиными каракулями, Питто смотрел на почерк, не читая, как на абсурдные и слишком знакомые рисунки, вызывающие у него тошноту, пропади он пропадом.

«Мамочка, наступило время убийц[33], я выбрал мученичество. Ты, возможно, будешь немного огорчена, но я так решил. Филипп».

Он положил записку на письменный стол и улыбнулся:

— Время убийц! — сказал он. — Влияние Рембо оказалось чудовищно губительным.

Генерал посмотрел на него:

— К вопросу о влияниях мы еще вернемся. Вам известно, где мой пасынок?

— Откуда мне знать?

— Когда вы его видели в последний раз?

«А вот оно что! Они меня допрашивают!» — подумал Питто. Он повернулся к госпоже Лаказ и подчеркнуто дружелюбно ответил:

— Клянусь вам, не знаю! Может быть, с неделю тому назад.

Голос генерала теперь хлестал по нему сбоку.

— Он вам сообщил о своих намерениях?

— Да нет же, — улыбаясь матери, сказал Питто, — Вы же знаете Филиппа. Он действует чисто импульсивно. Я убежден, что еще вчера вечером он и сам не знал, как поступит сегодня утром.

— А с тех пор, — продолжал генерал, — он вам писал или звонил?

Питто колебался, но рука уже зашевелилась, послушная, раболепная рука, мимовольно нырнувшая во внутренний карман, рука протянула клочок бумаги, и госпожа Лаказ жадно схватила его, я больше не владею своими руками. Он еще владел своим лицом, он приподнял левую бровь, и привычная безобразная гримаса исказила его черты.

— Я получил это сегодня утром.

— «Laetus et errabundus», — старательно прочла госпожа Лаказ. — «Во имя мира».

Поезд катился, пароход мерно покачивался, желудок Питто пел, он тяжело встал:

— Это означает: «радостный и блуждающий», — вежливо объяснил Питто. — Название поэмы Верлена.

Психиатр бросил на него взгляд:

— Поэма несколько специфическая.

— Это все? — спросила госпожа Лаказ. Она вертела в руках листок.

— Увы, мадам, это все.

Он услышал резкий голос генерала:

— Чего вы еще хотите, моя дорогая? Мне это письмо кажется абсолютно ясным, и я удивляюсь, что месье Питто утверждает, будто он не знал намерений Филиппа.

Питто резко повернулся к нему, посмотрел на его форму, не на лицо, а на форму, и кровь бросилась ему в голову.

— Месье, — сказал он, — Филипп подсовывал мне записочки такого рода три или четыре раза в неделю, я в конце концов перестал обращать на них внимание. Извините меня за прямоту, мне хватает и других забот.

— Месье Питто, — сказал генерал. — с 1937 года вы руководите журналом под названием «Пацифист», в котором вы четко заняли позицию не только против войны, но также против французской армии. Вы познакомились с моим пасынком в октябре 1937 года при обстоятельствах, которые мне неизвестны, и приобщили его к своим идеям. Под вашим влиянием он избрал недопустимую манеру поведения по отношению ко мне, потому что я офицер, а также по отношению к матери, потому что она вышла за меня замуж; он прилюдно позволял себе делать заявления явно пацифистского характера. И вот сегодня, в самый разгар международной напряженности, он уходит из дому, уведомляя нас запиской, которую вы только что прочли, что он намерен стать мучеником во имя мира. Вам тридцать лет, месье Питто, а Филиппу нет и двадцати, таким образом, я вас не удивлю, если скажу, что считаю вас персонально ответственным за все, что может случиться с моим пасынком вследствие его выходки.

«Что ж, — сказал Аннекен своей соседке, — признаюсь: я мобилизован». «Ах, Боже мой!» — воскликнула она. Жорж смотрел на официанта, он счел его симпатичным, ему хотелось сказать: «Я тоже мобилизован», но он из щепетильности не осмеливался, вагон ужасно мотало. «Я на колесах», подумал он.

Я отрицаю какую бы то ни было свою ответственность, — решительно ответил Питто. — Я разделяю вашу тревогу, но, тем не

менее, не согласен стать для вас козлом отпущения. Филипп Грезинь пришел в редакцию журнала в октябре 1937 года, этот факт я и не собираюсь отрицать. Он предложил свое стихотворение, которое показалось нам многообещающим, и мы его опубликовали в нашем декабрьском номере. С тех пор он часто приходил, и мы всячески старались его отвадить: на наш взгляд, он был слишком экзальтирован, и, по правде говоря, мы не знали, что с ним делать. (Сидя на краешке стула, он устремлял на Питто смущающий взгляд голубых глаз, он смотрел, как тот пьет и курит, как двигаются его губы, сам он не курил и не пил, время от времени он ковырял пальцем в носу или ногтем в зубах, не сводя с Питто взгляда.)

— Но где он может быть? — вдруг выкрикнула госпожа Лаказ. — Где он может быть? И чем он сейчас занят? Вы говорите о нем, как о мертвом.

Все замолчали. Она наклонилась вперед с лицом встревоженным и презрительным; Питто видел исток грудей в выкате ее корсажа; генерал напряженно сидел в кресле, он ждал, он уделил несколько минут тишины законному горю матери. Психиатр посмотрел на госпожу Лаказ с предупредительной симпатией, словно она была одной из его пациенток. Затем он задумчиво покачал большой головой, повернулся к Питто и возобновил враждебные выпады.

— Я согласен с вами, месье Питто, возможно, Филипп не вполне понимал все ваши идеи. Но факт остается фактом: этот юноша, весьма подверженный влияниям, безмерно вами восхищался.

— Разве это моя вина?

— Может быть, и не ваша. Но вы злоупотребляли своим влиянием.

— Черт побери! — возмутился Питто. — Если уж вы обследовали Филиппа, то сами знаете, что он ненормальный.

— Не совсем, — улыбаясь, сказал врач. — Несомненно, у него тяжелая наследственность. Со стороны отца, — добавил он, бросив взгляд на генерала. — Но его не назовешь психопатом. Это нелюдимый, неприспособленный, ленивый и тщеславный мальчик. Тики, фобии, естественно, с преобладанием сексуальных идей. В последнее время он довольно часто приходил ко мне, мы беседовали, он мне признался, что у него… как бы поделикатнее сказать? Простите прямоту медика, — сказал он госпоже Лаказ, — короче,

частые и систематические поллюции. Я знаю, что многие мои коллеги видят в этом только следствие, я же, как и Эски-роль, усматривал бы в этом причину. Одним словом, он трудно переживал то, что месье Мандусс называет кризисом подростковой самобытности: он нуждался в руководителе. Вы были плохим наставником, месье Питто, да, плохим наставником.

Взгляд госпожи Лаказ, казалось, случайно упал на Питто, но он был непереносим. Питто предпочел окончательно повернуться к психиатру:

— Я извиняюсь перед мадам Лаказ, но раз вы меня к этому вынуждаете, я вам определенно заявляю, что всегда считал Филиппа законченным дегенератом. Если ему нужен был руководитель, почему этим не занялись вы? Это ваша обязанность.

Психиатр грустно улыбнулся и, вздохнув, облизнул губы. Она улыбалась, прислонясь к двери каюты, по всему телу бегали мурашки, но улыбка была соблазнительна.

— Что ж, детка, — сказал капитан, — придете ко мне этак часов в девять, и тогда я скажу вам, что смогу сделать для вас и ваших подруг. — У него были пустые светлые глаза, обветренное лицо, он погладил ей грудь и шею и повторил: — Итак, до встречи в девять вечера.

— Генерал Лаказ соизволил показать мне несколько страниц из дневника Филиппа, и я счел своей обязанностью с ними ознакомиться. Месье Питто, из дневника следует, что вы шантажировали этого несчастного мальчика. Зная, насколько он жаждет вашего уважения, вы этим воспользовались, чтобы потребовать у него неких услуг, о которых он в своем дневнике не распространяется. В последнее время он решил было взбунтоваться, и вы ему выказали такое безжалостное презрение, что довели его до отчаяния.

Что они знают? Но гнев его оказался сильнее; он, в свою очередь, улыбнулся.

Мод, улыбнувшись, поклонилась, ноги ее уже были снаружи, на свободе, а туловище еще склонялось, ныряя в горячем и благоухающем воздухе каюты.

— Конечно, капитан, — договорились.

— Кто его привел в отчаяние? Кто его унижал каждый день? Разве я дал ему пощечину за столом в прошлую субботу? Разве я принимал его за больного и посылал к психиатру? Разве я вынуждал его отвечать на унизительные вопросы?

— Вы тоже мобилизованы? — спросил официант. Жорж улыбнулся ему с несчастным видом, но нужно было говорить, отвечать на вопросы двух молодых женщин.

— Нет, — сказал он, — я еду в Париж по делам. Резкий голос госпожи Лаказ заставил его вздрогнуть.

— Извольте замолчать! Извольте замолчать! Как же вы его презираете! Вы его раздели, двадцатилетнего мальчика, вы его замарали, а разве меня вы уважаете? Быть может, он бросился в Сену, а вы сидите здесь и перекладываете ответственность друг на друга. Мы все виноваты; он говорил: «Вы не имеете права доводить меня до крайности», а мы сообща довели его до крайности.

Генерал побагровел, Мод побагровела.

— Прекрасно, — сказала она, — скоро придут взять наш багаж, и ночь мы проведем во втором классе.

— Моя дорогая, — сказала Франс, — как видишь, все оказалось проще, чем ты ожидала.

— Роза! — сказал он, не повышая голоса, устремив на нее неживые глаза. Она, вздрогнув, воззрилась на него с открытым ртом.

— Это… это низко, — пробормотала она, — мне гл вас стыдно.

Он протянул сильную ладонь и сомкнул ее на голой руке жены; он невыразительно повторил:

— Роза. — Тело мадам Лаказ обмякло, она закрыла рот, потрясла головой и, казалось, проснулась; она посмотрела на генерала, и генерал ей улыбнулся. Все вернулось в нормальную колею.

— Я не разделяю тревоги моей жены, — сказал он, — мой пасынок ушел, взяв десять тысяч франков из секретера своей матери. Трудно поверить, что он хотел покуситься на собственную жизнь.

Наступило молчание. Пароход уже немного качало; Пьер чувствовал, как он весь обмяк, он стал перед полкой, открыл чемодан, откуда пахнуло лавандой, зубной пастой и душистым табаком, что вызвало у него тошноту, он подумал: «Бортпроводник сказал, будет трудное плавание!» Генерал собирался с мыслями, у генеральши был вид послушного ребенка, Питто недоумевал, его желудок урчал,

голова болела, он ничего не понимал; корабль поднимался, гоп, и потом пикировал носом, пол вибрировал под ногами, воздух был горячим и липким, Питто смотрел на генерала и не имел больше сил его ненавидеть.

— Месье Питто, — сказал генерал, — в заключение этого разговора я полагаю, что вы можете и должны помочь нам отыскать моего пасынка. Пока я ограничился тем, что поднял на ноги комиссариаты полиции. Но если через двое суток мы не найдем Филиппа, я намерен передать дело в руки моего друга, прокурора Детерна, и просить его одновременно выявить финансовые источники «Пацифиста».

— Я… естественно, я постараюсь вам помочь, — сказал Питто. — А что до наших счетов, то любой может сунуть в них нос, мы вообще готовы их выставить на всеобщее обозрение.

Пароход скатился вниз, это были настоящие русские горки; Питто сдавленно добавил:

— Я…я не отказываюсь вам помочь, генерал. Хотя бы из человечности.

Генерал слегка кивнул.

— Именно это я и имел в виду, — заключил он. Море вздымалось тихо, украдкой, и так же опускалось, нельзя было смотреть на полки или умывальник и не обнаружить при этом какую-то вещь, которая поднимается или опускается, но в иллюминатор не было видно ничего, только временами синюю темную ленту, немного скошенную, которая касалась нижнего края иллюминатора и сразу же исчезала; это было мелкое движение, живое и робкое, биение сердца, сердце Пьера билось в унисон; в течение многих часов море будет по-прежнему подниматься и опускаться; язык Пьера набухал во рту, как большой сочный плод; при каждом глотке он слышал хруст хрящей где-то в ушах, железный обруч сжимал ему виски, к тому же его не покидало желание зевать. Но он был очень спокоен: морская болезнь наступает, только если ее ждать. Ему нужно было всего лишь встать, выйти из каюты, прогуляться по палубе: он придет в себя, легкая тошнота пройдет. «Пойду к Мод», — подумал Пьер. Он поставил чемодан, держась ровно и напряженно у края полки, это было как пробуждение. Теперь пароход поднимался и опускался под его ногами, но желудок и голова успокоились; вновь возник

презрительный взгляд Мод — и страх; и стыд. Я ей скажу, что был болен, легкий солнечный удар, много выпил. Мне нужно объясниться, он будет говорить, Мод будет сверлить его жестким взглядом, как это утомительно. Он с трудом проглотил слюну, она проскользнула в горло с отвратительным шелковистым звуком, и безвкусная жидкость вновь растеклась по рту, как это утомительно, его мысли разбегались, осталась всего лишь большая беспомощная легкость, желание тихо подниматься и опускаться, чтобы его легко и долго тошнило, забыться на подушке, раз-два, раз-два, без мыслей, отдаться гигантской качке мирозданья; он вовремя опомнился: морская болезнь бывает, если сам ее ждешь. Он ощущал себя напряженным и сухим, трусом, презираемым любовником, будущим мертвецом наступающей войны, его вновь охватил ледяной и нагой страх. Пьер взял второй чемодан с верхней полки, положил его на нижнюю и начал его открывать. Он стоял прямо, не нагибаясь, даже не глядя на чемодан, онемевшие пальцы вслепую щупали замок; стоит ли? Стоит ли бороться? Ничего не останется, кроме бесконечной мягкости, он не будет больше думать ни о чем, он не будет больше бояться, достаточно только положиться на судьбу. «Нужно пойти к Мод». Он поднял руку и провел ею в воздухе с дрожащей и немного торжественной мягкостью. Мягкие жесты, мягкое подрагивание моих ресниц, мягкий вкус у меня во рту, мягкий запах лаванды и зубной пасты, пароход мягко поднимается, мягко опускается; он зевнул, время замедлило ход и стало вокруг него вязким, как сироп, достаточно было напрячься, сделать три шага из каюты на свежий воздух. Но зачем? Чтобы оказаться во власти страха? Он столкнул чемодан на пол и упал на койку. Сироп. Сахарный сироп, у него не осталось страха, не осталось стыда, так восхитительно отдаться морской болезни.

Он сел на край парапета, свесив над водой ноги; он утомился: «Марсель был бы неплох, если б не столько домов». Под ним передвигались суда, это были легонькие суденышки, очень многочисленные, с цветами или с красивыми красными занавесками и обнаженными статуэтками.

Он смотрел на суда — одни скакали, как козы, другие были неподвижны. Он видел совсем синюю воду, а вдалеке — большой металлический мост; на то, что далеко, приятно смотреть, это внушает покой. У него болели глаза: он спал под вагоном, потом

пришли какие-то люди с фонарями; они его осветили и, грубо ругаясь, прогнали; после этого он нашел кучу песка, но так и не смог заснуть. Он подумал: «Где я буду спать этой ночью?» Где-то тут наверняка были хорошие места с мягкой травой. Но их нужно было знать: надо было спросить у негра. Он захотел есть и встал, колени его одеревенели, они хрустнули. «У меня не осталось еды, — подумал он, — нужно пойти в харчевню», Он тронулся в путь, перед этим он шел целый день, он входил и спрашивал: «Есть работа?» и уходил восвояси, недаром неф сказал: «Работы нет». В городах ходить было утомительно из-за мостовых. Он пересек наискосок набережную, озираясь по сторонам, чтобы увертываться от трамваев, он пугался, когда слышал их звонки. Вокруг было много людей, они шли быстро, глядя себе под ноги, как будто что-то искали; проходя, они толкали его, извинялись, даже не поднимая на него глаз: он бы к ним охотно обратился, но они вызывали у него робость своей хрупкостью. Он поднялся на тротуар и увидел кафе с красивыми террасами, а потом несколько харчевен, но не зашел туда: на столах были скатерти, а их рискуешь испачкать. Он повернул в угрюмый переулок, пропахший рыбой, и подумал: «Так где же мне набить брюхо?», и как раз в этот момент нашел то, что нужно: он увидел впереди приземистый домик, дюжину деревянных столов; на каждом столе — два или четыре прибора и маленькая круглая лампа, которая не шибко светила, скатертей не было вовсе. За одним из столиков уже сидел какой-то господин с дамой приличного вида. Большой Луи подошел, уселся за соседний столик и улыбнулся им. Дама строго посмотрела на него и немного отодвинула стул. Большой Луи подозвал официантку, это была миловидная деваха, немного щуплая, но с крепким и очень подвижным задом.

— Что тут можно поесть, милая?

Она была симпатичная, от нее хорошо пахло, но она была не слишком рада его видеть. Она нерешительно посмотрела на него:

— У вас есть меню, — ответила она, показывая на лист бумаги перед ним на столе.

— А, хорошо! — сказал Большой Луи.

Он взял лист и сделал вид, что читает, но он опасался, что держит его вверх ногами. Официантка отошла и заговорила с господином, стоявшим у порога. Господин слушал ее, покачивая головой и

поглядывая на Большого Луи. В конце концов он отошел от нее и с грустным видом приблизился к Большому Луи.

— Что вам угодно, мой друг? — спросил он.

— Как что, я есть хочу, — удивился Большой Луи. — У вас же найдется суп и кусок сала?

Господин печально покачал головой:

— Нет, супа у нас нет.

— Но у меня есть деньги. Я же не прошу в кредит.

— Я в этом не сомневаюсь, — сказал господин. — Но вы, должно быть, ошиблись. Вам здесь будет неудобно, да и нас вы стесните.

Большой Луи уставился на него:

— Значит это не харчевня?

— Да, да, — сказал хозяин. — Но у нас своя клиентура… Вам лучше перейти на ту сторону улицы Канебьер, там есть много ресторанчиков, которые вам понравятся.

Большой Луи встал. Он в замешательстве почесал затылок.

— Но у меня есть деньги, сказал он. — Я могу вам их показать.

— Нет, нет! — живо возразил господин. — Я верю вам на слово.

Он предупредительно взял его под руку и принудил сделать несколько шагов по улице.

— Идите в ту сторону, — сказал он, — вы увидите набережную, идите вдоль нее и направо, вы не заблудитесь.

— Вы очень любезны, — поблагодарил Большой Луи, приподняв шляпу. Он чувствовал себя виноватым.

Он снова очутился на набережной, среди черных человечков, спешащих ему навстречу, он шел очень медленно, опасаясь кого-нибудь задеть, он был печален; в этот час он обычно спускался с Канигу в Вилльфранш, стадо шло впереди, оно составляло ему компанию, он часто встречал месье Парду — тот поднимался на ферму Ветиль и никогда не проходил мимо, не дав ему сигару, а заодно и пару дружеских тумаков по спине; гора была рыжей и молчаливой, на дне лощины виднелись дымки Вилльфранша. Он растерялся, все эти люди шли слишком быстро, он видел только их макушки или тульи их шляп, все они были низкорослы. Мальчишка проскользнул у него между ног, хохоча посмотрел на него и сказал своему приятелю:

— Посмотри-ка на этого типа, ему, наверное, скучно одному на верхотуре!

Большой Луи посмотрел, как они улепетывают, и почувствовал себя виноватым: ему стало стыдно быть таким долговязым. Он подумал: «У них свои привычки» — и прислонился к стене. Он был уныл и тих, как в тот день, когда приболел. Он вспомнил негра, такого вежливого и веселого, его единственного друга в этом городе, Большой Луи подумал: «Зря я его отпустил». И тут в голову ему пришла занятная мыслишка: «Негра видать издалека, отыскать его будет нетрудно»; он снова зашагал, чувствуя себя не таким одиноким, он высматривал негра и думал: «Угощу его стаканчиком вина».

Все они были на площади, лица их покраснели от заходящего солнца. Жанна, Урсула, сестры Клапо, Мария и все остальные. Сначала они ждали дома, но со временем одна за другой вернулись на площадь и стали ждать там. Они видели сквозь матовые стекла, как зажглись первые лампы в кафе вдовы Трамблен, образовавшие вверху окон три туманных пятна. Они увидели эти пятна и почувствовали себя опечаленными: мамаша Трамблен зажгла лампы в пустом кафе, она сидела за мраморным столиком, положив на мрамор рабочую корзинку, и штопала хлопчатобумажные чулки, ни о чем не беспокоясь, потому что была вдовой. А они стояли на улице и ждали мужей, ощущая за спиной свои пустые дома и кухни, понемногу наполнявшиеся мраком, а перед ними тянулась эта длинная, полная случайностей дорога и в конце дороги Кан. Мария, посмотрев на часы церковной колокольни, сказала Урсуле: «Скоро девять, может, их все-таки оставили…» Мэр уверял, что это невозможно, но что он мог знать, он не лучше их разбирался в городских обычаях. Зачем отсылать обратно крепких парней, которые заявились сами? Им вполне могли сказать: «Ладно! Раз уж вы здесь…» — и оставить. Прибежала маленькая Роза, запыхавшись, она кричала: «Вот они! Вот они!» — и все женщины тоже побежали; они добежали до фермы Дарбуа, откуда был виден добрый кусок дороги, и они увидели их вдалеке, среди лугов: те на своих повозках ехали гуськом, как и при отъезде; они неторопливо возвращались, они пели. Шапен ехал впереди, он удрученно сидел на облучке, его руки вяло держали вожжи, он спал, а лошадь шла по привычке; Мари заметила, что у него подбит глаз, и подумала, что он еще и подрался. За ним, стоя в

повозке, сын Ренара пел во всю глотку, но вид у него был невеселый, другие ехали чуть позади, совсем черные на фоне ясного неба. Мари повернулась к Клапо и сказала ей: «Они напились, только этого не хватало». Повозка Шапена, поскрипывая, шла совсем медленно, и женщины посторонились, пропуская ее. Когда она миновала их, Луиза Шапен издала визгливый вопль: «Боже мой, он ведет только одного вола, куда он дел другого, он его пропил!» Сын Ренара голосил во всю глотку, он вел свою телегу зигзагами от одной канавы к другой, за ним ехали остальные, стоя на своих повозках с кнутами в руках. Мари увидела мужа, он не казался пьяным, но коша она увидела его мрачную рожу вблизи, она поняла, что он назюзюкался и сейчас будет драться. «Это хуже, чем вола пропить», — подумала она со сжавшимся сердцем. Но все-таки она обрадовалась, что он вернулся, на ферме было много работы, пусть себе дерется время от времени, по субботам, но лучше именно ему заниматься тяжелой работой. Большой Луи упал на стул на террасе бистро, спросил себе вина, ему дали белого вина в малюсеньком стаканчике, он чувствовал, как устали его ноги, он вытянул их под столом и пошевелил большими пальцами в башмаках. «Странно», — сказал он. Он выпил. «Странно, ведь я его хорошо искал». Он посадил бы его напротив, он смотрел бы на его доброе черное лицо; только бы видеть его, он бы засмеялся, и негр тоже, он выглядел доверчивым и нежным, как зверушка: «Я дал бы ему табака для курева и вина, чтоб выпить».

Его сосед смотрел на него. «Он считает меня чудным, потому что я говорю сам с собой»; это был паренек лет двадцати, тщедушный недомерок с девичьей кожей, он сидел с красивым брюнетом, у того был перебитый нос, волосы в ушах и вытатуированный якорь на левом предплечье. Большой Луи понял, что они говорят на местном наречии о нем. Он улыбнулся им и позвал официанта.

— Еще стакан того же самого, паренек, и если у тебя есть стаканы побольше, тащи их сюда.

Официант не шелохнулся, он ничего не говорил и смотрел на него, как бы не видя. Большой Луи вынул бумажник и положил его на стол.

— Что с тобой, паренек? Боишься, что я не смогу заплатить? Гляди сюда!

Он вынул три тысячные купюры и помахал ими у того перед носом.

— Что скажешь? Давай-ка, принеси еще стаканчик твоей бурды.

Большой Луи положил бумажник в карман и заметил, что кучерявый гонец вежливо ему заулыбался.

— Все в норме? — спросил юнец.

— А?

— Все в порядке?

— Все в порядке, — отозвался Большой Луи, — ищу своего негритоса.

— Вы что, не здешний?

— Нет, — ответил Большой Луи, — не здешний. Не хочешь малость дерябнуть? Я угощаю.

— Не откажусь, — откликнулся кучерявый. — Можно прихватить моего дружка?

Он сказал несколько слов своему приятелю на местном наречии. Приятель улыбнулся и молча встал. Они сели напротив Большого Луи. Маленький пах духами.

— От тебя несет шлюхой, — заметил Большой Луи.

— Я только что от парикмахера.

— А, вот оно что! Как тебя зовут?

— Меня зовут Марио, — сказал маленький, — мой приятель — итальянец, его зовут Стараче, он матрос.

Стараче засмеялся, не проронив ни слова, и отдал честь.

— Он не знает французского, но он занятный, — продолжал говорить Марио. — А ты знаешь итальянский?

— Нет, — ответил Большой Луи.

— Ничего, увидишь сам, он очень занятный.

Они Заговорили между собой по-итальянски. Это был очень красивый язык, казалось, они пели. Большой Луи был, пожалуй, рад посидеть с ними: они составили ему компанию, но в глубине души он все равно чувствовал себя одиноким.

— Чего вы хотите?

— Если на то пошло, анисового ликера, — сказал Марио.

— Три ликера! — распорядился Большой Луи. — Это что, вино?

— Нет, нет, гораздо лучше, вот увидишь. Официант налил в три стакана какого-то ликера, Марио подлил в стаканы воды, и ликер

преобразился в белый кружащийся туман.

— За твое здоровье! — сказал Марио.

Он шумно выпил и вытер рукавом губы. Большой Луи тоже выпил: напиток был совсем неплох, с запахом аниса.

— Посмотри на Стараче, — сказал Марио. — Сейчас он тебя позабавит.

Стараче скосил глаза; одновременно он наморщил нос, выпятил губы и зашевелил ушами, как кролик. Большой Луи засмеялся, но его покоробило: он почувствовал, что ему совсем не нравится Стараче, Марио хохотал до слез.

— Я тебя предупреждал, — смеясь, говорил он. — Это забавный малый. Теперь он покажет тебе фокус с блюдцем.

Стараче поставил свой стакан на стол, зажал блюдце в широкой ладони и три раза подряд провел левой ладонью над правой. После третьего раза блюдце исчезло. Пользуясь удивлением Большого Луи, Стараче просунул руку между его коленями. Большой Луи ощутил, как нечто твердое скребет его ноги, и тут рука появилась снова, держа блюдце. Большой Луи сдержанно ухмыльнулся, хотя Марио бил себя по ляжкам, плача от восторга.

— А, старый сукин сын! — говорил он между двумя приступами смеха. — Я тебя предупреждал: с нами обхохочешься.

Постепенно он успокоился; когда он принял серьезный вид, установилось тяжелое молчание. Большого Луи они утомили, и ему даже хотелось, чтобы они ушли, но он подумал, что скоро наступит ночь, и нужно будет снова наугад идти по длинным, потонувшим во мраке улицам, бесконечно искать один уголок, чтобы поесть, а другой, чтобы поспать, сердце его сжалось, и он еще раз заказал на всех анисового ликера. Марио наклонился к нему, и Большой Луи вдохнул его запах.

— Значит, ты нездешний? — спросил Марио.

— Нездешний, я тут никого не знаю, — ответил Большой Луи. — А единственного парня, которого я знаю, не могу отыскать. Может, вы его знаете? — спросил он, поразмышляв. — Это негритос.

Марио неопределенно покачал головой.

Вдруг он наклонился к Большому Луи, сощурив глаза.

— Марсель — это город, где веселятся, — сказал он. — Если не знаешь Марселя, считай, что никогда в жизни не веселился.

Большой Луи не ответил. В Вилльфранше он часто веселился. А потом в борделях Перпиньяна, когда служил в армии: вот где было весело! Но ему не верилось, что можно веселиться в Марселе.

— Ты не хочешь повеселиться? — спросил Марио. — Не хочешь навестить куколок?

— Не в том дело, — ответил Большой Луи. — Просто сейчас я хотел бы поесть. Если вы знаете какую-нибудь харчевню, я бы с удовольствием вас угостил.

С наступлением ночи все прочное расплавилось, осталась неопределенная газообразная масса, смутный туман; Мод шла быстро, опустив голову и плечи, она боялась неожиданно споткнуться о трос, она шла быстро, вдоль переборок, ей хотелось, чтобы ночь ее поглотила, и она бы стала только молекулой пара в этом гигантском испарении, медленно разойдясь по швам. Но она знала, что ее белое платье были сигнальным огнем. Она проходила по палубе второго класса, не слыша ни одного звука, кроме вечного урчания моря; но повсюду были неподвижные молчаливые люди, очерченные на темном плоском фоне моря, у них были глаза: время от времени острый огонь пронзал ночь, высвечивалось чье-то розовое лицо, чьи-то глаза блестели, смотрели на нее, гасли, ей хотелось умереть.

Нужно было спуститься по лестнице, пересечь палубу третьего класса, подняться по другой лестнице, прямой, как трап, и совсем белой; если меня увидят, все будет понятно: его каюта наверху совсем одна; у этого человека много работы, навряд ли он оставит меня на всю ночь. Она боялась, как бы он не пристрастился и не присылал бы каждый вечер стюарда за ней в салон, как тот греческий капитан, но нет, для такого пожилого толстяка я слишком худа, он будет разочарован, обнаружив одни кости. Ей не понадобилось стучать, дверь была приоткрыта, он ждал ее в темноте, он проговорил:

— Входите, моя красавица.

Она на миг замешкалась, у нее перехватило горло; но рука уже затащила ее в каюту, и дверь закрылась. Она вдруг приклеилась к толстому животу, старые губы, пахнущие пробкой, расплющились у нее на губах. Она не сопротивлялась, она думала с гордым смирением: «Ничего не поделаешь, это часть моей профессии». Капитан нажал на выключатель, и его голова выплыла из темноты: белки глаз водянистые и голубоватые, с красной точкой на левом

белке. Она, улыбаясь, высвободилась; все стало гораздо труднее с тех пор, как зажглись лампы; до того она его представляла себе абстрактной массой, но теперь он обрел реальность вплоть до мельчайших деталей, она будет заниматься сексом с единственным в своем роде существом, как все существа на свете, и эта ночь будет единственной в своем роде, как все ночи, ночь секса, ночь по-своему единственная и непоправимая, непоправимо потерянная. Мод, улыбнувшись, сказала:

— Подождите, капитан, подождите, вы слишком торопитесь: нужно сначала познакомиться поближе.

Что это? Пьер приподнялся на локте, насторожившись: пароход казался неподвижным. Его уже трижды или четырежды рвало, один раз рвота, очень сильная, пошла через нос, он чувствовал себя опустошенным и слабым, но трезвым.

«Что это?» — подумал Пьер. Вдруг он обнаружил, что сидит на койке, железный обруч сжимает ему голову, и уже привычная тревога укоренилась в его сердце. Время снова тронулось с места, это был неумолимый, лихорадочный механизм, каждая секунда разрывала его, как зубец пилы, каждая секунда приближала его к Марселю и к серой земле, где он погибнет. Планета снова была здесь, вокруг его каюты, жестокая планета вокзалов, дыма, военной формы, опустошенных полей, планета, где он не мог жить и которую не мог покинуть, планета с той грязной траншеей, которая поджидала его во Фландрии. Трус, сын офицера, который боится воевать: он был противен самому себе. И однако же он отчаянно цеплялся за жизнь. И это было еще противнее: «Я хочу жить; не потому, что я представляю ценность, причина одна — я живу». Он чувствовал себя способным на все, чтобы спасти свою шкуру, бежать, молить о пощаде, предать и, тем не менее, он не так уж дорожил своей шкурой. Он встал: «Что я ей скажу? Что у меня был солнечный удар, приступ лихорадки? Что я был выбит из колеи?» Он, шатаясь, подошел к зеркалу и увидел, что пожелтел, как лимон. «Этого только не хватало: я больше не могу рассчитывать даже на свою физиономию. И сверх всего, от меня, должно быть, несет блевотиной». Он протер лицо одеколоном и прополоскал горло водой «Бото». «Сколько церемоний, — с раздражением подумал он. Первый раз я забочусь о том, что обо мне подумает какая-то девка. Наполовину шлюха, наполовину скрипачка

из оркестра; а ведь у меня были замужние женщины, матери семейств. Я у нее в руках, — подумал он, надевая пиджак, — она знает».

Он открыл дверь и вышел; капитан был совсем голым, у него была восковая гладкая кожа, без волос, кроме четырех пяти совсем седых волосинок на груди, остальные, должно быть, выпали от старости, он смеялся, у него был вид пухлого шаловливого младенца, Мод коснулась кончиками пальцев его толстых гладких ляжек, и он заерзал, пролепетав:

— Ты меня щекочешь!

Пьер знал номер каюты: 27; он пошел по коридору направо, потом по другому налево; переборка дрожала от регулярных громких ударов; 27 — это здесь. Молодая женщина лежала на спине, бледная, как покойница; пожилая дама с красными опухшими глазами сидела на койке и ела бутерброд с сыром.

— А-а, — сказала она, — три дамы? Они были очень милы. Но они уже перебрались, их поместили во второй класс; я буду без них скучать.

Капитан удивленно посмотрел на нее и положил ей руку на подвздошную кость.

— А вы недурны собой, и у вас прелестная мордашка, но как вы худы!

Она засмеялась: когда касались ее подвздошной кости, то всегда невольно хотелось смеяться.

— Вы не любите худых, капитан?

— Нет-нет, мне они вполне подходят, — поспешно ответил он.

Пьер бегом поднялся по лестнице; ему нужно было увидеть Мод. Теперь это был коридор второго класса, красивый коридор с ковровой дорожкой, двери и переборки покрыты серо-голубой эмалевой краской. Ему повезло: внезапно появилась Руби в сопровождении бортпроводника, несшего ее чемоданы.

— Здравствуйте, — сказал Пьер. — Так вы во втором?

— Да! — сказала Руби. — Франс боится заболеть. Мы все согласились: когда на карту поставлено здоровье, нужно уметь приносить жертвы.

— Где Мод?

Мод лежала на боку, капитан тискал ее ягодицы с рассеянной вежливостью; она ощущала себя глубоко униженной: «Если я не в его вкусе, ему незачем чувствовать себя обязанным». Она провела рукой по его бедрам, чтобы ответить на его вежливость: какая старая кожа.

— Мод? — пронзительным голосом переспросила Руби. — Понятия не имею. Вы же ее знаете: может, ей взбрело в голову пококетничать с кочегарами, если только не с капитаном, она обожает морские путешествия и вечно мечется по всему кораблю.

— Моя любознательная малышка! — сказал капитан. Он засмеялся и сжал ей запястье. — Сейчас вы сможете обследовать все владения, — сказал он. И его глаза заблестели в первый раз. Мод не сопротивлялась, она была смущена из-за смены кают, нужно все же отплатить ему за это, она очень сожалела, что была слишком худа, у нее создалось впечатление, что она обманула его; капитан улыбался, опускал глаза, у него был целомудренный и скрытный вид, он сжимал запястье Мод и направлял ее руку с твердой нежностью; Мод была довольна, она думала: «Нехорошо отказывать ему в том, чего он хочет, после всего, что он для нас сделал, тем более, что он не любит худых…»

— Спасибо, спасибо, радость моя!

Наклонив голову, Пьер продолжил свой путь. Нужно было найти Мод; скорее всего, она на палубе. Он поднялся на палубу второго класса, было темно, почти невозможно было узнать кого-либо, разве что заглянуть прямо в лицо. «Я идиот, нужно подождать здесь: откуда бы она ни шла, она непременно пойдет по этой лестнице». Капитан совсем закрыл глаза, у него был спокойный и почти монашеский вид, который очень нравился Мод, рука ее устала, но она рада была доставлять ему удовольствие, и потом, ей казалось, что она совсем одна, как когда она была маленькой и дедушка Тевенер сажал ее себе на колени и вдруг засыпал, покачивая головой. Пьер смотрел на море и думал: «Я трус». Прохладный ветер струился по его щекам и развевал его волосы, он смотрел, как поднимается и опускается море; он с удивлением смотрел на себя и думал: «Трус. Никогда бы не подумал». Законченный трус. Достаточно было одного дня, чтобы он понял свое истинное естество; без угрозы войны он бы никогда ничего о себе не узнал. «К примеру, родись я в 1860 году». Он бы прогуливался по жизни со спокойной уверенностью; он бы сурово

осуждал трусость других, и ничто, абсолютно ничто не открыло бы ему его истинной природы. Не повезло. Один день, один-единственный день: теперь он знал о себе все и был одинок. Автомобили, поезда, пароходы бороздили эту светлую и гулкую ночь, все стекались к Парижу, уносили таких же молодых людей, как он, они не спали, наклонялись над релингами или прижимали нос к темным стеклам. «Это несправедливо, — подумал он. — Тысячи людей, может быть, миллионы, жили в счастливые времена, они так и не узнали подлинной своей цены: им было даровано счастье сомнения. Быть может, Альфред де Виньи был трусом. Или Мюссе? Или Сент-Бёв? Или Бодлер? Им повезло. Тогда как мне! — прошептал он, топнув ногой. — Она бы никогда не узнала, она бы продолжала смотреть на меня с обожанием, хоть и продержалась бы не дольше других, я бы бросил ее через три месяца. Но теперь она знает. Знает. Шлюха, я у нее в руках!»

На улице было темно, но в баре было столько света, что Большой Луи совсем ослеп. Это было как-то чудно, потому что ламп не было видно; была длинная красная труба, извивающаяся по потолку, и другая — белая, и свет шел оттуда; в зеркале напротив Большой Луи видел свою голову и макушку Стараче, ни Марио, ни Дэзи он не видел, они были слишком маленькими. Он заплатил за еду и за четыре порции анисового ликера; он заказал коньяк. Они сидели в глубине бара напротив стойки, было уютно, их окружал большой ватный убаюкивающий шум. Большой Луи сиял, ему хотелось вскочить на стол и запеть. Но он не умел петь. Иногда его глаза закрывались, он падал в какую-то яму и чувствовал себя подавленным, как будто с ним случилось что-то ужасное, он снова открывал глаза, старался вспомнить, что это было, но в конце концов понимал, что с ним ничего не случилось. Он как бы раздвоился: один в другом, но так он чувствовал себя, скорее, удобно, просто немного непривычно, но уютно; ему трудно было держать глаза открытыми. Он вытянул под столом длинные ноги, одну между ног Марио, другую между ног Стараче, он видел себя в зеркале, и это вызывало у него смех, он попытался скорчить гримасу, как Стараче, но он не умел ни косить, ни шевелить ушами. Под зеркалом сидела невысокая, вполне приличная дама, которая задумчиво курила, она, должно быть, приняла его гримасу на свой счет: она показала ему язык, а затем охватила правое

запястье левой рукой, сжала правый кулак и завертела им, посмеиваясь. Большой Луи озадаченно отвел взгляд, он боялся, что обидел ее.

Дэзи сидела напротив — маленькая, суровая и теплая. Но ей не было дела до него. От нее хорошо пахло, она была размалевана, как надо, груди полные, но Большому Луи Дэзи показалась слишком серьезной, он любил смешливых милашек, которые дразнят, например, дуя в ухо, а некоторые, опустив глаза, шепчут что-нибудь двусмысленное, что не сразу и поймешь. Дэзи была воодушевлена и серьезна; она всерьез говорила с Марио о войне:

— Что ж, будем воевать; если надо воевать — будем. Стараче сидел, выпрямившись на стуле, напротив Дэзи;

он казался внимательным, но, конечно, из вежливости, поскольку ничего не понимал. Большой Луи проникся к Стараче симпатией: тот оставался таким спокойным и никогда не злился. Марио хитро смотрел на Дэзи, он качал головой и говорил:

— Не возражаю, не возражаю.

Но вид у него был не слишком уверенный.

— По мне, лучше война, чем стачка, — сказала Дэзи. — А как по-твоему? Вспомни только стачку докеров, чего она всем стоила, и нам, и всем остальным.

— Не возражаю, не возражаю.

Дэзи рассуждала строго и страстно, она встряхивала головой, говоря:

— Во время войны стачки кончаются. Все работают. Да-а… Если б ты видел пароходы в семнадцатом году, ты еще под стол пешком ходил, да и я тоже, но видишь, я помню. Вот был праздник, вечером огни были видны до Эстака. И столько всяких лиц мелькало на улицах — не поймешь, где находишься, какая-то гордость появлялась, а очереди на улице Бутерилль — там были англичане, американцы, итальянцы, немцы, даже индусы! А сколько зарабатывала моя мать, скажу тебе!

— Нет, немцев не было, — возразил Марио, — с ними же воевали.

— А я тебе говорю, что были! — твердила Дэзи. — И даже в военной форме, с такой штукой на фуражках. Я их видела собственными глазами.

— С ними воевали, — настаивал Марио. Дэзи пожала плечами:

— Да, но там, на севере. Эти явились не из траншей, они приезжали морем для торговли.

Вошла высокая девица, жирная и белая, как сливочное масло, но у нее тоже был слишком серьезный вид. Большой Луи подумал: «Городские все такие». Она наклонилась к Дэзи и казалась негодующей:

— А я вот не люблю войну, понимаешь? Потому что сыта ею по горло, мой брат воевал в четырнадцатом году, ты, может, хочешь, чтобы он снова воевал? А ферма моего дяди, она, по-твоему, не сгорела? Это тебя не убеждает?

Дэзи на минуту смутилась, но быстро обрела хладнокровие.

— Значит, ты больше любишь стачки? — спросила она. — Признайся!

Марио посмотрел на высокую блондинку, и она ушла, не говоря ни слова и покачивая головой. Она села недалеко от них и начала горячо толковать о чем-то с грустным человечком, жевавшим соломинку. Она показывала на Дэзи и говорила с поразительной быстротой. Человечек не отвечал, он жевал соломинку, не поднимая глаз, казалось, он даже ее не слышал.

— Она из Седана, — объяснил Марио.

— Где это? — спросила Дэзи.

— На севере.

Дэзи пожала плечами.

— Тогда чего ж она ворчит? На севере к этому привыкли.

Большой Луи зевнул так, что слезы покатились у него по щекам. Он скучал, но был доволен, потому что любил зевать. Марио бросил на него быстрый взгляд. Стараче тоже начал зевать.

— Наш приятель скучает, — сказал Марио, показывая на Большого Луи, — будь с ним полюбезнее, Дэзи.

Дэзи повернулась к Большому Луи и обвила рукой его шею.

Теперь она выглядела немного веселей.

— Это правда, мой цыпленочек, что ты скучаешь? Рядом с такой хорошенькой девушкой?

Большой Луи собирался ей ответить, но тут заметил негра. Тот у стойки пил из большого стакана что-то желтое. На нем был зеленый

костюм и соломенная шляпа с разноцветной лентой. «Прекрасно!» — сказал Большой Луи. Он глядел на негра и был счастлив.

— Что с тобой? — удивленно спросила Дэзи.

Он повернул голову к ней, затем к Стараче и посмотрел на них с удивлением. Ему было стыдно находиться с ними. Он дернул плечами, чтобы сбросить руку Дэзи, встал и крадучись подошел к негру. Негр пил, а Большой Луи смеялся от удовольствия. Дэзи сказала за его спиной резким тоном: «Что на этого дурака наехало? Он мне сделал больно». Но Большой Луи плевал на это: он избавился от Марио и Стараче. Он поднял правую руку и влепил негру тумак между лопаток. Негр закашлялся, сплюнул, потом с яростным видом обернулся к Большому Луи.

— Это я, — сказал Большой Луи.

— Вы что, псих? — выпалил негр.

— Ты же видишь, это я! — повторил Большой Луи.

— Я вас не знаю, — сказал негр. Большой Луи грустно посмотрел на него.

— Как, ты не помнишь? Мы встретились вчера, ты тогда только что искупался, ну?

Неф кашлянул и сплюнул. Стараче и Марио поднялись и встали по бокам Большого Луи. «Оставят они, наконец, меня в покое?» — подумал Большой Луи с гневом. Марио тихо потянул его за рукав.

— Ну, пошли, — сказал он. — Ты же видишь, он тебя не признает.

— Это мой негритос! — угрожающе настаивал Большой Луи.

— Уберите его, — сказал негр. — В котором часу вы его укладываете спать?

Большой Луи смотрел на негра и чувствовал себя несчастным: это был он, такой красивый и такой веселый в красивой соломенной шляпе. Почему он оказался таким забывчивым и неблагодарным?

— Я тебя угостил вином, — сказал он.

— Пойдем же! — повторил Марио. — Это не твой негритос: они все на одно лицо.

Большой Луи сжал кулаки и повернулся к Марио:

— Оставь меня в покое, говорю тебе! Это тебя не касается.

Марио отступил на шаг.

— Все негры похожи друг на друга, — сказал он с беспокойством.

— Марио, оставь его — он просто хам. Иди сюда! — крикнула Дэзи.

Большой Луи готов был драться, но тут открылась дверь, и появился второй негр, совсем такой же, как первый, в соломенной шляпе и розовом костюме. Он безразлично посмотрел на Большого Луи, пересек бар танцующим шагом и облокотился о стойку. Большой Луи протер глаза и поочередно посмотрел на обоих негров. Он начал смеяться.

— Можно подумать, двойняшки. — сказал он. Марио приблизился:

— Ну что, убедился?

Большой Луи сконфузился. Ему не нравились ни Стараче, ни Марио, но он чувствовал себя виноватым перед ними. Он взял их за руки.

— Я думал, что это мой негритос, — объяснил он. Негр повернулся к нему спиной и снова принялся пить.

Марио посмотрел на Стараче, затем они оба повернулись к Дэзи — та стояла, уперев руки в бедра, она их ждала. Вид у нее был не слишком миролюбивый.

— Гм! — сказал Марио.

— Гм! — сказал Стараче.

Они повернулись, каждый схватил Большого Луи за руку, и увлекли его за собой.

— Пойдем поищем твоего негритоса, — сказал Марио. Улица была узкой и пустынной, пахло капустой. Над крышами виднелись звезды. «Они все друг на друга похожи», — грустно подумал Большой Луи. Он спросил:

— А много их в Марселе?

— Кого много, приятель?

— Негритосов?

— Вообще-то много, — сказал Марио, качая головой. «Я совсем темнота», — подумал Большой Луи. «Я вам помогу, — сказал капитан, — я буду вашей камеристкой». Марио взял Большого Луи за талию, капитан взял комбинацию за бретельку, Мод не смогла удержаться от смеха: «Но вы держите ее наизнанку!» Марио наклонился вперед, он сильно сжимал талию Большого Луи и терся лицом о его живот, он говорил: «Это мой приятель, правда, Стараче,

этой мой дружок, и мы любим друг друга». А Стараче молча смеялся, его голова вращалась, вращалась, его зубы блестели, это был кошмар, его голова гудела от криков и света, они его не отпустят до ночи, смех Стараче, его смуглое лицо, которое поднималось и опускалось, кунья мордочка Марио; Пьера тошнило, море поднималось и опускалось в его желудке; Большой Луи понял, что никогда не найдет своего негра, Марио его подталкивал, Стараче его тянул, негр был ангелом, а я в аду. Он сказал:

— Негр был ангелом.

Две большие слезы покатились по его щекам. Марио его подталкивал, Стараче его тянул, они повернули за угол, Пьер закрыл глаза, был только моргающий свет фонаря на мостовой и пенистое пришепетывание воды о форштевень.

Ставни закрыты, окна закрыты, пахло клопами и формалином. Старик склонился над паспортом, свеча освещала его вьющиеся седые волосы, тень от его головы покрывала весь стол. «Почему он не зажигает электричество, так он себе изведет глаза». Филипп прочистил горло: он как будто затонул в безмолвии и забвении. «Там я существую, и вообще я существую, я еще заставлю себя признать, она не могла сглотнуть, в горле у нее стоял комок, а он изумился, рука, которую он на меня поднял, повисла в воздухе и как бы отсохла, он не думал, что я способен на такое, там я только что родился, но однако я существую здесь, напротив этого седого приземистого старика с седыми усами, хоть он и совсем обо мне забыл. Здесь; здесь. Здесь я продолжаю свое монотонное существование среди слепых и глухих, я растворяюсь в тени, но там, под светом канделябра между креслом и диваном, я существую въяве, там меня принимают в расчет». Он топнул ногой, и старик поднял глаза — близорукие, суровые, слезящиеся и усталые.

— Вы были в Испании?

— Да, — сказал Филипп. — Три года назад.

— Паспорт недействителен. Его нужно было продлить.

— Знаю, — нетерпеливо сказал Филипп.

— Мне это безразлично. Вы говорите по-испански?

— Как по-французски.

— Коли вас с такими белобрысыми волосами примут за испанца, считайте, вам повезло.

— Бывают и светловолосые испанцы. Старик пожал плечами:

— Мое дело предупредить…

Он рассеянно листал паспорт. «Я здесь, у мошенника». Это было невероятно. С самого угре все было невероятно. Мошенник походил, скорее, на жандарма.

— Вы похожи на жандарма.

Старик не ответил: Филиппу стало не по себе. Незначительность. Она вернулась сюда, эта прозрачная незначительность вчерашнего дня, когда я проходил сквозь взгляды, когда я был тряским стеклом на спине стекольщика, и когда я проходил сквозь солнце. Там, теперь я непрозрачен, как мертвец; она думает: «Где он? Что делает? Думает ли он все же обо мне?» Но не похоже, что старик знает, есть ли на земле уголок, где я — драгоценный камень.

— Ну что? — сказал Филипп.

Старик устремил на него усталый взгляд.

— Вас Питто прислал?

— Вы в третий раз спрашиваете. Да, меня прислал Питто, — с апломбом заявил Филипп.

— Хорошо, — сказал старик. — Обычно я такое делаю бесплатно, но с вас возьму три тысячи франков.

Филипп скопировал гримасу Питто:

— Разумеется. Я и не собирался просить вас о даровой услуге.

Старик усмехнулся. «Мой голос звучит фальшиво, — с раздражением подумал Филипп. — У меня нет еще естественной наглости. Особенно со стариками. Между ними и мной существует старый счет неоплаченных пощечин. Надо бы их оплатить сполна, тогда я смогу говорить со стариками на равных. Но последняя, — вспыхнуло у него в мозгу, — последняя с еще непроставленной датой».

— Нате, — Филипп быстро вынул бумажник и положил на стол три купюры.

— Глупый молокосос! — Я же могу их положить себе в карман и ничего не сделать.

Филипп встревоженно посмотрел на него и дернулся, пытаясь взять деньги назад. Старик расхохотался.

— Я думал… — сказал Филипп.

Старик продолжал смеяться, Филипп с досадой отдернул руку и заулыбался:

— Я разбираюсь в людях и знаю, что вы бы этого не сделали.

Старик перестал смеяться, он выглядел веселым и злым.

— Эта сявка разбирается в людях. Бедный молокосос, ты приходишь ко мне, ты меня в первый раз видишь, — и ты вынимаешь деньги и кладешь их на стол, за одно это тебя следует вздуть. Ладно, ступай, не мешай работать.

Я беру у тебя тысячу франков на случай, если ты передумаешь. Остальное принесешь, когда придешь за документами.

Еще одна пощечина, я их верну сполна. Слезы навернулись ему на глаза. Он должен был прийти в бешенство, но испытывал лишь оцепенение. Как им удается быть такими жестокими, они никогда не складывают оружия, они всегда начеку, при малейшей ошибке они накидываются на любого и причиняют ему боль. Что я ему сделал? И тем, в голубой гостиной, что я им сделал? Но ничего, я научусь правилам игры, я буду жестоким, я заставлю их содрогаться.

— Когда будет готово?

— Завтра утром.

— Я… я не думал, что на это уйдет так много времени.

— Да? — сказал старик. — А печати я, по-твоему, где беру? Ладно, иди, придешь завтра утром, и так времени мало осталось, чтобы все сделать.

На улице ночь, тошнотворно-теплая, с ее чудовищами; шаги уже давно раздаются за спиной, а обернуться не смеешь, ночь в Сент-Уане; квартал небезопасный.

Филипп беззвучно спросил:

— В котором часу я могу прийти?

— Когда хочешь, начиная с шести часов.

— А есть… есть ли здесь гостиницы?

— Проспект Сент-Уан, только выбирай. Ну, иди.

— Я приду в шесть, — твердо сказал Филипп.

Он взял свой чемоданчик, закрыл дверь и спустился по лестнице. На площадке четвертого этажа у него брызнули слезы, он забыл взять с собой платок, вытер глаза рукавом, дважды или трижды шмыгнул носом, я не трус. Старый мужлан наверху принял его за труса, его презрение следовало за Филиппом, как взгляд. Они смотрят на меня.

Филипп поспешно спустился по последним ступенькам. «Откройте дверь, пожалуйста». Дверь отворилась на мутный тепловатый серенький пейзаж. Филипп нырнул в эти помои. «Я не трус. Только этот гнусный старик так думает. Впрочем, больше не думает, — решил он. — Он больше обо мне не думает, он принялся за работу». Взгляд угас, Филипп ускорил шаги. «Ну что, Филипп? Ты боишься?» — «Я не боюсь, я просто не могу». — «Ты не можешь, Филипп? Ты не можешь?» Он забился в угол. Питто гладил его бедра и грудь, потрогал через рубашку соски, затем двумя пальцами правой руки щелкнул его по губам: «Прощай, Филипп, уходи. Я не люблю трусов». Улица была полна ночными статуями, эти люди прислонились к стенам, они ничего не говорят, не курят и неподвижно смотрят на прохожих увлажненными ночью глазами. Он почти бежал, и сердце его билось все быстрее. «С твоей-то мордой? Да, да, ты маленький трус». Они увидят, они все увидят, он придет, как и другие, прочтет мое имя и скажет: «Смотри-ка! Для богатого сыночка, для юнца это не так уж мало».

Справа от него взрыв света — гостиница. На пороге стоял косоглазый служитель. «Он на меня смотрит?» Филипп пошел медленнее, но сделал лишний шаг и прошел дверь, теперь служитель, должно быть, косится за его спиной; он уже не мог благопристойно вернуться. Служащий ресторана или поединок циклопов. Или вот еще что: беда циклопа. В один прекрасный день он почувствовал неладное, посмотрел в зеркало и увидел перекошенные глаза. Какой ужас! Их невозможно заставить двигаться вместе, один из них привык смотреть отдельно и так и остается особняком. На противоположной стороне была другая гостиница — «Конкарно», маленькое одноэтажное строение. «Может, попробовать туда? А что, если они спросят у меня документы?» Он не решился перейти улицу и двинулся по той же стороне. «Нужна решимость, но сегодня у меня ее нет, старик меня окончательно опустошил; а что, если — подумал он, глядя на вывеску «Кофе, вина, ликеры», — если выпить для храбрости?» Он толкнул дверь.

Это было совсем маленькое кафе, цинковая стойка и два столика, опилки приклеивались к подошвам. Хозяин недоверчиво посмотрел на него. «Я слишком хорошо одет», — раздраженно подумал Филипп.

— Коньяку, — сказал он, подходя к стойке.

Хозяин взял бутылку, на горлышко был надет жестяной носик. Он налил рюмку коньяку, Филипп поставил чемоданчик и с любопытством посмотрел на хозяина: струйка алкоголя текла из железного носика, и у хозяина был такой вид, будто он поливает овощи. Филипп выпил глоток и подумал: «Должно быть, это скверный коньяк». Он не пил его никогда, коньяк показался ему прогорклым вином и обжег горло; Филипп поспешно поставил рюмку, Хозяин смотрел на него. Была ли ирония в его невозмутимых глазах? Филипп снова взял рюмку и небрежным жестом поднес ее к губам: глотка пылала, глаза слезились, он выпил оставшееся залпом. Отставив рюмку, он почувствовал себя беспечным и немного развеселился. Он подумал: «Вот удобный случай понаблюдать». Две недели назад он обнаружил, что не умеет наблюдать, я поэт, я не анализирую. С тех пор он принуждал себя мысленно составлять опись везде, где только мог, к примеру, считать предметы, выставленные в витрине. Он окинул взглядом бар, начну с последнего ряда бутылок над стойкой. Четыре бутылки «Бирра», одна «Гудрона», две «Нойи», один кувшинчик рома.

Кто-то вошел. Рабочий в фуражке. Филипп подумал: «Пролетарий». Ему не часто доводилось их видеть, но он много о них думал. Этот был лет тридцати, мускулистый, неловко скроенный, со слишком длинными руками и кривыми ногами, наверняка его изуродовал физический труд; под носом виднелась рыжеватая жесткая щетина; к фуражке прикреплена трехцветная кокарда, он выглядел хмурым и встревоженным.

— Стаканчик белого, хозяин, побыстрей, — распорядился он.

— Мы уже закрываем, — сказал хозяин.

— Что ж, вы откажете в стаканчике белого призывнику? — настаивал рабочий. Он говорил с трудом, охрипшим голосом, как будто весь день кричал. Подмигивая правым глазом, он пояснил:

— Завтра утром уезжаю. Хозяин взял стакан и бутылку.

— Куда едете? — спросил он, ставя стакан на стойку.

— В Суассон, — ответил мужчина. — Я в танковых войсках.

Он поднял стакан к губам, рука его дрожала, вино стекало на пол.

— Мы им выпустим кишки, — сказал он.

— Гм! — хмыкнул хозяин.

— Именно так! — гаркнул мужчина.

Он два раза ударил ладонью правой руки по левому кулаку.

— Как сказать, — усомнился хозяин. — Эти сволочи не из слабаков!

— А я говорю вам, что так и будет!

Он выпил, цокнул языком и запел. Он выглядел одновременно возбужденным и усталым; с каждой минутой лицо его увядало, глаза закрывались, губы опускались, но сейчас же какая-то сила открывала ему глаза, тянула кверху уголки губ: он казался обессиленной добычей веселья, которое хотело длиться без конца. Он повернулся к Филиппу:

— А ты? Тебя тоже призвали?

— Меня… еще нет, — пятясь, сказал Филипп.

— Чего же ты ждешь? Надо им поскорее выпустить кишки.

Это был пролетарий: Филипп ему улыбнулся и заставил себя шагнуть к нему.

— Угощаю тебя стаканчиком белого, — сказал рабочий. — Хозяин, два стакана, один — вам, один — ему, я плачу.

— Я не хочу пить, — сурово отрезал хозяин. — И потом, время закрывать: мне вставать в четыре утра.

Тем не менее, он поставил стакан перед Филиппом.

— Сейчас выпьем, — сказал рабочий.

Филипп поднял свой стакан. Только что он был у мошенника, а сейчас выпивает за цинковой стойкой с рабочим. Если б они меня видели!

— За ваше здоровье! — сказал он.

— За победу! — провозгласил рабочий.

Филипп с удивлением посмотрел на него: он, безусловно, шутит; ведь пролетариат за мир.

— Скажи, как я, — настаивал работяга. — Скажи: за победу!

У него был суровый и угрожающий вид.

— Я не хочу этого говорить, — вымолвил Филипп.

— Что?! — вскричал рабочий.

Он сжал кулаки. Речь его осеклась, глаза побелели, челюсть отвисла, голова вяло качнулась.

— Скажите, как он просит, — посоветовал хозяин. Рабочий овладел собой. Он подошел к Филиппу вплотную, от него несло перегаром.

— Ты не хочешь выпить за победу? И именно мне ты такое говоришь? Мне, призывнику? Солдату тридцать восьмого года?

Рабочий схватил его за галстук и прижал к стойке.

— Ты это говоришь мне? Ты не хочешь выпить?

Что бы сделал Питто? Что бы он сделал на моем месте?

— Живее, — строго сказал хозяин, — делайте то, что он вам велит: я не хочу неприятностей; и потом, пора закрывать: мне вставать в четыре утра.

Филипп взял стакан.

— За победу… — пролепетал он.

Он залпом опрокинул стакан, но горло перехватило, и он никак не мог проглотить спиртное. Работяга отпустил его, самодовольно ухмыльнувшись, и вытер тыльной стороной ладони усы.

— Он не хотел пить за победу, — объяснил он хозяину. — Я его схватил за галстук. Какой же он француз, если говорит такое мне? Мне, призывнику?

Филипп бросил на стойку сорок су, взял чемоданчик и поспешил выйти. Пьянице нужно уступать, Питто уступил бы тоже; «Я не трус».

— Эй, паренек, погоди!

Работяга вышел вслед за ним, Филипп слышал, как хозяин закрывает дверь, поворачивая в замке ключ. Он весь похолодел: ему казалось, что его запирают наедине с этим типом.

— Не беги так, — сказал работяга. — Говорю тебе, мы им выпустим кишки. Это надо спрыснуть.

Он подошел к Филиппу и обнял его за шею. Марио взял руку Большого Луи и нежно сжал ее, это была преисподняя, он шел по темным улочкам, казалось, они никогда не остановятся. Большой Луи изнемогал, его подташнивало, в ушах звенело.

— Я немного спешу, — сказал Филипп.

— Куда мы идем? — спросил Большой Луи.

— Идем искать твоего негритоса.

— Ты что, разыгрываешь благородного? Когда я плачу за выпивку, нужно пить, понял?

Большой Луи посмотрел на Марио и испугался. Марио говорил: «Мой дружок, мой маленький дружок, ты устал, мой дружок?» Но у него было уже другое лицо. Стараче взял его за левую руку, это была

преисподняя. Он попытался высвободить правую руку, но почувствовал острую боль в локте.

— Что ты делаешь, ты мне сломаешь руку![34] — крикнул он.

Филипп внезапно вильнул и побежал. Это пьяница, ничего нет дурного в том, что я удираю от пьяницы. Сграче вдруг выпустил его руку и сделал шаг назад. Большой Луи хотел повернуться, чтобы посмотреть, что он делает, но Марио повис у него на руке, Филипп слышал за спиной прерывистое дыхание: «Гнусная шлюха, гаденыш, маленький педик, ну подожди, я тебя сейчас проучу». «Что на тебя нашло, мой дружок, что на тебя нашло, разве мы больше не друзья?» Большой Луи подумал: «Сейчас они меня убьют», страх пронзил его до костей, свободной рукой он схватил Марио за горло и приподнял его над землей; но в тот же миг он почувствовал острейшую боль в голове от затылка до подбородка, он отпустил Марио и упал на колени, кровь натекла на брови. Он попытался ухватить Марио за пиджак. Но Марио отскочил ему за спину, и Большой Луи больше его не видел. Он видел негра, скользящего вровень с землей, он плыл, не касаясь ее, он был совсем не похож на других негров, он приближался к нему, раскрыв объятия и смеясь. Большой Луи протянул руки, у него в голове засела огромная, издающая металлический звук боль, он крикнул негру: «На помощь!», но получил второй удар по голове и упал лицом в сточную канаву; Филипп все еще бежал, гостиница «Канада», он остановился, перевел дыхание и посмотрел назад, он оторвался от преследователя. Филипп затянул узел галстука и размеренным шагом вошел в гостиницу.

Килевая качка, бортовая качка. Килевая качка, бортовая качка. Покачивание парохода поднималось спиралью в его икры и бедра и мерными толчками замирало где-то в низу живота. Но голова оставалась ясной, несмотря на две или три горьковатых рвоты; он крепко сжимал руками поручни релингов. Одиннадцать часов; небо испещрено звездами, красный огонь танцевал вдалеке над морем; может быть, именно такой огонь последним мелькнет в моих глазах и застынет в них навсегда, когда я буду валяться в воронке плашмя, с оторванной челюстью, под мерцающим небом. И будет этот чистый черный образ с шумом пальм и это человеческое присутствие, такое далекое за красным огнем во мраке. Он их видел: в военной форме, набившись точно сельди в бочку, за своим сигнальным огнем они

молча скользили к смерти. Они молча смотрели на него, красный огонь скользил по воде, они тоже скользили, они дефилировали перед Пьером, не сводя с него глаз. Он их всех ненавидел, он почувствовал себя одиноким и упорствующим перед презрительными взглядами ночи; он им крикнул: «Я прав, я прав, что боюсь, я создан жить, жить, жить, а не умереть: нет такого, ради чего стоило бы умереть». Но ее все нет, куда она запропастилась? Он свесился над пустынной нижней палубой. «Шлюха, ты мне заплатишь за это ожидание». У него были фотомодели, манекенщицы, прекрасно сложенные танцовщицы, но эта маленькая худышка, скорее, дурнушка, была первой женщиной, которую он желал так неистово. «Гладить ее по затылку — она обожает это — в месте зарождения черных волос, следить, как медленно поднимается волнение от живота к голове, проникаться ее маленькими ясными мыслями, я трахну тебя, я буду трахать тебя, я войду в твое презрение, я его проткну, как пузырь; когда ты будешь полна мной и закричишь «Мой Пьер!», безумно закатывая глаза, мы еще посмотрим, что станет с твоим презрительным взглядом, посмотрим, назовешь ли ты меня тогда трусом».

— До свидания, моя маленькая радость, до скорого свидания, возвращайтесь, приходите еще!

Это был шепот, ветер его развеял. Пьер повернул голову, и порыв ветра дунул ему в ухо. Там, на передней палубе, маленькая лампочка, подвешенная над каютой капитана, осветила белое платье, вздувшееся от ветра. Женщина в белом медленно спускалась по лестнице, ветер и бортовая качка заставляли ее цепко держаться за поручни; ее платье то раздувалось, то прилипало к бедрам, оно казалось трезвонящим колоколом. Внезапно она исчезла, должно быть, пересекала нижнюю палубу, пароход снова осел, море было над ним, белое и черное одновременно, Пьер с трудом выпрямился, и тут снова возникла ее голова — женщина поднималась по лестнице палубы второго класса. Так вот почему им сменили каюту! Она была вся в поту, вся влажная, чуть растрепанная, она прошла мимо Пьера, не заметив его, она выглядела, как всегда, честной и благопристойной.

— Потаскуха! — прошептал Пьер. Он чувствовал, как его переполнила огромная пресность, он больше не хотел ее он не хотел больше жить. Пароход падал, падал в пучину, Пьер падал вместе с

ним, ватный и вялый, он на миг застыл, но его рот тут же наполнился желчью, Пьер наклонился над черной водой, и его вырвало через борт.

— А теперь регистрационная карточка, — сказал служащий гостиницы.

Филипп поставил чемоданчик, взял ручку и обмакнул ее в чернила. Служащий, скрестив руки за спиной, следил за ним взглядом. Подавлял ли он зевоту или смех? «Все потому, что я хорошо одет, — с гневом подумал Филипп. — Они всегда смотрят на одежду, остального они не видят». Он твердой рукой написал:

Изидор Дюкасс[35], коммивояжер.

— Проводите меня, — сказал он служителю, глядя ему прямо в глаза.

Служитель снял большой ключ со щита, и они поднялись по лестнице. Она была полутемной, ее освещали редкие голубые лампы. Шлепанцы служащего шаркали по каменным ступенькам. За одной из дверей плакал ребенок; пахло туалетом. «Это меблирашки», — подумал Филипп. Меблирашки — это было грустное слово, которое он часто и всегда с отвращением встречал в натуралистических романах.

— Здесь, — сказал служитель, вставляя ключ в замочную скважину.

Это была просторная комната с плиточным полом; стены до половины были окрашены охрой, а выше, до потолка, тускло-желтой краской. Один стол, один стул: они казались затерявшимися среди комнаты: два окна, умывальник, похожий на слив, у стены — большая кровать. «Как будто брачное ложе поставили в кухне», — подумал Филипп.

Служитель не уходил.

— Десять франков. Плата вперед, — сказал он с улыбкой. Филипп протянул ему двадцать франков:

— Сдачи не надо. И разбудите меня в половине шестого. На служителя это, казалось, не произвело никакого впечатления.

— Доброго вечера, месье, доброй ночи, — сказал он, уходя.

Филипп с минуту вслушивался. Едва утихло шарканье стоптанных туфель по ступенькам, он дважды повернул ключ в замке, задвинул засов и приставил к двери стол. Затем поставил на стол чемоданчик и, опустив руки, посмотрел на него. Канделябр в

гостиной потух, свеча мошенника погасла, мрак поглотил все. Безымянный мрак. Только эта голая длинная комната блестела во мраке, такая же безликая, как ночь. Филипп, оцепенелый и праздный, смотрел на стол. Он зевнул. Однако спать ему не хотелось: он был опустошен. Забытая муха, пробудившаяся в начале зимы, когда все остальные мухи перемерли, муха, у которой нет больше сил летать. Он смотрел на чемоданчик и думал: «Нужно его открыть, нужно достать пижаму». Но желания загустевали в его голове, он был даже не в силах поднять руку. Филипп смотрел на чемоданчик, смотрел на стену и думал: «Зачем? Зачем мешать себе умереть, если эта стена с гнусной наглой расцветкой существует здесь, напротив меня?» Ему даже не было больше страшно.

И раз — море поднимается! И два — оно опускается! Пьер больше не боялся. Таз поднимался и опускался, полный пены, он поднимался и опускался вместе с ним; лежа на спине, Пьер больше ничего не боялся. Стюард будет ворчать, когда войдет и обнаружит, что меня вырвало на пол, но мне наплевать. Все было таким нежным, вода у него во рту, запах рвоты, этот ком в груди, его тело было сплошной нежностью, и потом, это колесо, которое вращалось, вращалось, вращалось, расплющивая ему лоб, он его видел, он забавлялся, видя его, это было колесо такси с серой и потертой шиной. Колесо вращалось, привычные мысли вращались, вращались, вращались, но он плевал на это — наконец, наконец! — он мог на это плевать, через неделю в Аргонне в меня будут стрелять, а мне плевать, она меня презирает, думает, что я трус, а мне плевать, что это для меня может значить сегодня, что это для меня может значить вообще? Плевать мне на это, плевать, я ни о чем не думаю, мне ничто не страшно, я себя ни в чем не упрекаю.

И раз! — море поднимается, и два! — оно опускается; это так приятно — плевать на все.

Одиннадцать часов, одиннадцать ударов в тишине. Он протянул руку, открыл чемоданчик, его правая щека горела, как факел; одиннадцать часов, канделябр снова зажегся в ночи, она сидит в кресле, маленькая и пухлая, с красивыми голыми руками, его щека горела, пытка начиналась снова, рука поднималась, щека горела, я не трус, он развернул пижаму: одиннадцать часов, доброй ночи, мама, я целовал наложницу генерала в надушенные щеки, я смотрел на ее

руки, я склонялся перед ним, доброй ночи, отец, доброй ночи, Филипп, доброй ночи, Филипп. Это было еще вчера, вчера. Он с изумлением думал: «Это было лишь вчера. Но что же я сделал? Что произошло с тех пор? Я положил пижаму в чемоданчик, вышел, как всегда, и все изменилось: скала упала за моей спиной на дорогу, напрочь перекрыв ее, и я не могу больше туда вернуться. Но когда, когда это произошло? Я взял чемоданчик, тихо открыл дверь, спустился по лестнице… Это было вчера. Она сидит в кресле, он стоит у камина, вчера. В гостиной тепло и светло, я Филипп Грезинь, пасынок генерала Лаказа, лиценциат по литературе, будущий поэт, вчера, вчера, вчера и навсегда». Он разделся, надел пижаму: в меблирашке он делал это по-новому, неуверенно, нужно заново учиться. В чемоданчике был томик Рембо, он не стал его вынимать, ему не хотелось читать. Один-единственный раз, если б она мне поверила один единственный раз, если б обвила мою шею прекрасными руками, если б сказала мне: «Я верю, ты мужественный, ты будешь сильным», я бы не ушел. Это наложница, она приносила в мою комнату слова генерала, слова этого ископаемого, она их упускала, они были слишком тяжелы для нее, они закатывались под кровать, пять лет я им позволял накапливаться там; пусть отодвинут кровать, их там обнаружат: родина, честь, добродетель, семья — все они там, в пыли, я ни одним не воспользовался для собственной выгоды. Он стоял босиком на плитках, он чихнул и подумал: простужусь, выключатель был рядом с дверью, он выключил свет, ощупью добрался до кровати, он боялся наступить на какую-нибудь тварь, на огромного паука с лапами, как человеческие пальцы, паука, похожего на отрезанную ладонь, паука-птицееда, что, если они здесь есть? Филипп скользнул под простыни, и кровать заскрипела. Его щека горела, факел в ночи, жгучее пламя, он прислонил ее к подушке. Сейчас они ложатся спать, она надела розовую сорочку с кружевами. Сегодня вечером не так мучительно это представлять себе; сегодня вечером он не посмеет к ней притронуться, ему будет стыдно, а она, наложница, она все-таки не позволит, в то время как ее сын гибнет от холода и голода невесть где, она думает обо мне, она делает вид, что спит, но она меня видит, бледного, сурового, со сжатыми губами и сухими глазами, она видит, как я иду в ночи под звездами. Он не трус, мой мальчик не трус, мой мальчик, мое дитя, мой дорогой. Бели б я

был там, если б мог быть там для нее одной и пить слезы, сбегающие по ее щекам, и гладить эти прекрасные нежные руки, мама моя, мамочка. «Генерал — канцлер», — сказал ему в уши странный голос. Маленький зеленый треугольник оторвался и начал вращаться, генерал-канцлер.

Треугольник вращался, это был Рембо, он рос, как гриб, высох и покрылся коркой, опухоль на щеке, за победу, за победу, ЗА ПОБЕДУ. «Я не трус!» — крикнул Филипп, внезапно проснувшись. Он сидел на кровати весь в поту, с остановившимся взглядом, простыня пахла серой, по какому праву они меня судят? Мужланы. Они судят меня по своим законам, а я признаю только свои. По мне мое возвышенное бунтарство! По мне моя гордость! Я из породы властителей. «Ах! — с бешенством подумал он, — все это позже! Позже! А пока надо ждать. Позже они повесят мраморную мемориальную табличку на стене этой гостиницы: «Здесь Филипп Грезинь провел ночь с 24 на 25 сентября 1938 года». Но меня уже не будет в живых». Неясный и тихий шепот сочился из-под двери. Ночь внезапно скончалась. Он смотрел на нее из глубины будущего, глазами этих людей в черных пиджаках, разлагольствующих под мраморной табличкой. Каждая минута истекала во мраке, драгоценная и священная, уже прошедшая. Когда-нибудь эта ночь минет, полная славы, как ночи Мальдорора[36], как ночи Рембо. Моя ночь. «Зезетта», — произнес мужской голос. Гордость разом затрепетала, прошлое мигом взорвалось, пришло настоящее. В скважине повернули ключ, сердце Филиппа бешено заколотилось. «Нет, это рядом». Он услышал, как скрипнула дверь соседней комнаты. «Их, по крайней мере, двое, — подумал он, — мужчина и женщина».

Они разговаривали. Филипп не разобрал о чем, но понял, что мужчину звали Морис, и это его немного успокоило. Он снова лег, вытянул ноги, отодвинул от подбородка простыню, боясь подхватить какую-нибудь заразу. Раздалось что-то вроде пения. Странного тихого пения.

— Не хныкай, — нежно промолвил мужчина, — не хныкай, это ни к чему.

У него был теплый и шероховатый голос, он произносил слова жестко и отрывисто, они выходили из глубины его горла то очень быстро, то медленно, резкие и шероховатые; но все они продлевались

тихим печальным отзвуком. Странное пение прекратилось после одного-двух всхлипов. Он наклоняется над ней, он берет ее за плечи. Филипп чувствует две сильных руки у себя на плечах, лицо склоняется над ним. Смуглое и худое лицо, почти черное, голубоватые щеки, боксерский нос и прекрасные горькие губы, губы негра.

— Не хныкай, — повторил голос. — Не раскисай, малыш, успокойся.

Филипп совершенно успокоился. Он слышал, как они ходили взад-вперед, как будто были в его номере. По полу проволокли тяжелый предмет. Может быть, кровать или чемодан. Потом мужчина снял туфли.

— В следующее воскресенье, — сказала Зезетта.

У нее был более вульгарный голос, но более певучий. Филипп представлял ее себе не слишком отчетливо, возможно, она блондинка с очень бледным лицом, как Сонечка из «Преступления и наказания».

— Ну и что?

— Морис, ты что, забыл? Мы собирались к Жанне в Корбей.

— Ничего, съездишь без меня.

— У меня духу не хватит ехать без тебя, — сказала она. Они понизили голос. Филипп не мог разобрать, что они

говорили, но ему стало радостно, потому что они были грустны. Это были пролетарии. Настоящие пролетарии. Не такие, как тот пьянчуга.

— Ты когда-нибудь был в Нанси? — спросила Зезетта.

— Очень давно.

— Как там?

— Неплохо.

— Пришлешь мне оттуда почтовые открытки, ладно? Я хочу видеть, где ты.

— Мы там наверняка долго не пробудем. Настоящий пролетарий. Этот не хочет воевать, он не думает о победе: он уезжает со смертью в душе, только потому, что у него нет выхода.

— Мой великан, — прошептала Зезетта.

Они замолчали. Филипп думал: «Они грустны», и сладкие слезы увлажнили его глаза. Тихие, грустные ангелы. Я войду, протяну им руки, я скажу им: «Я тоже грустный. Из-за вас, ради вас. Ради вас я покинул родительский дом. Ради вас и ради всех, кто уходит на

войну». Мы будем стоять, Морис и я, по обе стороны от нее, и я скажу им: «Я мученик мира». Он умиротворенно закрыл глаза: теперь он не один, два грустных ангела оберегали его сон. Мученик, лежащий на спине, как надгробное каменное изваяние, и два грустных ангела с пальмовыми ветвями у изголовья. Они шептали: «Мой великан, мой великан, не покидай меня, я люблю тебя», и также другое слово, нежное и драгоценное, он уже не помнил, какое именно, но это было самое нежное из нежных слов, оно закружилось, вспыхнуло огненным венцом, и Филипп унес его с собой в свой сон.

— Ах ты! — сказал Большой Луи. — Сто чертей!

Он сидел на тротуаре, он никогда бы не подумал, что у него может так болеть голова, каждый приступ дергающей боли снова пробуждал в нем недоумение. «Ох! — сказал он. — Ох, гад! Ах, дерьмо, черт бы тебя побрал!» Он поднес руку к щеке и ощутил что-то липкое и щекочущее, должно быть, это кровь. «Так, — сказал он, — надо сделать перевязку. А куда они дели мой мешок?» Он пошарил вокруг себя, и рука наткнулась на какой-то предмет, это был бумажник. «Они что, потеряли свой бумажник?» — подумал он. Он взял его и открыл, бумажник был пуст. Он нашел в кармане серную спичку, чиркнул ею об асфальт: это был его бумажник. «Вот те на, — пробормотал он. — Ну и дела!» Его военный билет остался в кармане рубашки, но бумажник был пуст. «И что же я теперь буду делать?» Он пошарил руками по земле, он решил: «Нет, в полицию я не пойду. Этого только не хватало». Он на минуту закрыл глаза и начал глубоко дышать: голова так болела, что он опасался, не было ли там дырки. Большой Луи осторожно потрогал голову — ее, вроде, не проломили, но волосы липко спутались, кроме того, если немного нажать, то как будто по голове колотушкой стучали. «В полицию идти не годится, — подумал он. — Но что я буду делать?» Его глаза привыкли к сумеркам, он различил в нескольких метрах от себя на мостовой что-то темное. «Это мой мешок». Он пополз на четвереньках, так как не мог держаться на ногах. «Что это?» Он опустил пальцы в лужицу. «Они разбили мою бутылку», — подумал он со сжавшимся сердцем. Он взял мешок, ткань промокла, бутылка вдребезги. «Ох! Ну и дела! — сказал Большой Луи. — Ну и дела!» Он выпустил мешок, сел в винную лужицу посреди мостовой и заплакал; слезы шли носом, тело его сотрясалось, голова гудела: после смерти матери он никогда так

горько не плакал. Шарль был совсем голый, с задранными ногами перед шестью старшими медсестрами призывной комиссии, самая молодая из них махала крыльями и шевелила челюстями, это означало: «Годен»; Матье уменьшился и округлился, Марсель ждала его, раздвинув ноги, Марсель была ракеткой, когда Матье стал совсем круглым, Жак метнул его, он упал в черную яму, изрытую снарядами, упал в войну; война буйствовала, бомба разбила окно и покатилась к ножке кровати, Ивиш выпрямилась, бомба расцвела, превратилась в букет роз, из него вышел Оффенбах; «Не уезжайте, — сказала Ивиш, — не уходите на войну, иначе что со мной станется?» Победа, Филипп шел в атаку с примкнутым штыком, он кричал: «Победа! Победа! За победу!», двенадцать царей бежали, царица была освобождена, он развязал ее путы, она была голой, маленькой, толстой и слегка косила; шрапнель и гранаты устремились на капитана во весь опор, Пьер принимал их на спину и складывал в заплечный мешок, но четвертая захотела улететь, он схватил ее за подкрылье, шуршащую и дрыгающуюся, он разразился смехом и стал ее ощипывать, капитан молча смотрел на него, он лежал на спине, шрапнелью ему вырвало щеки и десны, но оставались глаза, большие глаза, полные презрения, Пьер побежал со всех ног, он дезертировал, дезертировал, он бежал в пустыню, Мод спросила у него: «Я могу убрать со стола?» Вигье умер, он начинал смердеть; Даниель снял брюки, он думал: «Есть взгляд», он встал перед взглядом — трус, педераст, злобный вызов небесам. «Перед этим взглядом я таков, каков я есть». Аннекен не мог уснуть, он думал: «Я мобилизован», и ему это казалось нелепым, голова соседки тяжело давила на его плечо, она пахла волосами и бриллиантином, он свесил руку и потрогал соседку за бедро, это было приятно, но немного утомительно. Он упал на живот, у него будто не было ног. «Любовь моя!» — закричала она. — «Что ты там говоришь?» — пробормотал сонный голос. — «Я во сне, — сказала Одетта, — спи, дорогой, спи». Филипп внезапно проснулся: это был не крик петуха, это был тихий женский стон, а, а-а-а, а-а, Филипп сначала подумал, что она плачет, но нет, он хорошо знал такие стоны, он часто их слышал, приникнув ухом к двери, бледный от бешенства и холода. Но на сей раз это не было ему омерзительно. Это было совсем ново и нежно: музыка ангелов.

— А-а-а, как я люблю тебя… — простонала-пропела Зезетта. — О! О! О! Ох-ох-ох, а-а-а!

Наступила тишина. Он давил на нее всем своим крепким телом, прекрасный ангел с черными волосами и горькими губами. Она была расплющена, ублаготворена. Ужаленный ревностью, Филипп быстро выпрямился и сел с ожесточенным сердцем и зло искривленным ртом. Однако ему очень понравилась Зезетта.

— А-а-а-ах.

Он вздохнул: это был последний, завершающий стон; они кончили. Через некоторое время он услышал мягкое шлепанье босых ног по плитам пола, птицей на ветке запел кран, потом весь водопровод затрясся в ужасающем урчанье. Зезетта вернулась к Морису, свежая и с холодными ногами; кровать скрипнула, она прижалась к нему, вдыхая терпкий запах его пота.

— Если тебя убьют, мне останется только наложить на себя руки.

— Не говори чепухи.

— Да, да. Мне останется только покончить с собой, Момо.

— Ну и глупо. У тебя красивое тело, ты работящая, очень любишь поесть и потрахаться, так что ты много потеряешь.

— Трахаться я люблю с тобой. Только с тобой! — страстно возразила Зезетта. — Но тебе на это наплевать, ты и в ус не дуешь — оставляешь меня, и все.

— Нет, мне не наплевать, — сказал Морис, — мне и самому тошно.

Он уедет. Он уйдет, он сядет на поезд в Нанси, я их никогда не увижу, я никогда не увижу его лица, он никогда не узнает, кто я. Его ступни скользнули по покрывалу: «Я хочу их видеть».

— Если б ты не уезжал. Если б ты мог остаться… Морис ласково сказал ей:

— Не глупи.

«Я хочу их видеть». Он спрыгнул с кровати. Паук-птицеед подстерегал его, спрятавшись под кроватью, но Филипп бежал быстрее его, он нажал на выключатель и растворился в свете. «Я хочу их видеть». Он натянул брюки, босыми ногами влез в туфли и вышел. Две голубые лампочки освещали коридор. Над дверью девятнадцатого номера кнопкой прикрепили серый клочок бумаги: «Морис Тайер». Филипп прислонился к стене, сердце выпрыгивало из груди, он

задыхался, как после бега. «Что я им скажу?» Он вытянул руку и слегка коснулся двери: они были там, за стеной. «Мне ничего от них не надо, я просто хочу их видеть». Он наклонился и прижался глазом к замочной скважине. Роговица ощутила дуновение, он захлопал веками и совсем ничего не увидел: они погасили свет. «Я хочу их видеть», — подумал он, стуча в дверь. Они не ответили. Горло его сжалось, и все же он застучал сильнее.

— Что это? — послышался голос. Голос был резкий и суровый, но он изменится. Дверь откроют, и голос изменится. Филипп постучал еще раз: говорить он не мог.

— Что такое? — нетерпеливо повторили за дверью. — Кто там?

Филипп перестал стучать. Он задыхался. Глубоко вздохнув, он сдавленно произнес:

— Я хотел бы с вами поговорить.

Наступило долгое молчание. Филипп хотел было уйти, но вдруг услышал шум шагов и дыхание совсем рядом с дверью, щелчок, там зажигают свет. Шаги удаляются, он надевает брюки. Филипп попятился и прислонился к стене, ему стало страшно. Ключ повернулся в скважине, дверь открылась, и в приоткрытом пространстве появилась косматая рыжая голова, широкие скулы и лицо с изрытой кожей. У мужчины были светлые, без ресниц глаза: он с комичным изумлением смотрел на Филиппа.

— Вы ошиблись дверью, — сказал он.

Это был его голос, и в то же время неузнаваемый.

— Нет, — сказал Филипп, — я не ошибся.

— Ну? Так чего вы от меня хотите?

Филипп смотрел на Мориса и думал: «Нет, это бессмысленно». Но было слишком поздно. Он сказал:

— Я хотел бы с вами поговорить.

Морис колебался; по его глазам Филипп понял, что тот собирается закрыть дверь; быстро придержав створку, он повторил:

— Я хотел бы с вами поговорить.

— Я вас не знаю, — сказал Морис. Его бесцветные глаза были твердыми и сметливыми. Он был похож на слесаря, пришедшего чинить кран в ванной.

— В чем дело, Морис? Чего он хочет? — взволнованно произнесла Зезетта.

Ее голос был настоящим; настоящим было и ее нежное невидимое лицо. Грубое лицо Мориса было сном. Кошмаром. Голос угас; нежное лицо угасло; из темноты выступило жесткое, массивное, реальное лицо Мориса.

— Тут какой-то тип, — сказал Морис. — Не знаю, чего он от меня хочет.

— Я могу быть вам полезен, — пролепетал Филипп. Морис недоверчиво смерил его взглядом. «Он видит мои фланелевые брюки, — подумал Филипп, — мои туфли из телячьей кожи, мою черную пижамную куртку с дорогим воротником.

— Я… я был в соседней комнате, — сказал он, придерживая дверь. — И я… клянусь, что могу быть вам полезен.

— Иди сюда! — крикнула Зезетта. — Оставь его, Морис, иди ко мне!

Морис все еще смотрел на Филиппа. Он с минуту поразмышлял, и его насупленное лицо немного прояснилось.

— Это Эмиль вас послал? — спросил он, понизив голос. Филипп отвел глаза.

— Да, — сказал он. — Эмиль.

— Ну так что? Филипп вздрогнул.

— Я не могу говорить здесь.

— А откуда вы знаете Эмиля? — нерешительно продолжил Морис.

— Позвольте мне войти, — взмолился Филипп. — Что с вами случится, если вы меня впустите в комнату? Я ничего не могу сказать в коридоре.

Морис открыл дверь.

— Заходите, — сказал он. — Но даю вам пять минут — не больше. Я хочу спать.

Филипп вошел. Комната была совершенно такая же, как у него. Но на стульях висела одежда, чулки, трусики, на выложенном красной плиткой полу у кровати лежали женские туфли, а на столе стояла газовая плитка с кастрюлей. Пахло остывшим жиром. Зезетта сидела на кровати, накинув на плечи сиреневый шерстяной платок. Она была некрасива, со впалыми и живыми глазками. На Филиппа она смотрела враждебно. Дверь закрылась, и он вздрогнул.

— Ну? Чего от меня хочет Эмиль?

Филипп с мукой смотрел на Мориса: он не мог больше говорить.

— Нельзя ли побыстрее? — раздраженно сказала Зезетта. — Завтра утром он уезжает, сейчас не время нас тревожить.

Филипп открыл рот, но не произнес ни слова. Он видел себя их глазами, и это было невыносимо.

— Вы меня поняли или нет? — разозлилась Зезетта. — Я же вам сказала, он завтра уезжает.

Филипп повернулся к Морису и сдавленным голосом сказал:

— Не нужно уезжать.

— Куда?

— На войну.

У Мориса был ошеломленный вид.

— Это шпик! — взвизгнула Зезетта.

Филипп, опустив руки, смотрел на красные плитки, он оцепенел, это было почти приятно. Морис взял его за плечо и встряхнул:

— Ты знаешь Эмиля?

Филипп не ответил. Морис затряс его сильнее.

— Ты будешь отвечать? Я тебя спрашиваю, ты знаешь Эмиля?

Филипп поднял на Мориса отчаянные глаза.

— Я знаю одного старика, который делает фальшивые документы, — сказал он тихо и быстро.

Морис тут же отпустил его. Филипп, потупившись, добавил:

— Он вам их сделает.

Наступило долгое молчание, потом Филипп услышал торжествующий голос Зезетты:

— Что я тебе говорила, это провокатор!

Он осмелился поднять глаза, Морис грозно смотрел на него. Он замахнулся на Филиппа большой волосатой лапой, но тот отскочил назад.

— Это неправда, — сказал он, закрываясь поднятым локтем, — это неправда, я не шпик.

— Тогда какого черта ты пришел сюда?

— Я пацифист, — чуть не плача сказал Филипп.

— Пацифист! — ошеломленно повторил Морис. — Чего только не насмотришься!

С минуту он чесал в затылке, потом расхохотался.

— Пацифист! — повторил он. — Скажи, Зезетта, ты понимаешь, что это такое?

Филипп начал дрожать.

— Я вам запрещаю смеяться, — тихо сказал он.

Он закусил губы, чтобы удержаться от слез, и с трудом добавил:

— Даже если вы не пацифист, вы должны меня уважать.

— Уважать тебя? — переспросил Морис. — Уважать тебя?

— Я дезертир, — с достоинством сказал Филипп. — Если я вам предлагаю фальшивые документы, то лишь потому, что заказал себе тоже. Послезавтра я буду в Швейцарии.

Он смотрел Морису прямо в лицо: Морис сдвинул брови, у него на лбу обозначилась морщинка в форме галочки, казалось, он размышлял.

— Поедем со мной, — предложил Филипп. — У меня хватит денег на двоих.

Морис с отвращением посмотрел на него.

— Ах ты, паршивец! — воскликнул он. — Видишь, какие на нем шмотки, Зезетта? Конечно, война тебе внушает ужас, конечно, ты не хочешь сражаться с фашистами. Ты их скорее облобызаешь, так ведь? Именно они охраняют твои денежки, барчук чертов.

— Я не фашист! — вскинулся Филипп.

— А я, по-твоему, фашист? — взревел Морис. — А ну-ка, вон отсюда, гад паршивый! Вон! Иначе я за себя не ручаюсь!

Ноги Филиппа хотели бежать. Его ноги, его ступни. Но он не убежит. Он заставил себя приблизиться к Морису, он заставил опуститься свой мальчишеский локоть. Он посмотрел на подбородок Мориса, ему не хватало духу поднять глаза до его бледных глаз, лишенных ресниц, он твердо сказал:

— Нет, я не уйду.

Некоторое время они молча стояли друг против друга, потом Филиппа прорвало:

— Как вы жестоки. Все. Все. Я был рядом, я слышал, о чем вы говорили, и я надеялся… Но вы такой же, как другие, вы — стена. Всегда осуждать, никогда не пытаясь понять; разве вы знаете, кто я? Я дезертировал ради вас; я мог прекрасно остаться дома, где я вдоволь ем и живу в тепле, среди красивой мебели, окруженный слугами, но я все бросил ради вас. А вы, вас посылают на бойню, и вы не

противитесь этому, вы не пошевельнете и мизинцем, вам сунут в руки ружье, и вы решите, что вы герои, а если кто-то пытается поступить иначе, вы его сочтете барчуком, фашистом и трусом только потому, что он не такой, как все. Я не трус, вы лжете, я не трус, и не моя вина, что я сын богатых людей. Поверьте, гораздо легче быть сыном бедняков.

— Я тебе советую уйти, — ровным голосом сказал Морис, — потому что не люблю барчуков и могу разозлиться.

— Я не уйду! — топнул ногой Филипп. — С меня хватит, наконец! С меня хватит всех этих людей, которые делают вид, будто не видят меня, или же смотрят на меня свысока, а, собственно, по какому праву? По какому праву? Я существую, и я вас стою. Я не уйду, я останусь всю ночь, если нужно. Я хочу наконец объясниться.

— Ах, ты не уйдешь?! — прорычал Морис. — Ты не уйдешь?

Он схватил его за плечи и толкнул к двери; Филипп попробовал сопротивляться, но это было безнадежно: Морис был силен, как бык.

— Отпустите меня! — крикнул Филипп. — Отпустите меня, если вы меня выставите, я останусь у вашей двери и подниму шум, я не трус, я хочу, чтобы вы меня выслушали. Отпустите меня, грубиян! — кричал он, пиная Мориса.

Он увидел поднятую руку Мориса, и сердце его остановилось.

— Нет! — воскликнул он. — Нет!

Морис два раза ударил его по лицу кулаком.

— Полегче, — сказала Зезетта, — он еще мальчишка.

— Послушай, парень… — неуверенно начал Морис.

— Вы увидите! — крикнул Филипп. — Вы все увидите! Вам будет стыдно!

Он кинулся прочь из комнаты, вернулся в свой номер и закрыл замок на два оборота. Поезд катился, пароход поднимался и опускался, Гитлер спал, Ивиш спала, Чемберлен спал, Филипп бросился на кровать и заплакал. Большой Луи шел нетвердой походкой, дома, дома, дома, голова его горела, но он не мог остановиться, ему нужно было идти в подстерегающей ночи, в этой ужасающей шепчущей ночи, Филипп плакал, он был без сил, он слышал сквозь стену их шепот, у него даже не было сил их ненавидеть, он плакал, изгнанный в холодную и жалкую ночь, в ночь

серых перекрестков, Матье проснулся, он встал и подошел к окну, он слышал шепот моря, он улыбнулся этой прекрасной молочной ночи.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

День стыда, день отдыха, день страха, день Бога, солнце вставало над воскресеньем. Маяк, сигнальный огонь, крест, щека, ЩЕКА, Бог несет свой крест в церквах, я ношу свою щеку по воскресным улицам, смотрите-ка, у вас флюс; но нет: меня двинули по физиономии, отвратительная жалкая личность, несущая ягодицы на лице; у Большого Луи раздулась голова, она стала неудобной для ношения, голова рассеченная, запеленутая, тыква, круглая тыква, они ударили сзади, раз-два, он шел как бы в собственной голове, подошвы шаркали в его голове, сегодня воскресенье, где я найду работу, двери закрыты, большие железные двери, обитые гвоздями, ржавые, закрытые, за ними мрак, пустота с запахом опилок, отработанной смазки и ржавого железа на полу, усыпанном ржавыми стружками, они закрыты, эти ужасные маленькие деревянные двери, закрыты, за ними заполненное пространство, комнаты, набитые мебелью, воспоминаниями, детьми, ненавистью, плотным запахом поджаренного лука, белоснежный пристежной воротничок на кровати и задумчивые женщины за фрамугами, он шел мимо окон, мимо взглядов, оцепеневший и напряженный от них. Большой Луи шел между кирпичными стенами и железными дверями, он шел без гроша в кармане, хотелось есть, голова стучала, как сердце, он шел, и его подошвы шлепали в голове, шлеп-шлеп, они шли, уже вспотевшие, по убитым воскресным улицам, его щека освещала бульвар перед ним, он думал: «Это уже военные улицы». Он думал: «Где же я поем?» Он думал: «Неужели нет никого, кто бы мне помог?» Но маленькие темные мужчины, рослые работяги с каменными липами, брились, думая о войне, думая, что у них целый день впереди, чтобы о ней думать, целый пустой день, чтобы нести свою тревогу сквозь убитые улицы. Война: закрытые лавки, пустынные улицы, триста шестьдесят пять воскресений в год; Филипп теперь звался Педро Касарес, он нес это имя в кармашке на груди: Педро Касарес, Педро Касарес, Педро Касарес, Педро Касарес уезжал вечером в Швейцарию, он увозил в Швейцарию опухшую прыщавую щеку, помеченную пятерней;

женщины смотрели на него с высоты своих окон. Бог взирал на Даниеля.

Назову ли я его богом? Одно-единственное слово — и все меняется. Даниель прислонился к серым ставням, прикрывшим лавку шорника, люди спешили в церковь, черные на розовой улице, вечные. Все было вечным. Прошла молодая женщина, белокурая и легкая, с волосами в продуманном беспорядке, она жила в гостинице, муж, промышленник из По, навещал ее раз в неделю; у нее было сонное лицо, потому что было воскресенье, ее ножки семенили к церкви, ее душа была серебряным озером. Церковь: дыра; фасад в романском стиле, во второй часовне по правую руку от входа можно было увидеть каменную лежачую надгробную статую. Он улыбнулся галантерейщице и ее маленькому сыну. Назову ли я его богом? Он не был удивлен, он думал: «Это должно было случиться. Рано или поздно. Я чувствовал, что Кто-то есть. Все, что я делал, я делал для свидетеля. Без свидетеля тебя как бы нет».

— Здравствуйте, месье Серено, — сказала Надин Питон. — Вы идете к мессе?

— Да, я спешу, — ответил Даниель.

Он проследил за ней взглядом, она хромала больше обычного, две маленькие девочки бегом догнали ее и весело закружились вокруг нее. Он посмотрел на них. Метнуть на них мой наблюдаемый взгляд! Мой взгляд полый, взгляд Бога пересекает его насквозь. «Это уже фразы из романа», — вдруг подумал он. Бога больше здесь не было. Этой ночью в испарине простыней его присутствие было явным, и Даниель чувствовал себя Каином: «Вот я, вот я, каким Ты меня сотворил, трус, полый человек, педераст. Ну, что дальше?» И взгляд Его был повсюду, немой, прозрачный, таинственный. Даниель в конце концов уснул, а проснулся уже один, осталось только воспоминание о взгляде. Толпа текла из всех зияющих дверей, черные перчатки, белоснежные пристежные воротнички, кроличий мех, семейные требники в руках. «Да! — подумал Даниель. — Необходим метод. Я устал быть всего лишь непрерывным испарением в пустое небо, я хочу хоть какую-нибудь кровлю». Его задел, проходя, мясник, толстый краснолицый мужчина, надевавший по воскресеньям пенсне, чтобы подчеркнуть свою значительность; его волосатая рука сжимала требник. Даниель подумал: «Сейчас он будет себя демонстрировать,

взгляд упадет на него от стекол и витражей: все они будут себя демонстрировать; половина человечества живет под взглядом. Но чувствует ли он на себе взгляд, когда бьет топором по мясу, рассекая его и обнажая круглую голубоватую кость? Его видят, видят его жестокосердность, как я вижу его руки, его жадность, как я вижу эти редкие волосы и эту толику жалости, которая блестит под жадностью, как череп под волосами; он это знает, и он перевернет загнутые страницы своего требника, он застонет: «Господи, Господи, я жаден». И обращающий в камень взгляд Медузы упадет сверху. Каменные добродетели, каменные пороки: какой покой. «У этих людей проверенные методы», — с досадой подумал Даниель, смотря на черные спины, погружающиеся в сумрак церкви. Три женщины семенили рядком в рыжеватой ясности утра. Три грустные, сосредоточенные, проживающие свою жизнь женщины. Они зажгли очаг, подмели пол, налили молока в кофе, они были все еще лишь рукой на конце веника, ладонью, держащей ручку чайника, этой сетью тумана, распространяющейся на предметы сквозь стены, по полям и лесам. Теперь они идут туда, в сумрак, они идут стать тем, кто они есть. Он на отдалении последовал за ними. «А что если и я туда пойду? Для смеха: вот я, таков, каким Ты меня сотворил, грустным, трусливым, неисправимым. Ты смотришь на меня, и всякая надежда исчезает: я устал бежать от самого себя. Но под Твоим оком я знаю, что не могу больше бежать от себя. Я войду, я буду стоять среди этих коленопреклоненных женщин, как памятник беззаконию. Я скажу. «Я — Каин. Ну и что? Ты сотворил меня таким, терпи меня и дальше». Взгляд Марсель, взгляд Матье, взгляд Бобби, взгляд моих кошек: эти взгляды неизменно останавливались на мне. «Матье, я гомосексуалист. Я есмь, я есмь, я есмь педераст, мой Бог». У старого человека с морщинистым лицом застыла в глазу слеза, он злобно жевал порыжевшие от табака усы. Он зашел в церковь, изношенный, разбитый, впавший в детство, и Даниель вошел вслед за ним. А в это время Рибадо прогуливался, посвистывая, по площадке для игры в шары, и парни ему говорили: «Ну как, Рибадо, ты нынче в форме?» Рибадо думал об этом, скручивая сигарету, он чувствовал себя сегодня бездельником, он меланхолично смотрел на вагоны и на ряды бочек, у него чего-то не хватало в руках, тяжести обитого гвоздями шара, хорошо примостившегося в его ладони; он смотрел на бочки и думал:

«Жаль, что воскресенье!» Мариус, Клодио, Реми уехали один за другим, они теперь играют в солдатики; Жюль и Шарло делали, что могли, они катили бочки вдоль рельсов, они становились по двое, чтобы поднять их, и бросали их в вагоны; ребята крепкие, но уже немолодые, Рибадо слышал их тяжелое дыхание, пот струился по их голым спинам; так они никогда не закончат. Какой-то высокий тип с повязкой на голове уже четверть часа бродил по складу; наконец он подошел к Жюлю, и Рибадо увидел, как задвигались его губы. Жюль слушал его с тупым видом, затем наполовину выпрямился, подбоченился и кивком головы показал на Рибадо.

— Что там такое? — спросил Рибадо.

Человек неуверенно приблизился; он шел, как утка, ступнями в сторону. Настоящий бандит. Он прикоснулся к повязке на манер приветствия.

— Есть работа? — спросил он.

— Работа? — переспросил Рибадо. Он всмотрелся в человека: настоящий бандит, повязка черноватая, у него крепкий вид, но лицо его смертельно бледное.

— Работа? — еще раз переспросил Рибадо.

Они неуверенно рассматривали друг друга, Рибадо подумал: а не упадет ли этот тип в обморок?

— Работа… — сказал он, почесывая голову. — Чего-чего, а этого хватает.

Мужчина сощурил глаза. Вблизи он выглядел добродушней.

— Я могу работать, — сказал он.

— У тебя нездоровый вид.

— Чего?

— Я говорю, ты выглядишь больным. Человек с удивлением посмотрел на него:

— Я не болен.

— Ты совсем белый. И потом, что это за повязка?

— Да это меня по голове ударили, — объяснил человек. — Пустяки.

— Кто тебя ударил? Легавые?

— Нет. Дружки. Я могу работать хоть сейчас.

— Ой ли? — сказал Рибадо.

Человек наклонился, взял бочку и поднял ее на вытянутых руках.

— Я могу работать, — сказал он, ставя ее на землю.

— Вот сучий сын! — с восхищением сказал Рибадо. Он добавил:

— Как тебя зовут?

— Меня зовут Большой Луи.

— У тебя есть документы?

— У меня есть военный билет, — сказал Большой Луи.

— Покажи.

Большой Луи порылся во внутреннем кармане куртки, осторожно вытащил военный билет и протянул его Рибадо. Рибадо развернул его и присвистнул.

— Ого! — сказал он. — Ого!

— У меня все в порядке, — с беспокойством сказал Большой Луи.

— В порядке? А ты читать умеешь? Большой Луи хитро посмотрел на него:

— Чтобы таскать бочки, читать не нужно. Рибадо протянул ему билет:

— У тебя военный билет № 2, парень. Тебя ждут в Монпелье, в казарме. Советую тебе поторопиться, не то тебя запишут уклоняющимся от воинской повинности.

— В Монпелье? — озадаченно переспросил Большой Луи. — Но мне нечего делать в Монпелье.

Рибадо разозлился.

— Я тебе говорю, что ты мобилизован! — закричал он. — У тебя военный билет № 2, ты мобилизован.

Большой Луи положил военный билет в карман.

— Стало быть, вы меня не возьмете? — спросил он.

— Как я могу взять дезертира? Большой Луи нагнулся и поднял бочку.

— Ладно, ладно, — живо сказал Рибадо. — Ты силач, не спорю. Но какой мне от этого прок, если через сорок восемь часов тебя арестуют?

Большой Луи поставил бочку на плечо; он сосредоточенно смотрел на Рибадо, насупив густые брови. Рибадо пожал плечами:

— Извини.

Больше говорить было не о чем. Рибадо двинулся дальше, думая: «На кой мне ляд уклоняющиеся». Он крикнул:

— Эй! Шарло!

— Чего? — отозвался Шарло.

— Посмотри на того типа, это уклоняющийся.

— Жалко, — сказал Шарло. — Он мог бы нам здорово помочь.

— Но не могу же я нанимать уклоняющегося, — сказал Рибадо.

— Понятное дело, нет, — согласился Шарло.

Оба обернулись: высокий парень, поставив бочку на землю, с несчастным видом вертел в руках военный билет.

Толпа окружала их, несла, вращала кругами и, вращаясь, уплотнялась сама. Рене уже не знал, был ли он неподвижен или вращался с толпой. Он смотрел на французские флаги, развевающиеся над входом на Восточный вокзал; война была там, на оконечностях рельсов, пока она не беспокоила, но он чувствовал, что ему грозит катастрофа гораздо более близкая: толпа, это так опасно, над ней всегда витает ветер беды. Похороны Галлиени[37],[38] он ползет, он волочит свое белое платьице между черными корнями толпы, под дьявольским пеклом солнца, возвышение рушится, не смотри, вот они унесли неподвижную женщину, ее нога в красном кружеве торчит из разорванной туфли; толпа окружала его под светлым и пустым небом, я ненавижу толпу, он чувствовал везде глаза, всепроникающее солнце, подкрашивающее его шину и живот, освещающее его длинный бледный нос, отъезд в пригород в начале мая, в воскресенье, а на следующий день в газетах: «Красное воскресенье», несколько человек раздавлено насмерть. Ирен[39] защищала его своим маленьким пухленьким телом, не смотри, она меня тащит за руку, она меня волочит, и женщина проходит за моей спиной, скользит над толпой, как мертвец по Гангу. Она с осуждающим видом, подняв кулаки, смотрит поверх фуражек на трехцветные флаги. Она говорит:

— Идиоты!

Рене сделал вид, что не слышит; но его сестра продолжала с убежденной медлительностью:

— Идиоты. Их гонят на бойню, а они довольны.

Она вела себя неприлично. В автобусе, в кино, в метро она вела себя неприлично, постоянно говорила то, что не нужно, с решимостью исторгая из себя недопустимые слова. Он посмотрел назад, этот тип с куньей головкой, слишком пристальным взглядом и изъеденным носом слушал их. Ирен положила руку брату на плечо, у нее был задумчивый вид. Только что она вспомнила, что она — его

старшая сестра, он подумал, что сейчас она станет давать ему скучные советы, но как бы то ни было, она потрудилась проводить его на вокзал, и теперь была одна среди этих мужчин без женщин, как в те дни, когда он водил ее на матчи по боксу в Пюто, не стоило ее раздражать. Она читала, лежа на диване, много курила и сама моделировала свои мнения, как свои шляпки. Она ему сказала:

— Послушай меня, Рене, ты не поступишь, как эти идиоты.

— Нет, — тихим голосом согласился Рене. — Нет, нет.

— Послушай меня, — снова начала она. — Ты не будешь слишком усердствовать.

Когда она была убеждена, ее голос звучал особенно звонко.

— Что это тебе даст? Иди, раз уж нельзя иначе, но попав туда, ничем не отличайся. Ни в хорошем смысле, ни в плохом: это одно и то же. И каждый раз, когда сможешь лечь, ложись.

— Да, да, — сказал он.

Она крепко держала его за плечи; она смотрела на него проникновенно, но без восхищения; она продолжала свою мысль.

— Я же тебя знаю, Рене, ты — маленький бахвал и сделаешь что угодно, лишь бы о тебе говорили. Но я тебя предупреждаю, если вернешься с благодарностью в приказе, я с тобой перестану разговаривать, потому что это слишком глупо. И если вернешься с одной ногой короче другой или с изуродованным лицом, не рассчитывай, что я тебя буду жалеть, и не рассказывай мне, что это произошло случайно; минимум осторожности — и такого можно прекрасно избежать.

— Да, — сказал он, — да.

Он думал, что она права, но этого нельзя было говорить. И даже думать. Это должно происходить само собой, без слов, в силу обстоятельств, чтобы потом не в чем было себя упрекнуть. Фуражки, много фуражек, фуражки, как утром в понедельник, как по рабочим дням, как на стройках, как на субботних митингах, Морис чувствовал себя своим в самой гуще толпы. Прилив раскачивал поднятые кулаки, медленно нес их с внезапными остановками, колебаниями, новыми толчками к трехцветным флагам, товарищи, товарищи, майские кулаки, цветущие кулаки текут к Тарту, к красным трибунам на лужайке Гарша, меня зовут Зезетта, и соколы поют, поют о прекрасном месяце мае, о пробуждении планеты. Пахло бархатом и

вином, Морис был повсюду, он размножился, он пах бархатом, он пах вином, он тер рукавом о шершавую ткань пиджака, маленький кучерявый человек рюкзаком толкал его в поясницу, глухой топот тысяч ног поднимался вверх, к животу. В небе над его головой гудело, он поднял голову, увидел самолет, затем его взгляд опустился, и он увидел под собой запрокинутые лица, отражение его лица, он им улыбнулся. Два светлых озерка на обветренной коже, курчавые волосы, шрам на лице, он улыбнулся. Он улыбнулся и очкарику, у которого был такой прилежный вид, он улыбнулся худому и бледному бородачу, который хмурился, поджимая губы. Все это кричало в его уши, кричало и смеялось, серьезно, Жожо, это ты, понадобилась война, чтобы мы встретились; было воскресенье. Когда заводы закрыты, когда мужчины вместе и ждут с праздными руками на вокзалах, с мешком за спиной, под железной судьбой, тогда воскресенье, и не имеет такого уж значения, отправляешься ли на войну или в лес Фонтенбло. Даниель, стоя у скамеечки для молитв, вдыхал спокойный запах погреба и ладана, смотрел на эти непокрытые головы под фиолетовым светом, он один стоял среди коленопреклоненных людей, Морис, окруженный стоящими мужчинами, мужчинами без женщин, в лихорадочном запахе вина, угля, табака, смотрел на фуражки под утренним светом и думал: «Это воскресенье». Пьер спал. Матье нажал на тюбик, и червячок розовой пасты вышел шипя, разорвался, упал на щетину щетки. Маленький паренек, смеясь, толкнул Мориса: «Эй, Симон! Симон!» И Симон обернулся, у него были красные глаза, он смеялся, он сказал: «Смотри-ка! Самое время спеть "Мрачное воскресенье"»[40]. Морис засмеялся, он повторил: «Мрачное воскресенье!», и красивый молодой человек улыбнулся ему в ответ, с ним была женщина, не слишком светская, но недурно одетая; она цеплялась за его руку и умоляюще смотрела на него, но он на нее не смотрел, если б он на нее посмотрел, они бы сосредоточились друг на друге, они бы составили одно целое. Одинокая пара. Он смеялся, он смотрел на Мориса, женщина не в счет, Зезетта не в счет, она дышит, от нее сильно пахнет, она совсем мягкая подо мной, любимый, войди в меня, было еще немного от ночи, как пот между его телом и рубашкой, немного копоти, немного тревоги, пресной и нежной, но он смеялся на открытом воздухе, женщины были лишними; пришла война, война,

революция, победа. Мы оставим себе наши винтовки. Все они: кучерявый, бородач, очкарик, высокий молодой человек вернутся со своими винтовками, распевая «Интернационал», и наступит воскресенье. Воскресенье навсегда. Он поднял кулак.

— Он поднимает кулак. Это умно. Морис обернулся с поднятым кулаком.

— Что-что? — спросил он. Это был бородач.

— Вы хотите умереть за Судеты?

— Заткнись! — рявкнул Морис.

Бородач, поколебавшись, зло взглянул на него, казалось, он пытался что-то вспомнить. И вдруг закричал:

— Долой войну!

Морис отступил на шаг назад, и его рюкзак толкнулся в чью-то спину.

— Ты заткнешь глотку?! — крикнул он.

— Долой войну! — снова закричал бородач. — Долой войну!

Его руки начали дрожать, глаза закатились, он не мог остановиться. Морис смотрел на него с печальным недоумением, без гнева, на мгновенье он подумал: не двинуть ли его по физиономии, только чтобы заставить его замолчать, толкают же детей, когда у них икота; но он еще чувствовал слабое тело, которого коснулись его руки, оснований для гордости не было: недавно он ударил мальчишку; много воды утечет, прежде чем я снова это сделаю. Он сунул руки в карманы.

— Пошел вон, сука, — просто сказал он.

Бородач продолжал кричать голосом культурным и усталым, голосом богача; и у Мориса вдруг возникло неприятное ощущение, что все это было каким-то фарсом. Он огляделся, и радость его улетучилась: виноваты все, они не делали того, что должны были делать. На митингах, когда какой-нибудь тип начинает горланить всякую ерунду, толпа набрасывается на него, сметает, сначала видны его поднятые руки, а потом и вовсе ничего. Вместо этого товарищи отступили, образовали вокруг бородача пустоту; молодая женщина с любопытством смотрела на него, она отпустила руку своего мужчины, парни отворачивались, с фальшивым видом они притворялись, будто ничего не слышат.

— Долой войну! — снова крикнул бородач. Странное чувство неловкости овладело Морисом: это солнце, этот тип, одиноко выкрикивающий свое, все эти молчаливые люди, понурившие головы… Неловкость переросла в тревогу; он плечом раздвинул толпу и направился к входу в здание вокзала, к настоящим товарищам, которые поднимали кулаки под флагами. Бульвар Монпарнас был пустынным. Воскресенье. На террасе «Купола» ели пять или шесть человек; торговка галстуками стояла на пороге своей лавки; на втором этаже дома номер девяносто девять, над кафе «Космос» мужчина без пиджака появился в окне и облокотился о балюстраду. Мобер и Тереза испустили радостный крик: еще одна! Там, там, на стене между «Куполом» и аптекой висел большой желтый плакат, еще влажный, с красной рамкой, «Француз». Мобер бросился, втянув шею в плечи, головой вперед. Тереза следовала за ним, она радовалась, как безумная: они уже разорвали шесть таких плакатов на глазах у перепуганных добрых буржуа, было здорово иметь молодого и крепкого защитника, хорошо сложенного и знающего, чего он хочет.

— Мерзость! — воскликнул Мобер.

Он осмотрелся; рядом остановилась маленькая девочка лет десяти, она смотрела на них, играя косичками; Мобер очень громко повторил:

— Мерзость!

Тереза громким голосом сказала ему в спину:

— Как правительство допускает, чтобы вывешивалась подобная мерзость?

Торговка галстуками не ответила: это была толстая сонная женщина, рассеянная профессиональная улыбка застыла на ее щекастом лице.

Француз!

Немецкие требования неприемлемы. Мы сделали все, чтобы сохранить Мир, но никто не может требовать, чтобы Франция отказалась от своих обязательств и согласилась стать нацией второго сорта. Если мы сегодня предадим чехов, завтра Гитлер потребует Эльзас…

Мобер схватил плакат за край и оторвал, точно ломтик утки, длинную полоску желтой бумаги. Тереза взяла плакат за правый угол, потянула, остался большой кусок:

Чтобы Франция и согласилась нацией

Если мы предадим

На стене осталась желтая неровная звезда; Мобер отошел на шаг, чтобы посмотреть на свою работу; желтая звезда с безобидными разорванными словами. Тереза улыбнулась и посмотрела на свои руки в перчатках, на них остался обрывок плаката, тонкая кожура, приклеившаяся к правой перчатке: «Мир…», она потерла большой палец об указательный, и маленькая желтая кожица свернулась в шарик, высохла, скатываясь, стала твердой, как булавочная головка. Тереза разжала пальцы, и шарик упал, она наслаждалась ощущением собственной силы.

«Для маленького бифштекса, месье Дезире, маленького бифштекса граммов на триста, что-нибудь хорошее, и отрежьте как следует, вчера меня обслуживал ваш приказчик, и я осталась недовольна. Там было слишком много жил. Скажите, что там напротив? В доме двадцать четыре черные занавески. Кто-то умер? — Да я не знаю, — сказал мясник. — В доме двадцать четыре у меня нет клиентов, они покупают у Бертье. Посмотрите, подойдет вам это, розовое, нежное, пышное, как пена шампанского, и без жил, я бы съел его прямо сырым. — В двадцать четвертом, — сказала мадам Льетье, — ах да, вспомнила, это месье Вигье. — Месье Вигье? Не знаю такого. Наверно, новый жилец? — Да нет, это невысокий пожилой господин, вы его вспомните, он еще угощал конфетами Терезу. — А-а, такой почтенный? Какая жалость! Я буду о нем сожалеть; месье Вигье, возможно ли это! — Послушайте, он же был довольно стар — и скончался, — сказала мадам Льетье, — знаете ли, как я сказала мужу, он умер вовремя, этот старичок, у него нюх, может быть, через шесть месяцев мы пожалеем, что мы не на его месте. Знаете, что они изобрели? — Кто? — Да они же, немцы. Убивать людей, как мух, и в ужасных страданиях. — Возможно ли это? Вот бандиты! Но что это? Что? — Не знаю, какой-то газ, или, если хотите, луч, мне так объяснили. — Тогда это луч смерти, — сказал мясник, качая головой. — Да, нечто вроде этого. Уж лучше тогда лежать в сырой земле. — Вы совершенно правы, я это все время говорю. Нет больше хозяйства, нет больше забот; вот как я хотела бы умереть: вечером засыпаешь, утром не просыпаешься. — Кажется, он так и умер. — Кто? — Старичок Вигье. — Есть люди, которым везет,

нам же придется претерпеть все, несмотря на то, что мы женщины, вы знаете, что творилось в Испании. Нет, антрекот, и еще — нет ли у вас потрохов для моей кошки? Когда я думаю: еще одна война! Мой муж воевал в четырнадцатом, теперь очередь сына, говорю вам, люди с ума сошли. Разве трудно договориться? — Но Гитлер не хочет договариваться, мадам Боннетен. — Что? Гитлер? Он хочет себе Судеты, этот субъект? Что ж, я бы ему их отдала. Я только не знаю, люди это или горы, а мой сын пойдет из-за этого ломать себе шею. Я бы их ему отдала! Вы их хотите: вот они. Тут бы он и попался. Скажите, — продолжала она серьезно, — так похороны сегодня? Вы не знаете, в котором часу? Я стану у окна — посмотреть, как его выносят». Что они ко мне все лезут со своей войной? Большой Луи держал военный билет, он сжимал его изо всех сил и не решался положить его в карман: это было единственное, чем он владел на белом свете. На ходу он развернул его, посмотрел на свою фотографию и немного успокоился; эти маленькие черные черточки, которые говорили о нем, казались менее тревожащими, пока он на них смотрел, у них был не такой уж зловещий вид. «Подумаешь! Подумаешь! — сказал он. — Что за беда — не уметь читать?» Дезертир, низкорослый изнуренный юноша, поднимался по проспекту Клиши, волоча за собой свое отражение от витрины к витрине, он был чужд ненависти и уклонялся от военной службы; он воображал себя лихим малым с бритой головой, живущим в Барселоне, в квартале Баррио-Чино[41], в доме обожающей его девицы. Но как можно быть в эти дни дезертиром? Он и сам уже не понимал, как к себе относиться.

Даниель стоял внутри храма, священник пел для него; он думал: «Отдых, покой, покой, отдых». Такой, что вечность меняет его изнутри[42]. Ты меня создал, Господи, таким, каков я есть, и неисповедимы пути Твои; я самый постыдный из Твоих замыслов, Ты меня видишь, и я служу Тебе, я выпрямляюсь перед Тобой, я Тебя поношу, но и понося, служу Тебе. Я Твое творение, Ты любишь себя во мне, Ты меня терпишь, недаром же Ты создал чудовищ. Зазвенел колокольчик, верующие склонили головы, но Даниель остался стоять прямо, с остановившимся взглядом. Ты меня видишь, Ты меня любишь. Он был спокоен и свят.

Похоронные дроги остановились у дверей дома двадцать четыре. «Вот они, вот они», — сказала мадам Боннетен. «Это на четвертом

этаже», — сказала консьержка. Она узнала служащего похоронного бюро и сказала ему:

«Здравствуйте, месье Рене, как ваши дела?» — «Здравствуйте, — сказал месье Рене. — Надо же, придумали — хоронить в воскресенье». — «Да уж! — сказала консьержка. — Такие уж мы вольнодумцы». Жак посмотрел на Матье и, ударив кулаком по столу, сказал: «И даже если мы выиграем эту войну, знаешь, кому это пойдет на пользу? Сталину». — «А если мы ничего не предпримем, в выигрыше будет Гитлер», — тихо сказал Матье. — «Ну и что? Гитлер и Сталин — это то же самое. Зато соглашение с Гитлером сэкономит нам два миллиона человек и спасет нас от революции». Приехали. Матье встал и пошел посмотреть в окно. Он даже не был раздражен; он подумал: «К чему все это?» Филипп дезертировал, а небо хранило свой добродушный воскресный вид, улицы пахли изысканной кухней, миндальными пирожными, цыпленком, семьей. Прошла чета, мужчина нес пирожные в вощеной бумаге, он нес их на розовой ленточке на мизинце. Как в обычное воскресенье. Это шутка, это понарошку, видишь, как все спокойно, ни одного водоворота, это маленькая воскресная смерть, смерть в семье, тебе нужно только исправить свой поступок, небо существует, продуктовый магазин существует, торт существует; дезертиры не существуют. Воскресенье, воскресенье, первая очередь у писсуара на площади Клиши, первое дневное тепло. Войти в лифт, который только что спустился, вдохнуть в его темной клети духи блондинки с четвертого этажа, нажать на белую кнопку, легкое покачивание, тихое скольжение, вставить ключ в скважину, как каждое воскресенье, повесить шляпу на третью вешалку, поправить узел галстука перед зеркалом в прихожей, толкнуть дверь гостиной, воскликнув: «Вот и я!» Что она будет делать? Разве она не подойдет к нему, как каждое воскресенье, шепча: «Мой милый?» Это было так правдоподобно, так удушливо от правдоподобия. И однако, он все это потерял навсегда. «Если бы я только мог разгневаться! Он дал мне пощечину, — подумал он. — Он дал мне пощечину». Филипп остановился, у него кололо в боку, он прислонился к дереву, он ни на кого не сердился. «Эх! — подумал он с отчаянием. — Ну почему я больше не ребенок?» Матье снова сел напротив Жака. Жак говорил, Матье смотрел на него, и все было так скучно, письменный стол в полумраке, музыка по ту сторону сосен,

раковины сливочного масла на блюде, пустые бокалы на подносе: какая незначительная вечность. Ему тоже захотелось говорить. Так, ни для чего, говорить, чтобы ничего не сказать, просто разбить эту вечную тишину, которую не удавалось прорвать голосу брата.

— Не ломай понапрасну голову. Война, мир — это ведь одно и то же.

— Как одно и то же? — изумился Жак. — Пойди скажи это миллионам людей, которые готовятся идти на смерть.

— Ну и что? — добродушно возразил Матье. — Они носят в себе смерть от рождения. И даже когда их перебьет всех до одного, человечество будет заполнено, как и раньше: ни единого пробела, ни единого недостающего.

— Кроме двенадцати-пятнадцати миллионов человек, — сказал Жак.

— Дело не в количестве, — ответил Матье. — Оно заполнено только самим собой, оно самодостаточно, и оно никого не ждет. Оно по-прежнему будет идти никуда, и такие же люди зададут такие же вопросы и упустят такие же возможности.

Жак смотрел на него улыбаясь, чтобы показать, что он не попался на удочку.

— И что ты хочешь этим сказать?

— Абсолютно ничего, — ответил Матье.

— Вот они, вот они! — взбудораженно закричала мадам Боннетен. — Сейчас поставят гроб на катафалк.

Война, поезд отъезжал, ощетинясь поднятыми кулаками, Морис нашел товарищей: Дюбеш и Лоран придавили его к окну, они пели: «С интернационалом воспрянет род людской». «Ты поешь, как моя задница!» — сказал ему Дюбеш. — «Как умею!» — огрызнулся Морис. Ему было жарко, в висках ломило, это был самый прекрасный день в его жизни. Шарлю было холодно, крутило в животе, он позвонил в третий раз; он слышал стук торопливых шагов по коридору, хлопали двери, но никто не приходил: «Чем они заняты? Я по их милости наделаю под себя». Кто-то тяжело пробежал мимо комнаты…

— Эй! — крикнул Шарль.

Топот продолжался, но шум за дверьми умолк, над его головой стали громко стучать. Черт бы их побрал, если это маленькая

Дорлиак, которая каждый месяц дает им пять тысяч одних только чаевых, они подерутся, лишь бы зайти в ее комнату. Он вздрогнул, вероятно, открыты окна, ледяной сквозняк прорывался из-под двери, они проветривают, мы еще не уехали, а они уже проветривают; шум, холодный ветер, крики проникали в комнату, как в мельницу, я как будто на площади. Со времени своего первого рентгена он не помнил такой тревоги.

— Эй! Эй! — закричал он.

Без десяти одиннадцать, Жаннин не пришла, на все утро его бросили одного. Скоро там закончат эту суматоху наверху? Удары молотка отдавались в глубине его глаз, можно подумать, что заколачивают мой гроб. Глаза были сухие и болели, он внезапно проснулся в три часа ночи после дурного сна. Впрочем, этот сон походил на реальность: он остался в Берке; пляж, больницы, клиники — все пусто, нет ни больных, ни медсестер, черные окна, пустынные залы, насколько хватает глаз — голый серый песок. Но эта пустота была не просто пустотой, такое видишь только во сне. Сон продолжался; глаза у него были широко открыты, а сон длился: он лежал на коляске посреди комнаты, но его комната была уже пустой; у нее больше не было ни верха, ни низа, ни правой, ни левой стороны. Оставалось четыре перегородки, именно четыре перегородки, которые сходились под прямыми углами между четырьмя стенами. По коридору волокли тяжелый и неровный предмет, наверняка, массивный чемодан богача.

— Эй! — закричал он. — Эй! Открылась дверь, вошла госпожа Луиза.

— Наконец-то, — выдохнул он.

— Минуточку, минуточку! — сказала госпожа Луиза. — У нас сто больных, и каждого нужно одеть; все по очереди.

— Где Жаннин?

— У нее нет времени сейчас заниматься вами. Она одевает малышей Поттье.

— Дайте мне быстрее судно! — сказал Шарль. — Быстро, быстро!

— Что с вами? Это же не ваш час.

— Я нервничаю, — сказал Шарль. — Наверно, от этого.

— Да, но мне еще нужно вас собрать. Все должны быть готовы к одиннадцати. Торопитесь.

Она развязала шнурок его пижамы и стянула брюки, потом приподняла его за бедра и подсунула под него судно. Эмаль была холодной и твердой. «У меня понос», — с ужасом подумал Шарль.

— Как же я буду в поезде, если у меня понос?

— Не беспокойтесь: все предусмотрено.

Она смотрела на него, перебирая связку ключей. Она ему сказала:

— Во время отъезда будет хорошая погода. Губы Шарля задрожали:

— Я не хочу уезжать…

— Будет вам! — сказала госпожа Луиза. — Ну что, все? Шарль сделал последнее усилие.

— Все.

Она порылась в кармане передника и вынула бумажное полотенце и ножницы. Она разрезала бумагу на восемь частей.

— Приподнимитесь, — сказала она.

Он услышал шорох бумаги, ощутил ее прикосновение.

— Уф! — произнес он.

— Так! — сказала она. — Пока я уберу судно, ложитесь на живот; я закончу вас подтирать.

Он лег на живот, он слышал, как она ходит по комнате, потом почувствовал касания ее ловких пальцев. Этот момент он предпочитал всем остальным. Штучка. Бедная покинутая штучка. Член затвердел под ним, и он поласкал его о свежую простыню.

Госпожа Луиза повернула его, как мешок, посмотрела на его живот и рассмеялась:

— Ах, шутник! — сказала она. — Мы будем вас вспоминать, месье Шарль, вы настоящий затейник.

Она отбросила одеяло и сняла с него пижаму:

— Немного одеколона на лицо, — сказала она, протирая его. — Да, туалет сегодня будет сокращен! Поднимите руку. Хорошо. Рубашка, теперь трусы, не дрыгайтесь так, я не могу надеть вам носки.

Она отошла, чтобы оценить сделанное, и с удовлетворением сказала:

— Теперь вы чистенький, как новая монетка.

— Путешествие будет долгим? — дрогнувшим голосом спросил Шарль.

— Вероятно, — сказала она, надевая ему куртку.

— И куда же мы едем?

— Не знаю. Думаю, что сначала вы остановитесь в Дижоне.

Она огляделась вокруг

— Посмотрю, не забыла ли чего. А, ну конечно! Ваша чашка! Ваша голубая чашка! Вы ведь ее так любите!

Она взяла ее с этажерки и нагнулась над чемоданом. Это была фаянсовая чашка, голубая, с красными бабочками. Очень красивая.

— Положу ее между рубашками, чтоб не разбилась.

— Дайте ее мне, — попросил Шарль.

Госпожа Луиза удивленно посмотрела на него и протянула ему чашку. Он взял ее, приподнялся на локте и с размаху швырнул ее о стену.

— Варвар! — возмущенно закричала госпожа Луиза. — Если вы не хотели брать ее с собой, так отдали бы мне.

— Я не хочу ее ни отдавать, ни брать с собой, — сказал Шарль.

Она пожала плечами, направилась к двери и распахнула ее.

— Значит, уезжаем? — спросил он.

— Да, — сказала она. — Или вы хотите опоздать на поезд?

— Так быстро! — сказал Шарль. — Так быстро!

Она стала сзади него и толкнула коляску; он протянул руку, чтобы на ходу коснуться стола, на мгновенье он увидел окно и кусочек стены в зеркале, прикрепленном над головой, а потом больше ничего, он оказался в коридоре за сорока выстроенными в ряд колясками вдоль стены; ему казалось, что у него вырывают сердце.

Похоронная процессия тронулась. «Уходят, уходят, — сказала госпожа Боннетен. — Смотри-ка, почти никто не явился проводить его в последний путь». Они продвигались медленно, поминутно останавливаясь, темная могила ждала в конце, медсестры толкали коляски попарно, но лифт был только один, и погрузка заняла много времени.

— Как же это все тянется! — сказал Шарль.

— Не бойтесь, без вас не уедут, — отозвалась госпожа Луиза.

Похоронная процессия проходила под окном, маленькая дама в трауре, должно быть, родственница, консьержка закрыла

швейцарскую на ключ, дама шла рядом с крепкой женщиной в сером костюме и в голубой шляпе, это была санитарка. Господин Боннетен облокотился на перила балкона рядом с женой. «Папаша Вигье был из братьев-каменщиков», — сказал он. «Откуда ты знаешь?» — «Ха! Ха!» — хохотнул он. Но спустя минуту добавил: «Он большим пальцем рисовал треугольники у меня на ладони, когда пожимал мне руку». Кровь прилила к вискам госпожи Боннетен: «Нельзя так легкомысленно говорить о покойнике». Она проследила взглядом за процессией и подумала: «Бедняга». Он лежал, вытянувшись на спине, его уносили ногами вперед, к яме. Бедняжка! Как грустно не иметь семьи. Она перекрестилась. Шарля толкали во всю длину к темной яме, он почувствовал, как под ним ускользает лифт.

— Кто едет с нами? — спросил он.

— Никто из наших, — сказала госпожа Луиза. — Назначили трех медсестер из нормандского шале и Жоржетту Фуке, которую вы, конечно, знаете, она из клиники доктора Роберталя.

— А! Я знаю, кто это, — сказал Шарль, пока она осторожно толкала его к яме. — Брюнетка с красивыми ногами. С виду у нее нелегкий характер.

Он часто видел ее на пляже, где она наблюдала за группкой маленьких рахитиков, по справедливости раздавая им подзатыльники; у нее были обнаженные ноги, она носила холщевые туфли. Красивые ноги, беспокойные и слегка волосатые. Он тогда признался себе, что хотел бы, чтоб за ним ухаживала она. Сейчас его спустят в яму на веревках, и никто не склонится над ним, кроме этой маленькой женщины, у которой даже не слишком траурный вид, как грустно так умирать; госпожа Луиза толкнула его в клеть лифта, там, около перегородки, в тени, уже стояла коляска.

— Кто здесь? — спросил Шарль, щурясь.

— Петрюс.

— А, это ты, старая задница! — сказал Шарль. — Ну что? Переезжаем?

Петрюс не ответил, толчок, Шарлю показалось, что он парит в нескольких сантиметрах от коляски, они погружались в яму, пол четвертого этажа был уже над его головой, он покидал свою жизнь сверху, как через отверстие слива.

— Но где она? — вырвалось у Шарля короткое рыдание. — Где Жаннин?

Госпожа Луиза, казалось, не слышала его, и Шарль подавил слезы, стесняясь Петрюса. Филипп шел, он уже не мог остановиться; если он перестанет идти, то потеряет сознание; Большой Луи шел, он поранил правую ногу. Какой-то господин показался на пустынной улице, низенький толстяк с усами и в канотье, Большой Луи протянул руку:

— Послушай, — сказал он. — Ты умеешь читать? Господин отскочил в сторону и прибавил шагу.

— Не беги, — сказал Большой Луи, — я тебя не съем. Господин ускорил шаги, Большой Луи захромал за ним, протягивая ему военный билет; маленький господин в конце концов пустился во все лопатки, испуская панические вопли. Большой Луи остановился и посмотрел, как тот убегает, он почесывал череп над повязкой: господин стал совсем маленьким и круглым, как мяч, он прокатился до конца улицы, подпрыгнул, свернул за угол и исчез.

— Вот те на! — удивился Большой Луи. — Вот те на!

— Не нужно плакать, — сказала госпожа Луиза.

Она промокнула ему глаза своим платком, я даже и не подозревал, что плачу. Шарль даже слегка умилился; было приятно оплакивать самого себя.

— Я был так счастлив здесь…

— Непохоже, — сказала госпожа Луиза. — Вы вечно на кого-нибудь ворчали.

Она отстранила решетку лифта и вывезла его в вестибюль. Шарль приподнялся на локтях, он узнал Тотора и малышку Гавальду. Малышка Гавальда была бледна как полотно; Тотор зарылся в одеяло и закрыл глаза. Мужчины в фуражках брали тележки при выходе из лифта, перевозили их через порог клиники и исчезали с ними в парке. Один мужчина подошел к Шарлю.

— Ну, прощайте и счастливого пути, — сказала госпожа Луиза. — Когда приедете, пошлите нам открытку. И не забудьте: чемоданчик с туалетными принадлежностями у вас в ногах, под одеялом.

Мужчина уже наклонялся над Шарлем.

— Ай! — крикнул Шарль. — Будьте очень осторожны! Тут нужна сноровка.

— Порядок, — сказал мужчина, — не такое уж хитрое дело — толкать вашу коляску. Тачки на вокзале в Дюнкерке, вагонетки в Лансе, тележки в Анзеле, я только это и делал всю жизнь.

Шарль замолчал, ему было страшно: парень, который катил коляску малышки Гавальды, повернул ее на двух колесах и оцарапал планку о стену.

— Подождите! — раздался голос Жаннин. — Подождите! Его провожу на вокзал я.

Она бегом спускалась по лестнице, она запыхалась.

— Месье Шарль! — сказала она.

Она смотрела на него с грустным восторгом, грудь ее вздымалась, она сделала вид, будто поправляет его одеяло, чтобы иметь возможность дотронуться до него; значит, он владел еще чем-то на земле; где бы он ни был, он будет владеть еще этим: этим большим хлопотливым и почтительным сердцем, которое будет продолжать биться для него в Берке, в пустой клинике.

— Что ж, — сказал он. — А я уж думал, вы меня бросили на произвол судьбы.

— Месье Шарль, мне казалось, время так медленно движется. Но раньше я не могла. Госпожа Луиза должна была вам сказать.

Она обошла коляску, грустная и озабоченная, стоя вертикально на двух ногах, и он задрожал от ненависти: это была ходячая, у нее вертикальные воспоминания, нет, он недолго задержится в этом сердце.

— Ладно! Ладно! — сухо сказал он. — Поторопимся, везите меня.

— Войдите, — произнес слабый голос.

Мод открыла дверь, и от запаха рвоты у нее перехватило горло. Пьер вытянулся на полке. Он был бледен, на лице остались одни глаза, но вид у него был вполне умиротворенный. Она сделала движение назад, но заставила себя войти в каюту. На стуле у изголовья Пьера стоял тазик, наполненный мутной пенистой жидкостью.

— Меня рвет уже только слизью, — ровным голосом сказал Пьер. — Уже давно я вывернул все, что было в желудке. Убери таз и сядь.

Мед, задержав дыхание, убрала таз и поставила его рядом с умывальником. Она седа> оставив дверь приоткрытой чтобы проветрить каюту. Наступило молчание; Пьер смотрел на нее со смущающим любопытством.

— Я не знала, что тебе плохо, — сказала она, — иначе пришла бы раньше.

Пьер приподнялся на локте.

— Сейчас уже немного лучше, — сказал он. — Но я еще очень слаб. Со вчерашнего для меня не переставая рвет. Может, стоит съесть что-нибудь в поддень, как ты думаешь? Я как раз собирался заказать крылышко цыпленка.

— Но я не знаю, — раздраженно ответила Мод. — Ты должен сам чувствовать, сможешь ли ты что-либо съесть.

Пьер озабоченно смотрел на одеяло:

— Конечно, есть риск нагрузить желудок, но, с другой стороны, это может его наполнить, и если рвота возобновиться, то хоть чем-то вырвет.

Мод недоуменно смотрела на него. Она думала: «И в самом деле нужно время, чтобы узнать мужчину».

— Что ж, скажу стюарду, чтобы принес тебе овощной бульон и белого мяса.

Она принужденно засмеялась и добавила:

— Раз хочешь есть, значит, поправляешься.

Наступило молчание, Пьер поднял глаза и стал наблюдать за ней с озадачивающей смесью внимания и безразличия.

— Ну, рассказывай: вы теперь во втором классе?

— Откуда ты знаешь? — недовольно спросила Мод.

— От Руби. Я ее вчера встретил в коридоре.

— Это верно, — призналась Мод, — мы уже во втором.

— Как вам это удалось?

— Мы предложили дать концерт.

— Вот как! — вымолвил Пьер.

Он не переставал смотреть на нее. Потом вытянул руки на простыне и вяло сказал:

— К тому же> та пересдала с капшаном?

— Что ты мелешь? — возмутилась Мод.

— Я видел, как ты выходила из его каюты, — сказал Пьер, — ошибка исключена.

Мод стало не по себе. С одной стороны, она больше не должна перед ним отчитываться; но с другой, было бы честнее предупредить его. Она опустила глаза и кашлянула; она ощутила себя виноватой, и в итоге почувствовала нечто вроде нежности к Пьеру.

— Но послушай, — сказала она, — если б я отказалась, Франс меня не поняла бы.

— Ну при чем тут Франс? — миролюбиво сказал Пьер.

Она резко подняла голову: он улыбался, на лице его сохранилось то же вялое любопытство. Мод почувствовала себя оскорбленной, она предпочла б, чтобы он бесновался.

— Если хочешь знать, — сухо сказала она, — когда мы плывем, я всегда сплю с капитаном, чтобы оркестр «Малютки» мог путешествовать во втором классе. Вот так.

Некоторое время она ждала его возмущения, но он не проронил ни слова. Мод наклонилась над ним и яростно выкрикнула:

— Но я не шлюха!

— Кто тебе сказал, что ты шлюха? Ты делаешь, что хочешь, или что можешь. По-моему, ничего плохого в этом нет.

Ей показалось, что он ударил ее хлыстом по лицу. Она резко встала:

— Вот как? Ничего плохого в этом нет? Ничего плохого в этом нет?

— Конечно, нет.

— Так вот, ты неправ, — с волнением сказала она. — Ты совершенно неправ.

— Значит, что-то плохое есть? — шутливо спросил Пьер.

— Не пытайся меня запутать! Нет, ничего плохого в этом нет, что тут может быть плохого? Кто против этого возражает? Ни типы, которые вечно вертятся вокруг меня, ни мои подруги, которые охотно меня используют, ни моя мать, которая больше ничего не зарабатывает и которой я высылаю деньги. Ни ты, а ведь ты должен думать иначе, чем они, потому что ты мой любовник.

Пьер сплел руки на одеяле, у него был загадочный и блуждающий взгляд больного.

— Не кричи, — тихо сказал он, — у меня болит голова.

Она сдержалась и холодно посмотрела на него.

— Не бойся, — вполголоса сказала она, — я больше не буду кричать. Только учти, что между нами все кончено. Потому что, поверь, мне противно, что я позволяю трогать себя этому налитому супом старику, и если б ты меня обругал, если б ты меня пожалел, я бы решила, что ты немного дорожишь мной, и это придало бы мне силы. Но если я сплю с кем придется, и от этого никому ни холодно, ни жарко, даже тебе, тогда я грязная девка, шлюха. Что ж, дорогой мой, шлюхам положено гоняться за толстосумами, и у них нет необходимости путаться с нищей братией вроде тебя.

Пьер не ответил: он закрыл глаза. Мод отшвырнула ногой стул и вышла, хлопнув дверью.

Шарль скользил, приподнявшись на локте, мимо шале, клиник, семейных пансионов; все было пусто, сто двадцать два окна отеля «Брен» были открыты; в вестибюле шале «Мон Дезир», в саду виллы «Оазис» больные ждали, лежа в своих гробах, приподняв головы, они молча смотрели на парад колясок; целая вереница колясок катилась к вокзалу. Никто не разговаривал, слышны были только поскрипывания осей и глухой стук колес, переваливающихся с тротуара на мостовую. Жаннин шла быстро; они обогнали толстую краснолицую старуху, которую вез сморщенный плачущий старичок, они обогнали Зозо, его везла на вокзал его мать, хромая женщина, служительница общественного туалета.

— Эй! эй! — закричал Шарль.

Зозо вздрогнул, он немного приподнялся и посмотрел на Шарля светлыми пустыми глазами.

— Невезучие мы, — вздохнул он.

Шарль снова упал на спину; он чувствовал справа и слева от себя эти горизонтальные тела, десять тысяч маленьких похорон. Он снова открыл глаза и увидел кусочек неба, а потом сотни людей, высунувшихся из окон домов на Большой улице и махавших платками. Негодяи! Негодяи! Это им не 14 июля. Стая чаек, крича, закружилась у него над головой, и Жаннин высморкалась за коляской. Госпожа Верту плакала под траурным крепом, санитарка пристально смотрела на единственный венок, который раскачивался позади катафалка, но она слышала, как та плачет, она не должна была очень о нем сожалеть, больше десяти лет она его не видела, но всегда хранишь

где-то внутри себя стыдливую и неутоленную нежность, смиренно ждущую похорон, первого причастия, свадьбы, чтобы наконец исторгнуть затаенные слезы; санитарка подумала о своей парализованной матери, о войне, о племяннике, который скоро будет призван, о нелегкой своей работе, и тоже начала плакать, она была довольна, маленькая дама плакала, за ними зашмыгала носом консьержка, бедный старик, так мало народа его провожает, хотя у всех грустный вид; Жаннин плакала, толкая тележку, Филипп шел, я сейчас потеряю сознание, Большой Луи шел, война, болезнь, смерть, отъезд, нищета; было воскресенье, Морис пел у окна купе, Марсель зашла в кондитерскую, чтобы купить пирожных с кремом.

— Вы не очень-то разговорчивы, — сказала Жаннин. — Я думала, вам будет нелегко расставаться со мной.

Они поехали по вокзальной улице.

— Вы считаете, что я недостаточно расстроен? — спросил Шарль. — Меня упаковывают, увозят неизвестно куда, не спрашивая моего мнения, а вы хотите, чтобы я сожалел о вас?

— У вас нет сердца.

— Пусть так, — жестко сказал Шарль. — Вас бы на мое место. Посмотрел бы я тогда на вас.

Она не ответила, внезапно он увидел над собой темный потолок.

— Приехали, — сказала Жаннин.

Кого позвать на помощь? Кого нужно умолять, чтобы меня не увозили, я сделаю все, чего захотят, но пусть меня оставят здесь, она будет за мной ухаживать, она будет меня прогуливать, она поласкает мою штучку…

— Эх! — сказал он. — Я, наверное, сдохну во время этого путешествия.

— Вы с ума сошли! — встревоженно воскликнула Жаннин. — Вы совсем сошли с ума, как вы можете так говорить?

Она обошла вокруг коляски и склонилась над ним, он почувствовал ее горячее дыхание.

— Бросьте, будет вам! — сказал он, смеясь ей в лицо. — Не надо сцен. Уж вы-то не будете печалиться, если я умру! Разве что красивая брюнетка, медсестра доктора Роберталя.

Жаннин резко выпрямилась.

— Она дура и уродина, — сказала она. — Вы себе представить не можете, сколько неприятностей она доставила Люсьенне. Вы бы с ней ох как намучились, — прибавила она сквозь зубы. — И с ней не пококетничаешь, она не такая глупая, как я.

Шарль привстал и с беспокойством осмотрелся. Более двухсот колясок выстроились в ряд в вокзальном зале. Носильщики толкали их одну за другой на перрон.

— Я не хочу уезжать, — прошептал он сквозь зубы. Жаннин вдруг растерянно посмотрела на него.

— Прощайте, — сказала она ему, — прощайте, милая моя куколка.

Он хотел ей ответить, но туг коляска тронулась. Дрожь пробежала у него от ног до затылка; он отбросил назад голову и вдруг увидел красное лицо, склонившееся над ним.

— Пишите! — крикнула Жаннин. — Пишите!

Но он был уже на перроне, в гомоне свистков и прощальных криков.

— Это… это что, наш поезд? — с тревогой спросил он.

— Он самый. А чего вы ожидали? Восточный экспресс? — с иронией спросил служащий.

— Но это же товарные вагоны! Служащий сплюнул себе под ноги.

— В пассажирском вы не поместились бы, — объяснил он. — Нужно было бы убрать сиденья, думаете это так просто?

Носильщики брали фиксаторы за два конца, отделяли от тележек и несли их к вагонам. Их ждали служащие в фуражках, они нагибались, хватали фиксаторы как могли и уносили их в темноту. Красавец Самуэль, ловелас Берка, у которого было восемнадцать костюмов, проплыл совсем рядом с Шарлем в руках двух носильщиков и вверх ногами исчез в вагоне.

— Но ведь есть же санитарные поезда! — негодовал Шарль.

— Не спорю. Но кто же пошлет накануне войны санитарные поезда, чтобы подбирать инвалидов?

Шарль хотел ответить, но его фиксатор вдруг качнулся, и он был вознесен в воздух головой вниз.

— Несите меня прямо! — крикнул он. — Несите меня прямо!

Носильщики засмеялись, зияющая дыра приблизилась, увеличилась, они отпустили веревку, и гроб с мягким стуке»! упал на свежую землю. Склонившись над краем ямы, санитарка и консьержка безудержно зарыдали.

— Видишь, — сказал Борис, — все они смываются.

Они сидели в холле отеля рядом с орденоносным господином, читавшим газету. Портье спустил два чемодана из свиной кожи и поставил их рядом с другими у входа.

— Семь отъезжающих сегодня утром, — сказал он безразлично.

— Взгляни на чемоданы: они из свиной кожи. Эти люди недостойны их, — строго заметил Борис.

— Почему, мой красавец?

— Они должны быть обклеены ярлыками.

— Но тогда не была бы видна свиная кожа, — возразила Лола.

— Вот именно. Настоящую роскошь должно прятать. И потом, это заменяло бы чехлы. Будь у меня такой чемодан, меня бы здесь не было.

— А где бы ты был?

— Все равно где: в Мексике или в Китае. — Он добавил: — С тобой.

Высокая женщина в серой шляпе взволнованно прошла через холл, она кричала:

— Марметта! Мариетта!

— Это мадам Деларив, — сказала Лола. — Она уезжает сегодня днем.

— Мы скоро останемся в отеле одни, — заметил Борис. — Вот будет забавно: будем менять комнату каждый вечер.

— Вчера в казино, — сказала Лола, — меня слушали десять человек. Поэтому я больше себя не утруждаю. Я попросила, чтобы их всех собрали за столом посередине, и я шл шепчу свои песни прямо в уши.

Борис встал и пошел посмотреть на чемоданы. Он их украдкой пощупал и вернулся к Лоле.

— Зачем они уезжают? — спросил он усаживаясь. — Им было бы и здесь неплохо. Если это случится, их дома разбомбят на следующий день после их приезда.

— Наверняка, — сказала Лола, — но ведь это их дома, тебе не понятно?

— Нет.

— Так уж заведено, — сказала она. — Начиная с определенного возраста неприятности ждешь у себя дома.

Борис засмеялся, и Лола с беспокойством выпрямилась; она сохранила эту привычку с прежних времен: когда он смеялся, она всегда опасалась, что он смеется над ней.

— Почему ты смеешься?

— Потому что ты считаешь себя очень смелой. Ты мне объясняешь, что чувствуют люди определенного возраста. Но ведь ты ничего в этом не смыслишь, моя бедная Лола: у тебя никогда не было своего дома.

— Это верно, — грустно согласилась она.

Борис взял ее руку и поцеловал в ладонь. Лола покраснела.

— Как ты мил со мной. Ты так изменился…

— Ты недовольна?

Лола с силой сжала его руку.

— Довольна. Но я хотела бы знать, почему ты так мил.

— Потому что я взрослею, — ответил он.

Она не отняла у него руки и улыбалась, откинувшись в кресле. Он был рад, что она счастлива: он хотел оставить ей добрые воспоминания о себе. Он погладил ее руку и подумал: «Один год;[43] у меня только один год жизни с ней»; он совсем расчувствовался: их история уже имела очарование прошлого. Раньше он держал ее в ежовых рукавицах, но у них был как бы бессрочный контракт; это его раздражало, он любил обязательства, ограниченные во времени. Один год: он даст ей все счастье, которое она заслуживает, он исправит всю свою неправоту, потом покинет ее, но не мерзко, не ради другой женщины или потому, что она ему надоела: это случится само собой, в силу обстоятельств, так как он станет совершеннолетним, и его пошлют на фронт. Он украдкой посмотрел на нее: она выглядела молодой, ее прекрасная грудь вздымалась от счастья; он грустно подумал: «Я буду мужчиной одной женщины». Мобилизован в 40-м, убит в 41-м, нет, в 42-м, ибо мне еще потребуется время обучиться — вот и получится одна женщина за всю жизнь. Три месяца тому назад он еще мечтал спать со светскими женщинами. «Каким я был тогда

мальчишкой», — снисходительно подумал он. Он умрет, не познав герцогинь, но он ни о чем не жалел. С одной стороны, он мог бы за те месяцы, которые еще остались, коллекционировать успехи, но перестал этим интересоваться: «Стоит ли себя расточать? Когда имеешь только два года жизни впереди, скорее подобает сосредоточиться». Жюль Ренар сказал сыну: «Изучай только одну женщину, но изучай ее хорошо, только так узнаешь женщин вообще». Нужно было старательно изучать Лолу в ресторане, на улице, в постели. Он провел пальцем по запястью Лолы и подумал: «Я ее еще не очень хорошо знаю». Были закоулки ее тела, ему еще неведомые, он не всегда знал, что творится у нее в голове. Но впереди у него был еще год. И он примется за дело сейчас же. Он повернул к ней голову и стал внимательно рассматривать Лолу.

— Почему ты на меня так смотришь? — спросила Лола.

— Я тебя изучаю, — ответил Борис.

— Я не хочу, чтобы ты на меня слишком внимательно смотрел, я всегда опасаюсь, что покажусь тебе слишком старой.

Борис ей улыбнулся: она оставалась недоверчивой, она не могла привыкнуть к своему счастью.

— Не волнуйся, — сказал он ей.

Вдова сухо с ними поздоровалась и села в кресло рядом с орденоносным господином.

— Что ж, дорогая мадам, — сказал господин. — Скоро мы услышим речь Гитлера.

— Да? Когда? — спросила вдова.

— Он будет выступать завтра вечером в Sportpalast[44].

— Брр! — вздрогнув, сказала она. — Тогда я рано пойду спать и спрячу голову под простыню, не хочу его слышать. Думаю, ничего хорошего он нам не скажет.

— Боюсь, что так, — сказал господин. Наступило молчание, потом он продолжил:

— Самую большую ошибку мы совершили в 36-м году, во время демилитаризации рейнской зоны. Туда следовало послать десять дивизий. Покажи мы тогда зубы, и немецкие офицеры получили бы приказ об отступлении. Но Сарро ждал согласия Народного фронта, а Народный фронт предпочел отдать наше оружие испанским коммунистам.

— Англия бы за нами не последовала, — заметила вдова.

— Она бы за нами не последовала! Она бы за нами не последовала! — брезгливо повторил господин. — Что ж, тогда я задам вам такой вопрос, мадам. Знаете, что бы сделал Гитлер, объяви Сарро тэбмлишщт?

— Не знаю, — сказала вдова.

— Он бы покончил жизнь са-мо-у-бий-ством, мадам; я это знаю из достоверных источников: я уже двадцать лет знаком с офицером из 2-го отдела.

Вдова грустно покачала головой.

— Сколько потерянных возможностей! — воскликнула она.

— А по чьей вине, мадам?

— Ах! — вздохнула дама.

— Да! — сказал господин. — Да! Вот что значит голосовать за красных. Француз неисправим: война у дверей, а он требует оплаченных отпусков.

Вдова подняла глаза: на лице ее читалось подлинное беспокойство.

— Значит, вы думаете, что будет война?

— Война… — озадаченно сказал господин. — Ну, ну, не так быстро. Нет: Даладье не ребенок; он, безусловно, пойдет на необходимые уступки. Но нас ждут большие неприятности.

— Мерзавцы! — сквозь зубы процедила Лола.

Борис с симпатией ей улыбнутся. Для нее чехословацкий вопрос был очень простым: на маленькую страну напали, Франция обязана ее защитить. Пусть она плохо разбиралась в политике, но она великодушна.

— Пойдем завтракать, — сказала она. — Они мне действуют на нервы.

Она встала. Он посмотрел на ее красивые широкие бедра и подумал: женщина. Это была женщина, вся женщина, которой он будет обладать этой ночью. Он почувствовал, как от сильного желания запылали его уши.

За стшной вокзал — и Гомес в поезде, ноги на скамейке, он ускорил расставание: «Не люблю вокзальные объятья!» Она спускалась по монументальной лестнице, поезд еще стоял, Гомес курил и читал, положив ноги на скамейку, у него были красивые

новые туфли из отличной кожи. Она видела его туфли на серой обивке скамейки; он был в первом классе; война приносит свои выгода. «Я его ненавижу», — подумала Сара. Она была сухой и опустошенной. Сначала она еще видела ослепительное море, порт и пароходы, потом все это исчезло: темные отели, крыши и трамваи.

— Пабло, не беги так вниз по лестнице — упадешь! Малыш застыл на ступеньке, нога его зависла в воздухе. Скоро он увидит Матье. Он мог бы остаться еще на день со мной, но предпочел общество Матье. Руки, ее горели. Пока он был здесь, это была пытка; теперь, когда он уехал, я больше не знаю, куда идти.

Маленький Пабло серьезно смотрел на нее.

— Папа уже уехал? — спросил он.

Напротив были часы, они показывали час тридцать пять. Поезд ушел семь минут назад.

— Да, — сказала Сара, — он уехал.

— Он уехал сражаться? — свергая глазами, спросил Пабло.

— Нет, — сказала Сара. — Он поехал повидать друга.

— А потом он будет сражаться?

— Потом, — сказала Сара, — он будет заставлять сражаться других.

Пабло остановился на предпоследней ступеньке. Он согнул коленки и, соединив ноги, прыгнул на тротуар, затем обернулся и посмотрел на мать, гордо улыбаясь. «Комедиант», — подумала она. Она обернулась, не улыбнувшись, и пробежала взглядом монументальную лестницу. Поезда шли, останавливались, снова трогались у нее над головой. Поезд Гомеса катил на восток между меловыми утесами, а возможно, между домами. Вокзал был пуст над ее головой, большой серый пузырь, полный солнца и дыма, запаха вина и сажи, рельсы блестели. Она опустила голову, ей было неприятно думать об этом вокзале, покинутом наверху в белом полуденном зное. В апреле тридцать третьего года он уехал этим же поездом, на нем был серый твидовый костюм, миссис Симпсон ждала его в Каннах, где они провели две недели в Сан-Ремо. «Лучше уж это», — подумала ста. Маленький робкий кулачок коснулся ее руки. Она открыла ладонь и опустила ее на запястье Пабло.

Она опустила глаза и посмотрела на него. На нем была матроска и полотняная шапочка.

— Почему ты на меня так смотришь? — спросил Пабло.

Сара отвернулась и поглядела на мостовую. Она ужаснулась своей жестокости. «Ведь это всего лишь ребенок!» — подумала она. Сара снова посмотрела на него, пытаясь улыбнуться, но ей это не удалось, челюсти были сжаты, рот одеревенел. Губы малыша задрожали, и она поняла, что сейчас он заплачет. Она резко потянула его и пошла широкими шагами. Удивленный, малыш забыл про слезы и засеменил рядом с ней.

— Куда мы идем, мама?

— Не знаю.

Она свернула направо, в первую попавшуюся улицу. Улица была безлюдная, все магазины были закрыты. Она еще ускорила шаг и свернула на улицу налево, тянувшуюся между высокими мрачными и грязными домами. И тут было тоже пустынно.

— Ты меня заставляешь бежать, — сказал Пабло. Сара сжала его руку, не отвечая, и поволокла его дальше.

Они пошли по большой прямой улице с трамвайными путями. Тут не было ни автобусов, ни трамваев, только опущенные железные шторы и рельсы, ведущие к порту. Она вспомнила, что сегодня воскресенье, и сердце ее сжалось. Она грубо дернула Пабло за руку.

— Мама! — захныкал Пабло. — Ой, мама!

Он побежал, чтобы поспеть за ней. Он не плакал, он был совсем белый, с кругами под глазами; он поднимал к ней недоверчивое удивленное лицо. Сара резко остановилась; слезы увлажнили ее щеки.

— Бедный мальчик, — сказала она. — Бедный невинный малыш.

Она присела перед ним на корточки: какая разница, кем он позже станет? Сейчас он здесь, безобидный и некрасивый, с малюсенькой тенью у ног; в конце концов, он не просил, чтоб его родили.

— Почему ты плачешь? — спросил Пабло. — Потому что уехал папа?

Слезы Сары сразу иссякли, и ей захотелось рассмеяться. Но Пабло с озабоченным видом смотрел на нее. Она встала и сказала, отворачиваясь:

— Да. Да, потому что уехал папа.

— А мы скоро вернемся?

— Ты устал? Мы еще далеко от дома. Пошли, — сказала она, — пошли. Мы пойдем медленно.

Они сделали несколько шагов, а потом Пабло остановился и вытянул палец.

— Ой, смотри! — сказал он с почти болезненным восторгом.

Это была афиша на дверях совсем синего кинотеатра. Они подошли. Запах формалина шел из темного прохладного холла На афише ковбой преследовал всадника в маске, стреляя из револьвера. Опять выстрелы, опять револьверы! Пабло смотрел, тяжело дыша; скоро он наденет каску, возьмет ружье и будет бегать по комнате, изображая бандита в маске. У нее не хватило мужества увести его. Она просто отвернулась. Кассирша обмахивалась у себя в будке. Это была толстая брюнетка с бледной кожей и огненными глазами. На полочке кассы за стеклом стояли цветы в кувшине; на стене была прикноплена фотография Роберта Тейлора. Господин средних лет вышел из зала и подошел к кассе.

— Сколько? — спросил он через окошечко.

— Пятьдесят три билета, — сказала она.

— Так я и думал. А вчера шестьдесят семь. А ведь какой хороший фильм, с погонями!

— Люди предпочитают сидеть дома, — сказала кассирша, пожимая плечами.

Какой-то человек остановился рядом с Пабло, он, тяжело дыша, смотрел на афишу, но, казалось, не видел ее. Это был высокий бледный мужчина в разорванной одежде, с окровавленной повязкой вокруг головы и с засохшей грязью на щеках и руках. Должно быть, он пришел издалека. Сара взяла Пабло за руку.

— Пошли, — сказала она.

Она заставила себя идти очень медленно — из-за малыша, но ей хотелось бежать, ей казалось, что кто-то смотрит ей в спину. Впереди блестели рельсы, асфальт медленно плавился на солнце, воздух слегка дрожал вокруг фонаря, это было уже не то воскресенье. «Люди предпочитают сидеть дома». Еще недавно она угадывала за группой домов веселые оживленные бульвары, пахнущие рисовой пудрой и сигаретами; она шла по тихой улице предместья, и ее сопровождала невидимая, хоть и близкая толпа. Достаточно было одного слова — и бульвары опустели. Теперь они сбегали к порту, белью и пустынные; воздух подрагивал между пустых стен.

— Мама, — сказал Пабло, — тот человек идет за нами.

— Да нет. Он делает то же, что и мы, он гуляет.

Она повернула налево, и это была такая же улица, бесконечная и неподвижная; единственная улица шла теперь через весь Марсель. И Сара была на этой улице с ребенком; а все марсельцы сидели по домам. Пятьдесят три билета. Она думала о Гомесе, о смехе Гомеса: конечно, все французы трусы. Ну и что? Они сидят по домам, это естественно; они боятся войны, и они совершенно правы. Но ей по-прежнему было не по себе. Она заметила, что ускорила шаги, но тут же решила идти медленнее — из-за Пабло. Но теперь мальчик сам тянул ее вперед.

— Быстрее, быстрее, — задыхаясь, умолял он. — Ну, мама!

— Что такое? — сухо спросила она.

— Он все еще здесь, он идет за нами.

Сара немного повернула голову и увидела того же оборванца; он шел за ними, это очевидно. Сердце ее заколотилось.

— Бежим! — сказал Пабло.

Она подумала об окровавленной повязке и резко повернулась. Бродяга сразу остановился и посмотрел на них затуманенными глазами. Саре стало страшна Мальчик цеплялся за нее обеими руками и изо всех сил тянул ее назад. «Люди сидят по домам». Она может сколько угодно кричать, звать на помощь, никто не придет.

— Вам что-нибудь нужно? — спросила она бродягу, смотря ему в глаза.

Он жалко улыбнулся, и страх Сары исчез.

— Вы умеете читать? — спросил он.

Он протянул ей старую разорванную книжку, это был военный билет. Пабло обхватил ноги Сары руками, она чувствовала его теплое тельце.

— А что? — спросила она.

— Я хочу знать, что там написано, — сказал оборванец, указывая пальцем на листок.

Несмотря на фиолетовый, наполовину закрывшийся глаз, у него был добродушный вид. Сара искоса посмотрела на него, потом на листок.

— Вот беда-то, — смущенно пробормотал человек. — Вот беда-то — совсем не умею читать.

— Что ж, у вас предписание, — сказала Сара. — Вам нужно ехать в Монпелье.

Она протянула ему билет, но человек не сразу его взял. Он спросил:

— Правда, что будет война?

— Не знаю, — сказала Сара.

Она подумала: «Он скоро уедет». И потом подумала о Гомесе. Она спросила:

— Кто вам сделал повязку?

— Сам, — сказал бродяга.

Сара порылась в сумочке. У нее были булавки и два чистых платка.

— Сядьте на тротуар, — властно сказала она. Бродяга тяжело сел.

— У меня окоченели ноги, — с извиняющимся смехом сказал он.

Сара разорвала платки. Гомес читал «Юманите» в первом классе, положив ноги на скамейку. Он увидится с Матье, потом направится в Тулузу и сядет на самолет в Барселону. Сара развязала окровавленную повязку и осторожными рывками сняла ее. Бродяга слегка застонал. Черная липкая корка покрывала половину головы. Сара протянула платок Пабло:

— Пойди намочи в фонтане.

Малыш убежал, обрадовавшись, что может уйти. Бродяга поднял глаза на Сару и сказал ей:

— Я не хочу воевать.

Сара мягко положила руку ему на плечо. Ей хотелось попросить у него прощения.

— Я пастух, — сказал он.

— Что вы делаете в Марселе? Он покачал головой.

— Я не хочу воевать, — повторил он.

Пабло вернулся, Сара кое-как промыла рану и быстро наложила повязку.

— Вставайте, — сказала она.

Он встал. Он растерянно смотрел на нее.

— Значит, мне нужно в Монпелье?

Она порылась в сумочке и вынула две купюры по сто франков.

— Вам на дорогу, — сказала она.

Человек взял их не сразу: он пристально смотрел на нее.

— Возьмите, — тихо и быстро сказала Сара. — Возьмите. И не воюйте, если можете этого избежать.

Он взял деньги. Сара сильно сжала его руку.

— Не воюйте, — повторила она. — Делайте, что хотите, вернитесь домой, спрячьтесь. Все лучше, чем воевать.

Он смотрел на нее, не понимая. Она схватила Пабло за руку, сделала полуоборот, и они пошли дальше. Через некоторое время она обернулась: он смотрел на повязку и влажный платок, которые Сара бросила на мостовую. Потом наклонился, взял их, пощупал и положил в карман.

Капли пота катились по его лбу до висков, спускались по щекам от ноздрей до ушей, он сначала подумал, что это насекомые, он ударил себя по щеке, и его рука раздавила теплые слезы.

— Черт возьми! — сказал его сосед слева. — Ну и жара. Он узнал голос, это был Бланшар, жирная скотина.

— Они это делают нарочно, — сказал Шарль, — часами оставляют вагоны на солнце.

Наступило молчание, потом Бланшар спросил:

— Это ты, Шарль?

— Я, — сказал Шарль.

Он пожалел, что заговорил. Бланшар обожал выбрасывать разные фортели: он брызгал на людей из водяного пистолета, или же скатывался на них и прикалывал картонного паука к их одеялам.

— Вот и встретились, — сказал Бланшар. — Да.

— Мир тесен.

Шарль получил струю воды прямо в лицо. Он вытерся и плюнул: Бланшар хохотал.

— Мать твою за ногу! — выругался Шарль. Он достал платок и вытер шею, принуждая себя засмеяться. — Это опять твой водяной пистолет?

— Да, — смеясь, сказал Бланшар. — Я не промахнулся, а? Прямо в рожу! Не огорчайся, у меня шуточек полные карманы: будем развлекаться в дороге.

— Ну и мудило! — сказал Шарль со счастливым смехом. — Ну и мудило же ты!

Бланшар внушал ему страх: их фиксаторы соприкасались, если он захочет меня ущипнуть или бросить мне под одеяло колючку

шиповника, ему достаточно протянуть руку. «Мне не везет, — подумал он, — нужно быть начеку всю дорогу». Он вздохнул и заметил, что смотрит на потолок, большую мрачную поверхность, усеянную заклепками. Он повернул свое зеркальце назад, стекло было черное, как закопченная стеклянная пластинка. Шарль приподнялся и огляделся вокруг. Раздвижную дверь оставили широко открытой; в вагон проникал золотистый свет, пробегая по лежащим телам, он касался одеял, высвечивал лица. Но освещенная часть была строго ограничена рамкой двери; слева и справа была почти полная темнота. Счастливчики, они, должно быть, дали деньги носильщикам; у них будет и воздух, и свет; время от времени, приподнимаясь на локте, они будут видеть, как снаружи мелькает зеленое дерево. Обессиленный, он снова упал, его рубашка взмокла. Хоть бы скорее тронуться! Но поезд стоял, заброшенный, окутанный солнцем. Странный запах — гнилой соломы и духов «Убиган» — застоялся на уровне пола. Шарль вытянул шею, чтобы избавиться от него — он вызывал тошноту, но, обливаясь потом, оставил эти попытки, и запахи плотной салфеткой накрыли его нос. Снаружи были рельсы, и солнце, и пустые вагоны на запасных путях, и выбеленные пылью кустарники: пустыня. А чуть дальше было воскресенье. Воскресенье в Берке: дети играют на пляже, семьи пьют кофе с молоком в кафе. «Забавно, — подумал он, — забавно». В другом конце вагона раздался голос:

— Дени! Эй, Дени! Никто не ответил.

— Морис, ты здесь?

Снова молчанье, потом голос огорченно заключил:

— Негодяи!

Тишина была прервана. Рядом с Шарлем кто-то застонал:

— Какая жара…

Слабый и дрожащий голос, голое тяжело больного, ответил:

— Когда поезд тронется, будет полегче.

Они говорили вслепую, не узнавал друг друга; кто-то со смешком сказал:

— Вот так и ездят солдаты.

Потом снова наступила тишина Жара, тишина, тревога. Вдруг Шарль увидел две красивые ноги в белых нитяных чулках, его взгляд поднялся вдоль белого халата: это была красивая медсестра. Она

только что поднялась в вагон. В одной руке она держала чемодан, в другой — складной стул; она алым взглядом окинула вагон.

— Безумие, — сказала она, — чистое безумие.

— Чего-чего? — грубо переспросил кто-то снаружи.

— Если бы вы хоть чуть-чуть подумали, то, конечно, уразумели бы, что нельзя помещать мужчин в одном вагоне с женщинами.

— Мы их разместили в том порядке, как нам их привезли.

— Так что, я должна их обихаживать друг при друге?

— Нужно было быть здесь, когда их привезли.

— Не могу же я быть одновременно повсюду! Я в это время занималась багажом.

— Какая неразбериха! — возмутился какой-то мужчина.

— Это еще мягко сказано.

Наступило молчание, потом медсестра сказала:

— Окажите мне любезность и позовите ваших сотрудников; мы переведем мужчин в последний вагон.

— Еще чего! Кто нам заплатит за дополнительную работу?

— Я подам жалобу, — сухо сказала медсестра.

— Хорошо. Можете подавать жалобу, моя красавица. Мне на это плевать.

Медсестра пожала плечами и отвернулась; она осторожно прошла между лежащими и села на свой складной стул неподалеку от Шарля, на самом краю светового прямоугольника.

— Эй! Шарль! — позвал Бланшар.

— Чего? — вздрогнув, отозвался Шарль.

— Оказывается, здесь бабк. Шарль не ответил.

— А как же, если мне понадобится постель? — громко сказал Бланшар.

Шшьшашежотбшненстшиствда, но тут же вспомнил о колючке шиповника и издал заговорщицкий смешок.

На уровне пола кто-то копошился, наверняка мужчины выворачивали шеи, чтобы разглядеть, есть ли у них соседки. Но в общем и целом в вагоне было нечто вроде смущения. Туг и там раздался шепот и умолк. «А что, если мне понадобится пос…ть?» Шарль почувствовал себя грязным изнутри, каким-то свертком липких и влажных кишок: какой стыд, если придется просить судно в присутствии девушек. Он натужился и подумал: «Я буду держаться до

конца». Бланшар сопел, его нос издавал какую-то невинную мелодию, надо же, он умудрился уснуть. У Шарля мелькнула надежда, он взял из кармана сигарету и чиркнул спичкой.

— Что такое? — всполошилась медсестра.

Она положила вязанье на колени. Шарль видел ее разгневанное лицо очень высоко и далеко над собой, в синей тони.

— Я зажигаю сигарету, — сказал он; собственный голос показался ему чудным и нескромным.

— Нет-нет, — сказала она. — Это нельзя. Здесь не курят.

Шарль задул спичку и кончиками пальцев пощупал вокруг себя. Между двумя одеялами он обнаружил влажную и шероховатую доску, которую он шздарашд нолем, перед тем как положить туда маленький, наполовину обуглившийся кусочек дерева; но вдруг это прикосновение привело его в ужас, и он положил руки на грудь. «Я на уровне пола», — подумал он. На уровне пола. На земле. Под столами и стульями, под каблуками медсестер и носильщиков, раздавленный, наполовину смешанный с грязью и соломой, любое насекомое, бегающее в бороздках пола, может вскарабкаться мне на живот. Он пошевелил ногами, поскреб пятками о фиксатор. Но так тихо, чтобы не разбудить Бланшара. Пот струился по его груди; он поднял колени под одеялом. Бесконечные мурашки в ягодицах и в ногах — такие же мучили его в первое время в Берке. Со временем все успокоилось: он забыл свои нош, он привык, что его толкают, катят, несут, он стал вещью. «Это не вернется, — с тревогой подумал он. — Боже мой, неужели это уже никогда не вернется?» Он вытянул ноги и закрыл глаза. Нужно было думать: «Я всего лишь камень, просто камень». Его стиснутые ладони открылись, он почувствовал, как его тело медленно окаменевает под одеялом. Камень среди других камней.

Он резко выпрямился, открыв глаза, шея напряглась; был толчок, затем скрип, монотонное движение, умиротворяющее, как дождь: поезд тронулся. Он что-то миновал; снаружи проходили прочные и тяжелые от солнца предметы, они скользили вдоль вагонов: неразличимые тени, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, бежали по светящейся перегородке напротив открытой двери; это было как на экране кинотеатра. Свет на перегородке немного побледнел, затем посерел, потом совсем поблек: «Выезжаем с вокзала». У Шарля болела шея, но он чувствовал себя спокойнее; он

снова лег, поднял руки и повернул свое зеркальце на девяносто градусов. Теперь в левом углу зеркала он видел кусочек освещенного прямоугольника. Ему этого было достаточно: эта блестящая поверхность жила, на ней видоизменялся целый пейзаж, свет то дрожал и бледнел, как будто собираясь окончательно истаять, то снова затвердевал и застывал, принимая вид охряной побелки; потом на мгновение он вздрагивал, пронзенный косыми волнообразными движениями, как бы морщинясь от ветра. Шарль подолгу смотрел на него: через некоторое время он почувствовал себя освобожденным, ему казалось, будто он сидит, свесив ноги, на подножке вагона и созерцает пробегающие деревья, уходящие поля, море.

— Бланшар, — прошептал он.

Ответа не было. Он немного подождал и снова прошептал:

— Ты спишь?

Бланшар не ответил. Шарль вздохнул и удовлетворенно расслабился, он полностью вытянулся, не сводя глаз с зеркала. Он спит, он уже спит; когда Филипп зашел в кафе, он едва держался на ногах; он опустился на скамейку, но глаза его были сонными, они говорили: «Вы со мной не справитесь!» С очень злым видом он заказал кофе, такой вид бывает у тех, кто принимает официантов за возможных врагов; обычно это совсем молодые: юнцы думают, что жизнь — сплошная борьба, они это вычитали в книжках, и, попав в кафе, заказывают какой-нибудь гранатовый напиток и смотрят при этом так, что бросает в дрожь.

— Один кофе и два китайских чая, и отнесите это на террасу, — распорядился Филипп.

Она нажала на кнопку и повернула рукоятку. Феликс подмигнул ей и показал на спящего миниатюрного юношу. Это была не борьба, это болото, как только делаешь движение, то погружаешься в трясину, но они это сразу не осознают, в первые годы они много перемещаются, а фактически увязают. Когда-то я поступала так же, но теперь постарела, я сохраняю спокойствие, прижав руки к телу, я не двигаюсь, в моем возрасте главное — оставаться на поверхности. Он спал, открыв рот, его челюсть отвисла, он был некрасив, красные опухшие веки, красный нос делали его похожим на барана. Я сразу догадалась, когда увидела, как он слепо входил в пустой зал, снаружи было солнце, а на террасе — клиенты, я подумала: «Ему нужно

написать письмо, а может, он ждет женщину, но скорее всего, с ним что-то случилось». Он поднял длинную бледную руку, отогнал, не открывая глаз, несуществующих мух. Горести преследовали его и во сне; неприятности следуют за человеком везде; я сидела тогда на скамье, смотрела на рельсы и на туннель, где-то пела птица, а я была беременна, и меня выгнали, я все глаза выплакала, в сумочке не было ни гроша, только билет, я уснула, и мне приснилось, что меня убивают, тащат куда-то за волосы, называют потаскухой, потом пришел поезд, и я в него села. Я уговариваю себя, что он получит пособие, он — старый рабочий, инвалид, нельзя ему в пособии отказать, но они постараются отвязаться от него, ведь они так жестоки; а я, я старая, я больше не барахтаюсь, я просто размышляю. Он одет, как молодой барчук, у него, конечно, есть мама, которая следит за его одеждой, но туфли его белы от пыли; что он делал? Куда ходил? У молодых бурлит кровь, если бы он мне сказал: «Выдай меня, я убил отца и мать», — ведь может быть и такое; возможно, он убил старуху, женщину вроде меня, они его, конечно, арестуют, вот увидите, он не в силах сопротивляться; возможно, они придут за ним сюда, и «Матен» опубликует его фотографию, многие увидят овджгительное лицо хулигана, совсем непохожее, и всегда кто-нибудь скажет: «По лицу видно, что он на такое способен»; что ж» а я говорю: чтобы их осудить, не нужно их видеть вблизи, потому что, когда смотришь, как они с каждым днем мало-помалу погружаются, думаешь, что спасение невозможно и что в конце концов, все придет к одному: пить кофе с молоком на террасе, или скопить деньжат, чтобы купить себе дом, или убить свою мать. Зазвонил телефон, она вздрогнула.

— Алло? — отозвалась она.

— Я хотел бы поговорить с мадам Кузен.

— Это я, — сказала она. — Ну что?

— Они мне отказали, — сказал Жвшш.

— Что? — переспросила она. — Что там?

— Мне отказали.

— Но этого не может быть!

— Мне отказали.

— Во инвалиду, старому рабочему… что они тебе сказали?

— Что я не имею права.

— Как же так? — сказала она. — Как же так?

— До вечера, — сказал Жкнкк

Она повесила трубку. Они ему отказали. Инвалиду, старому рабочему сказали, что он не имеет Прага. «Теперь я буду портить себе кровь», — подумала она. Молодой человек храпел, у него был глупый и поучительный вид. Феликс юпыел, неся на подносе два китайских чая и черный кофе. Он толкнул дверь и вошло солнце, над спящим блеснуло зеркало, затем дверь закрылась, зеркало угасло, они остались одни. «Что он сделал? Где он ходил? Что у него в чемодане? Теперь он заплатит за все: в течение двадцати лет, тридцати лет, если только его не убьют на войне, бедняга, у него призывной возраст. Он спит, он посапывает, у него неприятности, на террасе люди говорят о войне, у моего мужа не будет пособия. Бедные мы, бедные!»

— Питто! — крикнул молодой человек.

Он внезапно проснулся; секунду-другую он смотрел на нее красными глазами, открыв рот, потом щелкнул челюстями, прикусил губы, у него был сметливый к недобрый вид.

— Официант!

Феликс не слышал; она видела его на террасе: он сновал туда-сюда, брал заказы. Молодой человек, потеряв уверенность, хлопнул по мрамору, вертя головой с загнанным видом. Ей стало его жалко.

— Двадцать су, — сказала она ему с высоты кассы.

Он метнул на нее взгляд, полный ненависти, швырнул пять франков на стол, взял чемодан и, хромая, ушел. Зеркало заблестело, порыв криков и жары прорвался в зал, потом наступило одиночество. Она смотрела на столы, на зеркала, на дверь, на все эти такие знакомые предметы, которые не могли больше удержать ее мысль. «Начинаешь, — подумала ста, — сейчас начну портить себе кровь».

Он был обрызган светом. Кто-то направил на него сбоку карманный фонарик. Он навернул голову и чертыхнулся. Фонарик парил на уровне земли, Шарль заморгал. Фонарик светил спокойно и неумолимо, это было неприятно.

— Что такое? — спросил он.

— Да, это он, — сказал певучий голос.

Женщина. Продолговатый сверток справа от меня — это женщина. На миг он почувствовал удовлетворение, потом с гневом

подумал, что она осветила его, как предмет: «Она провела по мне лучом, как будто я просто стена». Он сухо проронил:

— Я вас не знаю.

— Мы часто встречались, — сказала она.

Фонарик погас. Шарль остался ослепленным, фиолетовые круги вращались у него перед глазами.

— Я вас не вижу.

— А я вас вижу, — сказала она. — Даже без фонарика. Голос был молодой и красивый, но Шарль не доверял ему. Он повторил:

— Я вас не вижу, вы меня ослепили.

— А я вижу в темноте, — гордо сказала она.

— Вы что, альбинос? Она засмеялась.

— Альбинос? У меня не красные глаза и не белые волосы, если вы это имеете в виду.

У нее был резко выраженный акцент, придававший всем ее фразам вопросительную интонацию.

— Кто вы?

— А вот угадайте, — сказала она. — Это не очень трудно: еще позавчера вы меня встретили, и у вас был такой ненавидящий взгляд.

— Ненавидящий? Но я никого не ненавижу.

— Еще как ненавидите, — сказала она. — Я думаю, что вы ненавидите всех.

— Погодите! У вас есть шуба? Она снова засмеялась.

— Протяните руку, — сказала она. — Потрогайте.

Он протянул руку и прикоснулся к большой бесформенной массе. Это был мех. Под мехом, безусловно, было одеяло, затем свертки с одеждой, а потом белое мягкое тело, улитка в своей раковине. Как ей должно быть жарко! Он немного погладил мех и ощутил тяжелый теплый аромат. Вот чем еще тут пахло. Он гладил мех против шерсти и был доволен.

— Вы блондинка, — победоносно сказал он, — и у вас золотые серьги.

Она засмеялась, и фонарик снова зажегся. Но на этот раз она его повернула на собственное лицо; покачивание поезда колебало фонарик в ее руке; свет поднимался от груди ко лбу, скользил по накрашенным губам, золотил легкий светлый пушок в уголках губ, обрисовывал розовые ноздри. Загнутые черные ресницы маленькими

лапками торчали над утолщенными веками; они казались двумя перевернутыми на спину насекомыми. Женщина была блондинкой: ее волосы пенились легким облачком вокруг головы. У него екнуло сердце. Он подумал: «Она красива», и резко отдернул руку.

— Теперь я вас узнал. С вами всегда был старый господин — он толкал вашу коляску; вы проезжали, ни на кого не глядя.

— Я вас прекрасно разглядела сквозь ресницы.

Она приподняла голову, и он окончательно ее узнал.

— Я никогда не подумал бы, что вы можете на меня смотреть, — сказал он. — По сравнению с нами у вас был вид очень состоятельной дамы; я думал, что вы из пансиона «Бокер».

— Нет, — сказала она. — Я была в «Мон Шале».

— Я не ожидал встретить вас в вагоне для скота. Свет погас.

— Я очень бедна, — сказала она.

Он протянул руку и мягко нажал на мех:

— А это?

Она засмеялась.

— Это все, что у меня осталось.

Она вернулась в тень. Большой сверток, бесформенный и темный. Но его взгляд все еще хранил ее облик. Он сложил обе руки на животе и стал глазеть в потолок. Бланшар тихо храпел; больные начали переговариваться между собой, по двое, по трое; поезд со стоном мчался в пространство. Она была бедной и больной, ее одевали и раздевали, точно куклу. И она была красива. Она пела в мюзик-холле, сквозь длинные ресницы она смотрела на него и желала с ним познакомиться: ему казалось, будто его снова поставили на ноги.

— Вы были певицей? — вдруг спросил он.

— Певицей? Нет. Я играла на фортепьяно.

— А я принимал вас за певицу.

— Я из Австрии, — сказала она. — Все мои деньги там, в руках у немцев. Я покинула Австрию после аншлюса.

— Вы уже были больны?

— Да, я уже была на доске. Родители увезли меня поездом. Все было, как сейчас, только было светло, и я лежала на полке первого класса. Над нами кружили немецкие самолеты, мы все время опасались, что нас начнут бомбить. Мать плакала, я же не унывала, я

чувствовала сквозь потолок небо. Это был последний поезд, который они пропустили.

— А потом?

— Потом я приехала сюда. Моя мать в Англии: ей нужно зарабатывать нам на жизнь.

— А этот старый господин, который вас возил?

— Это старый идиот, — жестко сказала она.

— Значит, вы совсем одна?

— Совсем одна. Он повторил:

— Совсем одна на свете, — и почувствовал себя сильным и крепким, как дуб.

— Как вы узнали, что это я?

— После того, как вы чиркнули спичкой.

Он еле сдерживал радость. Она была здесь, про запас, тяжелая и безымянная, почти забытая; это из-за нее его голос горько подрагивал! Но он решил сохранить свою тайну на ночь, он хотел понаслаждаться ею один.

— Вы видели свет на перегородке?

— Да, — сказала она. — Я глядела на него целый час.

— Смотрите, смотрите: дерево проезжает.

— Или телеграфный столб.

— Поезд идет тихо.

— Да, — сказала она. — А вам хотелось бы, чтоб побыстрее?

— Нет, все равно. Ведь не знаешь, куда едешь.

— Это верно! — весело согласилась она. Ее голос тоже слегка дрожал.

— В конечном счете, — заметил он, — здесь не так уж и плохо.

— Много воздуха, — подхватила она. — И потом, хоть как-то развлекают проплывающие тени.

— Вы помните миф о пещере?

— Нет, а что это за миф?

— Это о рабах, привязанных в глубине пещеры. Они видят тени на стене.

— Почему их там привязали?

— Не знаю. Это написал Платон.

— Ах, да! Платон… — неуверенно сказала она.

«Я расскажу ей, кто такой Платон», — в опьянении подумал он. У него побаливал живот, но он жаждал, чтобы путешествие было бесконечным.

Жорж подергал ручку двери. Сквозь стекло он видел высокого усатого человека и молодую женщину с тряпкой, повязанной вокруг головы; женщина мыла за деревянной стойкой стаканы и чашки. Какой-то солдат дремал за столом. Жорж сильно дернул за ручку, и стекло задрожало. Но дверь не поддалась. Женщина и мужчина, казалось, ничего не слышали.

— Они не откроют.

Он обернулся: какой-то немолодой толстяк, улыбаясь, смотрел на него. На нем был черный пиджак, военные брюки, обмотки, мягкая шляпа и крахмальный отложной воротничок. Жорж показал ему на табличку: «Столовая открывается в пять часов».

— Сейчас десять минут шестого, — сказал он. Толстяк пожал плечами. Объемистый рюкзак висел на левом боку, на нравом — противогаз: толстяку пришлось раздвинуть руки и держать локти на весу.

— Они открывают, когда хотят.

Двор казармы был заполнен мужчинами средних лет, у них был скучающий вид. Многие, уставя глаза в землю, прогуливались в одиночку. На одних была военная куртка, на других — брюки цвета хаки, третьи остались в гражданском и в совсем новых сабо, которые хлопали по казарменному асфальту. Высокий рыжий тип, которому повезло получить полную форму, задумчиво расхаживал, засунув руки в карманы военной куртки и лихо сдвинув котелок на ухо. Лейтенант рассредоточил группы и быстро направился к столовой.

— Вы что, не ходили за формой? — спросил маленький толстяк. Он подтягивал ремни рюкзака, чтобы забросить его за спину.

— У них больше ничего нет. Толстяк плюнул себе под ноги.

— А мне вот что выдали. Я в этом задыхаюсь на солнце, хоть подыхай. Какая неразбериха!

Жорж показал на офицера:

— Ему нужно отдавать тесть?

— А каким образом? Не могу же я снимать перед ним шляпу.

Офицер прошел мимо, не посмотрев на них. Жорж проследил взглядом за его худой спиной и почувствовал себя удрученным. Было

жарко, стекла военных строений были покрашены в голубой цвет; за белыми стенами простирались белые дороги, вдалеке зеленели под солнцем аэродромы; стены казармы прорезали в середине лужайки маленькую гладкую и пыльную площадь, где усталые мужчины ходили взад-вперед, как по улицам города. Это был час, когда его жена открывала жалюзи; солнце вплывало в столовую; оно было повсюду: в домах, в казармах, в деревнях. Он сказал себе: «Всегда одно и то же». Но он не слишком хорошо знал, что одно и то же. Он подумал о войне и понял, что не боится смерти. Вдалеке раздался гудок поезда — словно кто-то ему улыбнулся.

— Послушайте, — сказал он.

— А?

— Поезд.

Маленький толстяк, не понимая, посмотрел на него, затем вынул из кармана платок и стал утирать лоб. Поезд загудел еще раз. Он уходил, полный штатских, красивых женщин, детей; вдоль окон скользили безмятежные поля. Поезд засвистел и замедлил ход.

— Сейчас остановимся, — сказал Шарль. Заскрипели оси, и поезд остановился; движение вытекло из Шарля, он остался сухим и пустым, словно из него вытекла вся кровь, это была репетиция смерти.

— Не люблю, когда поезда останавливаются, — сказал он.

Жорж думал о пассажирских поездах, которые спускаются к югу, к морю, к белым виллам на побережье; Шарль ощущал зеленую траву, растущую под полом между рельсами, он чувствовал ее сквозь листы железа, он видел в светящемся прямоугольнике, выделявшемся на фоне перегородки, бесконечные зеленые поля, поезд был окружен лугами, как пароход льдом, трава поднимется по колесам, пройдет между разошедшимися досками, поле местами пересекало неподвижный поезд. Поезд, попавшийся в ловушку, жалобно свистел; отдаленный свист разносился так поэтично; поезд шел очень медленно, голова соседа Мориса тряслась в бежевом воротнике, это был тучный человек, от которого пахло чесноком, с самого отъезда он пел «Интернационал» и выпил два литра вина. В конце концов он, бормоча, свалился на плечо Мориса. Морису было жарко, но он не решался пошевелиться, сердце подступало к горлу из-за этого пекла, белого вина и белого солнца, слепившего его сквозь пыльные стекла,

он думал: «Приехать бы уж что-ли…» У него чесались глаза, он таращил и напрягал их, затем он прикрыл глаза и услышал, как кровь шумит в ушах и солнце проникает сквозь веки; он чувствовал, как подступает белый, потный, ослепляющий сон, волосы товарища щекотали ему шею и подбородок, какой безнадежный день. Толстяк вынул из бумажника фотографию.

— А вот моя жена, — похвастался он.

Это была женщина без возраста, как обычно бывает на фотографиях, о ней нечего было сказать.

— Она в теле, — заметил Жорж.

— Уплетает за четверых, — пояснил сосед.

Они сидели друг против друга в нерешительности. Жорж не испытывал особой симпатии к этому толстому, красномордому типу, говорившему с сильной одышкой, но ему захотелось показать ему фотографию своей дочери.

— Ты женат? — Да.

— Дети есть?

Жорж, не отвечая, посмотрел на него, немного посмеиваясь. Потом быстро сунул руку в карман, вынул бумажник, взял из него фотографию и, опустив глаза, протянул ее толстяку.

— Это моя дочь.

— У вас хорошие ботинки, — сказал тип, беря фотографию. — Они вам еще пригодятся.

— У меня мозоли, — смиренно признался Жорж. — По-вашему, они их мне оставят?

— Скорее всего. Может, у них нет обуви на всех.

Он еще с минуту смотрел на ботинки Жоржа, потом с сожалением отвернулся и бросил взгляд на фото. Жорж почувствовал, что краснеет.

— Какой красивый ребенок! — воскликнул толстяк. — Сколько она весит?

— Не знаю, — признался Жорж.

Он оцепенело смотрел на толстяка, устремившего бесцветный взгляд поверх фотографии. Потом сказал:

— Когда вернусь, она меня не узнает.

— Наверняка, — согласился человек, — если вообще…

— Да, если вообще… — повторил Жорж.

— Так как? — спросил Сарро. — Так мне идти?

Он вертел между пальцев листок. Даладье перочинным ножичком обстругал спичку и сунул ее меж зубов; обмякнув на стуле, он молчал.

— Так мне идти? — повторил Сарро.

— Это война, — тихо сказал Бонне. — И война проигранная.

Даладье содрогнулся и посмотрел на него тяжелым взглядом. Бонне невинно ответил ему бесцветным незамутненным взором. У него был вид муравьеда. Шампетье де Риб и Рейно стояли немного сзади, хмурые и молчаливые. Даладье, казалось, на глазах уменьшался в размерах.

— Идите, — проворчал он, вяло махнув рукой.

Сарро встал и вышел из комнаты. Он спустился по лестнице, думая о своей мигрени. Он вспомнил, как они одновременно замолкли, как они напустили на себя деловой вид. «Какая банда подонков», — подумал Сарро.

— Сейчас я зачитаю вам коммюнике, — сказал он. Раздался гул, он воспользовался этим, чтобы протереть очки, затем прочел:

— Совет правительства Французской республики выслушал доклад господина Президента Совета и господина Жоржа Бонне о меморандуме, переданном господину Чемберлену рейхсканцлером Гитлером.

Он единогласно одобрил заявления, которые господа Эдуар Даладье и Жорж Бонне намерены отвезти в Лондон английскому правительству.

«Ну вот, — подумал Шарль. — Я хочу с…ть». Это произошло сразу: его живот наполнился до краев.

— Да, — сказал он, — да. Я думаю, как вы.

Голоса слышались разом, умиротворенные. Он хотел бы весь спрятаться в свой голос, превратиться только в него рядом с этим красивым певучим светлым голоском. Но он был прежде всего этим пеклом, этим неодолимым страхом, этой массой влажного вещества, булькавшего в его кишечнике. Наступило молчание; она молчала рядом с ним, свежая и снежная; он осторожно приподнял руку и провел ею по влажному лбу. «Ух! — простонал он вдруг.

— Что случилось?

— Ничего, — сказал он. — Это мой сосед храпит.

Его желудок скрутило подобие безумного смеха, его охватило темное, сильное желание открыть нижние шлюзы и опорожниться; обезумевшая от ужаса бабочка била крыльями между его ягодицами. Он их крепко стиснул, пот заструился по его лицу, потек к ушам, щекоча щеки.

«Я сейчас обделаюсь», — с ужасом подумал он.

— Вы больше ничего не говорите, — сказал светлый голос.

— Я… — сказал он, — я думал-… Почему вы хотели со мной познакомиться?

— У вас красивые надменные глаза, — сказала она. — И потом, я хотела знать, почему вы меня ненавидели.

Он слегка передвинул бедра, чтобы обмануть свою надобность, и сказал:

— Я ненавидел всех, потому что беден. И вообще, у меня скверный характер.

Это вырвалось у него под давлением его желания; он открылся сверху; сверху кии снизу, но ему необходимо было открыться.

— Да, скверный характер, — задыхаясь повторил он. — Я завистник.

Он никогда такого не говорил. Она кончиками пальцев коснулась его руки.

— Не надо ненавидеть меня: я тоже бедна. Щекотка пробежала по его члену: это было не из-за ее худых теплых пальцев на его руке, это шло издалека, из большой голой комнаты на берегу моря. Он звонил, приходила Жаннин, поднимала одеяло, подсовывала ему под ягодицы судно, смотрела, как он оправляется, и иногда брала его дружка большим и указательным пальцем, он это обожал. Теперь его плоть была выдрессирована, привычка укоренилась: все его желания облегчаться были отравлены горькой истомой, изнемогающим желанием открываться, освобождаться под профессиональным взглядом. «Вот я какой», — подумал он. И мужество изменило ему. Он был противен сам себе, он тряхнул головой, пот обжег ему глаза. «Поезд что, не поедет?» Ему казалось, что если бы вагон тронулся, он вырвался бы от самого себя, он оставил бы на месте двусмысленные болезненные желания и он смог бы еще немного сдержаться. Он подавил еще один стон: он страдал, вот-вот он разорвется, как ткань; он молча сжал такую худую мягкую руку. Руки, мягкие, как

миндальное тесто, искусно берут его дружка, его дружок ликует, вялый, немного наклонив головку, девушка из колбасной берет пальцами сосиску на слое желе. Совсем голый. Расщепленный. Видимый. Скорлупа треснула, это весна. Ужас! Он ненавидел Жаннин.

— Какие у вас горячие руки, — сказал светлый голос.

— У меня температура.

Кто-то тихо застонал в солнце, един из больных рядом с дверью. Медсестра встала и пошла к нему, перешагивая через тела. Шарль поднял левую руку и быстро покрутил зеркальце; зеркальце вдруг выхвашш медсестру, согнувшуюся над толстым краснощеким лопоухим подростком. Вид у него был торопливый и требовательный. Медсестра выпрямилась и вернулась на свое место. Шарль видел, как она роется в своем чемодане. Потом она повернулась к ним лицом, держа в руках «утку». Она громко спросила:

— Больше никто не хочет? Если кому-то нужно, лучше сказать об этом во время остановки, так удобнее. Не терпите и не стесняйтесь друг друга. Здесь нет ни мужчин, ни женщин — только больные.

Она оглядела всех строгим взглядом, но никто не отозвался. Толстый паренек поспешно схватил «утку» и сунул под одеяло. Шарль крепко стиснул руку своей подруги. Достаточно было сказать хоть вполголоса: «Я, я хочу». Медсестра наклонилась, взяла «утку» и подняла ее. Она сверкала на солнце, заполненная красивой желтоватой пенистой жидкостью. Сестра подошла к двери и наклонилась наружу; Шарль видел ее тень с поднятой рукой на перегородке, пересекающей световой прямоугольник. Она наклонила «утку», из нее вылилась тень янтарной жидкости.

— Мадам!.. — послышался слабый голос.

— Ага! — сказала она. — Вы тоже решились. Иду.

Они капитулируют один за другим. Женщины будут терпеть дольше мужчин. Они засмердят своих соседок, как они после этого будут с ними разговаривать? «Негодяи», — подумал Шарль. На уровне пола поднялась возня; сконфуженные шелестящие призывы слышались изо всех углов. Шарль различил женские голоса.

— Терпение, — сказала сестра. — Ждите своей очереди.

«Здесь только больные». Они считают, что им все дозволено, потому что они больные. Ни мужчины, ни женщины: больные. Он

мучился, но гордился своей мукой: я не сдамся, все-таки я мужчина. Сестра ходила от одного к другому; ее туфли поскрипывали по полу, и время от времени слышалось шуршание бумаги. Пресный и теплый запах наполнил вагон. «Я не сдамся», — думал он, корчась от боли.

— Мадам!.. — произнес нежный голос.

Он подумал, что ослышался, но стыдливый и певучий голос повторил:

— Мадам! Мадам! Сюда.

— Иду, — сказала сестра.

Теплая и худая рука скрючилась в его руке, потом выскользнула. Он услышал скрип туфель: сестра стояла над ними, суровая и огромная, как архангел.

— Отвернитесь, пожалуйста, — пролепетал умоляющий голос. А потом еще раз: — Отвернитесь.

Он отвернулся, ему хотелось заткнуть нос и уши. Сестра наклонилась — огромный косяк черных птиц, — затемняя его зеркальце. Он больше ничего не увидел. «Она — больная», — подумал он. Она, должно быть, откинула мех: на мгновение душный аромат покрыл все, а затем мало-помалу пробился едкий сильный запах, он забил ему ноздри. Она — больная; прекрасная гладкая кожа была натянута на жидких позвонках, на гноящихся кишках. Он колебался, раздираемый отвращением и звериным желанием. А потом, вдруг, он закрылся, его внутренности сжались, как кулак, он больше не чувствовал своего тела. Она — больная. Все его желания, все его влечения стерлись, он почувствовал себя сухим и чистым, как будто вновь обрел здоровье. Больная. «Она сопротивлялась, сколько могла», — с любовью подумал он. Зашуршала бумага, сестра выпрямилась, уже многие звали ее из другого конца вагона. Он ее не позовет; он парил над ними в нескольких пядях от пола. Он не вещь; он не был грудным младенцем. «Она больше не смогла противиться», — подумал он с такой нежностью, что глаза его наполнились слезами. Она больше не говорила, она не смела обратиться к нему, ей было стыдно. «Я буду ее защищать», — с любовью подумал он. Стоя. Стоя, склонившись над ней, созерцая ее нежное растерянное лицо. Она тяжело дышала в темноте. Он протянул руку и на ощупь провел по меху. Молодое тело напряглось, но Шарль встретил руку и завладел ею. Рука сопротивлялась, он

привлек ее к себе, он сжимал ее изо всех сил. Больная. Он был здесь, сухой и твердый, освобожденный; он будет ее защищать.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Ну что ж, читайте! — нетерпеливо потребовал Чемберлен.

Лорд Галифакс взял послание Масарика и начал читать. «Ему нет необходимости читать с выражением», — подумал Чемберлен.

«Мое правительство, — читал Галифакс, — изучило документ и карту. Это ультиматум de facto[45], какой обычно предъявляют побежденной нации, а не предложение суверенному государству, выказавшему максимальную готовность сделать все возможное для умиротворения Европы. Правительство господина Гитлера еще не выказало и грана подобной готовности. Мое правительство удивлено содержанием меморандума. Требования намного превышают предложения, которые мы высказали в так называемом англо-французском коммюнике. Они ставят под угрозу нашу национальную независимость. Нам предлагают сдать без боя наши глубоко эшелонированные укрепления и открыть путь германским войскам задолго до того, как мы заново подготовимся к самозащите. Наша национальная и экономическая независимость автоматически исчезнет с принятием плана господина Гитлера. Вторжение немецких войск вызовет сильнейшую панику среди той части населения, которая не примет фашистский режим. Люди вынуждены будут покинуть свои дома, оставив личное имущество, а крестьяне — домашний скот.

Мое правительство уполномочило меня официально отвергнуть требования господина Гитлера в их настоящей форме, как абсолютно неприемлемые для моего правительства. Эти новые жесткие требования вынуждают мое правительство быть готовым к решительному сопротивлению, что мы и исполним с Господней помощью. Нация Святого Венцлава, Яна Гуса и Томаша Масарика никогда не станет нацией рабов.

Мы рассчитываем на помощь двух великих западных демократий, рекомендательным резолюциям которых мы следовали, вопреки нашим собственным пожеланиям, и выражаем надежду, что они не покинут нас в час испытаний».

— Это все? — спросил Чемберлен.

— Все.

— Что ж, вот и очередные затруднения, — сказал он. Лорд Галифакс не ответил; он стоял прямо, как воплощение совести, почтительный и сдержанный.

— Французские министры прибудут через час, — сухо сказал Чемберлен. — Этот документ мне представляется, по крайней мере… несвоевременным.

— Вы думаете, он способен повлиять на их решения? — с долей иронии спросил лорд Галифакс.

Старик не ответил; он взял документ и начал, бормоча под нос, его читать.

— Домашний скот! — с раздражением воскликнул он. — При чем тут домашний скот? Это, по меньшей мере, нелепо.

— Я не считаю это нелепым. Скорее трогательным, — заметил лорд Галифакс.

— Трогательным? — со смешком повторил старик. — Дорогой мой, мы ведем переговоры. Тот, кто будет растроган, неизбежно проиграет.

Ткани розовые, красные, лиловые, платья сиреневые и белые, голые шеи, прекрасные груди под платками, солнечные пятна на столах, густые, золотистые напитки, руки, чуть прикрытые бедра, выпирающие из шортов, веселые голоса, снова платья красные, розовые и белые, веселые голоса, кружащиеся в воздухе, опять бедра, вальс из «Веселой вдовы», запах сосен, горячего песка, ванильный запах открытого моря, все видимые и невидимые солнечные острова мира, остров Ветров, остров Пасхи, Сандвичевы острова, лавки с предметами роскоши вдоль моря, плащ на даме, стоящий три тысячи франков, клипсы, красные, розовые и белые цветы, и опять же руки, бедра, музыка, и снова веселые голоса, кружащиеся в воздухе, Сюзанна, а как же твоя диета? А, пускай! Паруса на море и лыжники с вытянутыми руками, прыгающие с волны на волну, порывистый запах сосен, мир. Мир в местечке Жуан-ле-Пен. Он еще оставался здесь, рухнувший, позабытый, он слегка прокисал. Люди ловились на это: цветные чащи, кусты музыки скрывали от них их маленькие наивные тревоги; Матье медленно шел вдоль кафе, вдоль лавок, по левую сторону было море: поезд Гомеса прибывал только в восемнадцать часов семнадцать минут; он по привычке смотрел на женщин, на их мирные бедра, на их мирные груди. Но он чувствовал себя виноватым.

С трех часов двадцати пяти минут: в три двадцать пять ушел поезд на Марсель. «Я не здесь. Я в Марселе, в кафе на Вокзальном проспекте, я жду парижский поезд, я в парижском поезде. Ранним сонным утром я в Париже, я в казарме, я хожу кругами по двору казармы в Эссе-лес-Нанси». В Эссе-лес-Нанси Жорж перестал разговаривать, чтобы не пришлось кричать: вверху с громоподобным грохотом проносился самолет. Жорж следил, как он несся над стенами, над крышами, над Нанси, над Ниором, Жорж был в Ниоре, в своей комнате, с малышкой, он ощущал во рту привкус пыли. Матье подумал: «Что он мне скажет? Сейчас он выскочит из поезда, подвижный и загорелый, как отдыхающий из местечка Жуан-ле-Пен, я теперь такой же загорелый, как он, но мне нечего ему сказать. Я был в Толедо, в Гвадалахаре, а что делал ты? Я жил…Я был в Малаге, я покинул город в числе последних, а что делал ты? Я жил. Эх! — с раздражением подумал он. — Я ведь жду друга, это все-таки не судья». Шарль смеялся, она ничего не говорила, ей было еще немного стыдно, он держал ее за руку, он смеялся. «Катрин, какое красивое имя», — нежно прошептал он. Если на то пошло, Гомесу посчастливилось, он воевал в Испании, он мог воевать, он воевал практически безоружный, динамит против танков, орлиные гнезда на побережье, любовь в опустевших отелях Мадрида, отдельные легкие дымки в долине, бои местного значения, Испания не потеряла своего аромата; меня же ждет тоскливая война, организованная и унылая; против танков есть противотанковое оружие, это война коллективная и технически оснащенная, ползучая эпидемия. Испания осталась там, вдалеке, бегущая полоса на голубой воде. Мод облокотилась на релинги и смотрела на Испанию. Там сражаются. Пароход скользил вдоль берега; там гремят пушки; она прислушивалась к плеску волн, из воды выпрыгнула рыба. Матье шел по направлению к Испании, слева от него было море, справа — Франция. Мод скользила вдоль берега, слева от нее был Алжир, ее уносило направо к Франции; Испания была этим знойным дыханием и этим зыбким туманом. Мод и Матье думали об испанской войне, и это давало им отдохновение от другой войны, от войны цвета окиси меди, от войны, которую готовили справа от них. Нужно было проскользнуть до разрушенной стены, обогнуть ее и вернуться, тогда его задание будет выполнено. Марокканец полз среди почерневших камней, земля была горячей, он ощущал ее ногтями рук и ног, ему

было страшно, он думал о Танжере; в верхней части Танжера есть желтый двухэтажный дом, откуда виднеется вечное мерцание моря, в нем живет негр с седой бородой, который кладет себе в рот змей, чтобы поразвлечь англичан. Нужно думать об этом желтом доме. Матье думал об Испании, Мод думала об Испании, марокканец полз по растрескавшейся земле Испании и думал о Танжере, ему было одиноко. Матье свернул на ярко освещенную улицу, Испания повернулась к нему, вспыхнула, стала всего лишь отсветом неразличимого огня слева от него. Ницца справа, за Ниццей дыра — Италия. Напротив него — вокзал; напротив него — Франция и война, настоящая война, Нанси. Он был в Нанси; минуя вокзал, он шел к Нанси. Он не хотел пить, ему не было жарко, он не устал. Собственное тело казалось ему безымянным и вялым; краски и звуки, сверкание солнца, запахи как бы гасли в его теле; все это его больше не касалось. «Так начинается болезнь», — подумал он. Филипп переложил чемоданчик в левую руку; он изнемогал, но нужно было продержаться до вечера. До вечера: а там я высплюсь в поезде. Терраса «Серебряной Башни» гудела как улей, платья красные, розовые, сиреневые, чулки из искусственного шелка, нарумяненные щеки, сладкие густые напитки, толпа сиропная и клейкая, сердце его пронзила жалость: скоро их вырвут из кафе, из их комнат и погонят на войну. Ему было их жалко, ему было жалко себя; они пеклись в этом свете, липкие, сытые, отчаявшиеся. У Филиппа вдруг закружилась голова от усталости и гордости: я — их совесть.

Еще одно кафе. Матье смотрел на красивых загорелых мужчин, таких веселых, таких крепышей, и почувствовал себя чужаком. Справа от них было казино, слева — почта, за ними — море; и все это — Франция, Испания, Италия — лампы, которые для них скоро погаснут. Но пока все эти люди здесь, во плоти, а война — всего лишь призрак. «И я призрак», — подумал он. Они станут лейтенантами, капитанами, они будут спать в кроватях, каждый день бриться, а потом многие из них сумеют остаться в тылу. Нет, он их не осуждал. «Что им могло помешать так поступить? Солидарность с теми, кто идет в эту мясорубку? Вот и я туда иду, как раз туда. Но я не жду никакой солидарности. А почему я туда иду?» — вдруг подумал он. «Осторожно!» — вскрикнул Филипп — его толкнули. Он нагнулся, чтобы подобрать свой чемоданчик; рослый субъект в стоптанных

башмаках даже не обернулся. «Скотина!» — проворчал Филипп. Он стоял напротив кафе и разъяренно смотрел на посетителей. Но никто даже не заметил случившегося. Какой-то ребенок плакал, мамаша платком вытирала ему глаза. За соседним столиком перед стаканами с оранжадом сидело трое усталых мужчин. «Они не так уж и невинны, — подумал Филипп, рассекая толпу пронзительным взглядом. — Почему они подчиняются? Им достаточно сказать «нет». Автомобиль катил. Даладье, углубившись в сиденье, глядя на прохожих, сосал потухшую сигарету. Ему чертовски не хотелось ехать в Лондон, ни тебе аперитива, ни сносной пищи. Какая-то женщина без шляпы хохотала, широко раскрыв рот, он подумал: «Они ни в чем не отдают себе отчета» и покачал головой. Филипп подумал: «Их ведут на бойню, а они этого даже не понимают. Они принимают войну как болезнь. Но война — не болезнь, — яростно подумал он. — Это невыносимое зло, потому что люди инфицируют им друг друга». Матье толкнул дверцу. «Я встречаю друга», — сказал он контролеру. Вокзал осклабился, пустой и молчаливый, как кладбище. Почему я иду в мясорубку? Он сел на зеленую скамейку. «Есть ведь такие, кто откажется ехать. Но это не мое дело. Отказаться, скрестить на груди руки или же бежать в Швейцарию. Но почему? Непонятно. Нет, это не мое дело. И война в Испании тоже была не моим делом. И компартия. Но что же тогда — мое дело?» — с некой тревогой подумал он. Рельсы блестели, поезд придет слева. Слева, в самом конце, в точке, где сходились рельсы, мерцало маленькое озеро, это Тулон, Марсель, Пор-Бу, Испания. Бессмысленная, неоправданная война. Жак сказал, что она проиграна заранее. «Война — это недуг, — подумал он, — мое дело — вынести ее, как недуг. Просто так. Из чистоплотности. Я буду мужественным больным, вот и все. Зачем воевать? Я эту войну не одобряю. Но почему бы и не воевать? Моя шкура не стоит того, чтобы ее спасать. Я всего лишь служака, — подумал он, — а служаки должны служить». И ему оставили лишь грустный стоицизм служилых людей, которые переносят все — бедность, болезнь и войну, — из уважения к себе самим. Он улыбнулся и подумал: «А я даже не уважаю себя». «Мученик, им нужен мученик», — подумал Филипп. Он плыл, он купался в усталости, это не было неприятно, но этому следовало отдаться; просто он не очень хорошо видел, две ставни справа и слева закрывали от него улицу. Толпа сжимала его,

люди выходили отовсюду, дети метались у них под ногами, лица щурились от солнца, скользили над ним и под ним, все время одно и то же лицо, оно раскачивается, наклоняется вперед-назад, да-да-да. Да, мы согласимся на нищую зарплату, да, мы пойдем на войну, да, мы отпустим наших мужей, да, мы будем стоять в очередях за хлебом с детьми на руках. Толпа; это была толпа, огромное молчаливое согласие. А если им все объяснить, они просто набьют морду, подумал Филипп, ощущая пылающую щеку, они любого затопчут ногами, крича: да! Он смотрел на эти мертвые лица: им ничего не следует говорить, им просто нужен мученик. Тот, кто вдруг приподнимется на носках и возгласит: «НЕТ». Они на него набросятся и разорвут в клочья. Но эта кровь, пролитая ими же и за них, придаст им новую силу; дух мученика будет жить в них, они будут поднимать голову, не щурясь, и раскаты отказа покатятся от одного края толпы к другому, как гром. «Этот мученик — я», — подумал он. Его охватила радость подвергнутого пытке, невыносимая радость; его голова склонилась, он уронил чемоданчик и упал на колени, охваченный вселенским единодушием.

— Привет! — закричал Матье.

Гомес бежал к нему с непокрытой головой, красивый, как всегда. У Филиппа был туман перед глазами, какая-то пелена: где я? Над ним раздавались голоса: «Что с ним? Это обморок, где вы живете?» Над ним склонилось чье-то лицо, это была старая женщина, она собирается меня укусить? Ваш адрес! Матье и Гомес, смеясь, смотрели друг на друга, ваш адрес, ваш адрес, ВАШ АДРЕС, он сделал невероятное усилие и встал. Улыбнувшись, он пробормотал:

— Пустяки, мадам, это от жары. Я живу рядом, сейчас буду дома.

— Нужно его проводить, — сказал кто-то у него за спиной, — он не дойдет сам, — и голос затерялся в густом шуме листвы: — Да, да, ДА, нужно его проводить, нужно его проводить, нужно его проводить.

— Оставьте меня, оставьте! — закричал он. — Не трогайте меня. Нет! Нет! НЕТ! — Он посмотрел им в лицо, он посмотрел в их изнуренные, ошеломленные глаза и еще раз крикнул: «Нет!» Нет войне, нет генералам, нет безответственным матерям, нет Зезетте и Морису, нет, оставьте меня в покое. Они расступились, и он побежал, как на свинцовых подошвах. Он бежал, бежал, кто-то положил ему на

плечо руку, и он подумал, что сейчас зарыдает. Это был молодой человек с усиками, он протягивал ему чемоданчик.

— Вы забыли свой чемоданчик, — ухмыляясь, сказал он. Марокканец резко остановился: он увидел змею, которую сначала принял за сухую ветку. Маленькая змея; нужен камень, чтобы размозжить ей голову. Но змея вдруг скрутилась, прорезала землю коричневой молнией и исчезла в канаве. Это было счастливым предзнаменованием. За стеной ничто не шевелилось. «Я сюда вернусь», — подумал он.

Матье обнял Гомеса за плечи:

— Привет, — сказал он. — Привет, полковник! Гомес благородно и загадочно улыбнулся.

— Генерал, — поправил он. Матье опустил руки.

— Генерал! Скажи-ка, быстро там продвигаются.

— Не хватает кадров, — не переставая улыбаться, сказал Гомес. — Как вы загорели, Матье!

— Это загар бездельника, — смущенно сказал Матье. — Его получают на пляжах, задарма.

Он искал на руках, на лице Гомеса следы испытаний; он был готов к тяжким угрызениям совести. Но Гомес, подвижный и тонкий, во фланелевом костюме, выставив вперед узкую грудь, не сразу давался: сейчас у него был вид курортника.

— Куда пойдем? — спросил он.

— Поищем какой-нибудь спокойный ресторанчик, — предложил Матье. — Я живу у брата с невесткой, но к ним я вас не приглашаю: они отнюдь не забавные.

— Я хотел бы какое-нибудь местечко с музыкой и женщинами, — сказал Гомес. Он цинично посмотрел на Матье и добавил: — Я неделю проторчал в семейном кругу.

— Ах вот как! — сказал Матье. — Отлично. Что ж, тогда пойдем в «Провансаль».

Дежурный не строго, но деловито смотрел, как они приближались. Он стоял, немного сгорбившись, между двумя билетными автоматами; солнце обагряло его ружье и каску. Он окликнул их, когда они поравнялись с ним.

— Куда?

— Эссе-лес-Нанси, — сказал Морис.

— Сядьте на трамвай по левую руку и сойдете на конечной.

Они вышли. Это была угрюмая площадь, типично привокзальная, с кафе и гостиницами. В небе висел дым.

— Хорошо бы размять ноги, — вздыхая, сказал Дорнье. Морис поднял голову и, подмигнув, улыбнулся.

— Трамвая нет и в помине, — сказал Бебер. Какая-то женщина участливо посмотрела на них.

— Трамвая пока нет. А вам куда?

— В Эссе-лес-Нанси.

— Вам ждать еще добрых четверть часа. Он ходит раз в двадцать минут.

— Успеем пропустить стаканчик, — сказал Дорнье Морису.

Было прохладно, поезд шел, воздух был красноват; по телу Шарля пробежала дрожь счастья, и он слегка потянул за одеяло. Он позвал: «Катрин!» Но она ему не ответила. Однако что-то прикоснулось к его груди, легкое подобие птицы, и медленно поднялось к его шее; затем птица улетела и вдруг села ему на лоб. Это была ее рука, ее нежная ароматная рука, она скользнула по носу Шарля, легкие пальцы коснулись губ, ему было щекотно. Он схватил руку и прижал ее к губам. Она была теплой; он провел пальцами вдоль запястья и почувствовал, как бьется ее пульс. Он закрыл глаза и поцеловал эту худую руку, и пульс забился под его пальцами, как птичье сердце. Она засмеялась: «Мы как слепые: приходится знакомиться пальцами». Он, в свою очередь, вытянул руку, он боялся причинить ей боль; он коснулся железного стержня зеркала, а затем светлых волос на одеяле, потом виска, щеки, нежной и полновесной, как любое женское тело, и почувствовал, как теплый рот всосал его пальцы, легко покусывая их зубами, в то время как тысячи иголок покалывали его от ягодиц до затылка; он прошептал «Катрин!» и подумал: «Мы занимаемся любовью». Она выпустила его руку и вздохнула. Морис подул на кружку и сдул пену на пол; Катрин спросила: «Как называются лодки, где люди лежат бок о бок?» Морис прикусил верхнюю губу, облизнул ее и сказал: «А пиво-то холодное!» «Не знаю, — ответил Шарль, — может быть, гондолы. — Нет, не гондолы, впрочем, неважно: мы в одной из таких лодок». Он взял ее за руку, они скользили бок о бок по водной глади, она была его любовницей, кинозвездой с волосами тусклого золота, он стал совсем

другим человеком, он защищал ее. Он ей сказал: «Хорошо бы, поезд шел бесконечно». Даниель покусывал ручку, постучали в дверь, и он затаил дыхание, невидящим взглядом глядя на белый лист бювара. «Даниель! — послышался голос Марсель. — Вы здесь?» Он не ответил; тяжелые шаги Марсель удалились, она спускалась по лестнице, ступеньки поскрипывали одна за другой; он улыбнулся, обмакнул перо в чернила и написал: «Дорогой Матье». Рука, сжатая в сумерках, скрип пера, лицо Филиппа выплывает из тени и идет ему навстречу, бледное в сумерках зеркала, небольшая килевая качка, ледяное пиво булькает у него в горле и перехватывает дыхание, поезд на пневматическом ходу пробегает тридцать три метра между Парижем и Руаном, секунда человека, трехтысячная секунда двадцатого часа двадцать пятого дня сентября 1938 года. Потерянная секунда, прокатившаяся за Шарлем и Катрин в теплом поле, между рельсами, покинутая Морисом в опилках темного и прохладного кафе, плывущая в кильватере пассажирского парохода компании Паке, зацепленная в озерце свежих чернил, мерцающая и высыхающая в изгибах буквы «М» в слове «Матье», пока перо царапает бумагу и рвет ее, пока Даладье, погрузившись в сиденье, посасывает потухшую сигарету, глядя на пешеходов. Ему чертовски наскучило пребывание в Лондоне; он упорно переводил взгляд на дверцу, чтобы не видеть мерзкую рожу Бонне и замкнутое лицо этого выблядка англичанина; он думал: «Они не отдают себе во всем этом отчета!» Даладье увидел женщину без шляпы, хохотавшую, широко раскрыв рот. Все они равнодушно смотрели на автомобиль, двое или трое кричали «Ура!», но они решительно не отдавали себе ни в чем отчета, они не понимали, что эта машина везет на Даунинг-стрит войну и мир, войну или мир, орел или решка, да, этот черный автомобиль, который, сигналя, катал по лондонской дороге. Даниель писал. Капитан остановился перед дверью в салон первого класса, он читал: «Сегодня вечером, в двадцать один час, женский оркестр «Малютки» даст камерный концерт в салоне первого класса. Любезно приглашаются все пассажиры, без различия классов». Он затянулся трубкой и подумал: «Слишком уж она худа». Как раз в этот момент он уловил теплый аромат, он услышал легкий шум крыльев, это была Мод, он обернулся; в Мадриде заходящее солнце золотило разрушенные фасады Университетского городка; Мод смотрела на него, он шагнул,

марокканец полз между развалинами, бельгиец прицелился в него, Мод и капитан смотрели друг на друга. Марокканец поднял голову и увидел бельгийца; они пристально смотрели друг на друга, потом Мод, сухо улыбнувшись, отвернулась, бельгиец нажал курок, марокканец умер, капитан шагнул к Мод, но затем подумал: «Слишком уж она худа». И остановился. «Сукин сын», — сказал бельгиец. Он посмотрел на мертвого марокканца и повторил: «Сукин сын!»

— Ладно, — сказал Гомес. — А Марсель? Сара мне сказала, что между вами все кончено.

— Все кончено, — согласился Матье. — Она вышла замуж за Даниеля.

— Даниеля Серено? Странно, — промолвил Гомес. — Но так или иначе, вы свободны.

— Свободен? — удивился Матье. — Свободен от чего?

— Марсель вам не подходила, — сказал Гомес.

— Да нет же! — возразил Матье. — Вовсе нет!

Покрытые белыми скатертями, столы полукругом обрамляли песчаную, усыпанную сосновыми иглами площадку. «Провансаль» был пуст. Только какой-то господин ел куриное крылышко, запивая водой «Виши». Музыканты вяло поднялись на эстраду, сели, двигая стульями, и зашептались между собой, настраивая инструменты; еще можно было различить море, чернеющее между сосен. Матье вытянул под столом ноги и выпил глоток портвейна. В первый раз за неделю ему было хорошо и спокойно, как дома; он разом подобрался, он был целиком в этом странном месте, наполовину частном салоне, наполовину священной роще. Сосны казались вырезанными из картона, маленькие розовые лампочки посреди мягкой природной темноты отбрасывали на скатерть интимный свет; в деревьях зажегся прожектор и вдруг выбелил площадку, которая показалась сделанной из цемента. Но над их головами была пустота, и в небе замерли звезды, как непонятные озабоченные зверьки; пахло смолой, морской ветер, резвый и неспокойный, как страдающая душа, раскачивал скатерти и будто касался шеи куцей мордочкой.

— Поговорим лучше о вас, — сказал Матье. Гомес, казалось, удивился:

— Неужели с вами ничего больше не произошло?

— Ничего, — подтвердил Матье.

— За два года?

— Абсолютно ничего. Вы меня нашли таким же, каким оставили.

— Чертовы французы! — рассмеялся Гомес. — Все вы какие-то вечные.

Саксофонист хихикал, скрипач что-то шептал ему на ухо. Руби наклонилась к Мод, которая настраивала свою скрипку.

— Посмотри на старика во втором ряду, — сказала она. Мод прыснула: старик был лыс, как бильярдный шар.

Ее взгляд пробежал по аудитории, публики было человек пятьсот. Она увидела Пьера, стоящего у двери, и перестала смеяться. Гомес с мрачным видом посмотрел на скрипача и бросил взгляд на пустые стулья.

— Что касается маленького спокойного уголка, думаю, лучше и не бывает, — покорно сказал он.

— Здесь есть музыка, — сказал Матье.

— Слышу, — сказал Гомес. — Очень даже слышу.

Он осуждающе посмотрел на музыкантов. Мод читала осуждение во всех глазах, щеки ее горели, как всегда, она думала: «Боже мой, зачем? Зачем?» Но стоящая рядом Франс, пенистая и трехцветная, выказывала все признаки радости, она отбивала заранее такт, смычок она держала, отставив мизинец, как будто это была вилка.

— Вы мне обещали женщин, — сказал Гомес.

— Да! — огорченно согласился Матье. — Не знаю, что произошло: на прошлой неделе в это же время все столики были заняты и, клянусь вам, тут были женщины.

— Это из-за текущих событий, — тихо сказал Гомес.

— Безусловно.

События; для каждого — свои: для них там тоже существуют «события». Они сражаются, прижавшись спиной к Пиренеям, их лица обращены к Валенсии, к Мадриду, к Таррагоне; но и они читают газеты и думают обо всем этом кишении людей и оружия за их спиной, и они имеют свою точку зрения на Францию, Чехословакию, Германию. Он заерзал на стуле: рыба подплыла к стенке аквариума и посмотрела на него круглыми глазами. Он заговорщицки ухмыльнулся Гомесу и неуверенно сказал:

— Люди начинают понимать.

— Они совершенно ничего не понимают, — возразил Гомес. — Испанец может понять, чех тоже, может быть, даже немец, потому что они в деле. Французы над схваткой; они ничего не понимают, они только боятся.

Матье почувствовал себя уязвленным, он живо возразил:

— Их нельзя в этом упрекать. Мне терять нечего, и меня не так уж расстраивает перспектива ввязаться в войну: ничто меня не держит. Но если сильно чем-то дорожишь, думаю, не так уж легко перескочить от мира к войне.

— Я это сделал за час, — проговорил Гомес. — Думаете, я не дорожил своей живописью?

— Вы — другое дело, — сказал Матье. Гомес пожал плечами.

— Вы говорите, как Сара.

Они замолчали. Матье не так уж уважал Гомеса. Меньше, чем Брюне, меньше, чем Даниеля. Но он чувствовал себя перед ним виноватым, потому что тот был испанец. Матье вздрогнул. Рыба у стенки аквариума. А он чувствовал себя французом под этим бесстрастным взглядом, французом до мозга костей. Виноватым. Виноватым французом. Ему хотелось сказать ему: «Но черт возьми! Я был за вмешательство в войну в Испании». Но вопрос был не в этом. То, чего он желал, в счет не шло. Он был француз, и ничего бы не дало, выпади он из числа других французов. Я был против вмешательства в испанские дела, я не посылал оружия, я перекрывал границы волонтерам. Он мог либо быть прав вкупе со всеми, либо виноват так же, как этот метрдотель и геморроидальный господин, пьющий «Виши».

— Как это ни глупо, — сказал он, — но я почему-то думал, что вы придете в форме.

Гомес улыбнулся:

— В форме? Вы хотите видеть меня в форме?

Он вынул из бумажника пачку фотографий и стал их поочередно протягивать Матье.

— Се человек.

Матье разглядывал сурового офицера на ступеньках церкви.

— У вас тут не слишком покладистый вид.

— Так нужно, — отчеканил Гомес. Матье посмотрел на него и рассмеялся.

— Это шутка, — сказал Гомес.

— Да я не из-за этого, — сказал Матье. — Просто подумал: неужели и у меня будет такой же жуткий вид в форме.

— Вы офицер? — с интересом спросил Гомес.

— Нет. Простой солдат.

Гомес раздраженно дернул плечами:

— Все французы простые солдаты.

— А все испанцы — генералы, — живо заметил Матье. Гомес добродушно засмеялся.

— Посмотрите-ка на эту, — сказал он, протягивая ему фотографию.

Это была совсем молодая девушка, загорелая и мрачноватая. Очень красивая. Гомес обнимал ее за талию и улыбался с залихватским видом, который он всегда напускал на себя, позируя перед фотообъективом.

— Марс и Венера, — сказал он.

— Узнаю вас, — сказал Матье. — Скажите, давно вы предпочитаете таких молоденьких?

— Этой пятнадцать, но на войне они быстро взрослеют. А вот я в бою.

Матье увидел маленького человека, съежившегося под частью разрушенной стены.

— Где это?

— В Мадриде. В Университетском городке. Там еще сражаются.

Он сражался. Он действительно лежал за стеной, и в него стреляли. В то время он был еще капитаном. Может, ему не хватало патронов, и он думал: «Подлые французы». Гомес, откинувшись на стуле, заканчивал пить портвейн, затем неторопливо взял спичечный коробок, зажег сигарету, его благородное и гротескное лицо возникло из тени и тут же погасло. Он сражался; но в его глазах это не запечатлелось. Наступающая ночь обволакивала его нежностью, лицо его голубело над розовой лампой, оркестр играл «No te quiero mas»[46], ветер нежно колыхал скатерть, вошла женщина, богатая и одинокая, и села недалеко от них, они ощутили запах ее духов. Гомес глубоко вдохнул его, раздувая ноздри, черты его лица стали тверже, он с ищущим видом повернул голову.

— Справа, — сказал Матье.

Гомес остановил на ней волчий взгляд и мгновенно стал серьезным. Он сказал:

— Красивая баба.

— Она актриса, — сказал Матье. — У нее дюжина пляжных пижам. Ее содержит промышленник из Лиона.

— Гм! — хмыкнул Гомес.

Она ответила на его взгляд и, вскользь улыбнувшись, отвернулась.

— Что ж, для вас вечер не будет потерян, — сказал Матье.

Гомес не ответил. Он положил руку на скатерть, Матье смотрел на его волосатые пальцы в кольцах, розовые в свете лампы. Итак, он здесь, голубой с розовыми руками, он вдыхает аромат блондинки, он завлекает ее взглядом. Он сражался. За его спиной — опаленные города, завихрения красной пыли, облезлые конские крупы, взрывы снарядов, не оставившие ни малейшего отблеска в его глазах. Он сражался; он снова будет сражаться, а здесь он видит те же белые скатерти, которые вижу я. Матье попытался увидеть сосны, площадку, женщину глазами Гомеса, этими глазами, опаленными пламенем войны; ему это на мгновение удалось, но тут же беспокойная и внезапная терпкость, пронзившая его, исчезла. Он сражался, он… он такой романтичный! «Я же не романтичен», — подумал Матье. «Нет, — сказала Одетта, — только два прибора, месье Матье не придет к ужину». Она подошла к открытому окну, она слышала музыку из «Провансаля», это было танго. Они слушали музыку; Матье думал: «Он проездом». Официант принес им суп. «Нет, — сказал Гомес, — не хочу супа». «Малютки» играли «Кошачье танго»; скрипка Франс выпрыгивала в полосу света и внезапно ныряла в тень, как летающая рыба. Франс улыбалась, полузакрыв глаза, она ныряла за скрипкой, смычок царапал, скрипка мяукала, Мод слышала, как у ее уха мяукает скрипка, она услышала кашель лысого господина, Пьер смотрел на нее, Гомес засмеялся, вид у него был недобрый.

— Танго, — сказал он, — танго! Если бы французы вздумали вот так играть танго в мадридском кафе…

— Их бы забросали печеными яблоками? — спросил Матье.

— Камнями! — сказал Гомес.

— Нас там не очень любят? — спросил Матье.

— Еще бы! — воскликнул Гомес.

Он толкнул дверь: «Баскский бар» был пуст. Однажды вечером Борис зашел туда, клюнув на название: Bar basque — на слух оно («барбаск») было похоже на слово «бар-бак», что означает «тухлятина», и это вызывало у него смех. Потом оказалось, что бар был совершенно замечательный, и Борис приходил туда каждый вечер, пока Лола работала. Через открытые окна доносилась далекая музыка казино; однажды он даже подумал, что узнал голос Лолы, но это больше не повторилось.

— Здравствуйте, месье Борис, — сказал хозяин.

— Здравствуйте, — отозвался Борис. — Дайте мне белого рома.

Он чувствовал себя безмятежно. Он решил, что выпьет две порции белого рома, покуривая трубку; затем, ближе к одиннадцати, съест сандвич с колбасой. Около полуночи он пойдет за Лолой. Хозяин склонился над ним и наполнил его бокал.

— Марсельца нет? — спросил Борис.

— Нет, — сказал хозяин. — У него профессиональный банкет.

— А-а! Простите!

Марселец был агентом по сбыту корсетов, был также и другой по имени Шарлье, наборщик. Борис иногда играл с ними в белот, иногда они говорили о политике или о спорте или же сидели молча, кто у стойки, кто за столиком; время от времени Шарлье нарушал молчание и ронял: «Да! Да! Да! Это так», покачивая головой, и время проходило приятно.

— Сегодня мало людей, — сказал Борис. Хозяин пожал плечами.

— Все удирают. Обычно мы открыты до Праздника всех святых, — сказал он, возвращаясь к стойке. — Но если так будет продолжаться, я закрою первого октября и тоже смотаюсь.

Борис перестал пить и замер. Как бы то ни было, контракт Лолы заканчивался первого октября, они уже уедут. Но ему было неприятно думать, что «Баскский бар» закроется сразу после них. Казино тоже закроется, как и все отели, Биарриц опустеет. Это как перед смертью: если точно знаешь, что другие после тебя будут еще пить белый ром, принимать морские ванны, слушать джазовые мелодии, то бывает не так грустно; но если понимаешь, что после тебя все в одночасье умрут и человечество закроет свою лавочку, то неизбежно впадешь в отчаяние.

— Когда вы снова откроетесь? — спросил Борис, чтобы хоть отчасти успокоиться.

— Если будет война, — сказал хозяин, — мы не откроемся вообще.

Борис посчитал на пальцах: «двадцать шестое, двадцать седьмое, двадцать восьмое, двадцать девятое, тридцатое, я сюда приду еще пять раз, а потом все будет кончено; я больше никогда не вернусь в «Баскский бар». Это было забавно. Пять раз. Он еще пять раз будет пить за этим столиком белый ром, а потом начнется война, «Баскский бар» закроется, а в октябре тридцать девятого года Борис будет мобилизован. Свечеобразные лампы бросали из дубовых люстр янтарно-рыжий свет на столы. Борис подумал: «Никогда больше я не увижу такого света. Именно такого: рыжего на черном». Естественно, он увидит много другого, ночные взрывы над полем брани, говорят, это неплохо, но этот свет потухнет первого октября, и Борис его больше никогда не увидит. Он с уважением посмотрел на светлое пятно, расположившееся на столе, и подумал, что когда-то совершил ошибку. Он всегда относился к предметам, как к вилкам и ложкам, будто они бесконечно возобновимы: это было глубокое заблуждение; существует определенное число баров, кинотеатров, домов, городов и деревень, и в каждом из них определенный человек может побывать строго определенное число раз.

— Хотите, я включу радиоприемник? — предложил хозяин. — Это разгонит вашу скуку.

— Нет, спасибо, — отказался Борис. — И так хорошо.

В момент своей смерти в сорок втором году он позавтракает триста шестьдесят пять помножить на двадцать два — ровно восемь тысяч тридцать раз, с учетом кормления в грудном возрасте. И если предположить, что он ел омлет один раз из десяти, то он съест восемьсот три омлета. «Только восемьсот три омлета? — удивился он. — А, ней Есть еще и ужины, это составляет шестнадцать тысяч шестьдесят завтраков и ужинов, из которых тысяча шестьсот шесть — омлетов. Как бы то ни было, для любителя это не так много. «А кафе, — продолжал он. — Можно посчитать число заказов в кафе; предположим, что я хожу туда дважды в день и что я буду мобилизован через год, получается семьсот тридцать раз. Семьсот тридцать раз! Как это мало». Это все же произвело на него

впечатление, но он был не особенно удивлен: он всегда знал, что умрет молодым. Он всегда говорил себе, что его убьет либо туберкулез, либо Лола. Но в глубине души он никогда не сомневался, что погибнет на войне. Он учился, готовил экзамен на степень бакалавра и свой лиценциат, но это было, скорее, времяпрепровождение, как у девушки, которая ходит на лекции в Сорбонну в ожидании замужества. «Забавно, — подумал он, — были времена, когда люди изучали право или проходили конкурс на замещение должности преподавателя философии, рассчитывая, что в сорок лет у них будет нотариальная контора, а в шестьдесят-пенсия. Что могло твориться у таких людей в голове? Люди, перед которыми были десять тысяч, пятнадцать тысяч вечеров в кафе, четыре тысячи омлетов, две тысячи ночей любви! И если они покидали место, которое им нравилось, они вполне могли сказать себе: «Мы сюда вернемся в следующем году или через десять лет». Они, должно быть, наделали глупостей, — сурово решил он. — Нельзя управлять своей жизнью с расстояния в сорок лет». Он же был скромен: у него были планы на два года, потом все будет кончено. Следует быть непритязательным. По Голубой реке медленно проплыла джонка, и Борис вдруг опечалился. Он никогда не поедет ни в Индию, ни в Китай, ни в Мехико, ни даже в Берлин, его жизнь была скромнее, чем он желал. Несколько месяцев в Англии, Лаоне, Биаррице, Париже — а сколько таких, что совершили кругосветное путешествие. Одна-единственная женщина. Совсем короткая жизнь; у нее уже был законченный вид, потому что заранее известно все, чего в ней никогда не будет. Нужно быть скромным. Он выпрямился, выпил глоток рома и подумал: «Так лучше — меньше шансов растратиться».

— Еще рома!

Филипп поднял голову и стал старательно рассматривать электрические лампочки. Напротив него над зеркалом пробили часы; он видел в зеркале свое лицо. Девять сорок пять, он подумал: «В десять часов!» и позвал официантку.

— Повторить.

Официантка ушла и вернулась с бутылкой коньяка и блюдцем. Она налила коньяку в рюмку Филиппа и положила блюдце на три других. Она насмешливо улыбалась, но Филипп трезво смотрел ей прямо в глаза; он уверенно взял рюмку и поднял ее, не пролив ни

капли; потом отпил глоток и поставил рюмку, продолжая пристально смотреть на официантку.

— Сколько?

— Вы хотите расплатиться? — спросила она.

— Да, сейчас же.

— Что ж, двенадцать франков.

Он дал ей двенадцать франков и отослал ее жестом. Он подумал: «Все, я больше никому ничего не должен!» Он хохотнул, прикрывшись рукой. И еще раз подумал: «Никому!» Он увидел свое смеющееся лицо в зеркале и засмеялся еще пуще: при десятом ударе часов он встанет, отнимет свое изображение у зеркала, и начнется его мученичество. Сейчас ему было, скорее, весело, он рассматривал ситуацию по-дилетантски. Кафе было гостеприимным, это была «Капуя», скамейка была мягкой, как пуховый матрац, он погрузился в нее, из-за стойки доносились музыка и звон посуды, напоминавший ему колокольчики коров в Зелисберге. Он видел себя в зеркале, он мог бы и дальше сидеть здесь, смотреть на себя и слушать эту музыку целую вечность. В десять часов. Он встанет, возьмет руками свое изображение, вырвет его из зеркала, как бельмо из глаза. Он увидит

Зеркала после удаления катаракт…

катаракт дня,

в зеркалах, избавленных от катаракт. Или же:

День низвергался в катаракту зеркала, избавленного от катаракты. Или еще:

Ниагара дня в катаракте зеркала, избавленного от катаракты.

Слова рассыпались в порошок, он уцепился за холодный мрамор, ветер уносит меня, во рту застоялся липкий вкус спиртного. МУЧЕНИК. Он посмотрел на себя в зеркало, он подумал, что смотрит на мученика; он улыбнулся себе и отдал честь. «Без десяти десять, ха! — с удовлетворением подумал он. — Время мне кажется долгим». Пройденные пять минут, вечность. Еще две вечности без движения, без мысли, без страдания, в созерцании истощенного лица мученика, потом время, мыча, низвергнется в такси, в поезд, до Женевы.

Атараксия.

Ниагара времени.

Ниагара дня.

В зеркалах, избавленных от катаракт. Я уезжаю на такси В Гобург, в Бибракт. А там неизбежен акт, Неоспоримый факт — Избавление от катаракт.

Он засмеялся, потом осекся, огляделся, кафе пахло вокзалом, поездом, больницей; ему хотелось позвать на помощь. Семь минут. «Что было бы более революционным? Уехать или остаться? Если я уеду, то совершу революцию против других; если останусь, то совершу ее против себя, а это посильнее. Все подготовить, украсть, заказать фальшивые документы, оборвать все связи, а потом, в последний момент, все отменяется, добрый вечер! Свобода второй степени; свобода, побеждающая свободу». Без трех минут десять он решил разыграть свой отъезд в орел или решку. Он четко видел большой зал вокзала Орсэ, пустынный и сверкающий от света, лестницу, уходящую под землю в дыму локомотивов, у него был во рту привкус дыма; он взял монету в сорок су, если орел — уезжаю; он бросил ее вверх — орел, уезжаю! Орел, уезжаю. Что ж, уезжаю! — сказал он своему изображению. — Не потому что я ненавижу войну, не потому что я ненавижу свою семью, даже не потому, что я решил уехать: по чистой случайности, потому что монета легла на одну сторону, а не на другую. «Восхитительно, — подумал он, — я в наивысшей точке свободы. Дармовой мученик; если бы она видела, как я подбрасываю монету! Еще минута. Монета, вместо игральной кости! Динь, никогда, динь, динь, выброс, динь, костей, динь, динь, не уни, динь, динь, чтожит, динь, динь, случая. Динь!» Он встал, он шел прямо, он ставил ступни одну за другой на бороздки паркета, он чувствовал взгляд официантки на своей спине, но он не даст ей повода посмеяться. Она его окликнула:

— Месье!

Он, вздрогнув, обернулся.

— Ваш чемоданчик.

Черт! Филипп бегом пересек зал, схватил чемоданчик и, споткнувшись, с трудом достиг двери под хохот присутствующих, выскочил и позвал такси. В левой руке он держал чемоданчик, в правой сжимал монету в сорок су. Машина остановилась перед ним.

— Адрес?

Шофер был усат и с бородавкой на щеке.

— Улица Пигаль, — сказал Филипп. — В «Кубинскую хижину».

— Мы проиграли войну, — сказал Гомес.

Матье это знал, но думал, что Гомес этого еще не понимает. Оркестр играл «I'm looking for Sally»[47], под лампой блестели тарелки, и свет прожекторов падал на площадку, как чудовищный лунный свет — реклама для Гонолулу. Гомес сидел здесь, лунный свет лежал справа от него, слева ему слегка улыбалась женщина; скоро он вернется в Испанию, хотя знает, что республиканцы уже проиграли войну.

— Вы не можете быть в этом уверены, — сказал Матье. — Никто не может быть в этом уверен до конца.

— Нет, — возразил Гомес. — Мы в этом уверены. Казалось, он не грустил: он просто констатировал факт, вот и все. Он спокойно и открыто посмотрел на Матье и сказал:

— Все мои солдаты уверены, что эта война проиграна.

— И тем не менее, они сражаются? — спросил Матье.

— А что им, по-вашему, делать? Матье пожал плечами.

— Конечно, сражаться.

Я беру свой бокал, я пью два глотка «шато-марго», мне говорят: «Они сражаются до последнего, им ничего другого не остается, я пью глоток «шато-марго», пожимаю плечами и говорю: «Конечно, сражаться». Подонок.

— Что это? — спросил Гомес.

— Турнедо[48] Россини, — сказал метрдотель.

— Ах, да! — сказал Гомес. — Давайте.

Он взял у него блюдо из рук и поставил на стол.

— Неплохо, — сказал он. — Неплохо.

Турнедо на столе; один для него, один для меня. Он имеет право смаковать свой, раздирать его красивыми белыми зубами, он имеет право смотреть на красивую женщину слева и думать: «Красивая шлюха!» Я же — нет. Если я ем, сотня мертвых испанцев вцепляется мне в горло. Я за это не заплатил.

— Пейте! — сказал Гомес. — Пейте!

Он взял бутылку и наполнил бокал Матье.

— Только ради вас, — со смешком сказал Матье. Он взял бокал и выпил до дна. Турнедо вдруг оказался у него в тарелке. Он взял вилку и нож.

— Раз так хочет Испания… — прошептал он.

Гомес, казалось, его не слышал. Он налил себе бокал «шато-марго», выпил и улыбнулся:

— Сегодня турнедо, завтра — турецкий горох. Сегодня мой последний вечер во Франции, — сказал он. — И единственный хороший ужин.

— Разве? — удивился Матье. — А в Марселе?

— Сара — вегетарианка.

Он смотрел прямо перед собой, вид у него был симпатичный. Он сказал:

— Когда я уезжал в отпуск, в Барселоне уже три недели не было табака. Вам это ни о чем не говорит — целый город без курева?

Он обратил взгляд на Матье и, казалось, увидел его впервые. Его взгляд снова стал неприязненным.

— Вы все это еще узнаете, — сказал он.

— Не обязательно, — возразил Матье, — войны еще можно избежать.

— Конечно! — сказал Гомес. — Войны всегда можно избежать.

Он усмехнулся и добавил:

— Достаточно бросить чехов на произвол судьбы.

«Нет, старина, — подумал Матье, — нет, старина! Испанцы могут давать мне урок относительно Испании, это их право. Но для чешских уроков требуется присутствие чеха».

— Скажите честно, Гомес, — спросил он, — нужно ли их поддерживать? Еще не так давно коммунисты требовали автономии для судетских немцев.

— Нужно ли их поддерживать? — спросил Гомес, передразнивая Матье. — Нужно ли было нас поддерживать? Нужно ли было поддерживать австрийцев? А кто поддержит вас, когда наступит ваш черед?

— Речь идет не о нас, — сказал Матье.

— Речь идет о вас, — сказал Гомес. — О ком же еще мы говорим?

— Гомес, — сказал Матье, — ешьте турнедо. Я прекрасно понимаю, что вы нас всех ненавидите. Но сегодня ваш последний вечер отпуска, мясо стынет на тарелке, вам улыбается женщина, и кроме всего прочего, я был за вмешательство.

Гомес спохватился.

— Знаю, — улыбаясь, сказал он, — знаю-знаю.

— И потом, согласитесь, — продолжал Матье, — в Испании ситуация была ясной. Но ваши разговоры о Чехословакии менее убедительны, и я вижу здесь гораздо меньше ясности. Есть вопрос права, который мне не удается разрешить: допустим, судетские немцы действительно не хотят быть чехами?

— Оставьте вопросы права, — сказал Гомес, пожимая плечами. — Вы ищете конкретную причину для войны? Есть только одна: если вы не будете воевать, вам хана. Гитлеру нужна не Прага, не Вена, не Данциг — ему нужна вся Европа.

Даладье посмотрел на Чемберлена, затем на Галифакса, потом отвел глаза и взглянул на позолоченные часы на консоли; стрелки показывали десять часов тридцать шесть минут; такси остановилось перед «Кубинской хижиной». Жорж повернулся на спину и слегка застонал, храп соседа мешал ему спать.

— Я могу, — сказал Даладье, — только повторить то, что уже заявлял: французское правительство взяло на себя обязательства[49] по отношению к Чехословакии. Если правительство Праги отвергнет немецкие предложения, и если, вследствие этого отказа, оно станет жертвой агрессии, французское правительство будет считать себя обязанным выполнить свои обязательства.

Он кашлянул, посмотрел на Чемберлена и подождал.

— Да, — сказал Чемберлен. — Да, разумеется.

Казалось, он был расположен добавить еще несколько слов; но слова не прозвучали. Даладье ждал, чертя носком туфли круги на ковре. Наконец он поднял голову и усталым голосом спросил:

— Какой будет при такой ситуации позиция британского правительства?

Франс, Мод, Дусетта и Руби встали и поклонились. В первых рядах раздались вялые аплодисменты, и тут же толпа направилась к выходу, с шумом двигая стульями. Мод поискала взглядом Пьера, но он исчез. Франс повернулась к ней, у нее горели щеки, она улыбалась.

— Хороший вечер, — сказала она. — По-настоящему хороший вечер.

Война была здесь, на белой площадке, она была мертвым сверканием искусственного лунного света, фальшивой горечью заткнутой трубы, этим холодом на скатерти, в запахе красного вина и этой затаившейся старости в чертах Гомеса. Война; смерть;

поражение. Даладье смотрел на Чемберлена, он читал в его глазах войну, Галифакс смотрел на Бонне[50], Бонне смотрел на Даладье; они молчали, а Матье видел войну в своей тарелке, в темном, покрытом глазками соусе турнедо.

— А если мы тоже проиграем войну?

— Тогда Европа будет фашизирована, — с легкостью сказал Гомес. — А это неплохая подготовка к коммунизму.

— Что станет с вами, Гомес?

— Думаю, что полицейские убьют меня в меблирашках, или же я отправлюсь бедствовать в Америку. Какая разница? Я буду жить.

Матье с любопытством посмотрел на Гомеса.

— И вы ни о чем не жалеете? — спросил он.

— Абсолютно.

— Даже о живописи?

— Даже о живописи.

Матье грустно покачал головой. Ему нравились картины Гомеса.

— Вы писали красивые картины, — сказал он.

— Я никогда больше не смогу рисовать.

— Почему?

— Не знаю. Физически. Я потерял терпение; это мне будет казаться скучным.

— Но на войне тоже нужно быть терпеливым.

— Это совсем другое терпение.

Они замолчали. Метрдотель принес на оловянном блюде блинчики, полил их ромом и кальвадосом, затем поднес к блюду зажженную спичку. Призрачный радужный огонек на мгновение закачался в воздухе.

— Гомес! — вдруг сказал Матье. — Вы сильный; вы знаете, за что сражаетесь.

— Вы хотите сказать, что вы этого не знаете?

— Да. Хотя думаю, что знаю. Но я думаю не о себе. Есть люди, у которых ничего, кроме собственной жизни нет, Гомес. И никто ничего для них не делает. Никто. Никакое правительство, никакой режим. Если фашизм заменит во Франции республику, они этого даже не заметят. Возьмите пастуха из Севенн — вы думаете, он знает, за что сражается?

— У нас именно пастухи самые ярые, — сказал Гомес.

— За что они сражаются?

— Кто за что. Я знал одного — так он сражался, чтобы научиться читать.

— Во Франции все умеют читать, — сказал Матье. — Если я встречу в своем полку пастуха из Севенн и если увижу, что он умирает рядом со мной, чтобы сохранить для меня республику и гражданские свободы, клянусь, я не буду этим гордиться. Гомес! Разве вам не бывает стыдно, что эти люди умирают за вас?

— Это меня не смущает, — ответил Гомес. — Я рискую жизнью не меньше их.

— Генералы умирают в своих постелях.

— Я не всегда был генералом.

— Все равно это не одно и то же.

— Я их не жалею, — сказал Гомес. — У меня нет к ним жалости. — Он протянул руку над скатертью и схватил Матье за локоть. — Матье, — добавил он тихо и медленно, — война — это прекрасно.

Его лицо пылало. Матье попытался высвободиться, но Гомес с силой сжал его локоть и продолжал:

— Я люблю войну.

Говорить больше было нечего. Матье смущенно засмеялся, и Гомес отпустил его руку.

— Вы произвели большое впечатление на нашу соседку, — заметил Матье.

Гомес сквозь красивые ресницы бросил взгляд налево.

— Да? — сказал он. — Что ж, будем ковать железо, пока горячо. Здесь танцуют?

— Ну да.

Гомес встал, застегивая пиджак. Он направился к актрисе, и Матье увидел, как он склонился над ней. Она от-бросила назад голову и, смеясь, посмотрела на него, затем они отошли чуть в сторону и начали танцевать. Филипп тоже танцевал; от его партнерши совсем не пахло негритянкой, она, должно быть, была с Мартиники. Филипп думал: «Мартиниканка», а на язык пришло слово «Малабарка»[51]. Он прошептал:

— Моя прекрасная малабарка. Она ответила:

— Вы прекрасно танцуете.

В ее голосе слышалась музыка флейты, это было по-своему приятно.

— А вы прекрасно говорите по-французски, — сказал он.

Она возмущенно посмотрела на него:

— Я родилась во Франции!

— Это ничего не значит, — сказал он. — Вы все равно хорошо говорите по-французски.

Он подумал: «Я пьян» и засмеялся. Она беззлобно сказала ему:

— Вы совсем пьяны.

— Ага, — согласился он.

Он больше не чувствовал усталости; он был готов танцевать до утра; но он решил переспать с негритянкой, это было важнее. То, что было особенно отрадно в опьянении, так это власть над предметами, которую оно давало. Не было необходимости трогать их: просто взгляд — и ты ими владеешь; он владел этим лбом, этими черными волосами; он ласкал свои глаза этим гладким лицом. Дальше все становилось туманным; был толстый господин — он пил шампанское, а потом люди, которые сгрудились все разом и которых он едва различал. Танец закончился; они направились к столику.

— Вы хорошо танцуете, — сказала она. — У такого красавчика, как вы, наверняка было много женщин.

— Я девственник, — ответил Филипп.

— Врунишка! Он поднял руку:

— Клянусь вам, я девственник. Клянусь жизнью матери.

— Да? — разочарованно протянула она. — Значит, женщины вас не интересуют?

— Не знаю, — ответил он. — Посмотрим.

Он посмотрел на нее, он владел ею глазами, потом скорчил рожу и сказал:

— Я рассчитываю на тебя.

Она выдохнула ему в лицо дым от сигареты:

— Что ж, увидишь, на что я способна.

Он взял ее за волосы и притянул к себе; вблизи она, все же слегка пахла салом. Он легко поцеловал ее в губы. Она сказала:

— Девственник. Кажется, у меня крупный выигрыш!

— Выигрыш? — удивился он. — Бывает только проигрыш.

Он ее совсем не желал. Но он был доволен, потому что она была красива и не смущала его. Ему стало легко-легко, и он подумал: «Я умею говорить с женщинами». Он отпустил ее, она выпрямилась; чемоданчик Филиппа упал на пол.

— Осторожно! — сказал он. — Ты что, пьяна? Она подняла чемоданчик:

— Что там?

— Тш! Не трогай: это дипломатический чемоданчик.

— Я хочу знать, что там, — ребячливо настаивала она. — Дорогой, скажи, что там?

Он хотел вырвать у нее чемоданчик, но она его уже открыла. Она увидела пижаму и зубную щетку.

— Книжка! — удивилась она, открывая томик Рембо. — Что это?

— Это, — сказал он, — написал один человек, который уехал.

— Куда?

— Какая тебе разница? Уехал, и все.

Он взял книгу у нее из рук и положил ее в чемоданчик.

— Это поэт, — насмешливо пояснил он. — Так тебе понятней?

— Да, — ответила она. — Так нужно было сразу и сказать. Он закрыл чемоданчик, он подумал: «А я не уехал», и опьянение его разом прошло. «Почему? Почему я не уехал?» Теперь он очень хорошо различал толстого господина напротив: он был не такой уж толстый, и у него были внушающие робость глаза. Человеческие грозди сами по себе расклеились; тут были женщины, черные и белые; были и мужчины. Ему показалось, что на него все смотрят. «Зачем я здесь? Как я сюда попал? Почему я не уехал?» В его памяти был провал: он подбросил монету, взял такси, и вот теперь он сидит за столиком перед бокалом шампанского с негритянкой, попахивающей рыбьим клеем. Он рассматривал самого себя, как он подбрасывал монету, он пытался себя разгадать, он думал: «Я кто-то другой», он думал: «Я себя не знаю». Потом повернулся к негритянке. — Почему ты на меня смотришь? — спросила она.

— Просто так.

— Я, по-твоему, красивая?

— Да вроде ничего.

Она кашлянула, ее глаза сверкнули. Она приподняла зад и привстала, опираясь руками о стол.

— Если я, по-твоему, безобразная, я могу и уйти: мы не женаты.

Он порылся в кармане и вынул три смятых купюры по тысяче франков.

— На, возьми, — сказал он, — и оставайся.

Она взяла деньги, развернула их, разгладила и, смеясь, села.

— Противный мальчишка, — сказала она. — Противный-противный мальчишка.

Бездна стыда разверзлась прямо перед ним: ему оставалось только упасть в нее. Отхлестанный по щекам, побитый, изгнанный, даже не уехавший. Он склонился над пропастью, и у него закружилась голова. Стыд поджидал его на дне; ему только оставалось избрать для себя этот стыд. Он закрыл глаза, и вся усталость дня нависла на нем. Усталость, стыд, смерть. Избрать для себя стыд. «Почему я не уехал? Почему я не избрал для себя отъезд?» Он ощущал на плечах всю вселенную.

— Ты не больно-то разговорчив, — сказала она. Он коснулся пальцем ее подбородка.

— Как тебя зовут?

— Флосси.

— Но это же не малабарское имя.

— Я же тебе сказала, что родилась во Франции, — раздраженно сказала она.

— Я дал тебе три тысячи франков, Флосси. Ты хочешь, чтобы я с тобой еще и беседовал?

Она пожала плечами и отвернулась. Черная пропасть по-прежнему зияла, стыд ждал на самом дне. Он посмотрел на нее, склонился к ней, но внезапно все понял, и тревога сжала его сердце: «Это ловушка, если я в нее упаду, то стану сам себе противен. Навсегда». Он выпрямился и в бешенстве подумал: «Я не уехал, потому что был пьян!», и пропасть закрылась: он сделал выбор. «Я не уехал, потому что был пьян». Он прошел мимо стыда совсем рядом; он слишком испугался; но теперь он выбрал: никогда не стыдиться. Больше никогда.

— Представь себе, я должен был сесть на поезд. А вместо этого напился.

— Уедешь завтра, — добродушно сказала она. Он так и подскочил:

— Зачем ты мне это говоришь?

— А что такого? — удивилась она. — Когда опаздывают на поезд, садятся на следующий.

— Я вообще не поеду, — проговорил он, хмуря брови. — Я изменил решение. Знаешь, что такое знак?

— Знак? — переспросила она.

— Мир полон знаков. Все — знак. Нужно только уметь их разгадывать. Представь себе: человек должен был уехать, но напился и не уехал. Почему? Потому что так было нужно, Это знак: ему лучше остаться здесь.

Она покачала головой.

— Правда, — согласилась она. — То, что ты говоришь, правда.

Лучше здесь. Толпа на площади Бастилии, это там нужно выступить. На площади. Чтоб тебя разорвали на месте. Орфей. Долой войну/Кто сможет сказать, что я трус? Я пролью кровь за них всех, за Мориса и за Зезетту, за Питто, за генерала, за всех людей, чьи лапы меня разорвут на части. Он повернулся к негритянке и нежно посмотрел на нее: одна ночь, только одна ночь. Моя первая ночь любви. Моя последняя ночь.

— Ты красивая, Флосси. Она ему улыбнулась.

— А ты можешь быть милым, когда захочешь.

— Пошли танцевать, — сказал он ей. — Я буду милым до рассвета.

Они танцевали. Матье смотрел на Гомеса; он думал: «Его последняя ночь», и улыбался; негритянка любила танцевать, она танцевала, полузакрыв глаза; Филипп танцевал, думая: «Это моя последняя ночь, моя первая ночь любви». Ему больше не было стыдно; он устал, было жарко; завтра я пролью кровь за мир. Но заря была еще далеко. Он танцевал, ему было уютно, он чувствовал себя правым, он сам себе казался романтичным. Свет скользил вдоль перегородки; поезд замедлял ход, скрип, толчки, он остановился, свет залил вагон, Шарль зажмурился и выпустил руку Катрин.

— Ларош-Миженн! — крикнула медсестра. — Приехали.

— Ларош-Миженн? — удивился Шарль. — Но мы не проезжали Париж.

— Нас провезли другим путем, — сказала Катрин.

— Собирайте вещи! — крикнула сестра. — Сейчас вас будут выносить.

Бланшар вдруг проснулся:

— Что, что? Где мы?

Никто не ответил. Медсестра объяснила:

— Завтра снова сядем в поезд. А здесь мы переночуем.

— Болят глаза, — смеясь, сказала Катрин. — Это от света.

Шарль повернулся к ней, она смеялась, закрывая ладонью лицо.

— Собирайте вещи! — кричала медсестра. — Собирайте вещи.

Она склонилась над лысым мужчиной, его череп сверкал.

— Готово?

— Минутку, какого черта! — разозлился тот.

— Поторопитесь, — сказала она, — сейчас придут носильщики.

— Черт! — сказал он. — Можете забрать, вы мне отбили всю охоту.

Медсестра выпрямилась, в вытянутых руках у нее было судно, она перешагнула через тела и направилась к двери.

— Спокойствие! — сказал Шарль. — В бригаде их, может, только дюжина, а разгрузить надо двадцать вагонов. Когда еще они до нас доберутся!

— Если только не начнут с хвоста… Шарль поднял руку над глазами.

— Куда нас поместят? В залы ожидания?

— Думаю, да.

— Мне немного досадно покидать этот вагон. Я здесь как-то укоренился. А вы?

— Я тоже, — сказала Катрин. — С тех пор как… мы вместе…

— Вот они! — крикнул Бланшар.

В вагон зашли люди. Они были черными, потому что стояли спиной к свету. Их тени выделялись на перегородке; казалось, они заходили одновременно с двух сторон. Наступило молчание; Катрин прошептала:

— Я же вам сказала, что начнут с нас.

Шарль не ответил. Он увидел, как два человека склонились над больным, и сердце его сжалось. Жак спал, его нос что-то насвистывал, но она не могла спать; пока он не вернется, она не заснет. Прямо напротив своих ног Шарль увидел огромную тень, которая сложилась

вдвое, они уносили инвалида перед ним, потом моя очередь, ночь, дым, холод, качка, пустынные перроны, ему было страшно. Под дверью была полоска света, она услышала шум на первом этаже; это он. Она узнала его шаги на лестнице, и покой сошел на нее: «Он здесь, в нашем доме, он у меня есть». Еще одна ночь. Последняя. Матье открыл дверь, закрыл ее, отворил окно и захлопнул ставни, она услышала, как потекла вода. Он собирается спать. Там, за стеной, в нашем доме.

— Это за мной, — сказал Шарль. — Попросите их, чтобы они вас унесли сразу после меня.

Он сильно сжал ее руку, пока два носильщика наклонялись над ним, и его обдало перегаром.

— Гоп! — сказал носильщик позади него.

Шарль вдруг испугался и стал вертеть зеркало, пока его поднимали, он тщился рассмотреть, несут ли ее за ним, но видел только плечи носильщика и его голову, нахохленную, как у ночной птицы.

— Катрин! — крикнул он.

Ответа он не услышал. Он покачивался над порогом, носильщик сзади него о чем-то распоряжался, ноги Шарля опустились, ему показалось, что он падает.

— Осторожно! Осторожно! — сказал он.

Но он уже видел звезды на черном небе, было холодно.

— Ее несут за мной? — спросил он.

— Кого? — спросил носильщик с птичьей головой.

— Соседку. Это моя подруга.

— Женщинами займутся потом, — ответил носильщик. — Вас разместят в разных местах.

Шарль задрожал.

— Но я думал… — начал он.

— Вы что, хотите, чтоб они мочились прямо перед вами?

— Я думал… — сказал Шарль, — я думал… Он провел рукой по лбу и вдруг заголосил:

— Катрин! Катрин! Катрин!

Он раскачивался в их руках, он видел звезды, свет фонаря брызнул ему в глаза, потом снова звезды, потом опять фонарь, он снова закричал:

— Катрин! Катрин!

— Он что, ненормальный? — спросил носильщик сзади. — Вы замолчите или нет?

— Но я даже не знаю ее фамилии… — сказал Шарль прерывающимся от слез голосом. — Я потеряю ее навсегда.

Они поставили его на пол, открыли дверь, снова подняли его, он увидел зловещий желтый потолок, услышал, как снова закрылась дверь, он попал в ловушку.

— Мерзавцы! — сказал он, когда они ставили носилки на землю. — Мерзавцы!

— Ну, ты там, потише! — сказал субъект с птичьей головой.

— Ладно, — успокоил его другой. — Ты же видишь, у него котелок не варит.

Он услышал их удаляющиеся шаги, дверь открылась и закрылась.

— Вот и встретились, — услышал он голос Бланшара. В тот же миг Шарль получил струю воды прямо в лицо.

Но он молчал и застыл неподвижно, как покойник, широко открытыми глазами он смотрел в потолок, в то время как вода текла ему в уши и по шее. Она не хотела спать, она лежала неподвижно на спине в темной комнате. «Сейчас он ложится, скоро он уснет, а я охраняю его сон. Он сильный, он чистый, сегодня утром он узнал, что уходит на войну, и даже бровью не повел. Но теперь он безоружен: он будет спать, это его последняя ночь дома. Ах, — подумала она, — как он романтичен!»

Это была благоухающая теплая комната с атласным светом и цветами повсюду.

— Входите, — сказала она.

Гомес вошел. Он огляделся, увидел куклу на диване и подумал о Теруэле. Он там спал в такой же комнате с лампами, куклами и цветами, но без запаха и без потолка; посередине пола была дыра.

— Почему вы улыбаетесь?

— Здесь очаровательно, — ответил он. Она подошла к нему:

— Если комната вам нравится, можете приходить сюда, когда хотите.

— Я завтра уезжаю, — сказал Гомес.

— Завтра? Куда?

Она не сводила с него красивых невыразительных глаз.

— В Испанию.

— В Испанию? Значит…

— Да, — сказал он. — Я солдат в отпуске.

— И на чьей же вы стороне? — спросила она.

— А вы как думаете?

— На стороне Франко?

— Ну уж нет!

Она обвила руками его шею.

— Мой красивый солдат.

У нее было чудесное дыхание; он поцеловал ее.

— Всего одна ночь, — сказала она. — Это так мало. И именно тогда, когда я нашла мужчину, который мне нравится.

— Я вернусь, — сказал он. — Когда Франко выиграет войну…

Она еще раз поцеловала его и мягко высвободилась.

— Подожди меня. На столике есть джин и виски. Она открыла дверь туалетной комнаты и исчезла. Гомес подошел к столику и налил себе джина. Грузовики ехали, стекла дрожали. Сара внезапно проснулась и села на кровати. «Сколько же их? — подумала она. — Им нет конца». Тяжелые грузовики, уже с маскировкой, с серыми чехлами и зелеными и коричневыми полосами на капоте, они, должно быть, набиты людьми и оружием. Она подумала: «Это война», и заплакала. Катрин! Катрин! Два года у нее были сухие глаза; и когда Гомес сел в поезд, она не проронила ни слезинки. Теперь же слезы лились ручьем. Катрин! Спазмы приподняли ее, она упала на подушку, она плакала, кусая ее, чтобы не разбудить малыша. Гомес выпил глоток джина, джин ему понравился. Он прошелся по комнате и сел на диван. В одной руке он держал бокал, другой схватил за шею куклу и посадил себе на колени. Он слышал, как в туалетной комнате текла вода из крана, хорошо знакомое тепло поднималось вдоль его бедер, как две гладкие ладони. Он был счастлив, он выпил и подумал: «Я сильный». Грузовики ехали, стекла дрожали, текла вода из крана, Гомес думал: «Я люблю жизнь, я рискую жизнью, я жду смерти завтра, скоро, я ее не боюсь, я люблю роскошь, и я скоро познаю нищету и голод, я знаю, чего хочу, я знаю, за что сражаюсь, я командую, и мне подчиняются, я отказался ото всего, от живописи, от славы, и я доволен». Он вспомнил о Матье и подумал: «Не хотел бы я

быть на его месте». Она открыла дверь, под розовым халатом она была голой. Она сказала:

— Вот и я.

— Вот те и на! Черт! — сказала она.

Она провела в туалетной комнате полчаса, моясь и душась, потому что белые всегда не любят ее запах, она подошла к нему улыбаясь и раскрыв объятия, а он спал совсем голый на кровати, зарывшись головой в подушку. Она схватила его за плечо и яростно затрясла.

— Ты проснешься? — прошипела она. — Маленький паршивец, проснешься ты или нет?

Он открыл глаза и мутным взглядом посмотрел на нее. Он поставил бокал на этажерку, положил куклу на диван, неторопливо встал и обнял ее. Он был счастлив.

— Ты можешь это прочесть? — спросил Большой Луи. Служащий оттолкнул его.

— Ты в третий раз меня об этом спрашиваешь. Я тебе уже сказал: тебе надо в Монпелье.

— А где поезд на Монпелье?

— Он отправляется в четыре утра; пока еще не сформирован.

Большой Луи с беспокойством посмотрел на него:

— Как это? Что же мне делать?

— Сядь в зале ожидания и вздремни до четырех. У тебя есть билет?

— Нет, — сказал Большой Луи.

— Ну так пойди возьми. Нет, не сюда! Ну и осел! В кассе, олух.

Большой Луи подошел к кассе. Кассир в очках дремал в окошке.

— Эй! — сказал Большой Луи. Кассир вздрогнул.

— Мне надо в Монпелье, — сказал Большой Луи.

— В Монпелье?

У кассира был удивленный вид; он еще толком не проснулся. Подозрение, однако, закралось в душу Большого Луи.

— Здесь действительно написано Монпелье? Он показал свой военный билет.

— Монпелье, — подтвердил кассир. — Со скидкой с вас пятнадцать франков.

Большой Луи протянул ему сто франков той женщины.

— А теперь? — спросил он. — Что мне делать?

— Идите в зал ожидания.

— А когда поезд?

— В четыре утра. Вы что, не умеете читать?

— Нет, — сказал Большой Луи. Помешкав, он спросил:

— А правда, что будет война?

— Откуда мне знать? В расписании это не написано, так ведь?

Он встал и пошел в глубь кассы. Он делал вид, что смотрит бумаги, но через некоторое время сел, обхватил руками голову и снова погрузился в сон. Большой Луи огляделся, он хотел найти кого-нибудь, кто объяснил бы ему насчет войны, но зал был пуст. Большой Луи сказал себе: «Хорошо, пойду в зал ожидания». Он пересек зал, волоча ноги: ему хотелось спать, ляжки его болели.

— Отстань, я хочу спать, — простонал Филипп.

— Еще чего! — сказала Флосси. — Девственник! Нужно, чтоб ты прошел через все, что принесет мне счастье.

Он толкнул дверь и вошел в зал. Там было полно людей, спавших на скамейках, а на полу много чемоданов и мешков. Свет был унылый; в глубине стеклянная дверь открывалась в темноту. Он подошел к скамейке и сел между двух женщин. Одна из них спала с открытым ртом. Пот катился по ее щекам, оставляя розовые следы. Другая открыла глаза и посмотрела на него.

— Я призван, — объяснил Большой Луи. — Мне нужно в Монпелье.

Женщина живо отодвинулась и бросила на него полный осуждения взгляд. Большой Луи подумал, что она не любит солдат, но все же спросил:

— Разве будет война?

Она не ответила: откинув назад голову, она снова уснула. Большой Луи боялся уснуть. Он подумал: «Если я усну, то не проснусь». Он вытянул ноги; он бы охотно чего-нибудь пожевал, хлеб или колбасу, например; у него оставались деньги, но была ночь, все лавки закрыты. Он спросил себя: «Но с кем воюют?» Наверняка, с немцами. Может, из-за Эльзаса и Лотарингии? На полу у его ног валялась газета, он поднял ее, потом вспомнил о женщине, которая перевязала ему голову, и подумал: «Я не должен уезжать». Он сказал себе: «Ладно, но куда же мне деваться, у меня больше нет денег». Он

подумал: «В казарме меня будут кормить». Но он не любил казармы. Залы ожидания тоже. Вдруг ему стало грустно и сиротливо. Сначала его напоили и побили, а теперь отправляют в Монпелье. Он подумал: «Господи, я же ничего в этом не понимаю». Он сказал себе: «А все потому, что я не умею читать». Все эти спящие люди знали больше, чем он; они прочли газету, они знали, почему будет война. А он был совсем один в ночи, совсем один и такой ничтожный, он ничего не знал, ноте-го не понимал, как будто он вот-вот умрет. Он ощутил листок газеты у себя в руках. Там все написано. Они все написали: война, погода на завтра, цены, расписание поездов. Он развернул газету и посмотрел на нее. Он увидел тысячи черных точек, похоже на валики шарманки с дырками на бумаге, которые дают музыку, когда крутят ручку. Когда на них долго смотришь, кружится голова. Было еще и фото: опрятный, хорошо причесанный человек смеется. Большой Луи бросил газету и заплакал.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

Шестнадцать часов тридцать минут. Все смотрят в небо, я смотрю в небо. Дюмюр говорит: «Они не опаздывают». Он уже приготовил свой «кодак», он смотрит на небо, морщится от солнца. Самолет то черный, то блестящий, он увеличивается, но его шум не меняется: красивый полнозвучный шум, приятный на слух. Я говорю: «Не толкайтесь же!» Они все здесь и толкутся за мной. Я оборачиваюсь: они откидывают головы назад, они морщатся, они зеленые под солнцем, их тела непонятно дергаются, как у обезглавленных лягушек. Дюмюр говорит: «Придет день, когда мы вот так же будем смотреть в небо где-нибудь в поле, только мы будем одеты в хаки, а самолет будет «мессершмит». Я говорю: «Это будет не завтра — кишка у них тонка». Самолет описывает круги в небе, он опускается, опускается, касается земли, поднимается, еще раз касается, бежит по траве, подпрыгивая, и останавливается. Мы бежим к самолету, нас пятьдесят человек, Сарро, согнувшись пополам, бежит впереди нас; здесь же десяток господ в котелках, которые, выворачивая ноги, бегут по газону, все останавливаются, самолет замер, мы молча смотрим на него, дверца кабины все еще закрыта, можно подумать, что внутри все вымерли. Человек в голубой рабочей блузе подвозит трап к самолету, дверца открывается, какой-то человек спускается по трапу, потом другой, а за ним — Даладье. Сердце мое бешено колотится. Даладье поднимает плечи и опускает голову. Сарро приближается к нему, я слышу, как он спрашивает:

— Ну что?

Даладье вынимает руку из кармана и неопределенно взмахивает ею. Опустив голову, он идет вперед, свора бросается к нему и перекрывает ему дорогу. Я не двигаюсь, я знаю, что он ничего не скажет. Генерал Гамелен выскакивает из самолета. Он подвижный, у него красивые сапоги, бульдожье лицо. Он смотрит перед собой молодо и пронзительно.

— Ну что? — спрашивает Сарро. — Что, генерал? Война?

— Э, боже мой… — мямлит генерал.

У меня пересыхает во рту. Я кричу Дюмюру: «Я смываюсь, фотографируй один!» Я бегу к выходу, бегу по дороге, хватаю такси, говорю: «В редакцию «Юманите». Шофер улыбается, я улыбаюсь ему.

— Ну что, товарищ? Я ему отвечаю:

— Готово! На сей раз она у них в заднице; они не смогли отвертеться.

Такси мчится на полной скорости, я смотрю на людей и дома. Люди ничего не знают, они не обращают внимания на такси, а такси мчится мимо них на полной скорости, а в нем — кто-то, кто знает. Я прислоняю голову к дверце, я хочу им крикнуть: «Готово!» Я выскакиваю из такси, быстро расплачиваюсь, бегу вверх по лестницам. Они все там — Дюпре, Шарвель, Ренар и Шабо. Они без пиджаков, Ренар курит, Шарвель пишет, Дюпре смотрит в окно. Они удивленно смотрят на меня. Я им говорю:

— Пошли, ребятки, вниз, я угощаю.

Они все еще смотрят на меня; Шарвель поднимает голову и тоже смотрит на меня. Я говорю:

— Готово! Готово! Война! Пошли вниз, я угощаю, я плачу за выпивку.

— У вас красивая шляпа, — заметила хозяйка.

— Правда? — спросила Флосси. Она посмотрела на себя в зеркало в вестибюле и с удовлетворением прибавила:

— С перьями.

— Да-да, — подтвердила хозяйка. И добавила: — У вас кто-то есть; Мадлен не смогла убрать.

— Знаю, — сказала Флосси. — Ничего, я уберу сама.

Она поднялась по лестнице и открыла дверь своей комнаты. Ставни были закрыты, комната пахла ночью. Флосси вышла, тихо затворила дверь и постучала в пятнадцатый номер.

— Кто там? — хриплым голосом отозвалась Зу.

— Флосси.

Зу пошла открыть, она была в трусиках.

— Входи быстро.

Флосси вошла. Зу отбросила назад волосы, стала посреди комнаты и начала укладывать большие груди в бюстгальтер. Флосси подумала, что ей не мешало бы побрить подмышки.

— Ты только встала? — спросила она.

— Я легла в шесть, — сказала Зу. — Что случилось? — Пойди посмотри на моего альфонсика.

— Что ты болтаешь, негритяночка?

— Пойди посмотри на моего альфонсика.

Зу надела халат и пошла за ней по коридору. Флосси завела ее в свою комнату, прижав палец к губам.

— Ничего не видно, — сказала Зу.

Флосси подтолкнула ее к кровати и прошептала:

— Смотри.

Обе нагнулись, и Зу беззвучно захохотала.

— Ни фига себе! — шепотом проговорила она. — Ни фига себе, это же совсем мальчишка.

— Его зовут Филипп.

— Какой красивый!

Филипп спал, лежа на спине, он был похож на ангела. Флосси смотрела на него со смесью восхищения и обиды.

— Он еще светлее меня, — заметила Зу.

— Он девственник, — сказала Флосси. Зу посмотрела на нее, хихикая:

— Был. — Что?

— Ты говоришь: он девственник. А я говорю: был девственником.

— А! Ну да! Знаешь, по-моему, он им и остался.

— Кроме шуток?

— Он спит с двух часов, — сухо сказала Флосси. Филипп открыл глаза, он посмотрел на двух склонившихся над ним женщин, ойкнул и перевернулся на живот.

— Смотри, — сказала Флосси.

Она отбросила одеяло: появилось голое белое тело. Зу многозначительно вытаращила глаза.

— Вот это да! Прикрой его, не то я за себя не ручаюсь! Флосси легонько погладила узкие бедра юноши, его миниатюрные молодые ягодицы, затем, вздохнув, натянула одеяло.

— Дайте мне черносмородинной наливки, — сказал Бирненшатц.

Он тяжело опустился на скамейку и вытер лоб. Через стекла дверного тамбура он мог наблюдать за входом в свою контору.

— Что вы выпьете? — спросил он у Нэ.

— То же самое, — сказал тот. Официант уходил, Нэ позвал его:

— Принесите мне «Информасьон».

Они молча посмотрели друг на друга, потом Нэ вдруг вскинул руки.

— Ай, ай! — сказал он. — Ай, ай! Мой бедный Бирненшатц!

— Да, — согласился Бирненшатц.

Официант наполнил бокалы и протянул газету Нэ. Нэ посмотрел на дневную котировку курса, скорчил гримасу и положил газету на стол.

— Плохо, — сказал он.

— Конечно. А как, по-вашему, они должны поступать? Все ждут речи Гитлера.

Бирненшатц окинул угрюмым взглядом стены и зеркала. Обычно ему нравилось в этом маленьком прохладном и уютном кафе; сегодня он раздражался, что не чувствует здесь себя хорошо, как раньше.

— Остается только ждать, — продолжал он. — Даладье сделал, что мог; Чемберлен сделал, что мог. Теперь остается только ждать. Будем ужинать без аппетита, а с половины девятого будем крутить ручки приемника, чтобы услышать речь. Ждать чего? — вдруг сказал он, стукнув по столу. — Прихоти одного человека? Одного-единственно-го человека. Дела пришли в упадок, биржа катится в пропасть, у моих служащих голова идет кругом, беднягу Зе мобилизовали, и все это — из-за одного-единственного человека; война и мир в его руках. Мне стыдно за человечество.

Брюне встал. Мадам Самбулье посмотрела на него. Он ей немного нравился; должно быть, он хорош в постели — любит глухо, мирно, с крестьянской медлительностью.

— Вы не останетесь? — спросила она. — Мы бы вместе поужинали.

Она показала на радиоприемник и добавила:

— В качестве пищеварительного средства предлагаю вам речь Гитлера.

— У меня в семь часов встреча, — сказал Брюне. — И потом, откровенно говоря, мне плевать на речь Гитлера.

Мадам Самбулье непонимающе посмотрела на него.

— Если капиталистическая Германия хочет выжить, — пояснил Брюне, — ей нужны все европейские рынки; значит, ей следует силой устранить всех промышленно развитых конкурентов. Германия

должна воевать, — с силой добавил он, — и она должна проиграть. Если бы Гитлера убили в 1914 году, мы сегодня были бы в том же положении.

— Значит, — сдавленным голосом спросила мадам Самбулье, — это чешское дело — не блеф?

— В мыслях Гитлера это, может быть, и блеф, — ответил Брюне. — Но мысли Гитлера не имеют никакого значения.

— Он, может, и не решится на войну, — подтвердил Бирненшатц. — Если он захочет, то может помешать ей. Все козыри в его руках: Англия не хочет войны, Америка слишком далеко, Польша следует за ним; если бы он захотел, то стал бы завтра хозяином мира без единого выстрела. Чехи приняли англо-французский план; ему лишь остается тоже принять его. Если бы он дал это доказательство умеренности…

— Он уже не может отступить, — продолжал Брюне. — Позади него вся Германия, и она его подталкивает.

— Но мы-то можем отступить, — сказала мадам Самбулье.

Брюне посмотрел на нее и засмеялся.

— Действительно! — согласился он. — Вы же пацифистка. Нэ перевернул коробочку, и домино выпало на стол.

— Ай! Ай! — сказал он. — Я боюсь умеренности Гитлера. — Вы отдаете себе отчет в том, как это поднимет его престиж?

Он наклонился к Бирненшатцу и зашептал ему в ухо. Бирненшатц в раздражении отодвинулся: Нэ не мог сказать трех слов, чтобы не зашептать с заговорщицким видом, размахивая руками.

— Если он примет англо-французский план, через три месяца Дорио будет у власти.

— Дорио?… — удивился Бирненшатц, пожимая плечами.

— Дорио или кто-то другой.

— А дальше что?

— А мы? — спросил Нэ, снова понижая голос. Бирненшатц смотрел на его большой страдальческий рот и почувствовал, как от гнева горят его уши.

— Все лучше, чем война, — сухо сказал он.

— Дайте письмо, малышка отнесет его на почту.

Он положил конверт на стол между кастрюлей и оловянным блюдом: Мадемуазель Ивиш Сергин, 12, улица Ме-жиссери, Лаон,

Одетта бросила взгляд на адрес, но промолчала; она заканчивала обертывать шпагатом большой сверток.

— Вот-вот! — сказала она. — Еще минута! Сейчас закончу, не сердитесь.

Кухня была белой и чистой, как процедурный кабинет. Она пахла смолой и морем.

— Я положила два куриных крылышка, — сказала Одетта, — и немного студня, ведь вы его любите, а еще — несколько ломтиков пеклеванного хлеба и сандвичи с ветчиной. В термосе — вино. Термос оставьте себе, он вам там пригодится.

Он пытался поймать ее взгляд, но она, опустив глаза, смотрела на сверток и казалась очень озабоченной. Она подбежала к буфету, отрезала большой кусок шпагата и бегом вернулась к свертку.

— Он и так уже хорошо завязан, — сказал Матье.

Маленькая служанка засмеялась, но Одетта не ответила. Она прикусила шпагат, удержала его, подобрав губы, и быстро перевернула сверток на другую сторону. Запах смолы вдруг заполнил ноздри Матье, и в первый раз с позавчерашнего дня ему показалось, что вокруг есть нечто, о чем он сможет пожалеть. Тишина этого дня в кухне, спокойные хозяйственные работы, смягченное шторой солнце, пылинками скользящее сквозь квадраты окна, а за всем этим, может быть, его детство, определенный образ жизни, спокойной и заполненной делами, от которого он отказался раз и навсегда.

— Прижмите здесь пальцем, — сказала Одетта.

Он подошел, склонился над ее затылком, прижал пальцем шпагат. Он хотел бы сказать ей какие-то нежные слова, но тон Одетты не располагал к нежности. Она подняла на него глаза:

— Хотите крутых яиц? Вы их положите в карман. Она была похожа на молодую девушку. Он не жалел о ней. Может, потому, что она была жена Жака. Он подумал, что быстро забудет это скромное лицо. Но ему хотелось, чтобы его отъезд причинил бы ей немного боли.

— Нет, — ответил он, — благодарю вас. Не нужно крутых яиц.

Она положила сверток ему в руки.

— Вот, — сказала она. — Красивый сверток. Он сказал ей:

— Вы проводите меня на вокзал? Она покачала головой:

— Не я. Вас проводит Жак. Думаю, что он предпочитает остаться с вами наедине до конца.

— Тогда прощайте, — сказал он. — Вы будете мне писать?

— Мне будет стыдно: я пишу типичные письма школьницы, с орфографическими ошибками. Но я вам буду посылать посылки.

— Я предпочел бы, чтобы вы писали, — настаивал он.

— Что ж, тогда время от времени вы найдете записку между банкой сардин и куском мыла.

Он протянул ей руку, и она ее быстро пожала. Ладонь ее была сухой и пылающей. Он смутно подумал: «Жалко». Длинные пальцы скользили в его пальцах, как горячий песок. Он улыбнулся и вышел из кухни. Жак стоял в гостиной на коленях перед радиоприемником, крутя ручки. Матье прошел мимо двери и медленно поднялся по лестнице. Он не слишком досадовал, что уезжает. Когда он подходил к своей комнате, то услышал позади легкий шум и обернулся: это была Одетта. Она стояла на последней ступеньке, была бледна и глядела на него.

— Одетта… — сказал он.

Она не ответила и лишь печально смотрела на него. Он смутился и переложил сверток в левую руку.

— Одетта… — повторил он.

Она подошла к нему, у нее было открытое и провидческое выражение лица, которого он у нее никогда не видел.

— Прощайте, — сказала она.

Она была совсем рядом с ним. Она закрыла глаза и вдруг прижала губы к его губам. Он хотел было обнять ее, но она ускользнула. Вновь приняв благопристойный вид, она спускалась по лестнице, не повернув головы.

Он вошел в свою комнату, положил сверток в чемодан. Тот был таким полным, что Матье вынужден был стать коленями на крышку, чтобы закрыть его.

— Что такое? — спросил Филипп.

Он резко вскочил и с ужасом смотрел на Флосси.

— Это я, мой малыш, — сказала она. Он упал назад, поднеся руку ко лбу.

— У меня болит голова.

Она выдвинула ящик ночного столика и достала пузырек с аспирином; он открыл дверцу столика, вынул оттуда стакан и бутылку перно, поставил их на президентский письменный стол и опустился в кресло. Двигатель самолета еще шумел в голове; ему оставалось пятнадцать минут, ровно пятнадцать минут, чтобы прийти в себя. Он налил перно в стакан, взял со стола графин с водой и опрокинул его над стаканом. Жидкость, наполняя стакан, серебряно пузырилась. Он отклеил окурок от нижней губы и бросил его в корзинку для бумаг. Я сделал все, что мог. Он был опустошен. Он подумал: «Франция… Франция…» и отпил глоток перно. Я сделал все, что мог; теперь слово за Гитлером. Он сделал еще глоток перно, чмокнул языком и подумал: «Позиция Франции четко определена». Он заключил: «Теперь мне остается только ждать». Даладье устал; он вытянул ноги под столом и с неким удовлетворением повторил: «Мне остается только ждать». Как всем. Ставки сделаны. Он сказал тогда: «Если чешские границы будут нарушены, Франция выполнит свои обязательства». И Чемберлен ему ответил: «Если вследствие этих обязательств французские войска активно вступят в военные действия против Германии, мы сочтем своим долгом поддержать их».

Подошел сэр Невил Гендерсон, сэр Гораций Галифакс стоял чуть позади него и держался прямо; сэр Невил Гендерсон протянул послание рейхсканцлеру; рейхсканцлер взял послание и начал читать. Когда рейхсканцлер закончил, он спросил у сэра Невила Гендерсона:

— Это и есть послание господина Чемберлена? Даладье выпил глоток перно и вздохнул, а сэр Невил Гендерсон твердо ответил:

— Да, это послание господина Чемберлена. Даладье встал и пошел поставить бутылку перно на место; рейхсканцлер сказал хриплым голосом:

— Рекомендую вам рассматривать мою речь сегодня вечером как ответ на послание господина Чемберлена.

Даладье думал[52]: «Ну и тварь! Ну и тварь! Что же он скажет?» Легкое опьянение ударило ему в голову, он подумал: «События ускользают от меня». Он испытывал подобие полного отдыха. Он подумал: «Я сделал все, чтобы избежать войны, теперь война и мир уже не в моих руках». Больше нечего было решать, оставалось только ждать. Как все. Как угольщик на углу. Он улыбнулся, он стал угольщиком на углу, с него сняли всю ответственность; позиция

Франции четко определена… Это был настоящий отдых. Он смотрел на темный узор на ковре, он чувствовал, как им завладевает легкое головокружение. Мир, война. Я сделал все, чтобы сохранить мир. Но сейчас он сомневался: не хотел ли он, чтобы этот огромный поток унес его, как соломинку, он сомневался: не хотел ли он этих больших каникул: войны?

Он остолбенело осмотрелся и вдруг закричал:

— Я не уехал!

Она пошла открыть ставни, вернулась к кровати и наклонилась над ним. Ей было жарко, он вдохнул ее рыбный запах.

— О чем это ты, мой маленький негодник? О чем ты?

Она положила ему на грудь сильную черную руку. Солнце образовало масляное пятно на ее левой щеке. Филипп посмотрел на нее и почувствовал себя глубоко униженным: у нее были морщины вокруг глаз и в уголках губ. «А при свете ламп она была такой красивой», — подумал он. Она дышала ему в лицо и просунула розовый язык между его губ. «Я не уехал», — подумал он. Ей он сказал:

— А ты не такая уж молодая.

Она сделала странную гримасу и закрыла рот. Она сказала:

— Да уж не такая молодая, как ты, негодник.

Он хотел встать с постели, но она его крепко держала; он был голый и беззащитный; он почувствовал себя жалким.

— Маленький негодник, — сказала она, — ах ты, маленький негодник.

Черные руки медленно опустились вдоль его бедер. «Как бы то ни было, не каждому дано потерять девственность с негритянкой». Он откинулся назад, и черные и серые юбки закружились совсем рядом с его лицом. Человек сзади него кричал уже не так сильно, это был скорее хрип, нечто вроде бульканья. Над его головой поднялся туфель, он увидел остроносую подошву, кусочек земли прилип к каблуку; подошва, скрипя, стала рядом с его фиксатором; это был большой черный башмак с пуговицами. Он поднял глаза, увидел сутану и высоко в воздухе две волосатые ноздри над брыжами. Бланшар зашептал ему на ухо:

— Должно быть, ему совсем плохо, нашему приятелю, раз позвали священника.

— Что с ним? — спросил Шарль.

— Не знаю, но Пьеро говорит, что он скоро отмучается.

Шарль подумал: «Почему это не я?» Он видел свою жизнь, и он думал: «Почему не я?» Два человека из бригады прошли мимо него, он узнал их по сукну брюк; он услышал за собой елейный и спокойный голос кюре; больной больше не стонал. «Может, он умер?» — подумал Шарль. Прошла медсестра, она держала в руках таз; он робко сказал:

— Мадам! Не могли бы вы теперь туда зайти? Она, красная от гнева, опустила на него глаза.

— Это опять вы? Что вы хотите?

— Пошлите кого-нибудь к женщинам. Ее зовут Катрин.

— Ах, оставьте меня в покое! — вскричала медсестра. — Вы просите об этом уже в четвертый раз!

— Только спросите ее фамилию и скажите ей мою. Это вас не очень затруднит, не правда ли?

— Здесь умирающий, — жестко сказала она. — Как вы думаете, есть у меня время заниматься вашей чепухой?

Она ушла, и умирающий снова застонал; это было невыносимо. Шарль покрутил зеркало: он увидел барашки тел, вытянувшихся бок о бок, а в глубине — огромный зад кюре, стоящего на коленях рядом с больным. Над ними был камин с зеркалом в рамке. Кюре встал, и носильщики склонились над телом, они его уносили.

— Он умер? — спросил Бланшар.

У Бланшара на фиксаторе не было вертящегося зеркала.

— Не знаю, — сказал Шарль.

Шествие прошло рядом с ними, поднимая облако пыли. Шарль начал кашлять, потом увидел согнутые спины носильщиков, направлявшихся к двери. Чье-то платье закружилось и рядом с ним вдруг замерло. Он услышал голос медсестры.

— Мы теперь отрезаны от мира, мы не знаем никаких новостей. Как идут дела, господин кюре?

— Худо, — сказал кюре. — Совсем худо. Сегодня вечером будет выступать Гитлер, не знаю, что он скажет, но думаю, начинается война.

Голос его падал полотнищами на лицо Шарля. Шарль рассмеялся.

— Чего ты веселишься? — спросил Бланшар.

— Потому, что поп сказал, будто будет война.

— По-моему, ничего смешного, — возразил Бланшар.

— А мне смешно, — сказал Шарль.

«Получат они войну; она у них засядет в печенке». Он все еще смеялся: в одном метре семидесяти сантиметрах над его головой была война, буря, оскорбленная честь, патриотический долг; но на уровне пола не было ни мира, ни войны; ничего, кроме несчастья и стыда недолюдей, гнили, лежачих. Бонне не хотел войны; Шампетье де Риб ее хотел; Даладье смотрел на ковер, это был кошмар, он не мог избавиться от головокружения, охватившего его с затылка: пусть она разразится! Пусть она разразится, пусть он ее объявит сегодня вечером, этот свирепый берлинский волк. Он сильно царапнул туфлей о паркет; Шарль чувствовал, как головокружение поднимается от живота к голове: стыд, сладкий, сладкий, удобный стыд, ему не оставалось ничего, кроме этого. Медсестра подошла к двери, она перешагнула через кого-то, и аббат посторонился, пропуская ее.

— Мадам! — закричал Шарль. — Мадам!

Она повернулась: высокая и сильная, красивое, слегка усатое лицо и разъяренные глаза.

Шарль сказал четким голосом, прозвучавшим на весь зал:

— Мадам, мадам! Побыстрее! Дайте мне судно, я больше не могу терпеть!

Вот он! Вот он, их толкали сзади, они толкнули полицейского, который отступил на шаг, расставив руки, они кричали: «Ура, вот он!» Он шел ровным, спокойным шагом, он вел под руку жену, Фред был растроган, мой отец и моя мать в воскресенье в Гринвиче; он крикнул: «Ура!», было так приятно видеть их здесь, таких спокойных, кто осмелится бояться, когда видишь, как они совершают дневной променад, словно пожилые, очень дружные супруги? Он сильно стиснул чемодан, затряс им над головой и выкрикнул: «Да здравствует мир, ура!» Оба обернулись к нему, и господин Чемберлен лично ему улыбнулся; Фред почувствовал, как покой и мир проникают до глубины его сердца, его защищали, им управляли, его укрепляли, а старый Чемберлен находил еще возможность спокойно разгуливать по улицам, как любой другой, и адресовать ему лично улыбку. Вокруг него все кричали «Ура!», Фред смотрел на худую спину Чемберлена, который удалялся походкой протестантского

пастора, он подумал: «Это Англия», и слезы навернулись ему на глаза. Маленькая Сейди наклонилась и щелкнула фотоаппаратом под рукой полицейского.

— В очередь, мадам, в очередь, как все.

— Нужно стоять в очереди, чтобы купить «Пари-Суар»?

— А как же! И я очень удивлюсь, если вам достанется. Она не верила своим ушам.

— Что ж, черт побери! Не буду я стоять в очереди за «Пари-Суар», мне еще не приходилось торчать в очереди за газетой!

Она повернулась к ним спиной, подъехал велосипедист с пачкой листков. Он их положил на стол рядом с киоском, и они принялись их считать.

— Вот они! Вот они. Толпа зашевелилась.

— Сколько можно! — огрызнулась продавщица, — вы мне дадите их посчитать?

— Не толкайтесь же! — возмутилась приличного вида дама. — Говорю вам, не толкайтесь.

— Я не толкаюсь, мадам, — ответил какой-то толстячок, — меня самого толкают.

— А я, — вмешался сухощавый господин, — попрошу вас быть повежливей с моей женой.

Дама в трауре повернулась к Эмили.

— Это уже третья ссора с утра.

— Да! — сказала Эмили. — Все потому, что сейчас люди стали такими взвинченными.

Самолет приближался к горам; Гомес поглядел на них, потом посмотрел вниз, на реки и поля, слева от него был совсем круглый город, все было смехотворным и таким малюсеньким, это была Франция, зеленая и желтая, с ее коврами травы и тихими реками. «Прощай! Прощай!» Он углубился в горы, прощайте, турнедо Россини, сигары и красивые женщины, он, планируя, спустится к красной голой земле, к крови. Прощай! Прощай: все французы были там, под ним, в круглом городе, в полях, на берегах рек: 18 часов 35 минут, они копошатся, как муравьи, они ждут речи Гитлера. Я же ничего не жду. Через четверть часа он больше не увидит эти мирные луга, огромные каменные глыбы отделят его от этой земли страха и алчности. Через четверть часа он спустится к худым людям с живыми

движениями, суровыми глазами, к своим людям. Он был счастлив, от волнения ком стоял у него в горле. Горы приближались, теперь они были коричневыми. Он подумал:

«Какой я застану Барселону?»

— Войдите, — сказала Зезетта.

Это была дама, полноватая и очень импозантная, в соломенной шляпке и английском костюме. Она осмотрелась, раздувая ноздри, и сразу же мило улыбнулась.

— Вы — мадам Сюзанн Тайер?

— Да, это я, — сказала заинтригованная Зезетта.

Она встала. Решила, что у нее покраснели глаза, и обернулась к окну. Дама, щурясь, смотрела на нее. Если ее получше рассмотреть, она казалась старше. У нее был утомленный вид.

— Я вас не побеспокоила?

— Нет, — сказала Зезетта. — Присаживайтесь.

Дама наклонилась над стулом, посмотрела на него, потом села. Она держалась очень прямо и сидела, не касаясь спинки.

— С сегодняшнего утра я поднялась на сорок этажей. А людям не всегда приходит в голову предложить стул.

Зезетта заметила, что у нее на пальце по-прежнему надет наперсток. Она сняла его и бросила в коробку для шитья. В этот момент на плитке стал потрескивать бифштекс. Она покраснела, подбежала к плитке и выключила газ. Но запах остался.

— Ой, я вас отрываю от еды…

— Да нет, у меня есть время, — возразила Зезетта. Она смотрела на даму и чувствовала смущение и одновременно желание рассмеяться.

— Ваш муж мобилизован?

— Он уехал вчера утром.

— Все уезжают, — сказала дама. — Это ужасно. Вы, видимо, оказались в трудном… материальном… положении.

— Я решила вернуться к прежнему ремеслу, — призналась Зезетта. — Я была цветочницей.

Дама покачала головой:

— Это ужасно! Это ужасно! — У нее был такой удрученный вид, что у Зезетты возникло сочувствие к ней.

— Ваш муж тоже уехал?

— Я не замужем. — Она посмотрела на Зезетту и живо добавила: — Но у меня два брата, которым предстоит мобилизация.

— И чего вы хотите? — сухо спросила Зезетта.

— А вот чего: я не знаю ваших убеждений, — сказала дама, улыбнувшись, — и то, о чем я вас попрошу, не имеет отношения к политике. Вы курите? Хотите сигарету?

Зезетта заколебалась.

— Да, — сказала она.

Она стояла у газовой плитки, и ее руки сжимали край стола у нее за спиной. Запахи бифштекса и духов гостьи теперь смешались. Дама протянула ей портсигар, и Зезетта сделала шаг вперед. У дамы были тонкие белые пальцы с ухоженными ногтями. Зезетта взяла сигарету красными пальцами. Она смотрела на свои пальцы и на пальцы дамы и хотела, чтобы та ушла как можно скорее. Они закурили, и дама спросила:

— Вы не считаете, что необходимо любой ценой помешать войне?

Зезетта попятилась к плитке и недоверчиво посмотрела на нее. Она встревожилась. Она заметила, что на столе валялись подвязки для чулок и панталоны.

— Не думаете ли вы, — сказала дама, что если мы объединим наши силы…

Зезетта с небрежным видом пересекла комнату; когда она дошла до стола, она спросила:

— Кто это «мы»?

— Мы, женщины Франции, — с пафосом сказала дама.

— Мы, женщины Франции? — повторила Зезетта. Она быстро открыла ящик и бросила туда подвязки с панталонами, затем с облегчением повернулась к даме. — Мы, женщины Франции? Но что мы можем сделать?

Дама курила, как мужчина, выпуская дым через ноздри; Зезетта смотрела на ее костюм и нефритовое ожерелье, и ей было как-то неловко говорить ей «мы».

— Одна вы ничего не можете, — кротко сказала дама. — Но вы не одна: сегодня пять миллионов женщин боятся за жизнь дорогих им мужчин. Этажом ниже живет мадам Панье, у которой только что

призвали брата и мужа, а у нее шестеро детей. В доме напротив — булочница. В Пасси — герцогиня де Шоле.

— Как? Герцогиня де Шоле… — прошептала Зезетта.

— Ну и что?

— Это совсем другое дело.

— Почему совсем другое? Почему? Потому что одни ездят на машинах, тогда как другие сами ведут домашнее хозяйство? Ах, мадам, я первая требую более справедливого устройства общества. Но неужели вы думаете, что нам его даст война? Классовые вопросы так мало значат перед лицом угрожающей нам опасности. Мы прежде всего женщины, мадам, женщины, у нас под угрозой самое дорогое. Представьте себе, что мы все протянем друг другу руки и хором крикнем: «Мы против!» Послушайте, мадам, разве вы не хотели бы, чтобы ваш муж вернулся?

Зезетта покачала головой: ей показалось нелепым кривляньем, что эта дама называет ее «мадам».

— Войне нельзя помешать, — сказала она. Дама слегка покраснела:

— Почему же?

Зезетта пожала плечами. Эта особа хотела помешать войне. Другие, вроде Мориса, хотели уничтожить нищету. В конечном счете никто ничего не добился.

— Так уж получается, — сказала она. — Ей нельзя помешать.

— Нет, не нужно так думать! — с упреком сказала гостья. — Именно те, кто так думает, приближают наступление войны. Кроме того, нужно немного думать и о других. Что бы вы ни делали, вы с нами солидарны.

Зезетта не ответила. Она сжимала потухшую сигарету, у нее было ощущение, что она находится в коммунальной школе.

— От вас требуется только подпись, — сказала дама. — Ваша подпись, мадам: всего лишь подпись.

Она вынула из сумочки лист бумаги и сунула его под нос Зезетте.

— Что это? — удивилась Зезетта.

— Петиция против войны, — сказала дама. — У нас уже тысячи подписей.

Зезетта вполголоса прочла:

«Женщины Франции, подписавшие данную петицию, заявляют: мы верим, что правительство Французской Республики сохранит мир любыми средствами. Мы абсолютно убеждены, что война, при любых обстоятельствах, является преступлением. Переговоры, обмен мнениями — всегда; обращение к насилию — никогда. За всеобщий мир, против войны во всех формах!

22 сентября 1938 г. Лига французских матерей и жен».

Зезетта перевернула страницу: обратная сторона покрыта подписями, прижатыми друг к другу, горизонтальными, косыми, вздымающимися, опускающимися, черными чернилами, фиолетовыми, синими. Некоторые размашисты и написаны большими угловатыми буквами, другие же, скупые и заостренные, стыдливо жались в уголке. Рядом с каждой подписью — адрес: мадам Жанна Племе, улица д'Обиньяк, 6; мадам Соланж Пэр, проспект Сент-Уан, 142. Зезетта пробежала глазами имена всех этих особ. Они все склонялись над этим листом. Были среди них такие, чья детвора кричала рядом в комнате, другие подписывали в будуаре ручкой с золотым пером. Теперь их имена рядом, и они были похожи друг на друга. Мадам Сюзанн Тайер. Ей достаточно попросить ручку у дамы, и она тоже станет мадам, ее имя, значительное и суровое, будет стоять под другими.

— Что вы со всем этим будете делать? — спросила она.

— Когда у нас будет много подписей, мы пошлем делегацию женщин в канцелярию Совета.

Мадам Сюзанн Тайер. Она мадам Сюзанн Тайер. Морис ей все время повторял, что мы солидарны только со своим классом. И вот теперь у нее оказались общие обязанности с герцогиней де Шоле. Она подумала: «Только подпись: я не могу отказать им в подписи».

Флосси облокотилась о подушку и посмотрела на Филиппа.

— Ну что, негодник? Что ты теперь скажешь?

— Неплохо, — сказал Филипп. — Но, должно быть, еще лучше, когда не болит голова.

— Мне нужно вставать, — сказала Флосси. — Я что-нибудь пожую, потом пойду в заведение. Ты идешь?

— Я слишком устал, — сказал Филипп. — Иди без меня.

— Ты меня подождешь здесь, ладно? Поклянись, что подождешь!

— Ну конечно, — хмуря брови, ответил Филипп. — Иди быстрей, иди, я тебя подожду.

— Итак, — сказала дама, — вы подписываете?

— У меня нет ручки, — сказала Зезетта.

Дама протянула ей авторучку. Зезетта взяла ее и подписалась в низу страницы. Она вывела прописью свое имя и адрес рядом с подписью, потом подняла голову и посмотрела на даму: ей казалось, что сейчас что-то произойдет.

Но ничего не произошло. Дама встала, взяла бумагу и внимательно на нее посмотрела.

— Прекрасно, — сказала она. — Что ж, мой рабочий день завершен.

Зезетта открыла рот: ей казалось, что у нее есть уйма вопросов. Но вопросы не приходили на ум. Она просто сказала:

— Значит, вы отнесете это Даладье?

— Да, — сказала дама. — Да, именно ему.

Она помахала листком, затем сложила его и положила в сумочку. У Зезетты сжалось сердце, когда сумочка защелкнулась. Дама подняла голову и посмотрела ей прямо в глаза.

— Спасибо, — сказала она. — Спасибо за него. Спасибо за всех нас. Вы мужественная женщина, мадам Тайер.

Она протянула ей руку.

— А теперь, — сказала она, — мне пора.

Зезетта пожала ей руку, предварительно вытерев свою о передник. Ее охватило горькое разочарование.

— И это… и это все? — спросила Зезетта.

Дама засмеялась. Зубы у нее были, как жемчужные. Зезетта повторила про себя: «Мы солидарны». Но эти слова потеряли смысл.

— Да, пока это все.

Она быстрым шагом дошла до двери, открыла ее, в последний раз обратила к Зезетте улыбающееся лицо и исчезла. Аромат ее духов еще витал в комнате. Зезетта услышала, как удаляются ее шаги, и два-три раза потянула носом. Ей казалось, будто у нее что-то украли. Она подошла к окну, открыла его и высунулась. У тротуара стояла машина. Дама вышла из гостиницы, открыла дверцу и села в машину, которая тут же тронулась. «Я сделала глупость», — подумала Зезетта. Машина повернула на проспект Сент Уан и исчезла, унося навсегда ее

подпись и красивую благоухающую даму. Зезетта вздохнула, закрыла окно и зажгла газ. Жир затрещал, запах горячего мяса перекрыл аромат духов, и Зезетта подумала: «Если Морис когда-нибудь об этом узнает, он меня расчехвостит».

— Мама, я хочу есть.

— Который час? — спросила мать у Матье.

Это была плотная красивая жительница Марселя с намечающимися усиками.

Матье бросил взгляд на часы.

— Двадцать минут девятого.

Женщина взяла из-под ног корзину, закрытую на железную застежку.

— Радуйся, мое мученье, сейчас ты поешь. Она повернула голову к Матье.

— Она и святого выведет из терпения.

Матье им неопределенно и доброжелательно улыбнулся. «Двадцать минут девятого, — подумал он. — Через десять минут будет говорить Гитлер. Они в гостиной, уже более четверти часа Жак крутит ручки радиоприемника».

Женщина поставила корзину на скамейку; она открыла ее, Жак закричал:

— Поймал! Поймал! Я поймал, это Штутгарт![53] Одетта стояла рядом с ним, она положила руку ему на плечо. Она услышала шум, и ей показалось, что дыхание длинного сводчатого зала ударило ей в лицо. Матье немного подвинулся, освобождая место для корзины: он не покинул Жуан-ле-Пэн. Он был рядом с Одеттой, напротив Одетты, но слепой и глухой, поезд уносил его уши и глаза к Марселю. У него не было к ней любви, это было другое: она на него посмотрела, как будто он не совсем еще умер. Он хотел придать лицо этой бесформенной нежности, которая давила на него; он поискал в памяти лицо Одетты, но оно ускользало, на его месте два раза появилось лицо Жака, Матье наконец различил неподвижную фигуру в кресле: вид наклоненного затылка и внимательное выражение на лице без губ и носа.

— Вовремя, — сказал Жак, поворачиваясь к ней. — Он еще не начал говорить.

Мои глаза здесь. Он видел корзину: красивая белая салфетка с красными и черными полосками покрывала содержимое. Матье некоторое время изучал темноволосый затылок, потом перестал: это было слишком мало для такой тяжелой нежности. Затылок исчез в тени, и возникла вполне реальная салфетка, она как бы заволокла его глаза, затеняя мешанину образов и мыслей. Мои глаза здесь. Приглушенный звонок заставил его вздрогнуть.

— Цыпонька, быстро, быстро! — сказала марселька. Она повернулась к Матье с извиняющимся смехом:

— Это будильник. Я его всегда ставлю на половину девятого.

Девочка поспешно открыла чемоданчик, засунула туда руку, и звон прекратился. Половина девятого, он сейчас войдет в Шпортпаласт. Я в Жуан'ле-Пэне, я в Берлине, но мои глаза здесь. Где-то длинный черный автомобиль останавливался у дверей, из него выходили люди в коричневых рубашках. Где-то на северо-востоке, справа от него и позади него: но здесь была эта салфетка, которая закрывала ему все. Пухлые пальцы в кольцах ловко вытащили ее за углы, она исчезла, Матье увидел лежащий на боку термос и горку тартинок: ему захотелось есть. Я в Жуан-ле-Пэне, я в Берлине, я в Париже, у меня больше нет жизни, больше нет судьбы. Но здесь я хочу есть. Здесь, рядом с этой полной брюнеткой и этой маленькой девочкой. Он встал, достал из сетки свой чемодан, открыл его и на ощупь взял сверток Одетты. Он снова сел, взял нож и разрезал шпагат; он торопился есть, как будто должен был вовремя закончить, чтобы слушать речь Гитлера. Он входит; от чудовищного вопля задрожали стекла; вопль умолкает, он вскидывает руку. Где-то эти десять тысяч вооруженных людей — голова прямо, рука вскинута. Где-то за его спиной Одетта склонялась над радиоприемником. Он начинает, он говорит: «Мои соотечественники», и его голос уже не принадлежит ему, он принадлежит всему миру. Его слышат в Брест-Литовске, в Праге, в Осло, в Танжере, в Каннах, в Морле, на большом белом теплоходе компании «Паке», идущем между Касабланкой и Марселем.

— Ты уверен, что поймал Штутгарт? — спросила Одетта. — Ничего не слышно.

— Тихо! — прошипел Жак. — Да, я уверен. Лола остановилась у входа в казино.

— До скорого, — сказала она.

— Пой хорошо, — сказал Борис.

— Постараюсь. Куда ты идешь, любимый?

— В «Баскский бар». Там приятели, которые не знают немецкого, они попросили меня переводить им речь Гитлера.

— Бррр! — вздрогнула Лола. — Невеселенькое занятие.

— Я как раз очень люблю переводить, — сказал Борис. Он говорит! Матье сделал отчаянное усилие, чтобы услышать его, но потом ощутил пустоту внутри и перестал. Он ел; напротив него девочка кусала тартинку с конфитюром; слышно было лишь мирное прерывистое дыхание локомотивов, медовый вечер, все закрыто, Матье отвел глаза и посмотрел на море сквозь стекло. Розовый, круглый вечер смыкался над ним, и однако голос пронзал это сахарное яйцо. Он существует повсюду, поезд углубляется в него, и он в поезде, под ногами девочки, в волосах дамы, в моем кармане, если бы у меня было радио, я заставил бы его зазвучать в сетке или под скамейкой. Он здесь, огромный, он перекрывает шум поезда, от него дрожат стекла, а я его не слышу. Матье устал, он заметил вдалеке парус на воде и думал только о нем.

— Слушай! — победно воззвал Жак. — Слушай же! Радиоприемник внезапно исторг протяжный гул. Одетта отступила на шаг, это было почти невыносимо. «Как их много! — подумала она. — Как они им восхищаются!» Там, за тысячи километров, десятки тысяч негодяев. И их голоса заполнили тихую семейную гостиную, и где-то там решалась именно ее судьба.

— Вот оно, — сказал Жак, — вот оно.

Шквал мало-помалу стихал; можно было различить гортанные, гнусавые голоса, затем наступила тишина, и Одетта поняла, что он будет сейчас говорить. Борис открыл дверь бара, и хозяин подал ему знак поторопиться.

— Скорее, — сказал он, — сейчас начнется.

Их было трое, они облокотились о цинковую стойку: марселец Шарлье, наборщик из Руана и высокий грубо скроенный здоровяк по имени Шомис, продававший швейные машинки.

— Привет, — тихо сказал Борис.

Они поспешно с ним поздоровались, и он подошел к радиоприемнику. Он их уважал, потому что они решились сократить

свой ужин, чтобы послушать, как им в лицо скажут нечто жуткое. Эти сильные люди смотрели правде в глаза.

Он оперся обеими руками о стол, слушает бескрайний океан, океанический гул. Он поднимает правую руку, и пучина успокаивается. Он говорит:

«Дорогие соотечественники!

Есть предел, когда уже невозможно уступать, потому что это стало бы непростительной немочью. Десять миллионов немцев находились вне пределов рейха на двух больших искусственно созданных территориях. Эти немцы желали вернуться в свой рейх. Я не имел бы права войти в историю Германии, если бы позволил себе бросить их на произвол судьбы. Я бы также не имел права быть фюрером этого народа. Я уже пошел на мучительные уступки, но здесь мы подошли к черте, которую я не могу преступить. Плебисцит в Австрии показал, насколько наши чувства справедливы. Это — яркий пример, и подобных результатов мир не ждал. Но мы уже убедились, что для демократий плебисцит становится фикцией и даже помехой, если он не приносит результата, на который надеялись демократы. И все-таки эта проблема была решена — к счастью для всего немецкого народа.

И теперь перед нами последняя проблема, которая должна быть решена и будет неукоснительно решена».

Море разбушевалось у его ног, и он некоторое время молча смотрел на огромные волны. Одетта прижала руку к груди, эти вопли каждый раз заставляли усиленно колотиться ее сердце. Она нагнулась к уху Жака, по-прежнему нахмуренного и крайне внимательного, хотя Гитлер уже несколько секунд назад прервал речь. Она без особой надежды спросила:

— Что он сказал?

Жак претендовал на понимание немецкого языка, потому что провел три месяца в Ганновере, и уже десять лет старательно слушал по радио всех берлинских ораторов, он даже подписался на «Франкфуртер Цайтунг» ради финансовых статей. Но его пересказ прочитанного или услышанного всегда был неопределенным. Он пожал плечами:

— Все то же. Он говорил о жертвах и о счастье немецкого народа.

— Он согласен принести жертвы? — живо спросила Одетта. — Значит, он пойдет на уступки?

— Да нет… Это просто пустословие.

Фюрер вытянул руку, и Карл перестал кричать: это был приказ. Он обернулся направо и налево, шепча: «Слушайте! Слушайте!», и ему показалось, что немой приказ фюрера пронзил каждую его клетку и воплотился в его голосе. «Слушайте! — сказал он. — Слушайте!» Он стал лишь послушным инструментом, резонатором: он с головы до пят дрожал от удовольствия. Все замолчали, весь зал погрузился в тишину и ночь; Гесс, Геринг и Геббельс исчезли, в мире никого больше не было, только Карл и его фюрер. Фюрер говорил перед большим красным флагом со свастикой, он говорил для Карла, для него одного. Это был единственный в мире голос. Он говорит за меня, думает за меня, решает за меня. Мой фюрер!

«Это последнее территориальное требование, которое я намерен предъявить Европе, но это требование, от которого я ни за что не отступлюсь и которое я исполню, да будет на то Божья воля».

Он сделал паузу. Карл понял, что ему разрешили кричать, и закричал изо всех сил. Начали кричать все, голос Карла взлетел, поднялся до сводов, заставил дрожать стекла. Карл пылал от восторга, у него было десять тысяч глоток, он чувствовал, что делает историю.

— Заткнись! Заткнись! — закричал Мимиль на радиоприемник. Он повернулся к Роберу и сказал ему:

— Представляешь себе! Какая шайка подонков! Эти подлецы довольны только когда горланят все вместе. У них все развлечения в том же духе. В Берлине у них есть специальные большие залы, там могут поместиться разом двадцать тысяч, так вот они там собираются по воскресеньям и горланят свои песни и дуют пиво.

Радиоприемник продолжал завывать.

— Ой! Скажи-ка, — проговорил Робер, — они что, хотят его прервать?

Они повернули ручку, голоса стихли, и им вдруг показалось, что комната вышла из тени, она была здесь, вокруг них, маленькая и безобидная, коньяк был у них под рукой, но стоило только повернуть ручку, и эти оглашенные вопли вернулись в их заведение, в их прекрасный, размеренный французский вечер, который лился через окно, и они все еще были среди французов.

«Это чешское государство начало с большой лжи. Автор этой лжи — Бенеш».

В радиоприемнике — шквал.

«Этот господин Бенеш появился в Версале и начал с утверждения, что существует какая-то чехословацкая нация».

Гогот в радиоприемнике. Голос злобно продолжал:

«Он вынужден был выдумать эту ложь, эту подлую ложь, чтобы придать жалкой численности своих сограждан немного большую значимость и, следовательно, уподобить ее нации. И англо-саксонские государственные мужи, как всегда безграмотные в этнических и географических вопросах, приняли эти бредни Бенеша на веру.

Чтобы их государство казалось жизнеспособным, они просто захватили три с половиной миллиона немцев, игнорируя их законное право на свободу и самоопределение».

Радиоприемник провизжал: «Позор! Позор!» Бирненшатц крикнул: «Какой лжец! Этих немцев не взяли из Германии!» Элла посмотрела на отца — красный от возмущения, он курил в кресле сигару, она посмотрела на мать и сестру Иви, в эту минуту она их почти ненавидела: «Как они могут это слушать!»

«Для пущей убедительности им понадобилось присовокупить еще миллион мадьяр, затем русских Закарпатья и, наконец, несколько сотен тысяч поляков.

Вот что такое это государство, которое позже было названо Чехословакией, вопреки правам народов на самоопределение, вопреки ясно выраженному желанию подневольных наций. Говоря здесь с вами, я сочувствую судьбе угнетенных словаков, поляков, венгров, украинцев; но я, естественно, говорю лишь о судьбе моих соотечественников — немцев».

Звериный вопль наполнил комнату. Как они могут слушать подобное? И эти бесконечные «Хайль, хайль!» отдавались в ней острой сердечной болью. «В конце концов мы — евреи, мы не должны слушать своего палача. Отец еще ладно, я всегда слышала его толки, что евреев не существует. Но она, — подумала Элла, глядя на мать, — она ведь знает, что она еврейка, она это чувствует, и она все-таки слушает*. Мать еще позавчера пророчески воскликнула: «Это война, дети мои, и проигранная война, еврейскому народу остается только снова взять свою переметную суму». Теперь она дремала среди

воплей, время от времени закрывала подкрашенные глаза, и ее большая темная голова с черными как смоль волосами мелко подрагивала. А голос снова вещал, заглушая бурю:

«Какой цинизм! Это псевдогосударство, управляемое всего лишь меньшинством, обязывает своих подданных проводить политику, которая вынудит их стрелять в своих братьев».

Она встала. Эти хриплые звуки, натужно вырывавшиеся из хрипатого горла, были как удары ножа. Он мучил евреев: пока он говорит, тысячи агонизируют в концлагерях, а его голосу позволяют гарцевать у нас, в этой гостиной, где еще вчера мы принимали кузена, бывшего узника Дахау, несчастного с обожженными веками.

«"Если я буду воевать с Германией, — требует от немцев Бенеш, — ты обязан стрелять в немцев. А если откажешься, то будешь предателем, и я прикажу тебя расстрелять". То же самое он требует от венгров и поляков».

Голос заполнил собой здесь все, голос ненависти: этот тип был рядом с Эллой. Широкие немецкие равнины, горы Франции исчезли, он был совсем рядом с ней, вне расстояния, он суетился в ее доме, он на меня смотрит, он меня видит. Она повернулась к матери, к Иви, но они отпрянули назад, Элла еще могла их видеть, но не коснуться. Париж тоже отступил и стал вне досягаемости, свет, проникающий через окна, мертвенно падал на ковер. Произошло незаметное размежевание людей и предметов, она осталась совсем одна на свете с этим голосом.

«20 февраля этого года я заявил в рейхстаге, что необходимо изменение в жизни десяти миллионов немцев, которые живут вне наших границ. Однако господин Бенеш поступил иначе. Он прибегнул к еще более жесткому произволу».

Он говорил с нею один на один, глаза в глаза, с возрастающим раздражением, желая запугать ее, причинить ей боль. Она оставалась завороженной, она неотрывно смотрела на слюду, его слова как будто сдирали с нее кожу — она их уже не слышала, а осязала.

«Еще больший террор… Эпоха ликвидации…»

Она резко отвернулась и вышла из комнаты. Голос преследовал ее в вестибюле, неразличимый, раздавленный, по-прежнему ядовитый; Элла быстро вошла в свою комнату и закрыла дверь на ключ. Там, в гостиной, он еще угрожал. Но здесь она слышала только неясное

бормотание. Она тяжело опустилась на стул: значит, не найдется никого, ни одной матери замученного еврея, ни одной жены убитого коммуниста, чтобы взять револьвер и пойти уничтожить его? Она сжимала кулаки, она думала, что будь она немкой, то нашла бы в себе силы убить его.

Матье встал, достал одну из сигар Жака из кармана плаща и открыл дверь купе.

— Если это из-за меня, — сказала марселька, — не стесняйтесь: мой муж курит трубку, я привыкла.

— Благодарю вас, — сказал Матье, — но мне хочется немного размять ноги.

На самом деле ему хотелось больше не видеть ни ее, ни девочку, ни корзину. Он сделал несколько шагов по коридору, остановился, зажег сигару. Море было голубым и спокойным, он скользил вдоль моря, он думал: «Что со мной происходит?» Таким образом, ответ этого человека был категоричным: «Будем расстреливать, арестовывать, сажать в тюрьму». И все это для тех, кто чем-либо ему не подходит. Матье захотелось понять. Никогда еще не бывало, чтобы он чего-то не понимал; это была его единственная сила, единственная защита, его последняя гордость. Он смотрел на море и думал: «Я не понимаю, и тогда я выдвинул нюрнбергские требования. Эти требования были вполне определенными: прежде всего почему я еду на войну». Это было не очень-то хитро и однако совсем неясно. Что касалось его лично, все было ясно и четко: он играл и проиграл, его испорченная жизнь позади. Я ничего не оставляю, я ни о чем не сожалею, даже об Одетте, даже об Ивиш, я никто. Оставалось само событие. Я заявил, что теперь, через двадцать лет после заявлений президента Вильсона, войдет в силу право на свободное перемещение для тех трех с половиной миллионов человек… все, чего он достигло сих пор, было соразмерно его человеческим возможностям, маленькие неприятности и провалы, он видел, как они наступают, он им смотрел в лицо.

Когда он брал деньги в комнате Лолы, он видел купюры, он их трогал, он вдыхал аромат, который витал в комнате; и когда он расставался с Марсель, он смотрел ей в глаза, говоря с ней; его трудности были всегда связаны только с ним самим; он мог себе сказать: «Я был прав, я был виноват»; он мог судить самого себя.

Теперь это стало невозможным и снова господин Бенеш дал ответ: новые смерти, новые заключения в застенки, новые… он подумал: «Я иду на войну», и это ничего не значило. Случилось нечто, что его превосходило. Война превосходила его. «Дело не в том, что меня превосходит, просто она не здесь. А кстати, где она? Повсюду: она зачинается в любом месте, поезд углубляется в войну, Гомес приземляется в войну, эти курортники в белом прогуливаются по войне, нет ни одного биения сердца, которое бы ее не питало, ни одного сознания, не пронизанного ею. И однако она похожа на голос Гитлера, который заполняет поезд и который я не могу слышать: Я ясно представил господину Чемберлену то, что мы теперь считаем единственно возможным решением; время от времени кажется, что ты сейчас к ней притронешься — все равно где — в соусе турнедо, протягиваешь руку, и она исчезает: остается только кусок мяса в соусе. «Да! — подумал он, — нужно быть одновременно повсюду».

Мой фюрер, мой фюрер, ты говоришь — и я превращаюсь в камень, я больше не думаю, я больше ничего не хочу, я — только твой голос, я его подожду у выхода, я пропущу его через сердце; прежде всего я являюсь рупором немцев, именно ради немцев я говорил, что не собираюсь оставаться пассивным наблюдателем действий этого безумца из Праги; Филипп думал: я буду мучеником, я не уехал в Швейцарию, и теперь мне остается только быть мучеником, и я клянусь стать им, клянусь, клянусь, клянусь; тихо, шикнул Гомес, слушаем речь марионетки.

— Говорит Парижское радио, не отходите от приемников: через некоторое время мы будем передавать французский перевод первой части речи рейхсканцлера Гитлера.

— Вот видишь! — сказал Жермен Шабо. — Видишь! Не стоило выходить и бегать два часа за «Энтранзижаном». Я же тебе говорил: они всегда так делают.

Мадам Шабо положила вязанье в рабочую корзинку и пододвинула кресло.

— Скоро узнаем, что он сказал. Не нравится мне это. У меня от этого как бы сосет под ложечкой. А у тебя?

— Тоже, — признался Жермен Шабо. Радиоприемник гудел, два-три раза проурчал что-то, и Шабо сжал руку жены.

— Слушай.

Они немного наклонились, прислушиваясь, и по радио запели «Кукарачу».

— Ты уверен, что это Парижское радио? — спросила мадам Шабо.

— Уверен.

— Значит, передают музыку, чтобы мы запаслись терпением.

Голос пропел три куплета, затем пластинка остановилась.

— Ну вот, — сказал Шабо.

Послышалось легкое потрескивание, и гавайский оркестр заиграл «Honey Moon»[54].

Нужно быть повсюду. Он грустно посмотрел на кончик сигары: повсюду, иначе ты одурачен. «Я одурачен. Я — солдат, я ухожу на войну. Вот что нужно видеть: войну и солдата. Кончик сигары, белые виллы на берегу моря, монотонное скольжение вагонов по рельсам и этот слишком знакомый пассажир, Фес, Марракеш, Мадрид, Перуджа, Сиенна, Рим, Прага, Лондон, который в тысячный раз курит в коридоре вагона третьего класса. Нет войны, нет солдата: нужно быть повсюду, нужно видеть себя повсюду, из Берлина, как трехмиллионную часть французской армии, глазами Гомеса, как одного из этих сучьих французов, которых пинками гонят воевать, глазами Одетты. Нужно видеть себя глазами войны. Но где глаза войны? Я здесь, у меня перед глазами скользят большие светлые равнины, я ясновидящий, я вижу, и однако я ориентируюсь на ощупь, вслепую, и каждое мое движение зажигает лампочку или включает звонок в мирах, которых я не вижу». Зезетта закрыла ставни, но свет уходящего дня все равно проникал сквозь щели, она чувствовала себя усталой и мертвой, она бросила комбинацию на стул и голой скользнула в постель, я всегда так хорошо сплю, когда у меня горе; но когда она очутилась в постели, вот в этой кровати Момо ласкал ее позавчера, как только она забывалась, он ложился на нее, он давил на нее, а если она открывала глаза, его здесь не было, он спал там, в казарме, и потом, еще это чертово радио, которое горланило на чужом языке; это работал приемник Хайнеманнов, немцев-беженцев со второго этажа, хриплый гадючий голос, который выматывает нервы, значит, это не закончится, значит, это не скоро закончится! Матье позавидовал Гомесу, а потом подумал: Гомес видит не больше меня, он бьется против невидимок — и он перестал завидовать ему. Что он

видит: стены, телефон на столе, лицо своего адъютанта. Он воюет, но он не видит войну. Что касается войны, то воюем мы все: я поднимаю руку, затягиваюсь сигарой — и я воюю; Сара проклинает безумие людей, сжимает в объятиях Пабло — она воюет. Одетта воюет, когда заворачивает сандвичи с ветчиной в бумагу. Война берет все, собирает все, она не упускает ничего, ни одной мысли, ни одного жеста, и никто не может ее увидеть, даже Гитлер. Никто. Он повторил: «Никто», и вдруг он ее смутно увидел. Это было странное, подлинно немыслимое тело.

— Говорит Парижское радио, не отходите от приемников: через несколько минут мы будем передавать французский перевод первой части речи рейхсканцлера Гитлера.

Они не пошевелились. Они краем глаза смотрели друг на друга, и когда Рина Кетти запела «Я буду ждать», они улыбнулись друг другу. В конце первого куплета мадам Шабо расхохоталась.

— «Я буду ждать»! — сказала она. — Хорошо найдено! Они смеются над нами.

Огромное тело, планета, в пространстве ста миллионов измерений: существа трех измерений не могут этого даже себе представить. И однако каждое измерение было самостоятельным сознанием. Если попытаться посмотреть на планету прямо, она рассыплется на крошки, останутся только сознания. Сто миллионов свободных сознаний, каждое из которых видело стены, кончик горящей сигары, знакомые лица и строило свою судьбу под собственную ответственность. И однако, если ты был одним из этих сознаний, то замечал по неуловимым касаниям, по незаметным изменениям, что ты солидарен с гигантской и невидимой колонией полипов. Война: каждый свободен, и однако ставки сделаны. Она здесь, она повсюду, это совокупность всех моих мыслей, всех слов Гитлера, всех действий Гомеса: но никого нет, чтобы подвести итог. Она существует только для Бога. Но Бога нет. А война все равно существует.

— У меня нет никаких сомнений, что и немецкому терпению есть предел. У меня нет никаких сомнений, что немецкой натуре оно свойственно в высшей степени, но грядет час — и мы призваны с ним покончить.

— Что он говорит? Что он говорит? — спросил Шомис. Борис объяснил:

— Он говорит, что немецкое терпение имеет предел.

— Наше тоже, — заметил Шарлье.

В приемнике все начали орать, и в этот момент Эррера вошел в комнату.

— А, привет! — сказал он, заметив Гомеса. — Ну как? Хороший был отпуск?

— Так себе, — ответил Гомес.

— Французы, как всегда… осторожны?

— Ха! Вы даже себе не представляете. Но я думаю, этим гадам скоро станет жарко! — Он показал на приемник. — Берлинская марионетка разбушевалась.

— Кроме шуток? — Глаза Эрреры блеснули. — Слушайте-ка, ведь это сильно изменит обстоятельства.

— Наверняка, — отозвался Гомес.

Они некоторое время смотрели, улыбаясь, друг на друга. Тилькен, стоявший у окна, вернулся к ним.

— Приглушите радио, я что-то слышу.

Гомес повернул ручку, и шум из приемника ослабел.

— Слышите? Слышите?

Гомес прислушался; он уловил глухой гул.

— Ну точно, — сказал Эррера. — Тревога. Четвертая с утра.

— Четвертая! — удивился Гомес.

— Да, — подтвердил Эррера. — Да уж, грядут перемены!

Гитлер снова говорил; они склонились над приемником. Гомес слушал речь одним ухом; другим он следил за гулом самолетов. Вдалеке раздался глухой взрыв.

— Что он делает? Он не только не уступил территорию, он теперь изгоняет немцев! Не успел господин Бенеш закрыть рот, как с еще большей силой возобновились строгие меры военного подавления. Мы констатируем кошмарные цифры: за один день убежали десять тысяч человек, на следующий день — двадцать тысяч…

Гул уменьшился, затем вдруг возрос. Послышалось два долгих взрыва.

— Это в порту, — прошептал Тилькен.

— … на следующий день тридцать семь тысяч, два дня спустя — сорок одна тысяча, затем — шестьдесят две, затем — семьдесят восемь; девяносто тысяч, сто семь, сто тридцать семь. А сегодня двести четырнадцать тысяч. Целые районы обезлюдели, дома сожжены, снарядами и газом пытаются отделаться от немцев. А господин Бенеш расположился в Праге и думает так: «Ничего не случится, в конце концов, у меня за спиной Англия и Франция».

Эррера ущипнул Гомеса за руку.

— Слушай, — сказал он, — слушай: сейчас он выскажется без обиняков!

Его лицо порозовело, и он с воодушевлением смотрел на приемник. Голос, громоподобный и шероховатый, прогрохотал:

— И теперь, дорогие соотечественники, пробил час говорить напрямик.

Серия взрывов, которые приближались, покрыла шум аплодисментов. Но Гомес едва обратил на них внимание: он устремил взгляд на приемник, он слушал этот угрожающий голос и ощущал, как в нем вновь зарождается давно уже похороненное чувство, нечто, походящее на надежду.

На тонкой кромке хмурого дня Вы не заметили меня, А мне постыло и одиноко. Одной надеждой еще дышу, Одной надежды еще прошу…

— Я понял, — произнес Жермен Шабо. — На сей раз я понял.

— Что? — спросила его жена.

— Да все эти махинации с вечерней прессой. Они не хотят передавать по радио перевод до того, как его опубликуют газеты.

Он встал и взял шляпу.

— Я ухожу. Пойду куплю «Энтранзижан» на бульваре Барбес.

Пора. Филипп выпростался из кровати и подумал: «Пора». Она обнаружит, что птичка улетела, а к одеялу приколота купюра в тысячу франков, если будет время, присоединю к этому прощальное стихотворение. У него была тяжелая голова, но она уже не болела. Он провел руками по лицу и с отвращением опустил их: они пахли негритянкой. На стеклянной полке над умывальником, рядом с пульверизатором, лежало розовое мыло и резиновая губка. Он взял губку, но в нем поднялась тошнота, и он поискал в своем чемоданчике туалетную перчатку и мыло. Он вымылся с головы до пят, вода текла

на пол, но он не обращал на это внимания. Он причесался, вынул из чемодана чистую рубашку и надел ее. Рубашка мученика. Он был грустен и тверд. На столике была щетка, он старательно почистил пиджак. «Но куда же я засунул брюки?» — подумал он. Он посмотрел под кровать и даже между простынями: брюк не было; он решил: «Должно быть, я был пьян». Он открыл шкаф с зеркалом и начал беспокоиться: брюк не было и там. Некоторое время он стоял посреди комнаты в одной рубашке и чесал голову, оглядываясь вокруг, потом его охватил гнев, потому что не было ничего нелепее для будущего мученика, как оставаться таким образом в одних носках в спальне проститутки, когда полы рубашки мученика хлопают его по голым коленям. В этот момент он заметил справа шкаф, вделанный в стену. Он подбежал к нему, но ключа в скважине не было; он попытался открыть его ногтями, затем ножницами, которые нашел на столе, но это ему не удалось. Он бросил ножницы и начал пинать дверцу, разъяренно бормоча: «Проклятая шлюха, проститутка! Заперла мои брюки, чтобы я не смог уйти».

— И теперь я могу сказать только одно: два человека сошлись лицом к лицу: там — господин Бенеш, а здесь — я!

Вся толпа начала выть. Анна тревожно смотрела на Милана. Он подошел к радио и, засунув руки в карманы, смотрел на него. Его лицо почернело, на скулах ходили желваки.

— Милан… — позвала Анна.

— Мы — люди разного склада. Господин Бенеш во время великого столкновения народов ездил по свету, держась в стороне от опасности; я же, как честный немецкий солдат, выполнял свой долг. И вот сегодня я стою напротив этого человека как солдат моего народа.

Они снова зааплодировали. Анна встала и положила ладонь на руку Милана: его бицепс напрягся, все тело окаменело. «Он сейчас упадет», — подумала она. Милан, заикаясь, сказал:

— Сволочь!

Она изо всех сил сжала его руку, но он ее оттолкнул. Его глаза налились кровью.

— Бенеш и я! — пробормотал он. — Бенеш и я! Потому что за тобой семьдесят пять миллионов человек!

Он сделал шаг вперед; она подумала: «Что он собирается делать?» и бросилась за ним; но он успел дважды плюнуть на

приемник.

Гитлер продолжал:

— Мне нужно заявить немногое: я признателен господину Чемберлену за его усилия. Я заверил его, что немецкий народ не хочет ничего иного, как мира: но я ему также заявил, что не могу расширять пределы нашего терпения. Кроме того, я его заверил, и повторяю это теперь, что как только эта проблема будет решена, для Германии в Европе не останется ни одной территориальной проблемы! Кроме того, я его заверил, что с того момента, как Чехословакия мирно, без угнетения объяснится со своими нацменьшинствами, я не буду больше интересоваться чешским государством. Я это гарантирую! Нам не нужны чехи как таковые. А пока что я заявляю немецкому народу, что в том, что касается проблемы судетских немцев, мое терпение на исходе. Я предложил господину Бенешу вариант, который является фактически осуществлением его собственных деклараций. Теперь решение в его руках: мир или война. Или же он примет эти предложения и даст свободу немцам, или мы придем за ней сами.

Эррера поднял голову, он злорадствовал:

— Черт побери! — рявкнул он. — Черт, так им и надо! Слышали? Это война!

— Да, — согласился Гомес. — Бенеш — упрямый человек, и он не уступит: это война.

— Черт! — ругнулся Тилькен. — Если б так все и было! Если б только так все и было!

— Что это? — спросил Чемберлен.

— Продолжение, — сказал Вудхауз.

Чемберлен взял листки и начал читать. Вудхауз с беспокойством следил за его лицом. Немного погода премьер-министр поднял голову и приветливо ему улыбнулся.

— Что ж, — сказал он, — ничего нового. Вудхауз удивленно посмотрел на него.

— Рейхсканцлер Гитлер выразился в весьма резких тонах, — заметил он.

— Полноте! Полноте! — возразил Чемберлен. — Его вынудили обстоятельства.

«Сегодня я иду впереди моего народа, как его первый солдат; а за мной — пусть мир это знает — теперь идет народ, народ иной, чем в

1918 году. В этот час весь немецкий народ объединится со мной. Он почувствует мою волю, как свою собственную, я, между тем, рассматриваю его будущее и его судьбу, как двигатель моих действий! И мы хотим усилить эту общую волю, такую, какой она была у нас во время сражения, в то время, когда я ушел на войну простым неизвестным солдатом, чтобы завоевать рейх, нисколько не сомневаясь в успехе и окончательной победе. Вокруг меня сплотились храбрые мужчины и храбрые женщины, которые пошли со мной. И теперь, мой немецкий народ, я обращаюсь к тебе так: "Иди за мной, мужчина за мужчиной, женщина за женщиной. В этот час мы все хотим иметь общую волю. Эта воля должна быть сильнее любых невзгод и любой опасности; и если эта воля сильнее невзгод и опасности, она справится с невзгодами и опасностями". Мы решились! Теперь выбирать господину Бенешу».

Борис повернулся к остальным и произнес:

— Все.

Они не сразу отозвались: с внимательным видом они курили. Через какое-то время хозяин сказал:

— Держу пари, ему сломают хребет.

— Думаю, что так.

Хозяин склонился над бутылками и повернул ручку приемника; на какую-то минуту Борису стало не по себе: было ощущение огромной пустоты. Через открытую дверь тихо проникали ветер и ночь.

— Так что он сказал? — спросил марселец.

— В конце он объявил: «За мной весь мой народ, я готов к войне. Выбирать господину Бенешу».

— Приплыли! — протянул марселец. — Значит, будет война?

Борис пожал плечами.

— Что же, — сказал марселец, — я уже полгода не видел жену и двух дочерей. А теперь я возвращаюсь в Марсель и здрасьте: помаши ручкой на прощание и снова в казарму.

— А я, наверное, даже не успею повидать мать, — откликнулся Шомис. Он объяснил: — Я с севера.

— Вот оно что! — покачал головой марселец. Наступило молчание. Шарлье выбил трубку о каблук.

Хозяин спросил:

— Что-нибудь еще будете? Раз уж война — я угощаю.

— Давайте пропустим еще по стаканчику.

Снаружи было свежо и темно, издалека доносилась музыка из казино: возможно, это пела Лола.

— А я там, в Чехословакии, бывал, — сказал северянин. — И оно к лучшему: так хотя бы знаешь, ради чего дерешься.

— Вы долго там пробыли? — спросил Борис.

— Полгода. На лесозаготовке. Я с чехами ладил. Они ребята работящие.

— Так ведь и немцы тоже работящие, — возразил бармен.

— Да, но дерьма в них много, а чехи спокойные.

— Ваше здоровье! — произнес Шарлье.

— Ваше здоровье!

Они чокнулись и выпили, затем марселец заметил:

— Холодает.

Матье резко проснулся.

— Где мы? — спросил он, протирая глаза.

— В Марселе, это вокзал Сен-Шарль, приехали: все выходят.

— Хорошо, — сказал Матье, — хорошо, хорошо.

Он снял с крючка свой плащ и взял чемодан. Он двигался так, словно еще спал. «Гитлер, должно быть, уже закончил речь», — удовлетворенно подумал он.

— Я видел, как тогда, в четырнадцатом году, уходили на войну, — говорил северянин. — Мне тогда было десять лет. Тогда все было по-другому.

— Они хотели идти на войну?

— Ха! Не то слово! Все сверкало! Все пело! Все плясало!

— Да они просто ничего не понимали, — сказал марселец.

— Конечно.

— Зато мы все понимаем, — отозвался Борис. Наступило молчание. Северянин смотрел прямо перед собой. Он продолжал:

— Я видел фрицев вблизи. Четыре года мы были оккупированы. Чего только мы не натерпелись! Деревня была стерта с лица земли, мы целыми неделями прятались в карьерах. Как подумаю, что это снова придется пережить…

Он добавил:

— Но это не значит, что я не поступлю, как другие.

— Что касается меня, — улыбаясь, сказал хозяин, — то я боюсь смерти. С самых малых лет. Но в последнее время я нашел себе оправдание, я решил так: «Что противно, так это умереть. Хоть от испанки, хоть от взрыва снаряда…»

Борис бессмысленно смеялся: они ему нравились; он подумал: «Я больше люблю мужчин, чем женщин». В войне было хорошо то, что она происходила среди мужчин. Три года, а то и пять лет он будет видеть только мужчин. «И я уступлю свою очередь на отпуск семейным».

— Самое главное, — заключил Шомис, — если можешь себе сказать, что жил. Мне тридцать шесть лет, и не всегда было весело. Были взлеты, были падения. Но я жил. Пусть меня хоть разрежут на кусочки, но этого у меня не отнять. — Он повернулся к Борису. — Такому молодому парню, как вы, должно быть, тяжелее.

— Да нет! — живо откликнулся Борис. — Все давно твердят, что скоро война!

Он слегка покраснел и добавил:

— Когда женат, это похуже.

— Да, — вздохнул марселец. — Моя жена мужественная, и потом, у нее есть специальность: она парикмахер. С детьми посложнее: все-таки лучше иметь отца, верно? И все-таки не все же отдают там концы?

— Конечно, нет, — поспешил заверить его Борис. Музыка смолкла. В бар зашла пара. Женщина была рыжая, в зеленом платье, очень длинном и сильно декольтированном. Пара расположилась за столиком в глубине.

— Все-таки, что за дерьмо — война! — подытожил Шарлье. — Нет на свете ничего хуже.

— Согласен, — поддержал его хозяин.

— Я тоже, — сказал Шомис.

— Итак, — спросил марселец, — сколько я должен? Одна порция за мной.

— А одна за мной, — подхватил Борис.

Они расплатились. Шомис и марселец вышли под руку. Шарлье помешкал, повернулся на каблуках и пошел к столику, прихватив свою рюмку коньяка. Борис остался у стойки, он подумал: «Какие они все-таки симпатичные!» Он был уверен, что и в траншеях все эта

тысячи солдат будут такими же милягами. И Борис будет жить среди них, и днем, и ночью, общая работенка найдется. Он подумал: «Пока что мне везет»; он сравнивал себя с бедолагами, своими ровесниками, которые попали под машину или умерли от холеры — тут удача была налицо. К тому же, с ним не поступили по-предательски; речь шла не о внезапной войне, настигающей человека врасплох, как несчастный случай: эта война была объявлена заранее, за шесть или семь лет, и у всех хватило времени ощутить ее приближение. Сам Борис никогда не сомневался, что она в конце концов разразится; он ждал ее, как наследный принц, сызмальства знающий, что он рожден царствовать. Его произвели на свет для этой войны, его воспитали для нее, послали в лицей, в Сорбонну, дали ему образование. Ему говорили, что это нужно для карьеры преподавателя, но это всегда ему казалось подозрительным; теперь он знал, что из него хотели сделать офицера запаса; ничего не пожалели, чтобы он стал красивым покойником[55], совсем свежим и здоровым. «Самое забавное, — подумал он, — это то, что я родился не во Франции, я здесь только натурализовался. Но в конечном счете это было не так уж важно; останься он в России, укройся его семья в Берлине или Будапеште, все было бы приблизительно одинаково: война — это вопрос не национальности, а возраста; молодых немцев, молодых венгров, молодых англичан, молодых греков ждала одна и та же война, одна и та же судьба. В России было сначала поколение революции, затем — пятилетки, теперь — мирового конфликта: каждому свой жребий. В конечном счете, рождаешься для войны или для мира, как рождаешься рабочим или буржуа, делать нечего, не всем везет родиться швейцарцем. «Кто имеет право протестовать, — подумал он, — так это Матье: он уж точно родился для мира; он в самом деле думал, что доживет до старости, у него сложились свои привычки; в его возрасте уже не меняются. Эта война — моя. Она идет ко мне, и я пойду на нее, мы неразлучны; я даже не могу себе представить, кем бы я был, если б она не разразилась». Он подумал о своей жизни, и она уже не казалась ему слишком короткой: «Жизнь не бывает ни короткой, ни долгой. Моя жизнь — это просто жизнь, которая закончится войной». Он даже почувствовал себя облаченным новым достоинством, потому что у него была теперь определенная роль в обществе, а также потому, что он погибнет насильственной смертью, и в этом есть особое смирение.

Однако пора было идти за Лолой. Он улыбнулся хозяину и быстро вышел.

Небо было облачным; местами поблескивали звезды; с моря дул ветер. Некоторое время в голове Бориса был туман, а затем он подумал: «Моя война», и сам этому удивился, так как не имел привычки долго думать об одном и том же. «Вот уж натерплюсь страху! — подумал он. — Вот уж буду дрейфить! Это точно!», и он засмеялся при мысли об этом позорище, об этом гигантском сраме. Но через несколько шагов он перестал смеяться — его охватило внезапное беспокойство: не нужно слишком бояться. Пусть он умрет молодым, но это не повод, чтобы самому портить свою жизнь и пускаться во все тяжкие. С самого рождения его обрекли, но ему оставили шанс, его война была скорее призванием, чем судьбой. Конечно, он бы мог пожелать себе другую судьбу: великого философа, например, или ловеласа, или великого финансиста. Но призвание не выбирают: или оно удается, или его упускают, вот и все; самое дрянное в его положении это то, что ничего нельзя начать сызнова. Бывает жизнь, похожая на экзамен на степень бакалавра: нужно выполнить множество письменных работ, и если промахнешься на физике, можно наверстать в естественных науках или в филологии. Его жизнь напоминала, скорее, диплом по всеобщей философии, где все решает один экзамен; это ужасно смущает. Но как бы то ни было, именно на этом экзамене он должен преуспеть, а не на каком-то другом, и у него будут трудности. Нужно вести себя подобающим образом, но этого недостаточно. Нужно еще обустроиться на войне, найти в ней свою нишу и постараться извлекать пользу из любых обстоятельств. Нужно убедить себя, что с определенной точки зрения все равноценно: атака на Аргоне стоит прогулки в гондоле, сок, который рано утром пьешь в траншеях, стоит кофе на испанских вокзалах на заре. И потом, есть товарищи, жизнь на свежем воздухе, посылки и особенно зрелища: бомбежка, должно быть, впечатляет. Только не нужно бояться. «Если я испугаюсь, то пущу свою жизнь на ветер, это будет глупо. Нет, я не буду бояться», — твердо решил он.

Огни казино отвлекли его от мечтаний, звуки музыки лились через открытые окна, черный автомобиль тихо замер у подъезда. «Еще один год», — раздраженно подумал он.

Было за полночь, Шпортпаласт был темен и пуст, кругом перевернутые стулья, раздавленные окурки сигар, господин Чемберлен говорил по радио, Матье бродил по перрону Вье-Пор, думая: «Это болезнь, именно болезнь, она свалилась на меня случайно, она меня не касается, нужно принимать ее со стоицизмом, как подагру или зубную боль». Господин Чемберлен сказал:

«Я надеюсь, что рейхсканцлер не отвергнет это предложение, составленное в том же духе дружбы, в котором я был принят в Германии, и, в случае его принятия, Германия осуществит свое желание объединиться с Судетами, не пролив ни капли крови ни в одной точке Европы».

Он сделал движение рукой, показывая, что он закончил, и отошел от микрофона. Зезетта не могла уснуть, она стояла у окна и смотрела на звезды над крышами, Жермен Шабо спустил брюки в туалете. Борис ждал Лолу в холле казино; повсюду в воздухе, почти никем не услышанный, тщился распуститься темный цветок «If the moon turns green»[56], выращиваемый джазом отеля «Астория» и транслируемый Давентри.

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

Двадцать два часа тридцать минут. «Месье Деларю! — удивилась консьержка. — Вот так сюрприз! Я вас ждала только через неделю».

Матье ей улыбнулся. Он предпочел бы пройти незамеченным, но нужно было попросить ключи.

— Вы-то по крайней мере не мобилизованы?

— Я? — переспросил Матье. — Нет.

— Ага, — сказала она. — Тем лучше! Тем лучше! Такое всегда приходит слишком рано. Ох уж эти события! Столько всего произошло после вашего отъезда. Вы думаете, это война?

— Не знаю, мадам Гарине, — ответил Матье. — Он живо добавил: — Есть какая-нибудь почта?

— Да, я вам все туда отправила. Еще вчера я отправила какую-то повестку в Жуан-ле-Пэн; если бы вы меня только предупредили, что возвращаетесь. Да! Сегодня утром пришло для вас еще вот это.

Она протянула ему длинный черный конверт; Матье узнал почерк Даниеля. Он взял письмо и положил его, не распечатав, в карман.

— Вам ключи? — спросила консьержка. — Эх! Как досадно, что вы не смогли предупредить о своем приезде: я бы успела прибрать. А сейчас… Даже ставни не открыты.

— Пустяки, — сказал Матье, беря ключи. — Пустяки. Всего доброго, мадам Гарине.

Дом был еще пуст. Снаружи Матье уже заметил, что все ставни закрыты. С лестницы на лето убрали ковер. Он медленно прошел мимо квартиры на втором этаже. Раньше там кричали дети, и Матье часто вертелся в постели, просыпаясь от воплей очередного младенца. Теперь комнаты за закрытыми ставнями были темны и пусты. Каникулы. Но в глубине души он думал: «Война». Это была война, эти ошеломленные каникулы, укороченные для одних, продленные для других. На третьем этаже жила содержанка: аромат ее духов нередко просачивался под дверь и распространялся по лестничной площадке. Сейчас она, должно быть, в Биаррице, в большом отеле, изнуренном жарой и беспорядком в делах. Он дошел до четвертого этажа и повернул в скважине ключ. Под ним, над ним — камни, ночь, тишина.

Он вошел в темноту, в темноту положил чемодан и плащ: прихожая пахла пылью. Он стоял неподвижно, опустив руки, погребенный в темноте, потом вдруг повернул выключатель и одну за другой прошел комнаты квартиры, оставляя двери открытыми; он зажег свет в кабинете, в кухне, в туалете, в спальне. Все лампы сверкали, непрерывный поток света циркулировал между комнатами. Он остановился возле кровати.

Кто-то там недавно спал: одеяло свернулось трубочкой, наволочка была грязной и мятой, крошки от рогалика усеяли простыню. Кто-то: «Я сам». Он думал: «Это я спал здесь. Я, пятнадцатого июля, в последний раз». Но он с отвращением смотрел на постель: его прежний сон охладился в простынях, теперь это был сон другого.

«Я не буду здесь спать».

Он отвернулся и прошел в кабинет: отвращение не покидало его. Грязный стакан на камине. На столе, рядом с бронзовым крабом, сломанная сигарета: из нее торчало множество сухих былинок. «Когда я сломал эту сигарету?» Он надавил на нее и почувствовал под пальцами скрип сухих листьев. Книги. Том Арбле, другой — Мартино, «Ламьель», «Люсьен Левен», «Воспоминания самовлюбленности». Кто-то намеревался писать статью о Стендале[57]. Книги оставались здесь, а окаменевший план стал предметом. Май 38-го года: тогда еще не было абсурдно писать о Стендале. Предмет. Такой же, как их серые обложки, как пыль, осевшая на их корешках. Непрозрачный, пассивный предмет, непроницаемое нечто. Мое намерение.

Его намерение выпить, которое отразилось тусклыми пятнами на прозрачности стакана, его намерение курить, его намерение писать, человек развесил свои намерения повсюду. Вот кресло из зеленой кожи, где человек сидел вечерами. Сейчас вечер: Матье посмотрел на кресло и сел на краешек стула. «Твои кресла действуют развращающе». Кто-то однажды сказал это как раз здесь: «Твои кресла действуют развращающе». На диване светловолосая девушка гневно трясла локонами. В это время человек едва видел локоны, едва слышал голос: он видел и слышал сквозь них свое будущее. Теперь человек уехал, увозя свое лживое старое будущее; былое понемногу охладилось, оно оставалось здесь, пленка жира, застывшая на мебели,

голоса, витающие на уровне глаз: они поднялись до потолка, потом упали, взлетели снова. Матье почувствовал себя нескромным, он подошел к окну и открыл жалюзи. На небе еще были остатки дня, некий безымянный свет: он вдохнул полной грудью.

Письмо Даниеля. Он потянулся было за ним, затем опустил руку на подоконник. Даниель ушел по этой улице июньским вечером, он прошел под этим фонарем: Матье тогда, встав у окна, проводил его взглядом. Этому человеку писал Даниель. Матье не хотел читать его письмо. Он быстро повернулся и с сухой радостью пробежал глазами по письменному столу. Они все там, запертые, мертвые — Марсель, Ивиш, Брюне, Борис, Даниель. Они туда пришли, они там были схвачены, они там останутся. Гнев Ивиш, упреки Брюне, Матье о них вспоминал уже с той же беспристрастностью, как о смерти Людовика XVI. Они принадлежали прошлому миру, но не его личному прошлому: у него не осталось собственного прошлого.

Он закрыл ставни, пересек комнату, поколебался и, поразмыслив, оставил лампу зажженной. Завтра утром приду сюда забрать чемоданы. Он закрыл входную дверь, оставив всех и все внутри, и спустился по лестнице. Там, у него за спиной электрические свечи всю ночь будут освещать его мертвую жизнь.

— О чем ты думаешь? — спросила Лола.

— Ни о чем, — ответил Борис.

Они сидели на пляже. Лола в этот вечер не пела, потому что в казино был гала-спектакль. Перед ними прошла пара, затем солдат. Борис думал о солдате.

— Не дуйся. Ну, скажи мне, о чем ты думаешь? — настаивала Лола.

Борис пожал плечами:

— Я думал о солдате, который только что прошел мимо.

— Да? — удивилась Лола. — И что же ты о нем подумал?

— А что, по-твоему, я мог подумать о солдате?

— Борис, — простонала Лола, — что с тобой? Ты был таким милым, таким нежным. И вот ты снова принялся за старое. Ты мне ничего не рассказал о том, как провел день.

Борис не ответил, он думал о солдате. Он думал: «Ему повезло, а мне еще ждать целый год». Один год: он вернется в Париж, будет гулять по бульвару Монпарнас, по бульвару Сен-Мишель, который он

знал наизусть, пойдет в «Дом», в «Купол», каждую ночь будет спать у Лолы. «Если бы я мог видеться с Матье, это было бы замечательно, но Матье мобилизован. А мой диплом!» — вдруг подумал он. Ко всему, была еще эта скверная шутка: диплом о высшем образовании. Его отец наверняка потребует, чтобы он был ему представлен, и Борис будет вынужден предъявить диссертацию о воображении у Ренувье или о привычке у Мэн ле Биран. «Зачем они все ломают комедию?» — с раздражением подумал он. Его воспитали для войны, это было их право, но теперь его хотят принудить получить диплом, будто ему предстояла целая мирная жизнь. Будет просто смешно: весь год он будет ходить в библиотеку, будет делать вид, что читает полное собрание сочинений Мэн ле Биран в издании Тиссерана, будет делать вид, что конспектирует, будет имитировать подготовку к экзамену, а сам при этом будет безостановочно думать о том настоящем экзамене, который его подстерегает; он будет непрерывно думать, трус он или храбрец. «Если бы не было этой, — подумал он, бросив недоброжелательный взгляд на Лолу, — я бы сейчас же пошел добровольцем, и им всем бы стало кисло».

— Борис! — испуганно вскрикнула Лола. — Что ты на меня так смотришь? Ты меня больше не любишь?

— Наоборот, — сквозь зубы процедил Борис. — Ты даже представить себе не можешь, как я тебя люблю. Ты даже не подозреваешь.

Ивиш зажгла лампу у изголовья и совсем голая легла на кровать. Она оставила дверь открытой, наблюдая за коридором. На потолке был круг света, а остальная часть комнаты оставалась синей. Синий туман висел над столом, пахло лимоном, чаем и сигаретным дымом.

Она услышала шорох в коридоре, и кто-то большой тихо прошел перед дверью.

— Постой-ка! — крикнула она.

Ее отец повернул голову и с укоризненным видом посмотрел на нее.

— Ивиш, я тебя уже просил: нужно или закрывать дверь, или одеваться.

Он слегка покраснел, но его голос был более певуч, чем обычно.

— Из-за горничной.

— Горничная легла спать, — не смущаясь, сказала Ивиш. Она добавила:

— Я тебя ждала. Когда ты проходишь, ты так мало шумишь: я боялась тебя пропустить. Отвернись.

Господин Сергин отвернулся, она встала и надела халат. Ее отец стоял в дверном проеме напряженно, повернувшись спиной. Она посмотрела на его затылок, атлетические плечи и беззвучно засмеялась.

— Можешь смотреть.

Теперь он стоял лицом. Два-три раза он втянул носом воздух и отметил:

— Ты слишком много куришь.

— Я нервничаю, — ответила она.

Он замолчал. Лампа освещала его большое угловатое лицо, Ивиш он показался красивым. Красивым, как гора; как водопад Ниагара. Наконец он сказал:

— Я иду спать.

— Нет, — взмолилась Ивиш. — Нет, папа, я хотела бы послушать радио.

— Что это значит? — изумился Сергин. — В такой час? Ивиш не поймалась на это возмущение: она знала, что каждый вечер к одиннадцати часам он выходил из своей комнаты втихомолку послушать новости в своем кабинете. Он был скрытен и легок, как эльф, несмотря на свои девяносто килограммов.

— Иди одна. Мне завтра рано вставать.

— Но папа, — жалобно заныла Ивиш, — ты же знаешь, что я не умею включать приемник.

Сергин засмеялся.

— Ха! Ха! — произнес он. — Ха! Ха!

— Ты хочешь послушать музыку? — спросил он, снова став серьезным. — Но мать, бедняжка, спит.

— Да нет же, папа, — сердито сказала Ивиш. — Я не хочу слушать музыку. Я хочу знать, что там решили насчет войны.

— Тогда пошли.

Она босиком двинулась за ним в кабинет, и он наклонился над приемником. Его длинные сильные руки так легко управлялись с настройкой, что у нее дрогнуло сердце, и она пожалела, что ушла их

былая близость. Когда ей было пятнадцать, они всегда были вместе, госпожа Сергин ревновала; когда отец водил Ивиш в ресторан, он сажал ее на скамью напротив себя, она сама выбирала себе

меню; официанты называли ее «мадам», это ее веселило, а он был горд, и у него был торжествующий вид. Были слышны последние такты военного марша, потом какой-то немец заговорил раздраженным голосом.

— Папа, — с упреком напомнила Ивиш, — я же не знаю немецкого.

Он посмотрел на нее с наивным видом. «Он сделал это нарочно», — подумала она.

— В этот час передают самую точную информацию. Ивиш внимательно слушала, чтобы уловить во время речи слово Krieg[58], смысл которого она знала. Немец замолчал, и оркестр заиграл новый марш; у Ивиш от него лопались уши, но Сергин дослушал его до конца: он любил военную музыку.

— Ну что? — с волнением спросила Ивиш.

— Очень плохо, — заявил Сергин. Но вид у него был не слишком огорченный.

— Да? — переспросила она с пересохшим горлом. — По-прежнему из-за чехов?

— Да.

— Как же я их ненавижу! — страстно проговорила она. А потом добавила:

— Но если страна отказывается воевать, разве ее можно заставить?

— Ивиш, — строго сказал Сергин, — ты еще дитя.

— А? — удивилась Ивиш. — А, ну конечно.

Она подозревала, что отец разбирается во всем этом не лучше нее.

— И больше ничего не сказали? Сергин колебался.

— Папа!

«Он зол, что я пришла, я ему порчу маленький праздник». Сергин любил секреты, у него было шесть чемоданов с замками, два чемодана на задвижках, он иногда их открывал, когда оставался один. Ивиш растроганно смотрела на него, он был такой симпатичный, что она чуть не рассказала ему о своих страхах.

Он опустил на нее взгляд своих светлых глаз, и она почувствовала, что он ничего для нее не сможет сделать. Она только спросила:

— Что будет, если начнется война?

— Французы будут разбиты.

— Да?. Неужели немцы войдут во Францию?

— Естественно.

— Они придут в Лаон?

— Вероятно. Я думаю, они дойдут до Парижа.

«Он совершенно ничего не знает, — подумала Ивиш. — Он человек, легко меняющий взгляды». Но сердце дрогнуло у нее в груди.

— Они возьмут Париж, но они же его не разрушат? Она раскаялась, что задала этот вопрос. С тех пор, как большевики сожгли их имения, отец приобрел вкус к катастрофам. Он покачал головой, наполовину закрыв глаза:

— Эх! — сказал он. — Эх! Эх!

Двадцать три часа тридцать минут. Это была мертвая улица, темнота затопляла ее; изредка встречался большой фонарь. Улица в никуда, ряд больших безымянных мавзолеев. Все жалюзи закрыты, ни щели света. «Это была улица Деламбр». Матье пересек улицу Сельс, улицу Фруадво, прошел по проспекту дю Мэн и даже по улице де ля Гетэ; они все были друг на друга похожи: еще теплые, уже неузнаваемые, уже улицы войны. Что-то выветрилось. Париж был уже кладбищем улиц.

Матье вошел в «Дом», потому что «Дом» оказался у него на пути. Официант с милой улыбкой засуетился вокруг него: это был невысокий паренек в очках, тщедушный и услужливый. Новенький: его предшественники заставляли клиентов ждать по часу, затем небрежно подходили и без тени улыбки брали заказ.

— Где Анри?

— Анри? — спросил официант.

— Высокий брюнет, с глазами навыкате.

— А-а! Он мобилизован. — А Жан?

— Блондин? Его тоже мобилизовали. Я его замещаю.

— Дайте мне коньяку.

Официант бегом удалился. Матье сощурился, потом с удивлением осмотрел зал. В июле «Дом» не имел определенных пределов, он тек в

ночи сквозь стекла и двери; он разливался на мостовую, прохожие купались в этой сыворотке, которая еще дрожала у них на руках и на левой стороне лиц шоферов, стоящих посреди бульвара Монпарнас. Еще один шаг — и ты нырял в красное, правый профиль шоферов был красный: это была «Ротонда». Теперь наружные сумерки толкались в стекла, «Дом» был сведен к самому себе: коллекция столиков, скамей, стаканов, сухих, укороченных, лишенных того рассеянного сверкания, которое было их ночной тенью. Исчезли немецкие эмигранты, венгерский пианист, старая алкоголичка американка. Ушли все те очаровательные пары, которые держались за руки под столом и до утра говорили о любви, и глаза их были красными от бессонницы. Слева от него ужинал майор с женой. Напротив маленькая аннамская проститутка мечтала о чем-то перед кофе со сливками, а за соседним столиком капитан ел кислую капусту. Справа молодой человек в военной форме прижимал к себе женщину. Матье знал его в лицо, это был ученик Академии художеств, длинный, бледный и смущенный; военная форма придавала ему свирепый вид. Капитан поднял голову, и его взгляд пересек стену; Матье проследил за этим взглядом: в конце был вокзал, огни, отблески на рельсах, люди с землистыми лицами, запавшие от бессонницы глаза, люди напряженно сидели в вагонах, положив руки на колени. В июле мы сидели кружком под лампами, мы не сводили друг с друга глаз, ни один из наших взглядов не терялся. Теперь они теряются, они бегут, к Висембургу, к Монмеди; между людьми много тьмы и много пустоты. «Дом» мобилизовали, из него сделали предмет первой необходимости: буфет. «Эх! — радостно подумал он. — Я ничего не узнаю, я ни о чем не жалею, я ничего не оставляю после себя».

Маленькая индокитаянка улыбнулась ему. Она была миловидная, с малюсенькими ручками; уже два года Матье обещал ей провести с ней ночь. Как раз наступил такой момент. Я проведу губами по ее холодной коже, я вдохну ее запах насекомых и нафталина; я буду голым и неизвестно каким под ее искусными пальцами; во мне есть какая-то ветошь, которая от этого отомрет. Достаточно только улыбнуться в ответ.

— Официант! Официант подбежал:

— С вас десять франков.

Матье расплатился и вышел. Нет, я ее еще слишком хорошо знаю.

Было темно. Первая ночь войны. Нет, не совсем. Еще оставалось много света, зацепившегося за бока домов. Через месяц, через две недели первая тревога его сдует; а пока это всего лишь генеральная репетиция. Но Париж все-таки потерял свой потолок из розовой ваты. В первый раз Матье видел темный пар, подвешенный над городом: небо. Небо Жуан-ле-Пэна, Тулузы, Дижона, Амьена, то же самое небо для деревни и для города, для всей Франции. Матье остановился, поднял голову и посмотрел на него. Небо все равно где, одинаковое для всех. И я под ним — всего лишь один из людей, любой. И война — тоже всюду война. Он остановил взгляд на светлом пятне, повторил про себя, чтобы запечатлеть в слове: «Париж, бульвар Рас-пай». Но их тоже мобилизовали, все эти роскошные названия, они как будто сошли с карты генерального штаба или со страниц коммюнике. От бульвара Распай не осталось ничего. Дороги, только дороги, которые бежали с юга на север, с запада на восток; пронумерованные дороги. Время от времени их мостили на километр-другой, тротуары и дома покрывали землю, это называлось улицей, проспектом, бульваром. Но всегда это был только кусочек дороги; Матье шел, обратив лицо к бельгийской границе, по участку департаментской дороги, исходящей из шоссе государственного значения № 14. Он свернул на длинный путь, прямой и проезжий, продолжающий железнодорожные пути Западной компании, прежде это была улица де Ренн. Его окутало пламя, высветило из тени уличный фонарь, погасло: направляясь к вокзалам правого берега, проехало такси. За ним последовал черный автомобиль, полный офицеров, потом все смолкло. На краю дороги, под равнодушным небом, дома были сведены к своей самой примитивной функции: это были доходные дома. Спальни-столовые для подлежащих мобилизации, для семей мобилизованных. Уже предчувствовалось их последнее предназначение: они станут «стратегическими точками», и под конец — мишенями. После этого можно разрушить Париж: он уже мертв. Зарождается новый мир: суровый и практичный мир строений.

Луч света проникал через занавески кафе «Де-Маго». Матье сел на террасе. За ним в тени шептались люди: последние клиенты. Становилось прохладно.

— Кружку пива, — попросил Матье.

— Скоро полночь, — сказал официант, — на террасе больше не обслуживают.

— Только кружку пива.

— Тогда быстро.

У него за спиной засмеялась женщина. Впервые со времени своего возвращения он слышал смех, и он был этим почти шокирован. Однако ему не было грустно; но и смеяться ему не хотелось. На небе разорвалось облако, и показались две звезды. Матье подумал: «Это война».

— Вы не могли бы заплатить сразу, и тогда потом я вас уже не побеспокою.

Матье расплатился, официант вернулся в зал. Встала пара теней, проскользнула между столов и исчезла. Матье остался на террасе один. Он поднял голову и увидел на другой стороне площади новую красивую церковь, белую на фоне черного неба. Деревенская церковь. Вчера на ее месте возвышалось настоящее парижское здание: церковь Сен-Жермен-де-Пре, исторический памятник, Матье часто назначал Ивиш свидания под ее портиком. Может быть, завтра напротив «Де-Маго» останется только разбитое строение, по которому будут упорно стрелять сто пушек. Но сегодня… сегодня Ивиш была в Лаоне, Париж умер, только что похоронили Мир, война еще не объявлена. Был только большой белый предмет, поставленный на площади, белые чешуйки ночи. Деревенская церковь. Она была новой, красивой; сейчас она была бесполезной. Подул легкий ветер; проехал автомобиль с погашенными фарами, потом — велосипедист, потом — два грузовика, от которых задрожала земля. Каменный образ на миг помутнел, затем ветер стих, наступила тишина, белая, ненужная, нечеловеческая, вставшая посреди всех этих зеркальных предметов по краям Восточной дороги, бесстрастное и голое будущее скалы. Достаточно совсем маленькой черной точки в небе, чтобы он рассыпался в прах, и однако он был вечным. Совсем одинокий человек, забытый, снедаемый мраком напротив этой преходящей вечности. Он вздрогнул и подумал: «Я тоже вечен».

Все свершилось безболезненно. Жил человек, нежный и боязливый, он любил Париж и гулял по нему. Человек умер. Умер, как и Вальдек-Руссо, как и Тюро-Данжен; он навсегда вошел в прошлое планеты, вместе с Миром, его жизнь влилась в архивы Третьей

Республики; его ежедневные расходы будут питать статистику, касающуюся уровня жизни среднего класса после 1918 года, его письма послужат документами для истории буржуазии между двумя войнами, его тревоги, сомнения, стыд и угрызения совести будут очень ценными для изучения французских нравов после падения Второй Империи. Этот человек скроил собственное будущее по своей мерке, обкуренное, проваленное, безропотное, перегруженное знаками, свиданиями, планами. Маленькое историческое и смертное будущее: война всем своим весом обрушилась на него и раздавила. Однако вплоть до этой минуты еще оставалось что-то, что могло зваться Матье, что-то, за что он цеплялся изо всех сил. Он не мог бы толком сказать, что это. Может, какая-то очень старая привычка, может, какая-то манера выбирать свои мысли по своему образу, день ото дня выбирать себя по образу своих мыслей, выбирать пищу, одежду, деревья и дома, которые он видел. Он опустил руки и отказался от дальнейших попыток; это происходило очень далеко — в глубине души, там, где слова уже не имеют смысла. Он отказался от дальнейших попыток, теперь от него остался только взгляд. Но совсем новый взгляд, без страсти, совсем прозрачный. «Я потерял свою душу», — радостно подумал он. Эту прозрачность пересекла какая-то женщина. Она торопилась, ее каблуки стучали по тротуару. Она проскользнула в неподвижном взгляде, озабоченная, смертная, мирская, снедаемая тысячью мелких планов, она на ходу провела рукой по лбу, чтобы отбросить назад прядь волос. Я был похож на нее; целый улей планов. Ее жизнь — это моя жизнь; под этим взглядом, под этим безразличным небом все жизни равны. Ее поглотил мрак, ее каблуки стучали на улице Бонапарта; все человеческие жизни расплавились в темноте, стук каблуков затих.

Мой взгляд. Он смотрел на приглушенную белизну колокольни. Все мертво. Мой взгляд и эти камни. Вечное и минеральное, похожее на нее. В моем старом будущем люди ждали меня 20 июня 1940 года, 16 сентября 1942 года, 8 февраля 1944 года, они мне делали знаки. Теперь лишь мой взгляд ожидает сам себя в будущем, насколько хватает глаз, как эти камни ожидают камни, завтра, послезавтра, всегда. Взгляд и радость, огромная, как море; это праздник. Он положил руки на колени, он хотел быть спокойным: кто мне докажет, что я не стану завтра тем, кем был вчера? Но он не боялся. Церковь

может обрушиться, я могу упасть в воронку от снаряда, вернуться в собственную свою жизнь: ничто не может лишить меня этого вечного мгновения. Ничто: всегда будет эта сухая молния, озаряющая пламенем камни под черным небом; вечный абсолют; абсолют без причины, без оснований, без цели, без другого прошлого, без другого будущего, кроме этого постоянства, безвозмездного, нечаянного, великолепного. «Я свободен», — вдруг подумал он. И сразу же его радость сменилась изнурительной тревогой.

Ирен скучала. Ничего не происходило, разве что оркестр играл Music Maestro please[59], да еще Марк смотрел на нее тюленьими глазами. Никогда ничего не происходит, или, если что-то случайно и происходит, то в тот момент этого не замечаешь. Она следила взглядом за скандинавкой, высокой блондинкой, которая танцевала более часа кряду, даже не присев между танцами, и Ирен подумала без предвзятости: «Эта женщина хорошо одета». Марк тоже был хорошо одет; все были хорошо одеты, кроме Ирен, которой было противно в гранатового цвета платье, но ей плевать на это; я знаю, что у меня нет вкуса, чтобы выбирать себе туалеты, и потом, где взять денег, чтобы их обновлять, просто если уж бываешь среди богатых, нужно найти средство сделаться незаметной. Уже несколько мужчин посматривали на нее: дешевенькое платье, немного блестящее, разжигало у них аппетит, они уже не так робели. Марку было хорошо: он богат; он любил водить ее к богатым, потому что от этого она чувствовала себя приниженно и, как он считал, меньше сопротивлялась.

— Почему вы не хотите? — спросил он. Ирен вздрогнула:

— Чего я не хочу? Ах, да… Она улыбнулась, не отвечая.

— О чем вы думаете?

— О том, что мой бокал пуст. Закажите мне еще «Шерри Гоблер».

Марк выполнил просьбу. Было забавно заставлять его платить, потому что он изо дня в день записывал свои расходы в записную книжку. Сегодня вечером он запишет: «Вечер с Ирен: шипучий джин, два «Шерри Гоблер» — сто семьдесят пять франков. Она заметила, что он гладит ей руку концом указательного пальца, должно быть, он давно этим развлекался.

— Скажите, Ирен, скажите! Почему?

— Просто так, — зевая, ответила она. — Не знаю.

— Ну что ж, если вы действительно не знаете…

— Да нет! Наоборот: если я с кем-то сплю, то хочу знать, почему. Из-за его глаз, или какой-нибудь фразы, которую он произнес, или потому что он красивый.

— Я красивый, — тихо сказал Марк. Ирен засмеялась, и он покраснел.

— Короче, — живо добавил он, — вы понимаете, что я хочу сказать.

— Конечно, — ответила она. — Конечно. Он схватил ее за запястье.

— Ирен, боже мой! Что мне сделать?

Он наклонился к ней со злобным смирением, от волнения он тяжело дышал. «Как мне скучно», — подумала она.

— Ничего. Нечего делать.

— Эх! — выдохнул он.

Он отпустил ее и откинул назад голову, обнажив зубы. Она видела себя в зеркале, маленькую замарашку с красивыми глазами и подумала: «Боже мой! Сколько шума вокруг этого!» Ей было стыдно за него и за себя, и все было так плоско и так скучно; она уже и сама не понимала, почему отказывается: я создаю много трудностей; лучше было бы ему сказать: «Вы этого хотите? Что ж, валяйте: полчаса в гостиничном номере, всего разок, подумаешь! Маленькое скотство между двумя простынями, а потом вернемся сюда закончить вечер, и вы оставите меня в покое». Но нужно было делать вид, будто она придает большое значение своему жалкому телу: она хорошо знала, что не уступит.

— Какая вы странная!

Он в растерянности вращал большими злыми глазами, сейчас он попытается обидеть меня, как обычно, а потом попросит у меня прощения.

— Как вы защищаетесь! — насмешливо продолжал он. — Если бы я вас не знал уже четыре года, то мог бы подумать, что вы — воплощенная добродетель.

Она вдруг с интересом посмотрела на него и начала размышлять. Мысли всегда не давали ей томиться скукой.

— Вы правы, — согласилась она, — это очень странно: я доступная, это факт, и однако я скорее позволю четвертовать себя, чем спать с вами. Поди-ка объясни! — Она равнодушно посмотрела на него и заключила: — Я даже не сказала бы, что вы у меня действительно вызываете отвращение.

— Тише! — прошептал он. — Говорите тише. — Он злобно добавил: — Ваш звонкий голосок слышно издалека.

Они замолчали. Люди танцевали, оркестр играл «Караван»; Марк вертел на скатерти бокал, в нем ударялись друг о друга льдинки. Ирен снова погрузилась в скуку.

— В принципе, — сказал он, — я слишком хорошо дал вам понять, что хочу вас.

Он положил ладони на стол и спокойно полировал его; он пытался вновь обрести достоинство. Неважно, что он его снова утратит через пять минут. Она ему улыбнулась, однако, потому что он предоставил ей случай подумать о себе самой.

— Что ж, — сказала она, — есть и это. Должно быть, есть и это.

Марк виделся ей сквозь туман. Мирный легкий туман удивления, который поднялся от сердца к глазам. Она обожала вот так удивляться, когда одни и те же вопросы задаешь себе бесконечно, и на них никогда нет ответа. Она ему пояснила:

— Когда меня слишком хотят, меня это коробит. Послушайте, Марк, мне просто смешно: быть может, завтра Гитлер нападет на нас, а вы тут волнуетесь, что я не хочу с вами переспать. Неужто вы настолько жалкий тип, что доводите себя до такого состояния из-за какой-то бабенки вроде меня?

— Это мое дело! — в бешенстве воскликнул он.

— Но и мое тоже; терпеть не могу, когда меня недооценивают.

Наступило молчание. Мы — животные, мы прикрываем словами инстинкт. Она искоса посмотрела на него: готово, сейчас он сдаст позиции. Его черты опали, самый тягостный момент еще впереди; однажды в «Мелодии» он заплакал. Он открыл рот, но она опередила его:

— Замолчите, Марк, прошу вас: вы сейчас скажете глупость или гадость.

Он ее не услышал; он мотал головой справа налево, вид у него был обреченный.

— Ирен, — вполголоса сказал он, — я скоро уезжаю.

— Уезжаете? Куда?

— Не стройте из себя дурочку. Вы меня поняли.

— Ну и что?

— Я думал, что это для вас что-нибудь значит.

Она не ответила: она пристально смотрела на него. Через какое-то время он, отворачиваясь, снова заговорил:

— В четырнадцатом году многие женщины отдавались мужчинам, которые их любили, просто потому, что те уезжали.

Она молчала; у Марка задрожали руки.

— Ирен, для вас это сущий пустяк, а для меня имело бы такое значение, особенно в этот момент…

— Это меня не трогает, — наконец ответила Ирен. Он резко повернулся к ней:

— Черт возьми! Я же иду сражаться за вас!

— Подлец! — сказала Ирен.

Он тотчас же сник; глаза его покраснели.

— Мне тошно думать, что я сдохну, так и не завладев вами.

Ирен встала:

— Пошли танцевать.

Он послушно встал, и они пошли танцевать. Он прижался к ней; он прокружил ее по всему залу, и вдруг у нее перехватило дыхание.

— Что случилось? — спросил он.

— Ничего.

Она узнала Филиппа — он смирно сидел рядом с довольно красивой, но не слишком молодой креолкой. «Он был здесь! Он был здесь, а его везде искали». У него было бледноватое лицо, под глазами круги. Она подтолкнула Марка в толпу танцующих: она не хотела, чтобы Филипп ее узнал. Оркестр перестал играть, и они вернулись к своему столику. Марк тяжело сел на скамью. Ирен собиралась садиться, когда увидела, как какой-то мужчина склонился над негритянкой.

— Садитесь же, — сказал Марк. — Я не люблю, когда вы стоите.

— Минутку! — нетерпеливо ответила она. Негритянка лениво встала, и мужчина обнял ее. Филипп секунду-другую смотрел на них с затравленным видом, и Ирен почувствовала, как сердце чуть не выскочило у нее из груди. Он вдруг встал и бросился наружу.

— Извините, я на минуту… — сказала Ирен. — Куда вы?

— В туалет. Вы довольны?

— Вы сделаете вид, что идете туда, а сами удерете. Она показала на свою сумочку на столе:

— Моя сумочка остается в залог.

Марк, не отвечая, заворчал; Ирен прошла через площадку, раздвигая танцующих плечами.

— Она с ума сошла, — бросила какая-то женщина, Марк встал, она услышала, как он крикнул:

— Ирен!

Но она уже вышла: как бы то ни было, ему понадобится минут пять, чтобы расплатиться. На улице было темно. «Вот глупо, — подумала она, — я его потеряла». Но когда ее глаза привыкли к темноте, она увидела, как он устремился вдоль стен по направлению к Тринитэ. Она побежала: «Шут с ней, с сумочкой; я оставила в ней пудреницу, сто франков и два письма Максима». Она больше не скучала. Так они пробежали сотню метров, оба бегом, затем Филипп так внезапно остановился, что Ирен испугалась, что наткнется на него. Она быстро сделала крюк, обогнала его и, приблизившись к двери какого-то дома, дважды позвонила. Дверь открылась, когда Филипп проходил сзади. Она секунду выждала, потом сильно хлопнула створкой, как будто вошла в дом. Теперь Филипп шел медленно, преследовать его было сущим пустяком. Время от времени его поглощал мрак, но немного дальше, под светящимся дождиком фонаря, он выныривал из ночи. «Вот это развлечение!» — подумала она. Она обожала выслеживать людей; она могла часами идти за совершенно незнакомым человеком.

На бульварах было еще много народу, и было светлее из-за кафе и витрин. Филипп остановился во второй раз, но Ирен была начеку: она остановилась позади него в темном углу и ждала. «Может быть, у него свидание». Филипп повернулся к ней, он был мертвенно бледен; вдруг он начал говорить, и она подумала, что он ее узнал; однако она была уверена, что он не мог ее видеть. Он отступил на шаг и что-то пробормотал; вид у него был затравленный. «Он сошел с ума!» — подумала она.

Прошли две женщины, девушка и старуха, в провинциальных шляпах. Он подошел к ним, у него было лицо эксгибициониста.

— Долой войну! — сказал он.

Женщины ускорили шаг: они, должно быть, его не поняли. За ними приближались два офицера; Филипп замолчал и пропустил их. Сразу за ними шла потрепанная надушенная проститутка, запах которой ударил Ирен в нос. Филипп стал перед ней со злым видом; она уже улыбалась ему, но он проговорил придушенным голосом:

— Долой войну, долой Даладье! Да здравствует мир!

— Дурак! — обиделась женщина.

Она прошла мимо. Филипп покачал головой, с яростным видом посмотрел направо и налево, а потом вдруг нырнул во мрак улицы Ришелье. Ирен смеялась так сильно, что чуть не обнаружила себя.

— Еще две минуты.

Он покрутил ручку, брызнула джазовая мелодия, четыре ноты саксофона, падающая звезда.

— Ну оставь! — попросила Ивиш. — Это красиво. Сергин повернул ручку, и жалоба саксофона сменилась долгим тяжелым тягучим звуком; он строго посмотрел на Ивиш:

— Как ты можешь любить эту дикарскую музыку?

Он презирал негров. Со студенческой поры в Мюнхене он сохранил острые воспоминания, культ Вагнера.

— Уже время, — снова сказал он.

Приемник задрожал от голоса. Настоящий французский голос, степенный, приветливый, он старался передать все изгибы речи с помощью мелодичных модуляций, проникновенный и убедительный голос старшего брата. Терпеть не могу французские голоса. Она улыбнулась отцу и вяло произнесла, чтобы немного восстановить их прежнее согласие:

— Терпеть не могу французские голоса.

Сергин издал легкое кудахтанье, но не ответил и рукой сделал ей знак помолчать.

«Сегодня, — говорил голос, — посланник британского премьера был снова принят рейхсканцлером Гитлером, который ему сообщил, что если завтра в четырнадцать часов у него не будет удовлетворительного ответа из Праги по поводу эвакуации судетских областей, он оставляет за собой право принять необходимые меры.

В целом, считают, что рейхсканцлер хотел упомянуть о всеобщей мобилизации, объявление которой ожидалось в понедельник в речи

канцлера, что, вне сомнений, было отсрочено только из-за письма британского премьера».

Голос умолк. Ивиш с пересохшим горлом подняла глаза на отца. Он упивался этими словами с видом совершенно ошалелого блаженства.

— Что на самом деле означает мобилизация? — спросила она безразлично.

— Это означает войну.

— Но необязательно?

— Как же, как же!

— Мы воевать не будем! — яростно сказала она. — Мы не можем воевать из-за чехов!

Сергин мягко улыбнулся.

— Знаешь, когда человек мобилизован…

— Но мы же не хотим воевать.

— Если бы мы не хотели воевать, мы бы не объявили мобилизацию.

Она недоуменно посмотрела на него:

— Мы объявили мобилизацию? Мы тоже?

— Нет, — краснея, ответил он. — Я хотел сказать: немцы»

— Да? Я-то говорила о французах, — сухо сказала Ивиш. Голос продолжал, благостный и умиротворенный:

«В иностранных кругах Берлина полагают…»

— Тш! — шикнул Сергин.

Он снова сел, обратив лицо к приемнику. «Я сирота», — подумала Ивиш. Она на цыпочках вышла из комнаты, прошла по коридору и заперлась у себя в спальне. У нее стучали зубы: немцы пройдут через Лаон, сожгут Париж, улицу Сены, улицу де ля Гетэ, улицу Розье, площадку Монтань-Сент-Женевьев; если Париж загорится, я покончу с собой. «Ужас! — подумала она, бросившись на кровать. — А музей Гревэн?» Она там никогда не была, Матье пообещал сводить ее туда в октябре, а они превратят его бомбами в пыль. А что, если это произойдет сегодня ночью? Сердце выпрыгиваю у нее из груди, руки похолодели: что им может помешать? Может быть, в этот самый час от Парижа остался лишь пепел, а это скрывают, чтобы не пугать население. Или это запрещено международными соглашениями? Как узнать? «Черт! — в ярости подумала она. — Я

уверена, что есть люди, которые знают; а я ничего в этом не понимаю, меня держали в неведении, заставляли изучать латынь, и никто мне ничего не говорил, а теперь — на тебе! Но я имею право жить, — подумала она растерянно, — меня произвели на свет, чтобы я жила, я имею на это право». Она почувствовала себя так глубоко оскорбленной, что упала на подушку и зашлась в рыданиях. «Это несправедливо, — прошептала она, — даже при наилучших прогнозах это продлится шесть лет, десять лет — и все женщины будут одеты как санитарки, а когда все закончится, я буду старой». Но слезы больше не текли, ее сердце заледенело. Она резко выпрямилась: «Кому, кому нужна война!» Ведь поодиночке люди не воинственные, они думают только о том, чтобы поесть, заработать денег и делать детей. Даже немцы. И однако война пришла, Гитлер призвал всех под ружье. «Все-таки он не мог решить это совсем один», — подумала она. И в голове у нее промелькнула фраза, где она ее вычитала? Конечно, в газетах, а может, услышала, как ее произнес за завтраком один из клиентов отца: «Кто стоит за ним?» Хмуря брови и глядя на носки комнатных туфель, она вполголоса повторила: «Кто стоит за ним?», еще надеясь, что все прояснится, она перебирала в уме названия всех тех темных сил, которые руководят миром: франкмасонство, иезуиты, двести семей, торговцы оружием, владельцы золота, Серебряная стена, американские тресты, Коммунистический Интернационал, Ку-Клукс-Клан… Вероятно, тут было всего понемножку, а сверх всего — еще что-то, может быть, какая-то совершенно секретная всесильная ассоциация, даже названия которой никто не знает. «Но что им нужно?» — подумала она, в то время как две слезы отчаяния катились по ее щекам. Она с минуту пыталась угадать их намерения, но в голове было пусто, и лишь какой-то металлический круг вращался в ней. «Если бы я хотя бы знала, где находится Чехословакия!» Когда-то она кнопками приколола к стене большую сине-золотую акварель: это была Европа, Ивиш от нечего делать раскрашивала ее прошлой зимой, сверяясь по атласу, немного подправляя контуры, — она везде добавила рек, сделала выемки у слишком плоских побережий, но особенно она остерегалась писать какое-либо название на карте: это делало ее забаву научной и претенциозной; границ на карте также не было: она ненавидела пунктиры. Она подошла к карте: Чехословакия была где-то там, в

глубине земель. Например, вон там, если только это не Россия. А Германия, где она? Ивиш смотрела на большую желтую полированную форму, очерченную синим, и думала: «Сколько земли!», она почувствовала себя потерянной. Она отвернулась, сбросила халат и голой посмотрелась в зеркало; когда у нее были неприятности, обычно это ее немного утешало. Но внезапно она увидела себя совсем маленькой: былинка с шершавой кожей, потому что она покрылась мурашками, соски торчат, она это ненавидела, настоящее больничное тело, созданное для ран, говорят, что они будут насиловать всех женщин, они могут мне отрезать ногу. Они войдут в ее комнату, обнаружат ее совсем голой под одеялом: у вас пять минут на одевание, и повернутся спиной, как было с Марией-Антуанеттой, но они услышат все: мягкое шлепанье ног по прикроватному коврику и шуршание ткани о кожу. Она взяла панталоны и чулки и быстро надела их, следует ждать несчастья стоя и одетой. Когда она надела юбку и кофточку, то почувствовала себя немного безопаснее, но когда она надевала туфли, в коридоре бас начал напевать по-немецки.

Ich hatt' einen Kameraden…[60]

Ивиш бросилась к двери и открыла ее: она очутилась нос к носу с отцом: у него был веселый и даже торжественный вид.

— Что ты поешь?! — гневно выкрикнула она. — Что ты позволяешь себе петь?

Он с понимающей улыбкой посмотрел на нее.

— Подожди, — сказал он, — подожди немного, мой лягушонок: мы еще увидим нашу Святую Русь.

Она, хлопнув дверью, вернулась в свою комнату: «Плевала я на Святую Русь, я не хочу, чтобы разрушили Париж, и если они позволят себе что-нибудь такое, то увидишь, как французские самолеты полетят бомбить твой Мюнхен!»

Шум шагов в коридоре стих, все погрузилось в тишину. Ивиш одеревенело стояла посреди комнаты, стараясь не смотреть в зеркало. Вдруг раздалось три повелительных свистка, звук шел с улицы, и она задрожала с головы до ног. Снаружи. На улице. Все происходило снаружи: ее комната была тюрьмой. Ею распоряжались всюду, на севере, на востоке, на юге, повсюду в этой отравленной ночи, продырявленной молниями, полной шепотов и шушуканий, повсюду, но не здесь, где она оставалась затворницей и где вообще ничего не

происходило. Ее руки и ноги задрожали, она взяла сумочку, провела расческой по волосам, бесшумно открыла дверь и выскользнула наружу.

Снаружи. Все снаружи: деревья на набережной, два дома у моста, которые розовят ночь, застывший галоп Генриха IV над моей головой: все, что имеет вес. Внутри ничего, даже ни единого дымка; нет никакого внутри, ничего нет. Я — ничто. «Я свободен», — подумал Матье, и у него пересохло во рту.

Посреди Нового моста он остановился и засмеялся: «Эту свободу я искал очень далеко; она была так близко, что я не мог ее видеть, что я не мог к ней притронуться, она была только мной. Я — моя свобода». Он надеялся, что однажды будет преисполнен радостью, пронзенный насквозь молнией. Но не было ни молнии, ни радости: только это лишение, эта пустота с головокружением перед самим собой, эта тревога, что его собственная прозрачность навсегда помешает ему себя увидеть. Матье протянул ладони и медленно провел ими по камню балюстрады: он был шероховатым, потрескавшимся, окаменевшей губкой, еще теплой от послеобеденного солнца. Вот он, огромный и массивный, он заключает в себе раздавленное молчание, спрессованный мрак, который является внутренним содержанием вещей. Вот он: полнота. Матье хотел бы зацепиться за этот камень, расплавиться в нем, наполниться его непрозрачностью, его покоем. Но он не мог быть Матье в помощь: он был снаружи, навсегда. Однако ладони Матье были на белой балюстраде, когда он смотрел на них, они казались из бронзы. Но именно потому, что он мог на них смотреть, они ему уже не принадлежали, это были ладони другого, кого-то снаружи, как деревья, как отражения, которые дрожали в Сене, это были отрезанные ладони. Он закрыл глаза, и они снова стали его: рядом с теплым камнем был только кислый и привычный привкус, привкус ничтожного муравья. «Мои ладони: неощутимая дистанция, которая открывает мне вещи и навсегда отделяет их от меня. Я — ничто, я ничего не имею. Такой же неотделимый от мира, как свет, и тем не менее изгнанник, как свет, скользящий по поверхности камней и воды, и никогда ничто меня не зацепит и не занесет песком. Снаружи. Снаружи. Вне мира, вне прошлого, вне самого себя: свобода — это изгнание, и я обречен быть свободным».

Он сделал несколько шагов, снова остановился, сел на балюстраду и посмотрел, как течет вода. «А что мне делать со всей этой свободой? Что мне делать с собой?» На его будущее поставили ворох определенных задач: вокзал, поезд на Нанси, казарма, владение оружием. Но ни это будущее, ни эти задачи ему уже не принадлежали. Ничего ему уже не принадлежало: война бороздила землю, но это была не его война. Он был один на этом мосту, один на свете, и никто не мог отдать ему приказ. «Я свободен ни для чего», — устало подумал он. Ни одного знака ни в небе, ни на земле, предметы этого мира были поглощены своей войной, они обращали на восток многочисленные головы, Матье бежал по поверхности вещей, а они этого не чувствовали. Забытый. Забытый мостом, который безразлично нес его, дорогами, которые мчались к границам, этим городом, который медленно приподнимался, чтобы высмотреть на горизонте пожар, который его пока не касался. Забытый, безымянный, совсем один: опоздавший;

все мобилизованные уехали позавчера, ему больше нечего здесь делать. Поеду ли я поездом? Но какое это имеет значение? Уехать, остаться, бежать: не эти действия поставят на карту его свободу. И однако, нужно на что-то решаться. Он обеими руками схватился за камень и склонился над водой. Достаточно броситься в воду — и вода поглотит его, его свобода обратится влагой. Покой. Почему бы и нет? Это безвестное самоубийство тоже будет абсолютом. Законом, выбором, моралью. Единственный, несравнимый поступок, который на миг осветит мост и Сену. Достаточно чуть больше наклониться, и он изберет вечность. Он наклонился, но его руки не отпускали камня, они поддерживали вес его тела. Но почему бы и нет? У него не было особого повода утопиться, но также не было особого повода помешать этому. И этот поступок наличествовал здесь, перед ним, на черной воде, он ему рисовал его будущее. Все крепления перерезаны, ничто на свете не могло его удержать: такова ужасная, последняя свобода. Глубоко внутри он чувствовал биение своего обезумевшего сердца; одно движение — и его руки разомкнутся, и я убью Матье. Над рекой тихо поднялось головокружение; небо и мост обрушились, остались только он и вода; она поднималась до него, она лизала его свесившиеся ноги. Вода, его будущее. «Теперь это правда, сейчас я покончу с собой». И вдруг он решим этого не делать. Он решил: «Это

будет только испытанием». Он почувствовал, что стоит на ногах, идет, скользит по корке мертвого светила. Это будет в следующий раз.

Пока Ивиш бежала по главной улице, до нее донеслись два-три свистка, потом все стихло, и вот главная улица тоже стала тюрьмой: здесь ничего не происходило, фасады домов плоские и слепые, все ставни закрыты, война была где-то в другом месте. Она на секунду оперлась на водоразборную колонку; ей было тревожно, и она не знала, на что надеяться: может быть, на рассвет, на открытые магазины, на людей, обсуждающих события. Но ничего не было: свет освещал в крупных городах только политические центры, посольства и дворцы; она же была заключена в тривиальную ночь. «Все всегда происходит где-нибудь еще», — подумала она, топнув нотой. Она услышала шорох, как будто кто-то крался за ней, Ивиш затаила дыхание и долго прислушивалась; но шум не возобновился. Ей было холодно, страх сжимал горло, она засомневалась, не лучше ли вернуться домой? Но она не могла вернуться, ее комната внушала ей ужас; здесь, по крайней мере, она шла под всеобщим небом, это небо объединяло ее с Парижем и Берлином. Она услышала за спиной продолжительное царапанье, и на сей раз ей хватило смелости обернуться. Это была всего лишь кошка: Ивиш увидела ее сверкающие зрачки, кошка пересекла мостовую справа налево, это был плохой знак. Ивиш пошла дальше, повернула на улицу Тьер и, запыхавшись, остановилась. «Самолеты!» Они рычали глухо, вероятно, они были еще очень далеко. Она прислушалась: это шло не с неба. Можно подумать… «Ну конечно, — раздосадованно подумала она, — это кто-то храпит». Действительно, это был нотариус Леска, она узнала вывеску у себя над головой. Он храпел при открытых окнах, она не удержалась от смеха, затем смех вдруг замер у нее на губах. «Они все спят. Я одна на улице, я окружена спящими людьми, никто не принимает меня во внимание.

Повсюду на земле спят или готовят войну в своих кабинетах, никто не держит в голове мое имя. Но я здесь! — возмущенно подумала она. — Я здесь, я вижу, чувствую, я существую так же., как этот Гитлер!»

Через некоторое время она двинулась дальше и дошла до эспланады. Под Лаоном простиралась угрюмая долина. Местами встречались фонари, но они ее не успокаивали; Ивиш слишком

хорошо знала, что они освещали: рельсы, деревянные шпалы, булыжники, брошенные на запасных путях вагоны. В конце долины был Париж. Она вздохнула: «Если б он горел, на горизонте был бы виден отсвет». Ветер трепал ее платье, и оно хлопало о колени, но она не двигалась. «Париж там, еще сияет от света, и это, может быть, его последняя ночь». В этот самый момент какие-то люди поднимаются и спускаются по бульвару Сен-Мишель, другие направляются в «Дом», некоторые из них, может быть, ее знают и говорят друг с другом. «Последняя ночь, а я здесь, в этой черной воде, а когда я попаду туда, то наверняка обнаружу только груду руин и палатки между камней. Боже мой! — сказала она. — Боже мой! Сделай так, чтобы я могла его увидеть еще раз». Прямо под ней был вокзал, эта красноватая полоса внизу лестницы; ночной поезд отправляется в три часа двадцать минут. «У меня есть сто франков! — мысленно ликовала она. — У меня в сумочке сто франков».

Она уже бегом спускалась по крутым ступенькам, Филипп бегом спускался по улице Монмартр, трус, подлый трус, так я трус?! Что ж, они еще увидят! Он выскочил на площадь; огромный, темный жужжащий зев открывался по другую сторону мостовой; пахло капустой и сырым мясом. Он остановился перед решеткой станции метро, на краю тротуара стояли пустые ящики из-под фруктов; он увидел у себя под ногами стебли соломы и листы салата, испачканные грязью; в белом свете кафе справа мелькали чьи-то тени. Ивиш подошла к кассе:

— Третий класс до Парижа.

— Туда и обратно? — спросил кассир.

— Нет, только туда, — твердо ответила она. Филипп прочистил горло и во всю мочь закричал:

— Долой войну!

Ничего не произошло, снование теней перед кафе продолжалось. Тогда он приставил руки ко рту рупором:

— Долой войну!

Собственный голос показался ему громоподобным. Несколько теней остановились, и он увидел, что к нему идут люди. Их было довольно много, на большинстве были фуражки. Они небрежно приближались и с любопытством смотрели на него.

— Долой войну! — крикнул он им.

Они подошли совсем близко; среди них были две женщины и темноволосый молодой человек приятной наружности. Филипп с симпатией посмотрел на него и закричал, не сводя с него глаз:

— Долой Даладье! Долой Чемберлена! Да здравствует мир!

Теперь они окружали его, и он почувствовал себя вольготно — в первый раз за двое суток. Они смотрели на него, поднимая брови от удивления и молчали. Он хотел им объяснить, что они жертвы империализма, но у него словно заело: он кричал: «Долой войну!» Это был победный гимн. Он получил сильный удар в ухо и продолжал кричать, потом удар в челюсть и в левый глаз: он упал на колени, он больше не кричал. Перед ним оказалась какая-то женщина: он видел ее ноги и туфли без каблуков; она отбивалась и кричала:

— Негодяи! Негодяи! Он же совсем мальчишка, не трогайте его!

Матье услышал пронзительный голос, кто-то кричал: «Негодяи! Негодяи! Он же совсем мальчишка, не трогайте его!» Кто-то отбивался среди десятка типов в фуражках — это была маленькая женщина, она размахивала руками, волосы падали ей на лицо. Темноволосый молодой человек со шрамом под ухом грубо тряс ее, а она кричала:

— Он прав, вы все трусы! Ваше место — на площади Согласия, на митинге против войны; но вы предпочитаете бить мальчишку, это не так опасно.

Толстая сводница, стоявшая перед Матье, блестящими глазами смотрела на эту сцену.

— Разденьте ее догола! — крикнула она.

Матье досадливо отвернулся: подобные спектакли должны сейчас происходить на каждом перекрестке. Канун войны, канун оружия: это было красочно, но его это не касалось. Внезапно он решил, что это его касается. Он кулаком оттолкнул сводню, вошел в круг и положил руку на плечо брюнета.

— Полиция, — сказал он. — Что случилось? Брюнет недоверчиво посмотрел на него.

— Да все из-за этого мальчишки. Он кричал: «Долой войну!»

— А ты его ударил? — строго спросил Матье. — Ты что, не мог позвать полицейского?

— Полицейских нигде не было, господин инспектор, — вмешалась сводня.

— А ты, сводня, — оборвал ее Матье, — будешь говорить, когда тебя спросят.

Брюнет приуныл.

— Ему не сделали больно, — сказал он, облизывая ссадины на пальцах. — Дали тумака для острастки.

— Кто дал? — спросил Матье.

Субъект со шрамом, вздыхая, посмотрел на свои руки.

— Я, — сознался он.

Остальные отступили на шаг; Матье повернулся к ним.

— Вы хотите, чтобы вас записали свидетелями?

Не отвечая, они отступили еще дальше. Сводня уже исчезла.

— Расходитесь, или я запишу ваши фамилии. Ты останься.

— Значит, — сказал брюнет, — теперь французов бросают в каталажку, когда они не дают фрицу устраивать провокации?

— Это не твое дело. Сейчас все выясним.

Зеваки рассеялись. Осталось два или три, которые наблюдали за происходящим с порога кафе. Матье склонился на парнишкой: его здорово отделали: из разбитой губы текла кровь, левый глаз совсем заплыл. Правым глазом он пристально смотрел на Матье.

— Это я кричал, — гордо сообщил он.

— Больше ничего не придумал? — сказал Матье. — Можешь встать?

Паренек с трудом поднялся. Он упал в салат, лист салата прилип к заду, стебли грязной соломы зацепились за пиджак. Маленькая женщина ладонью почистила его одежду.

— Вы его знаете? — спросил у нее Матье.

— Н-нет… Паренек засмеялся.

— Конечно, знает. Это Ирен, секретарша Питто. Ирен мрачно посмотрела на Матье.

— Вы его не отправите за это в кутузку?

— Разберемся.

Субъект со шрамом потянул его за рукав: у него был смущенный вид.

— Я зарабатываю на жизнь, господин инспектор, я работаю. Если я пойду с вами в комиссариат, то опоздаю на работу.

— Документы.

Малый вынул нансеновский паспорт[61], его звали Канаро. Матье засмеялся.

— Родился в Константинополе! Стало быть, ты так любишь Францию, что готов уничтожить любого, кто на нее нападет?

— Это моя вторая родина, — с достоинством ответил турок.

— Ты, конечно, запишешься добровольцем?

Тот не ответил. Матье записал в блокноте его фамилию и адрес.

— Мотай отсюда, — сказал он. — Тебя вызовут. А вы идемте со мной.

Они втроем пошли по улице Монмартр и сделали несколько шагов. Матье поддерживал паренька — тот шел, покачиваясь. Ирен спросила:

— Скажите, вы его отпустите?

Матье не ответил: они недостаточно удалились от Центрального рынка. Они шли еще некоторое время, а потом, когда подошли к фонарю, Ирен стала перед Матье и с ненавистью бросила ему в лицо:

— Гнусный шпик!

Матье рассмеялся: волосы сползли ей на лицо, пряди мешали ей смотреть, и она скосила глаза, чтобы лучше разглядеть его.

— Я не шпик, — возразил он. — Ну да!

Она трясла головой, чтобы освободиться от волос. В конце концов она яростно схватила их и отбросила назад. Открылось ее лицо, матовое, с большими глазами. Она была очень красива и, похоже, не слишком удивилась.

— Коли так, вы их всех здорово надули, — заметила она. Матье не ответил. Эта история его больше не забавляла.

Ему вдруг захотелось прогуляться по улице Монторгей.

— Что ж, — сказал он, — сейчас я посажу вас в такси.

Посередине мостовой стояли две или три машины. Матье подошел к одной из них, увлекая за собой парнишку. Ирен шла за ними. Правой рукой она придерживала волосы над лицом.

— Садитесь. Она покраснела.

— Увы, честно говоря, я потеряла сумочку.

Матье подталкивал паренька в машину: он положил одну руку ему между лопаток, а другой открывал дверцу.

— Поищите в кармане моего пиджака, — сказал он. — В правом.

Немного погодя Ирен вынула руку из кармана.

— Здесь сто франков и еще мелочь.

— Возьмите себе сто франков.

Последний толчок, и паренек рухнул на сиденье. Ирен села за ним.

— Ваш адрес? — спросила она.

— У меня его больше нет, — ответил Матье. — До свиданья.

— Эй! — крикнула Ирен.

Но он уже повернулся к ним спиной: он хотел еще раз увидеть улицу Монторгей. Он хотел ее увидеть немедленно. Он шел с минуту, а затем такси остановилось у тротуара, прямо рядом с Матье.

Дверца открылась, и высунулась женщина, это была Ирен.

— Садитесь, — сказала она ему. — Быстро. Матье влез в такси.

— Садитесь на откидное сиденье. Он сел.

— Что случилось?

— Он совсем потерял голову: говорит, что хочет сдаться властям; он все время дергает дверцу и хочет выброситься. Мне не хватает сил, чтобы удержать его.

Паренек забился в угол на сиденье, колени его были выше головы.

— У него тяга к мученичеству, — пояснила Ирен.

— Сколько ему лет?

— Не знаю, кажется, девятнадцать.

Матье рассматривал длинные худые ноги паренька: он был ровесником самых старших его учеников.

— Если он так хочет сесть в тюрьму, — сказал он, — вы не имеете права ему мешать.

— Какой вы странный, — возмутилась Ирен. — Вы не знаете, чем он рискует.

— Он кого-нибудь укокошил?

— Да нет.

— Что же он сделал?

— Это целая история, — мрачно ответила она. Он заметил, что она сбила волосы на макушку. Это придавало ей комичный и упрямый вид, несмотря на красивые усталые губы.

— Как бы то ни было, это его дело. Он свободен.

— Свободен! — повторила она. — А я вам говорю, что он потерял голову.

При слове «свободен» паренек открыл единственный глаз и что-то пробормотал, чего Матье не разобрал, затем без предупреждения бросился на ручку дверцы и попытался ее открыть. В тот же миг другой автомобиль слегка задел остановившееся такси. Матье нажал рукой на грудь паренька и отбросил его на сиденье.

— Если б я захотел сдаться властям, — продолжил он, поворачиваясь к Ирен, — я не хотел бы, чтобы мне мешали.

— Долой войну! — выкрикнул парнишка.

— Да, да, — согласился Матье. — Ты прав.

Он все еще придерживал его на сиденье. Он повернулся к Ирен.

— Я думаю, он действительно потерял голову. Шофер опустил стекло.

— Куда едем?

— Проспект Парк-Монсури, 15, — уверенно сказала Ирен.

Паренек схватил руку Матье, потом, когда такси тронулось, он уже сидел тихо. Они с минуту молчали; такси катилось по темным улицам, которых Матье не знал. Время от времени лицо Ирен выплывало из тени и вскоре снова погружалось в нее.

— Вы бретонка? — спросил Матье.

— Я? Я из Меца. Почему вы меня об этом спрашиваете?

— У вас такая прическа…

— Безобразная, да? Это подруга захотела, чтобы я так причесывалась.

Она немного помолчала, потом спросила:

— Как получилось, что у вас нет адреса?

— Я переезжаю.

— Да, да… Вы мобилизованы, не так ли?

— Да. Как все.

— Вам хочется воевать?

— Я еще не знаю: я пока не воевал.

— Я — против войны, — сказала Ирен.

— Я заметил.

Ирен заботливо наклонилась к нему:

— Скажите, вы кого-нибудь потеряли?

— Нет. Разве у меня такой вид, будто я кого-то потерял?

— У вас странный вид, — ответила она. — Смотрите! Смотрите!

Паренек украдкой протянул руку и пытался открыть дверцу.

— Будешь ты сидеть спокойно! — прикрикнул Матье, отбрасывая его в угол. — Ну и осел! — сказал он Ирен.

— Он — сын генерала.

— Да? Что ж, должно быть, он не слишком гордится своим отцом.

Такси остановилось, Ирен вышла первой, потом нужно было вытащить парнишку. Он цеплялся за подлокотники и брыкался. Ирен рассмеялась:

— Он весь из противоречий. Теперь выходить не хочет. В конце концов Матье взял его в охапку и перенес на тротуар. — Уф!

— Подождите секунду, — сказала Ирен. — Ключ остался у меня в сумочке, придется влезть через окно.

Она подошла к двухэтажному домику, одно из окон которого было приоткрыто. Матье поддерживал юношу одной рукой. Другой порылся в кармане и протянул деньги шоферу.

— Сдачи не надо.

— Что это с парнишкой? — весело спросил шофер.

— Он получил по заслугам, — ответил Матье.

Такси тронулось. За. спиной Матье открылась дверь, и в прямоугольнике света появилась Ирен.

— Входите.

Матье вошел, подталкивая паренька — тот больше ничего не говорил. Ирен закрыла за ним дверь.

— Налево, — сказала она. — Выключатель по правую руку.

Матье на ощупь нашарил выключатель, и брызнул свет. Он увидел пыльную комнату с раскладушкой, кувшин с водой и тазик на туалетном столике; под потолком висел на веревке велосипед без колес.

— Это ваша комната?

— Нет. Это комната друзей.

Он посмотрел на нее и рассмеялся:

— Посмотрите на чулки.

Они были белы от пыли и разорваны на коленках.

— Это я лезла через окно, — беззаботно пояснила она.

Паренек стоял посреди комнаты, он угрожающе качался и оглядывал все единственным глазом. Матье показал на него, обращаясь к Ирен.

— Что будем с ним делать?

— Снимите с него туфли и уложите: я его сейчас умою. Паренек не сопротивлялся: он весь как-то сник. Ирен вернулась с тазиком и ватой.

— Ну, Филипп, — сказала она, — теперь потерпите. Она склонилась над ним и стала неловко водить ватным тампоном по брови. Паренек что-то забормотал.

— Да, — по-матерински говорила она, — щиплет, но ради вашей же пользы.

Она пошла поставить таз на туалетный столик. Матье встал.

— Ладно, — сказал он. — Что ж, я удаляюсь,

— Нет-нет! — живо возразила она. И тихо добавила:

— Если он захочет уйти, я с ним не справлюсь, чтобы ему помешать.

— Вы что же, думаете, я буду стеречь его всю ночь?

— Как вы нелюбезны! — раздраженно заметила она. Потом добавила более примирительно:

— Подождите, по крайней мере, пока он уснет, это будет скоро.

Юноша метался по кровати, невнятно бормоча.

— Где он только шатался, что довел себя до подобного состояния? — удивилась Ирен.

Она была немного толстенькой, с матовой кожей, пожалуй, слишком нежной и немного влажной, как будто не совсем чистой; можно было подумать, что она только проснулась. Но голова была восхитительной: совсем маленький ротик с усталыми углами, огромные глаза и малюсенькие розовые ушки.

— Что ж, — сказал Матье, — он спит!

— Вы думаете?

Они вздрогнули: паренек вскочил и громко крикнул:

— Флосси! Где мои брюки?!

— Черт! — ругнулся Матье. Ирен улыбнулась:

— Вам здесь быть до утра.

Но это был полубред, предвестник сна: Филипп упал на спину, несколько минут бормотал что-то, и почти тотчас же захрапел.

— Пойдемте, — тихо сказала Ирен.

Он проследовал за ней в большую комнату с розовыми кретоновыми обоями. На стене висели гитара и укулеле[62].

— Это моя комната. Я оставлю дверь приоткрытой, чтобы слышать его.

Матье увидел большую разобранную кровать с балдахином, пуф и граммофон с пластинками на столе в стиле Генриха II. На кресле-качалке были брошены в кучу ношеные чулки, женские трусики, комбинации. Ирен проследила за его взглядом.

— Я отоваривалась на барахолке.

— Это неплохо, — сказал Матье. — Совсем неплохо.

— Садитесь.

— Куда? — спросил Матье.

— Подождите.

На пуфе стоял кораблик в бутылке. Она взяла ее и поставила на пол, затем освободила кресло-качалку от белья, которое перенесла на пуф.

— Вот. А я сяду на кровать. Матье сел и начал раскачиваться.

— Последний раз я сидел в кресле-качалке в Ниме, в холле отеля дез Арен. Мне было пятнадцать лет.

Ирен не ответила. Матье вспомнил большой мрачный холл со стеклянной дверью, сверкающей от солнца: это воспоминание ему еще принадлежало; были и другие, интимные и смутные, которые туманились вокруг. «Я не потерял своего детства». Зрелый возраст, возраст зрелости, рухнул одним махом, но оставалось теплое детство: никогда еще оно не было так близко. Он вновь подумал о маленьком мальчике, лежащем на дюнах Аркашона[63] и взыскующем свободы, и Матье перестал стыдиться перед этим упрямым мальчишкой. Он встал.

— Вы уходите? — спросила Ирен.

— Пойду погуляю, — ответил он.

— Вы не хотите ненадолго остаться? Он поколебался:

Африканский музыкальный инструмент.

— Честно говоря, мне, скорее, хочется побыть одному. Она положила ладонь на его руку:

— Вот увидите — со мной будет так, словно вы один.

Он посмотрел на нее: у нее была странная манера говорить, вялая и глуповатая в своей серьезности; она едва открывала маленький рот и немного покачивала головой, как бы вынуждая ее ронять слова.

— Я остаюсь, — сказал он.

Она не проявила никакой радости. Впрочем, ее лицо казалось маловыразительным. Матье прошелся по комнате, подошел к столу и взял несколько пластинок. Они были заигранные, некоторые — надтреснутые, большая часть была без конвертов. Здесь было несколько джазовых мелодий, попурри Мориса Шевалье, «Концерт для левой руки» Мориса Равеля и «Квартет» Дебюсси, «Серенада» Тозелли и «Интернационал» в исполнении русского хора.

— Вы коммунистка? — спросил он ее.

— Нет, — ответила она, — у меня нет убеждений. Я думаю, что была бы коммунисткой, не будь люди таким дерьмом. — Подумав, она добавила: — Пожалуй, я пацифистка.

— Забавная вы, — заметил Матье. — Если люди — дерьмо, вам должно быть все равно, умирают они на войне или как-то иначе.

Она с упрямой серьезностью покачала головой:

— Вовсе нет. Именно потому, что они дерьмо, отвратительно воевать с их помощью.

Наступило молчание. Матье посмотрел на паутину на потолке и начал насвистывать.

— Я ничего не могу предложить зам выпить, — сказала Ирен. — Разве что вы любите миндальное молоко. На дне бутылки кое-что осталось.

— Гм! — неопределенно отозвался Матье.

— Да, я так и думала. А, на камине есть сигара, возьмите, если хотите.

— С удовольствием, — сказал Матье.

Матье встал, взял сигару, которая оказалась пересохшей и сломанной.

— Можно мне набить ею свою трубку?

— Делайте с ней все, что угодно.

Он снова сел, разминая сигару в пальцах; он чувствовал на себе взгляд Ирен.

— Устраивайтесь поудобнее, — сказала она. — Если не хотите разговаривать, молчите.

— Хорошо, — согласился Матье. Через некоторое время она спросила:

— Вы не хотите спать?

— Нет-нет.

Ему казалось, что он больше никогда не захочет спать.

— Где бы вы сейчас были, если бы не встретили меня?

— На улице Монторгей.

— А что бы вы там делали?

— Гулял бы.

— Вам должно казаться странным, что вы здесь.

— Нет.

— И то правда, — сказала она со смутным упреком, — вас здесь будто и нет.

Он не ответил: он думал, что она права. Эти четыре стены и эта женщина на кровати были незначительным случаем, одной из призрачных фигур ночи. Матье был везде, где простиралась ночь, от северных границ до Лазурного берега; он составлял одно целое с ней, он смотрел на Ирен всеми глазами ночи: она была всего лишь крохотным огоньком во тьме. Пронзительный крик заставил его вздрогнуть.

— Вот мученье! Пойду посмотрю, что там с ним.

Она на цыпочках вышла, и Матье зажег трубку. Ему расхотелось идти на улицу Монторгей: улица Монторгей была здесь, она пересекала комнату; все дороги Франции проходили здесь, здесь произрастали все травы. Эти четыре перегородки из досок поставили где-то. Матье и был где-то. Ирен вернулась и села: она была просто кто-то. Нет, она не похожа на бретонку. Скорее, маленькая аннамитка из кафе «Дом» — такая же шафранная кожа, невыразительное лицо и бессильная грация.

— Ничего страшного, — сказала она. — У него кошмары. Матье мирно попыхивал трубкой.

— Этот парнишка, должно быть, видал виды.

Ирен передернула плечами, и ее лицо резко изменилось.

— Вздор! — возразила она.

— Вы вдруг стали очень жесткой, — заметил Матье.

— Да просто меня раздражает, когда жалеют барчуков вроде него, это типичные выходки сынков толстосумов.

— Но и при этом он, видимо, несчастен.

— Не смешите меня. Мой отец вышвырнул меня за дверь в семнадцать лет: мы с ним не слишком ладили, как вы понимаете. Но я бы не сказала, что была несчастной.

На мгновение Матье различил под ее ухоженной маской искушенное и жесткое лицо многое испытавшей женщины. Ее голос, медленный и объемный, тек с каким-то размеренным возмущением.

— Человек несчастен, — сказала она, — когда ему холодно или когда он болен, или когда ему нечего есть. Все остальное — истерические причуды.

Он засмеялся: она старательно хмурила брови и широко открывала маленький рот, изрытая слова. Он ее едва слушал: он ее видел. Взгляд. Огромный взгляд, пустое небо: она металась в этом взгляде, как насекомое в свете фонаря.

— Поверьте, — сказала она, — я готова его приютить, ухаживать за ним, помешать ему делать глупости, но я не хочу, чтобы его жалели. Потому что я насмотрелась на несчастных! И когда буржуа претендуют на какое-то особое несчастье…

Она перевела дыхание и внимательно на него посмотрела.

— Правда, вы тоже буржуа.

— Да, — подтвердил Матье. — Я буржуа.

Она меня видит. Ему показалось, что он затвердевал и стремительно уменьшался. За ее глазами было небо без звезд, у нее тоже есть взгляд. Она меня видит; как видит стол и укулеле. И для нее я существую: подвешенная частица во взгляде, буржуа. Это правда, что я буржуа. И однако ему не удавалось это почувствовать. Она все еще смотрела на него.

— Чем вы занимаетесь? Нет, я угадаю сама. Вы врач? — Нет.

— Адвокат? — Нет.

— Вот как! Тогда, может, вы жулик?

— Я преподаватель, — признался Матье.

— Вот оно что! — немного разочарованно сказала она. И живо добавила:

— Впрочем, это не имеет значения.

Она на меня смотрит. Он встал, взял ее за руку чуть ниже локтя. Мягкая теплая плоть немного углублялась под его пальцами.

— Что с вами?

— Мне захотелось к вам притронуться. В качестве ответа: вы ведь на меня смотрели.

Она прижалась к нему, и ее взгляд затуманился.

— Вы мне нравитесь, — сказала она.

— Вы мне тоже нравитесь.

— У вас есть жена?

— У меня никого нет.

Он сел на кровати рядом с ней.

— А у вас? Есть кто-нибудь в вашей жизни?

— Есть… некоторые. — Она сокрушенно поежилась. — Я — доступная, — пояснила она.

Ее взгляд исчез. Осталась китайская куколка, пахнущая красным деревом.

— Доступная? И что же? — спросил Матье.

Она не ответила. Она обхватила голову руками и с серьезным видом смотрела в пустоту. «Она часто задумывается», — решил Матье.

— Если женщина бедно одета, ей приходится быть доступной, — добавила она, помолчав.

Тут же она с волнением повернулась к Матье.

— Я не вызываю в вас робости?

— Нет, — с сожалением сказал Матье. — Ничуть.

Но у нее был такой отчаянный вид, что Матье ее обнял. Кафе было безлюдно.

— Сейчас два часа ночи, не так ли? — спросила Ивиш у официанта.

Он протер глаза рукой и бросил взгляд на часы. Они показывали половину девятого.

— Может, и так, — буркнул он.

Ивиш скромно села в углу, натянув юбку на колени. Я якобы сирота, еду к тетке в предместье Парижа. Она подумала, что у нее слишком блестят глаза, и опустила волосы на лицо. Но ее сердце переполнилось почти радостным возбуждением: один час ждать, одну улицу пересечь — и она впрыгнет в поезд; к шести часам я буду на Северном вокзале, сначала пойду в «Дом», съем два апельсина, а оттуда — к Ренате, занять пятьсот франков. Ей хотелось заказать коньяк, но сироты не пьют спиртного.

— Вы не дадите мне липового отвара? — спросила она жалобным голоском.

Официант повернулся, он был ужасен, но его нужно было обольстить. Когда он принес липовый отвар, она бросила на него

нежный испуганный взгляд.

— Спасибо! — вздохнула она.

Он стал перед ней и в замешательстве засопел.

— Куда это вы едете?

— В Париж, — ответила она, — к тетке.

— А вы случайно не дочь месье Сергина оттуда, с лесопилки?

Ну и осел!

— Нет-нет, — сказала она. — Мой отец умер в 1918 году. Я воспитанница приюта.

Он несколько раз покачал головой и удалился: это был неотесанный болван, мужлан. В Париже у официантов кафе бархатный взгляд, они верят всему, что им говорят. Скоро я вновь увижу Париж. Начиная с Северного вокзала, ее будут узнавать: ее ждут. Ее ждут улицы, витрины, деревья кладбища Монпарнас и… и люди тоже. Некоторые из тех, что не уехали, как Рената, или те, что вернулись. Я вновь обрету себя; только там она была Ивиш, между проспектом дю Мэн и набережными. Мне покажут на карте Чехословакию. «Пусть! — страстно подумала она. — Пусть бомбят, если хотят, мы умрем вместе, останется только Борис, и он будет скорбеть о нас».

— Потушите свет.

Он повиновался, комната растворилась в ночи; оставалась только узкая полоска света между дверью и приоткрытой створкой, удлиненный глаз, который, казалось, наблюдал за ними.

— Нет, — сказала она за его спиной. — Приоткройте: я хочу его слышать.

Он вернулся в тишину, снял туфли и брюки. Правый туфель брякнул об пол.

— Положите одежду на кресло.

Он положил брюки и пиджак, потом рубашку на кресло-качалку, которое, заскрипев, качнулось. Он остался посреди комнаты совсем голый, опустив руки и скрючив большие пальцы ног. Его разбирал смех.

— Идите.

Он лег на кровати рядом с горячим голым телом; она лежала на спине, она не пошевелилась, ее руки лежали вдоль боков. Но когда он поцеловал ее грудь чуть ниже шеи, он почувствовал биение ее сердца,

большие удары деревянного молотка, сотрясавшие ее с ног до головы. Он долго не шевелился, захваченный этой трепещущей неподвижностью: он забыл лицо Ирен; он протянул руку и провел пальцами по слепой плоти. Все равно кто. Недалеко от них проходили люди, Матье слышал скрип их туфель; люди громко переговаривались и смеялись.

— Сознайся, Марсель, — говорила какая-то женщина, — если бы ты был Гитлером, ты мог бы сегодня ночью уснуть?

Они засмеялись, их шага и смех удалились, и Матье остался один.

— Если я должна о себе позаботиться, — сказала она полусонно, — предупредите меня заранее.

— Не думайте об этом, — ответил Матье. — Я не негодяй.

Она промолчала. Он услышал ее сильное размеренное дыхание. Лужайка, лужайка в ночи; она дышала, как травы, как деревья; он засомневался: уж не заснула ли она? Но неловкая, полураскрытая ладонь быстро коснулась его бедра и ляжки: в крайнем случае это могло сойти за ласку. Он тихо приподнялся и скользнул на нее.

Борис резко отстранился, отбросил простыню и повернулся на бок. Лола не пошевелилась; она лежала на спине с закрытыми глазами. Борис съежился, чтобы, насколько возможно, избежать прикосновения потной простыни и тела. Лола сказала, не открывая глаз:

— Я начинаю верить, что ты меня любишь.

Он не ответил. В эту ночь через нее он любил всех женщин, герцогинь и других. Если прежде непреодолимая стыдливость удерживала его руки на плечах и груди Лолы, то теперь он ласкал ее всю: он водил повсюду губами; полуобмороки, в которые он обычно погружался посреди наслаждения и вызывавшие у него ужас, он теперь с яростью искал, единственное, чего он остерегался, — мыслей. Теперь он казался себе нечистым и осквернённым, его сердце билось на разрыв; ему это даже нравилось: в такие минуты нужно было поменьше думать. Ивиш всегда ему говорила: «Ты слишком много думаешь», и она была права. Он вдруг увидел, как в уголках закрытых глаз Лолы блестит немного влаги, получалось два маленьких озерца, уровень которых медленно поднимался с обеих сторон носа. «Это еще что?» — встрепенулся он. Уже целые сутки у

него тревожно сосало под ложечкой, и у него не было настроения чем-либо умиляться.

— Дай мне носовой платок, — попросила Лола. — Он под валиком.

Лола вытерла глаза и открыла их. Она смотрела на него жестко и недоверчиво. «Что я еще такого сделал?» Но это было вовсе не то, о чем он думал: она угасающим голосом проговорила:

— Ты уедешь…

— Куда? Ах, да… Но это же не сейчас — через год.

— А что такое год?

Она настойчиво смотрела на него; он вынул руку из-под простыни и опустил челку на глаза.

— Через год война, может быть, уже кончится, — проговорил он осторожно.

— Кончится? Так я тебе и поверила: все знают, когда война начнется, но никто не знает, когда она кончится.

Ее белая рука поднялась с простыни; Лола стала ощупывать лицо Бориса, словно была слепой. Она гладила его висок и щеки, она обвела контур его ушей, кончиками пальцев ласкала его нос: ему стало неловко.

— Год — это долго, — с горечью сказал он. — Есть время подумать.

— Сразу видно, что ты ребенок. Если б ты знал, как быстро проходит год в моем возрасте.

— А я считаю, это долго, — упрямо повторил Борис.

— Значит, ты хочешь воевать?

— Не в этом дело.

Ему было не так жарко, он повернулся на спину и вытянул ноги, они натолкнулись на какую-то ткань в изножье кровати, его пижамные брюки. Глядя в потолок, он объяснил:

— Как бы то ни было, раз я должен участвовать в этой войне, пусть лучше это будет сразу, чтобы больше к этому не возвращаться.

— Ха! А я? — крикнула Лола. Она задыхающимся голосом добавила:

— Для тебя ничего не значит оставить меня, мой маленький негодяй?

— Но ведь я тебя все равно оставлю.

— Да, но как можно позже! — страстно прошептала она. — Это меня погубит. Я ведь знаю, что такой, как ты, из лени не будет мне писать по три дня, а я буду думать, что ты погиб. Ты не знаешь, что это такое.

— Ты тоже этого не знаешь. Подожди, когда это случится, тогда и будешь мучиться.

Наступило молчание, потом она сказала хриплым и злобным голосом, который он не раз уже слышал:

— Во всяком случае, не так трудно кого-то освободить от армии. Старуха знает о жизни больше, чем ты думаешь.

Он живо повернулся на бок и яростно посмотрел на нее.

— Лола, если ты это сделаешь…

— То что?

— Мы расстанемся навсегда.

Она успокоилась и со странной улыбкой сказала:

— Мне казалось, что война внушает тебе ужас? Ты ведь мне часто повторял, что ты — за мир.

— Я и теперь за мир.

— Тогда почему?…

— Это не одно и то же.

Она снова закрыла глаза, и теперь лежала совсем спокойно, но у нее было уже другое лицо: две усталые и скорбные морщины появились в уголках губ. Борис сделал над собой усилие и заговорил:

— Я против войны, потому что на дух не выношу офицерья, — примирительно продолжал он. — А простых солдат я очень люблю.

— Но ты будешь офицером. Тебя заставят.

Борис не ответил: это было слишком сложно, он сам терялся. Он ненавидел офицеров, это факт. Но с другой стороны, раз это его война, и ему уготована краткая военная карьера, то он должен стать младшим лейтенантом. «Эх! — подумал он. — Если б я мог уже быть там и проходить подготовку в учебном взводе помимо своей воли, то больше не донимал бы себя всем этим». Он резко сказал:

— Я думаю: буду ли я бояться?

— Бояться?

— Это меня беспокоит.

Он решил, что она не понимает: лучше было бы поговорить с Матье или даже с Ивиш. Но тут была только она…

— Весь год будем читать в газетах: французы наступают под ураганным огнем, или что-то в этом роде. А я каждый раз буду думать: «Выдержу ли я такое?» Или буду спрашивать отпускников: «Тяжело там?» И они мне ответят: «Очень тяжело», и мне будет тошно. Тот-то весело будет!

Она засмеялась и невесело передразнила его:

— Потерпи, скоро узнаешь! Ну и что, глупенький, если ты и струсишь? Велика беда!

Он подумал: «Стоит ли с ней об этом говорить? Что она понимает?» Он зевнул и спросил:

— Тушим свет? Я хочу спать.

— Ладно, — согласилась Лола. — Поцелуй меня.

Он поцеловал ее и потушил свет. В эту минуту он ее ненавидел, он подумал: «Она меня любит только ради себя, иначе она бы поняла». Они все одинаковые, они делали вид, что слепы: они сделали из меня боевого петуха, быка-производителя, а теперь залепляют себе глаза, отец хочет, чтобы я получил диплом, а эта хочет заставить меня окопаться в тылу, потому что она когда-то спала с каким-то полковником. Вскоре он почувствовал, как пылающее голое тело навалилось ему на спину. «Еще целый год это тело всегда будет рядом со мной. Она пользуется мной», — подумал он, и ощутил себя жестким и непримиримым. Он сдвинулся в пространство между кроватью и стеной.

— Куда ты? — спросила Лола. — Куда ты? Ты упадешь на пол.

— Мне от тебя жарко.

Она, бормоча, отодвинулась. Один год. Один год сомневаться: трус ли я?; в течение года я буду бояться, что буду бояться. Он слышал ровное дыхание Лолы, она спала; затем ее тело снова скатилось на него; она не виновата, посреди матраца была впадина, но Борис вздрогнул от бешенства и отчаяния: «Она будет давить на меня до завтрашнего утра. О, мужчины! — подумал он. — Жить вместе с мужчинами, и у каждого — своя койка». Вдруг у него началось нечто вроде головокружения, у него были открытые, устремленные в темноту глаза, и ледяная дрожь пробежала по его потной спине: он вдруг понял, что решил завтра же записаться добровольцем.

Открылась дверь, в ночной рубашке и косынке на голове появилась госпожа Бирненшатц.

— Гюстав! — позвала она, перекрикивая шум радиоприемника. — Умоляю, иди спать.

— Спи, спи, — сказал Бирненшатц, — не беспокойся обо мне.

— Но я не могу уснуть, если ты не лег.

— Ты же видишь, что я кое-что слушаю! — раздраженно дернул он плечом.

— Но что? — спросила она. — Почему ты все время крутишь это проклятое радио? В конце концов, соседи начнут жаловаться. Чего ты ждешь?

Бирненшатц повернулся к ней и сильно схватил ее за локти.

— Держу пари, что все это блеф, — сказал он. — Держу пари, что ночью будет опровержение.

— Но что? — растерянно переспросила она. — О чем ты говоришь?

Он сделал ей знак замолчать. У диктора был спокойный и степенный голос:

«Авторитетные источники в Берлине опровергают все сообщения, которые появились за границей: прежде всего, об ультиматуме, который якобы был адресован Чехословакии Германией с последним сроком сегодня в четырнадцать часов, и кроме того, о так называемой всеобщей мобилизации, которая должна быть объявлена после названного срока».

— Слушай! — закричал Бирненшатц. — Слушай! «Полагают, что эти новости могут только способствовать панике и военному психозу.

Опровергается также заявление, якобы сделанное министром Геббельсом иностранной газете об этом же сроке, ибо доктор Геббельс за последние несколько недель не видел и не принимал ни одного иностранного журналиста».

Бирненшатц еще немного послушал, но голос умолк. Тогда он сделал тур вальса с госпожой Бирненшатц, крича:

— Я тебе говорил! Я же тебе говорил, они пошли на попятную, эти трусы пошли на попятную. Войны не будет, Катрин, войны не будет, и нацистам крышка!

Свет. Четыре стены вдруг возникли между Матье и ночью. Он приподнялся на руках и посмотрел на спокойное лицо Ирен: нагота этого женского тела поднялась до лица, тело забрало его, как природа забирает заброшенные сады; Матье больше не мог отделить его от

круглых плечей, маленьких острых грудей, это был просто цветок плоти, мирный и смутный.

— Вас не было скучно? — спросила она.

— Скучно?

— Некоторые считают меня скучной, потому что я не очень активна. Однажды один тип так истомился со мной, что утром ушел и больше не появлялся.

— Я не томился скукой, — сказал Матье. Она легким пальцем провела по его шее:

— Но знаете, не нужно думать, будто я холодная.

— Знаю, — ответил Матье. — Замолчите.

Он обеими руками взял ее за голову и склонился к ее глазам. Это были два ледяных озерца, прозрачных и бездонных. Она смотрит на меня. За этим взглядом тело и лицо исчезли. В глубине этих глаз — ночь. Девственная ночь. Она впустила меня в свои глаза; я существую в этой ночи: голый человек. Через несколько часов я ее покину, и тем не менее, останусь в ней навсегда. В ней, в этом безымянном мраке. Он подумал: «А она даже не знает моего имени». И вдруг он так сильно почувствовал привязанность к ней, что ему захотелось сказать ей об этом. Но он промолчал; слова солгали бы; так же, как ею, он дорожил этой комнатой, гитарой на стене, паренькомспавшим на раскладушке, этим мгновением, этой ночью.

Она ему улыбнулась:

— Вы на меня смотрите, но вы меня не видите.

— Я вас вижу. Она зевнула:

— Я бы хотела немного поспать.

— Спите, — сказал Матье. — Только поставьте будильник на шесть часов: мне нужно заскочить к себе, перед тем как ехать на вокзал.

— Вы уезжаете сегодня утром?

— Да, в восемь утра.

— Можно проводить вас на вокзал?

— Если хотите.

— Подождите. Мне нужно встать с постели, чтобы завести будильник и потушить свет. Но не смотрите, я стесняюсь своего зада, он слишком толстый и низкий.

Он отвернулся и услышал, как она ходит по комнате, потом она потушила свет. Укладываясь, она ему сказала:

— Бывает, что я встаю во сне и разгуливаю по комнате. Тогда дайте мне пощечину — и все пройдет.

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ

Шесть часов утра…

Она очень гордилась собой: всю ночь она не сомкнула глаз и однако не хотела спать. Только сухой ожог в глубине глаз, зуд в левом глазу, подрагивание век и время от времени дрожь усталости, пробегающая по спине, от поясницы к затылку. Она приехала в ужасно пустом поезде, последнее живое существо, которое она видела, был начальник вокзала в Суассоне, который размахивал красным флажком. И потом вдруг в холле Восточного вокзала — толпа. Это была очень разномастная толпа, нашпигованная старухами и солдатами, но у нее было столько глаз, столько взглядов, и потом, Ивиш обожала эту непрерывную маленькую бортовую качку, эти толчки локтями, бедрами, плечами и упорное раскачивание одних голов за другими; было так приятно не одной претерпевать бремя войны. Она остановилась у одной из больших внешних дверей и благоговейно созерцала Страсбургский бульвар: нужно было наполнить им взгляд и собрать в памяти деревья, закрытые лавки, автобусы, трамвайные рельсы, открывающиеся кафе и дымный воздух раннего утра. Даже если они начнут бомбить, через пять минут, через тридцать секунд, они не смогут отобрать у меня это. Она удостоверилась, что ничего не упустила, даже большую афишу «Дюбо-дюбон-дю-бонне» слева, и вдруг ее охватило легкое исступление: нужно войти в город прежде, чем там появятся они. Она толкнула двух бретонок с клетками для птиц, перепрыгнула через порог и ступила на настоящий парижский тротуар. Ей показалось, что она вошла в пылающий костер, это было возбуждающе и зловеще. «Все сгорит: женщины, дети, старики, и я погибну в пламени». Ей не было страшно: «Все равно я боюсь постареть»; от спешки в горле у нее пересохло; нельзя терять ни минуты; столько всего нужно еще раз увидеть — Блошиный рынок, Катакомбы, Мениль-монтан и другое, где она еще не была, как, например, музей Гревен. «Если только они мне оставят неделю, если только они не придут раньше следующего вторника, у меня хватит времени на все. Ах! — страстно подумала

она. — Прожить здесь неделю, я буду развлекаться больше, чем за целый год, я хочу умереть, развлекаясь». Она подошла к такси:

— Улица Юнгенс, 12.

— Садитесь.

— Поезжайте по бульвару Сен-Мишель, по улице Опост-Конт, по улице Вавен, по улице Деламбр, а потом по улице де ля Гетэ и проспекту дю Мэн.

— Так же длиннее.

— Неважно.

Она села в такси и захлопнула дверцу. Позади она навсегда оставила Лаон. Никаких Лаонов: мы умрем здесь. «Какая прекрасная погода! — подумала она. — Какая прекрасная погода! Сегодня после обеда мы пойдем на улицу Розье и на остров Святого Людовика».

— Быстрее! Быстрее! — крикнула Ирен. — Идите сюда!

Матье был без пиджака, он причесывался перед зеркалом. Он положил расческу на стол, сунул под мышку пиджак и вошел в комнату друзей.

— Что?

Она с несчастным видом показала на раскладушку:

— Он удрал!

— Вот дела! — ахнул Матье. — Вот дела!

Некоторое время он рассматривал разобранную постель, почесывая голову, а потом расхохотался. Ирен посмотрела на него серьезно и удивленно, но смех заразил и ее.

— Ловко он нас провел, — сказал Матье. Он надел пиджак. Ирен все еще смеялась.

— Встретимся в кафе «Дом», в семь часов.

— В семь часов, — повторила она. Он наклонился и легко поцеловал ее.

Ивиш бегом поднялась по лестнице и, запыхавшись, остановилась на площадке четвертого этажа. Дверь была приоткрыта. «А вдруг это консьержка?» Она вошла: все двери были открыты, все лампы зажжены. В прихожей она увидела большой чемодан: «Он здесь».

— Матье!

Никто не ответил. Кухня была пустой, но в спальне постель была разобрана. «Он ночевал здесь». Ивиш вошла в кабинет, открыла окна и

ставни. «Здесь не так уж безобразно, — растроганно подумала она, — я была к нему несправедлива». Она будет жить здесь, четыре раза в неделю она будет писать ему; нет, пять раз. Потом, в один прекрасный день, он прочтет в газетах: «Бомбежка Парижа» и перестанет получать письма. Она обошла вокруг письменного стола, прикоснулась к книгам, к пресс-папье в форме краба. Около произведения Мартино о Стендале лежала сломанная сигарета: она взяла ее и положила в сумочку с реликвиями. Затем она аккуратно села на диван. Через минуту на лестнице послышались шаги, и ее сердце подпрыгнуло.

Это был Матье. Он на несколько секунд задержался в прихожей, затем вошел, держа чемодан. Ивиш разомкнула руки, и ее сумочка упала на пол.

— Ивиш!

Казалось, он не слишком удивился. Он поставил чемодан, поднял сумочку и отдал ей.

— Вы здесь давно?

Ивиш не ответила; она немного сердилась на него, потому что уронила сумочку. Он подошел и сел рядом с ней. Она его не видела. Она видела ковер и носки своих туфель.

— Мне повезло, — радостно сказал он. — Еще час, и вы бы меня не застали: я еду восьмичасовым поездом в Нанси.

— Как? Вы так сразу уезжаете?

Она замолчала, недовольная собой, ей был противен собственный голос. У них было так мало времени, и она так хотела бы быть простой, но не могла пересилить себя: когда она долго не видела людей, она не умела снова быть с ними запросто, ее охватывало ватное оцепенение, сходное с недовольством. Ивиш старательно прятала от него лицо, но все же выдала свое волнение. Оттого, что она на него не смотрела, она казалась себе еще бесстыдней. Две руки потянулись к чемодану, открыли его, взяли оттуда будильник и завели его. Матье встал и поставил будильник на стол. Ивиш робко подняла глаза и увидела его, совсем черного против света. Матье снова сел; он продолжал молчать, но Ивиш обрела немного смелости. Он смотрел на нее; она знала, что он смотрит на нее. Три месяца никто не смотрел на нее так, как он сейчас. Она казалась себе драгоценной и хрупкой; маленький молчаливый божок; это было приятно,

раздражающе и слегка болезненно. Вдруг она услышала тиканье будильника и вспомнила, что он скоро уедет. «Не хочу быть хрупкой, не хочу быть божком». С немалым усилием ей удалось повернуться к нему. У него был совсем не тот взгляд, которого она ожидала.

— Вот и вы, Ивиш. Вот и вы.

Казалось, он не думал, что говорит. Она ему все же улыбнулась, но тут же заледенела с ног до головы. Он не ответил на ее улыбку; он медленно проговорил:

— Это вы…

Он с удивлением рассматривал ее.

— Как вы приехали? — спросил он более оживленно.

— Поездом.

Она свела кисти рук и сильно сжимала их, чтобы хрустнуть пальцами.

— Я хотел спросить: ваши родители в курсе? — Нет.

— Вы убежали?

— Почти.

— Да, — сказал он. — Да. Что ж, прекрасно: будете жить здесь. — Он с интересом добавил:

— Вы скучали в Лаоне?

Она не ответила: голос падал ей на затылок, как нож гильотины, холодный и бесстрастный.

— Бедная Ивиш!

Она начала беспорядочно теребить волосы. Он заговорил снова:

— Борис в Биаррице? — Да.

Борис ощупью встал, дрожа, надел брюки и куртку, бросил взгляд на Лолу, спавшую с открытым ртом, бесшумно отпер дверь и вышел в коридор с туфлями в руках.

Ивиш бросила взгляд на будильник и увидела, что уже двадцать минут седьмого. Она жалобным голосом спросила:

— Который час?

— Двадцать минут седьмого, — ответил он. — Подождите: я сейчас брошу кое-что в рюкзак, это быстро; потом я буду совершенно свободен.

Он стал на колени у чемодана. Она инертно смотрела на него. Она больше не чувствовала своего тела, но тиканье будильника разрывало ей уши. Вскоре Матье встал:

— Все готово.

Он стоял перед ней. Она видела его брюки, немного потертые на коленях.

— Слушайте хорошенько, Ивиш, — мягко начал он. — Мы будем говорить о серьезном: квартира — ваша; ключ висит на гвозде рядом с дверью, вы будете жить здесь до конца войны. С жалованьем я все уладил: я дал доверенность Жаку, он его будет получать и отсылать вам каждый месяц. Время от времени нужно будет оплачивать мелкие счета: за квартиру, наверно, налоги — хотя, возможно, солдат от них освобождают, — и потом, иногда будете посылать мне посылки. Что останется — ваше, думаю, вам хватит.

Она в оцепенении слушала этот ровный и монотонный голос, похожий на голос диктора. Как он смеет быть таким нудным? Она не очень хорошо понимала, что он говорит, но четко представляла себе лицо, которое у него должно быть: полуулыбка, тяжелые веки, благопристойная степенность.

Она посмотрела на него, чтобы еще больше его возненавидеть, и ее ненависть угасла: его лицо не соответствовало голосу. Он страдает? Но нет, он не казался несчастным. Такого выражения лица она у него никогда не видела, вот и все.

— Вы меня слушаете, Ивиш? — улыбаясь, спросил он.

— Конечно, — ответила она. Она встала. — Матье, покажите мне на карте Чехословакию.

— Но у меня нет карты, — сказал он. — Ах, да! Кажется, у меня есть старый атлас.

Он взял альбом в картонной обложке из книжного шкафа, положил его на стол, перелистал и открыл на странице «Центральная Европа». Цвета были убийственно скучными: только бежевое и фиолетовое. Голубого не было: ни моря, ни океана. Ивиш внимательно смотрела на карту, но так и не обнаружила Чехословакии.

— Он выпущен до четырнадцатого года, — пояснил Матье.

— А до четырнадцатого года Чехословакии не было? — Нет.

Он взял ручку и посреди карты прочертил неправильную и замкнутую кривую линию.

— Приблизительно так, — сказал он.

Ивиш посмотрела на это широкое пространство земли без воды, с грустными красками, на эту линию черных чернил, такую неуместную, такую некрасивую рядом с печатными буквами, она прочла слово «Богемия» внутри кривой линии и сказала:

— Ах! Вот это! Вот это Чехословакия…

Все ей показалось тщетным, и она зарыдала.

— Ивиш! — сказал Матье.

Она внезапно очутилась на диване; она полулежала, а Матье обнимал ее. Сначала она напряглась: «Я не хочу его жалости, я смешна», но через несколько минут она расслабилась, не было больше ни войны, ни Чехословакии, ни Матье; только эти мягкие и горячие руки на ее плечах.

— Вы сегодня ночью спали? — спросил он.

— Нет… — сквозь рыдания ответила она.

— Бедная маленькая Ивиш! Подождите.

Он встал и вышел; она слышала, как он расхаживает по соседней комнате. Когда он вернулся, он снова обрел тот наивный и безмятежный вид, который ей так нравился.

— Я там постелил чистые простыни, — сказал он, садясь рядом с ней. — Постель готова, вы сможете лечь, как только я уйду.

Она посмотрела на него:

— Я… разве я вас не провожу на вокзал?

— Я считал, что вы не любите прощанья на перроне.

— Да, — примирительно сказала она, — но ради такого случая…

Но он покачал головой:

— Я предпочитаю уйти один. И потом, вам нужно поспать.

— Ах! — вздохнула она. — Ах! Ладно.

Она подумала: «Как я была глупа!» Она вдруг похолодела и оцепенела. Она энергично затрясла головой, вытерла глаза и улыбнулась.

— Вы правы, я слишком взвинчена. Это усталость: я буду отдыхать.

Он взял ее за руку и поднял:

— А теперь я введу вас в права собственника. В спальне он остановился у шкафа.

— Здесь — шесть пар простыней, наволочки и одеяла. Где-то есть еще и перина, но я не помню, куда я ее положил, консьержка вам

скажет.

Он открыл шкаф и посмотрел на стопки белого белья. Он засмеялся, у него был недобрый вид.

— Что случилось? — вежливо спросила Ивиш.

— Все это было моим. Забавно. Он повернулся к ней.

— Я вам также покажу кладовую. Пошли.

Они вошли в кухню, и он показал ей на стенной шкаф.

— Это здесь. Остается растительное масло, соль и перец, и еще вот банки с консервами. — Он поднимал одну за другой цилиндрические банки на уровень глаз и крутил их перед лампой. — Это семга, это рагу, вот три банки кислой капусты. Вы поставите это на водяную баню… — Он остановился, снова зло засмеялся. Но ничего не добавил, посмотрел на банку зеленого горошка мертвыми глазами и поставил ее в шкаф.

— Осторожно с газом, Ивиш. Каждый вечер перед сном нужно опускать рукоятку счетчика.

Они вернулись в кабинет.

— Кстати, — сказал он, — уходя, я предупрежу консьержку, что я вам оставляю квартиру. Завтра она пришлет вам мадам Кит — она здесь делает уборку. Она приятная.

— Кит, — удивилась Ивиш, — какое смешное имя. Она засмеялась, и Матье улыбнулся.

— Жак вернется не раньше начала октября, — продолжал он. — Мне нужно даль вам немного денег, чтобы вы могли его дождаться.

У него в бумажнике была тысяча франков и две купюры по сто франков. Он взял тысячефранковую купюру и отдал ей.

— Большое спасибо, — сказала Ивиш. Она взяла ее и зажала в руке.

— В случае чего, зовите Жака. Я напишу ему, что поручаю ему вас.

— Спасибо, — повторяла Ивиш. — Спасибо. Спасибо.

— Вы знаете его адрес?

— Да, да. Спасибо.

— До свиданья. — Он подошел к ней. — До свиданья, дорогая Ивиш. Как только у меня будет адрес, я вам напишу.

Он взял ее за плечи и привлек к себе.

— Моя дорогая маленькая Ивиш.

Она послушно подставила ему лоб, и он поцеловал ее. Затем он пожал ей руку и вышел. Она услышала, как в прихожей хлопнула дверь; тогда она разгладила тысячефранковую купюру, рассмотрела виньетки, а потом разорвала банкнот на восемь кусочков и бросила их на ковер.

Старый рыжебородый солдат колониальных войск, положив руку на плечо рекрута, другой показывал ему на африканский берег. «Вербуйтесь и перевербовывайтесь в колониальную армию». У молодого рекрута был абсолютно дурацкий вид. Очевидно, нужно будет пройти и через это: полгода у Бориса будет вид олуха. Положим, три месяца: год войны считается за два. «Мне обстригут чуб, — подумал он, стиснув зубы. — Сволочи!» Никогда еще он не чувствовал в себе такой ненависти к войне и военным. Он прошел мимо неподвижного часового в постовой будке. Он исподтишка бросил на него взгляд, и вдруг мужество ему изменило. «Дерьмо!» — подумал он. Но он решился, он весь был охвачен злой решимостью, тем не менее, в казарму он вошел на ватных ногах. Небо сияло, совсем легкий ветерок доносил до этих удаленных предместий запах моря. «Какая жалость, — подумал Борис, — какая жалость, что такая хорошая погода». У двери комиссариата прохаживался полицейский. Филипп смотрел на него; ему стало очень одиноко и холодно; щека и верхняя губа болели. Это будет мученичество без славы. Без славы и без радости: камера, и потом, однажды утром, виселица в глубине Венсеннской башни; никто этого не узнает: они все его отвергли.

— Где комиссар полиции? — спросил он. Полицейский посмотрел на него:

— На втором этаже.

Я буду своим собственным свидетелем, я держу ответ только перед собой.

— Где бюро по добровольному вступлению на военную службу?

Два солдата переглянулись, и Борис почувствовал, как вспыхнули его щеки: «Хорошая у меня физиономия», — подумал он.

— Дом в глубине двора, первая дверь налево.

Борис сделал небрежное приветствие двумя пальцами и твердым шагом пересек двор; но он думал: «У меня идиотский вид», и его это сильно удручало. «Они, должно быть, потешаются, — подумал он. — Явился сюда голубчик сам собой, без принуждения — то-то для них

потеха». Филипп стоял при полном свете, смотрел в глаза маленькому господину с орденами, с квадратной челюстью и думал о Раскольникове[64].

— Вы комиссар?

— Я его секретарь, — ответил господин.

Филипп говорил с трудом из-за распухшей губы, но голос его был ясным. Он сделал шаг вперед.

— Я дезертир, — твердо произнес он. — И я пользуюсь фальшивыми документами.

Секретарь внимательно разглядывал его.

— Садитесь, — вежливо предложил он. Такси ехало к Восточному вокзалу.

— Вы опаздываете, — сказала Ирен.

— Нет, — ответил Матье. — Впритык успеем. В качестве объяснения он добавил:

— Меня задержала одна девушка.

— Какая девушка?

— Она приехала из Лаона повидать меня.

— Она вас любит?

— Да нет.

— А вы ее любите?

— Нет: просто я ей уступаю свою квартиру.

— Она хорошая девушка?

— Нет, — сказал Матье. — Она не хорошая девушка. Но и не слишком плохая.

Они замолчали. Такси ехало мимо Центрального рынка.

— Здесь, здесь! — вдруг воскликнула Ирен. — Это было здесь.

— Да.

— Это было вчера. Надо же! Как давно…

Она откинулась в глубь такси, чтобы смотреть через слюду.

— Конечно, — сказала она, снова усаживаясь прямо. Матье не ответил: он думал о Нанси — он там ни разу не был.

— Вы не слишком разговорчивы, — заметила Ирен. — Но мне с вами не скучно.

— Я слишком много разговаривал раньше, — усмехнулся Матье.

Он повернулся к ней:

— Что вы будете сегодня делать?

— Ничего, — ответила Ирен. — Я никогда ничего не делаю: мой старик всем меня обеспечивает.

Такси остановилось. Они вышли, и Матье расплатился.

— Не люблю вокзалы, — призналась Ирен. — Они какие-то зловещие.

Вдруг она просунула ладонь ему под руку. Молчаливая и такая свойская, Ирен шла рядом с ним: ему казалось, что он знает ее уже лет десять.

— Мне нужно взять билет.

Они прошли сквозь толпу. Это была гражданская толпа, медлительная и молчаливая, в ней было несколько солдат.

— Вы знаете Нанси?

— Нет, — ответил Матье.

— А я знаю. Скажите, куда вы едете.

— В авиационную казарму Эссе-лес-Нанси.

— Я знаю, где это, — сказала она. — Знаю. Мужчины с рюкзаками стояли в очереди у кассы.

— Хотите, я куплю вам газету, пока вы будете стоять в очереди?

— Нет. Останьтесь рядом со мной.

Она с довольным видом улыбнулась ему. Шаг за шагом они продвигались.

— До Эссе-лес-Нанси, пожалуйста.

Он протянул свое военное удостоверение, и кассир выдал ему билет. Он повернулся к Ирен:

— Проводите меня до двери. Но, если можно, не выходите на перрон.

Они сделали несколько шагов и остановились.

— Тогда прощайте, — сказала она.

— Прощайте, — сказал Матье.

— Все длилось только одну ночь.

— Да, одну ночь. Но вы будете моим единственным воспоминанием о Париже.

Он поцеловал ее. Она у него спросила:

— Вы будете мне писать?

— Не знаю, — ответил Матье.

Он молча посмотрел на нее и зашагал прочь.

— Эй! — крикнула она ему.

Он обернулся. Она улыбалась, но губы ее слегка дрожали.

— Я даже не знаю, как вас зовут.

— Матье Дедарю.

— Войдите.

Он сидел в пижаме на своей кровати, как всегда хорошо причесанный, как всегда красивый, она подумала, не надевает ли он на ночь сетку для волос. В комнате пахло одеколоном. Он с растерянным видом поглядел на нее, взял с ночного столика очки и надел их.

— Ивиш, это вы?

— Да, это я! — простодушно ответила она.

Она села на край кровати и улыбнулась ему. Поезд на Нанси отправлялся с Восточного вокзала; в Берлине, возможно, только что взлетели бомбардировщики. «Я хочу развлекаться! Я хочу развлекаться!» Она осмотрелась: гостиничный номер, безобразный и богатый. Бомба пробьет крышу и пол седьмого этажа: именно здесь я и умру.

— Я не думал, что снова вас увижу, — с достоинством произнес он.

— Почему? Потому что вы вели себя как хам?

— Мы просто выпили, — оправдывался он.

— Я выпила, потому что узнала, что провалилась на экзамене. Но вы не пили: вы хотели увести меня в свою комнату; вы меня подстерегали.

Он совсем растерялся.

— Что ж, я здесь, в вашей комнате, — сказала она. — Что дальше?

Он сделался пунцовым.

— Ивиш!

Она рассмеялась ему в лицо:

— А вы не такой уж противный.

Наступило долгое молчание, затем неловкая рука слегка коснулась ее талии. Бомбардировщики уже пересекли границу. Она смеялась до слез: «Во всяком случае, не умру девственницей».

— Это место свободно?

— Ага! — буркнул толстый старик.

Матье положил рюкзак на сетку и сел. Купе было набито битком; Матье попытался разглядеть своих спутников, но было еще темно. Через минуту был резкий толчок, и поезд тронулся. Матье вздрогнул от радости: кончено. Завтра — Нанси, война, страх, быть может, смерть, свобода. «Посмотрим, — сказал он. — Посмотрю*». Он полез в карман, чтобы взять трубку, и его пальцы наткнулись на конверт: это было письмо Даниеля. Ему захотелось положить его обратно в карман, но нечто вроде деликатности помешало ему; все же нужно его прочесть. Он набил трубку, зажег ее, разорвал конверт и вынул из него семь листов, покрытых ровным убористым почерком, без помарок. «Он его писал с черновиком. Какое оно длинное», — с тоской подумал Матье. К счастью, поезд вышел из вокзала, и в купе посветлело. Он прочел:

«Дорогой Матье!

Хорошо себе представляю твое изумление, каковое лишний раз подчеркивает всю неуместность этой моей эпистолы. В сущности, я сам толком не знаю, почему обращаюсь именно к тебе*, видимо, склон покаяния, как и склон грехопадения, достаточно скользок и влекущ. Когда в июне я приоткрыл тебе некий живописный аспект своей натуры, я тем самым избрал тебя своим пожизненным поверенным. Мне стоит об этом пожалеть, ибо пропуская через тебя все события своей жизни, я передавал бы тебе активную ненависть, что для меня было бы тягостно, а для тебя — пагубно. Ты, по-видимому, считаешь, что я пишу тебе об этом с неким ироническим смешком. Не сочти это экстравагантным, но легкость моих литер отягощена свинцом, так что смешливость дарована мне как особое благодеяние. Но оставим эти выспренности, ибо я не намереваюсь живописать тебе всевозможные обыденности своего существования, но события чрезвычайные, а оные приобретут вкус реальности только в том случае, если будут существовать для других не меньше, чем для меня самого. Дело не в том, что я чрезмерно рассчитываю на твое доверие или даже чистосердечие. Увы, если даже я и попрошу тебя отрешиться от твоего излюбленного скептицизма, каковой уже более десяти лет кормит тебя и поит, ты, несомненно, пренебрежешь моей просьбой. Но как знать, возможно, я выбрал из всех своих друзей именно тебя, человека, в наименьшей степени способного понять меня, поелику рассчитываю на точность твоего экспериментального

анализа. Не подумай, что я вынуждаю тебя к ответу — к плоским рацеям и взыванию к здравому смыслу. Все это я всегда был вполне способен адресовать себе сам, как ты знаешь. Но признаюсь тебе: когда я думаю о здравом смысле и всяком позитивистском вздоре, легкая манна небесная в виде смеха тут же снисходит на меня. Не пиши мне еще и потому, что едва Марсель обнаружит в почтовом ящике твое письмо, она вообразит нашу подпольную переписку и, зная тебя, заподозрит, что ты великодушно предлагаешь мне в моем супружеском дебюте свои услуги. Зато твое молчание может мне сослужить добрую службу: если я смогу представить себе твою «чудовищную улыбку»[65] без волнения и постичь скрытую иронию, с которой ты будешь рассматривать мой «случай», все же не похерив мой особый опыт, во мне в конце концов окрепнет уверенность, что я на верном пути. Чтобы избежать возможных недоразумений, а также из-за психологического характера проблемы, я совершенно сознательно на этот раз обращаюсь к профессиональному философу, а посему перевожу свое повествование в план метафизический. Разумеется, ты сочтешь, что мои претензии непомерны, так как я не читал ни Гегеля, ни Шопенгауэра; но не придирайся, я в любом случае не смог бы определить строго философскими категориями все нынешние движения моего духа, но я охотно предоставляю эту заботу тебе, ибо это твое ремесло, я же буду жить на ощупь, вслепую, нимало не считаясь с вами, избранными прозорливцами. Однако я не думаю, что ты так легко уступишь: этот внезапный смех, эти тайные тревоги, эти молниеносные инстинктивные озарения ты, вероятно, и увы — ошибочно отнесешь к психологическим «состояниям» и своеобычности моей натуры, опираясь при этом на признания, которые я допустил в разговоре с тобой. Впрочем, меня это мало волнует: что сказано, то сказано, и ты волен использовать мои признания по собственному усмотрению, даже если ход твоих мыслей приведет тебя к глубочайшим заблуждениям на мой счет. Я даже признаюсь тебе, что с тайным удовольствием дам тебе все необходимые сведения для восстановления истины, хорошо зная, что и вместе с ними ты сознательно попадешь в объятия лжи.

Но перейдем к фактам. Тут смех понуждает меня выронить перо из рук. А может, и слезы умиления. Дрожа, приступаю к материи, каковой до сих пор не касался как из стыдливости, так и из

самоуважения. Однако час настал, сейчас я озвучу эти сакраментальные слова и обращу их именно к тебе, с тем, чтобы они, оставшись на этих голубых листках, дали тебе возможность повеселиться и лет через десять. Уверен, что я тем самым совершу святотатство против себя самого, что само по себе непростительно, но одновременно предам осмеянию и то, что люблю более всего — ибо святотатство вызывает смех. И все же оно никогда не станет мне по-настоящему дорого, если я хоть единожды не посмеюсь над ним. Знаю, что заставлю тебя посмеяться над моей новой верой. Я ношу в себе смиренную уверенность, которая удивит тебя своей необъятностью и все же окажется целиком у тебя в руках; она поразит тебя тем, что способна меня сокрушить, это и будет основой твоей обиды. Знай же, если ты веселишься, читая это письмо, что я тебя опередил: я смеюсь, Матье, я смеюсь; Бог создал человека, превосходящего всех людей и однако же осмеиваемого всеми, висящего на кресте, с открытым ртом, позеленевшего, немого как рыба, перед насмешками — что может быть смешнее? Но как ты ни будешь тщиться, сладчайшие слезы смеха не потекут по твоим щекам.

Посмотрим же, что могут сделать слова. Поймешь ли ты меня, если я тебе скажу, что я никогда не знал, что я такое? Мои пороки, мои добродетели — я выше их, я не могу их ни увидеть, ни достаточно отойти в сторону, чтобы рассмотреть себя целиком. И потом, у меня неописуемое чувство, что я мягкая и зыбкая субстанция, в которой увязают слова; едва я попытался себя определить, как уже тот, кто был определен, смешался с тем, кто определяет, и все снова подвергнуто вопросу. Я часто желал ненавидеть себя, ты знаешь, что у меня были для того веские причины. Но эта ненависть, как только я ее испытывал на себе, тонула в моей непрочности, это было уже всего лишь воспоминание. Я также не мог себя любить, я в этом уверен, хотя и не пытался. Но для этого всегда нужно, чтобы я был: я же ощущал себя своей собственной ношей. Недостаточно тяжелой, Матье, всегда недостаточно тяжелой. В какой-то миг, тем июньским вечером, когда мне заблагорассудилось исповедаться тебе, я подумал, что коснулся себя в твоих растерянных глазах. Ты меня видел, в твоих глазах я был прочным и предусматриваемым; мои поступки и мои настроения были только следствиями постоянной сущности. Эту сущность ты узнал через

меня, я тебе ее описал словами, я тебе открыл факты, которых ты не знал и которые тебе позволили ее заметить. Однако ее видел ты, а я видел только, что ты ее видишь. На мгновенье ты был посредником между мной и моей оболочкой, самым драгоценным в мире существом в моих глазах, потому что то прочное и плотное существо, которым я был, вернее, которым я хотел быть, ты так просто чувствовал, так обыкновенно, как чувствовал себя я. Ибо я все же существую, я есмь, даже если сам в этом сомневаюсь; и это редкая пытка — находить в себе такую уверенность без малейшего основания, такую беспредметную гордыню. Я тогда понял, что можно добраться до себя только через суд другого, через ненависть другого. Может быть, также и через любовь другого; но речь здесь не об этом. За это открытие я сохранил к тебе смешанную благодарность. Я не знаю, каким именем ты сегодня называешь наши отношения. Это не была дружба, но и не совсем ненависть. Скажем, что между нами был труп. Мой труп.

Я был еще в этом расположении духа, когда уехал с Марсель в Совтерр. Я то хотел соединиться с тобой, то мечтал тебя убить. Но в один прекрасный день я заметил взаимность наших отношений. Чем бы ты был без меня, если не той же непрочностью, каковой я сам для себя являюсь? Ведь благодаря моему посредничеству ты мог иногда — не без некоторого раздражения — угадать себя таким, каков ты есть: куцый рационалист, с виду очень уверенный, а в глубине души очень неуверенный, полный доброй воли для всего, что естественно находится в ведении твоего разума, слепой и лживый для всего остального; резонёр из осторожности, сентиментальный из склонности, почти без чувственности; короче, осмотрительный умеренный интеллектуал, сладкий плод наших средних классов. Если я и вправду не могу добраться до себя без твоего посредничества, то мое тебе необходимо, чтобы познать себя. Я увидел нас тогда, как мы подпираем наши два небытия, и в первый раз я засмеялся тем глубоким и удовлетворенным смехом, который сжигает все; потом я вновь погрузился в подобие черного безразличия, тем более, что жертва, которую я принес тогда же, в июне, и которая мне тогда показалась болезненным искуплением, проявила себя так чудовищно переносимой. Но здесь я должен замолчать: я не могу говорить о Марсель без смеха, и из заботы о приличии, которую ты оценишь, я не

хочу смеяться над ней вместе с тобой. И вот тогда мне выпал невероятнейший и самый безумный шанс. Бог меня видит, Матье, я это чувствую, я это знаю. Итак: все в одночасье сказано; что я хотел бы быть рядом с тобой и черпать более сильную уверенность, если это возможно, в спектакле плотного смеха, который долго будет сотрясать тебя.

Теперь достаточно. Мы оба довольно посмеялись друг над другом: я продолжаю свой рассказ. Ты, безусловно, испытывал в метро, в театральном фойе, в вагоне внезапное и непереносимое впечатление, что сзади за тобой кто-то следит. Ты оборачиваешься, но любопытный уже погрузил нос в книгу; тебе не удается узнать, кто за тобой наблюдает. Ты возвращаешься в прежнее положение, но ты знаешь, что незнакомец поднял глаза, ты это чувствуешь по легким мурашкам на спине, сравнимым с сильным и быстрым сжатием всех твоих тканей. Так вот, это я почувствовал в первый раз 26 сентября в три часа дня в парке отеля. И никого вокруг не было, слышишь, Матье, никого. Но взгляд — был. Пойми меня правильно: я не ухватил его, как ловят на проходе профиль, лоб, глаза, так как его отличительная черта — быть неуловимым. Я только сжался, собрался, я был одновременно пронзен насквозь и непроницаем, я существовал в присутствии взгляда. С тех пор я всегда был в присутствии свидетеля. В присутствии свидетеля — даже у себя в запертой комнате: иногда от сознания, что я пронзен этим мечом, что сплю перед свидетелем, я просыпался и вскакивал. Словом, я почти полностью потерял сон. Да! Матье, какое открытие: меня видели, я суетился, чтобы познать себя, я считал, что обрушиваюсь по всем краям, я требовал твоего благожелательного посредничества, а в это время меня видели, взгляд был здесь, невозмутимая, невидимая сталь. И тебя тоже, недоверчивый насмешник, тебя тоже видят. Но ты этого не знаешь. Сказать тебе, что такое этот взгляд, мне будет очень легко, ибо это — ничто; это — отсутствие; представь себе самую темную ночь. И ночь на тебя смотрит. Но ослепительная ночь; ночь, полная света; тайная ночь дня. Я облит черным светом; он везде, на моих руках, на моих глазах, в моем сердце, и я его не вижу. Поверь, что постоянное насилие мне сначала было отвратительно: ты знаешь, что моей старой мечтой было стать невидимым; я сто раз желал не оставлять никакого следа ни на земле, ни в сердцах. Какая мука — обнаружить вдруг этот

взгляд как все-окружающую среду, откуда я не могу убежать. Но также и какой покой! Я наконец знаю, что существую. Я преобразую для своего пользования и к твоему величайшему негодованию глупое и преступное высказывание вашего пророка — «Я мыслю, следовательно, существую», которое заставило меня столько страдать, так как чем больше я мыслил, тем меньше казался себе существующим, и я говорю: меня видят, следовательно, я существую. Я не могу больше выносить ответственности за свое вязкое течение: тот, кто меня видит, заставляет меня существовать; я таков, каким он меня видит. Я обращаю к ночи мое ночное и вечное лицо, я встаю, как вызов, я говорю богу: вот я. Вот я такой, каким вы меня видите, такой, какой я есть. Что я могу поделать: вы меня знаете, а я себя не знаю. Что мне делать, если не терпеть себя? И вы, чей взгляд вечно следит за мной, терпите меня. Матье, какая радость, какая пытка! Я наконец изменился внутри самого себя. Меня ненавидят, меня презирают, меня терпят, некое присутствие меня поддерживает — всегда и навсегда. Я бесконечен и бесконечно виновен. Но я существую, Матье, я существую. Перед богом и перед людьми я существую. Се человек.

Я пошел повидать кюре из Совтерра. Это образованный и хитрый крестьянин с подвижным и потрепанным лицом старого актера. Он мне совсем не нравится, но я вполне доволен, что первый контакт с церковью произошел через его посредничество. Он принял меня в кабинете, украшенном множеством книг, которые он, конечно же, прочел не все. Сначала я дал ему тысячу франков для бедных, и я увидел, что он принимает меня за кающегося преступника. Я почувствовал, что вот-вот расхохочусь, и должен был представить себе весь трагизм своего положения, чтобы сохранить серьезный вид.

— Господин кюре, — сказал я ему, — я желаю только справку: ваша религия учит, что бог нас видит?

— Он нас видит, — удивленно ответил он. — Он читает в наших сердцах.

— Но что он там видит? — спросил я. — Видит ли он этот мох, эту пену, из которых сделаны мои повседневные мысли, или же его взгляд достигает нашей вечной сущности?

И старый хитрец дал тот ответ, в котором я признал вековую мудрость:

— Месье, бог видит все. Я понял, что…»

Матье нетерпеливо смял листы.

«Какое старье», — подумал он. Окно было опущено. Он, не читая дальше, скатал письмо в шар и выбросил его в окно.

— Нет, нет, — сказал комиссар, — возьмите телефон: я не люблю разговаривать со старшими офицерами; они всех принимают за своих лакеев.

— Я думаю, что этот будет любезнее, — заметил секретарь. — В конце концов, мы ему возвращаем сына; и потом, в конечном счете, он сам виноват: нужно было лучше за ним следить…

— Вот увидите, увидите, — сказал комиссар, — он все равно будет вести себя некрасиво. Особенно в нынешних обстоятельствах: даже накануне войны вы можете попытаться заставить генерала признать свою вину.

Секретарь взял телефон и набрал номер. Комиссар закурил сигарету.

— Главное — чувство меры, Миран, — предупредил он. — Не оставляйте профессиональный тон и не слишком много говорите.

— Алло, — заговорил секретарь, — алло? Генерал Лаказ?

— Да, — ответил неприятный голос. — Что вам угодно?

— С вами говорит секретарь комиссариата улицы Деламбр.

Голос, казалось, проявил немного больше интереса:

— Да. И что?

— В моем кабинете в восемь утра появился молодой человек, — сказал секретарь нейтральным и вялым голосом. — Он утверждает, что он дезертир и пользуется фальшивыми документами. Действительно, мы нашли при нем грубо сделанный испанский паспорт. Он отказался сообщить свое настоящее имя. Но префектура предоставила нам описание и фотографию вашего пасынка, и мы его сейчас же узнали.

Наступило молчание, и секретарь несколько растерянно продолжал:

— Разумеется, господин генерал, ему не предъявлено никаких обвинений. Он не дезертир, потому что не был призван; у него в кармане фальшивый паспорт, но это не составляет преступления, потому что у него не было возможности его использовать. Мы готовы его передать в ваше распоряжение, и вы можете прийти за ним в любое время.

— Вы его избили? — спросил сухой голос. Секретарь так и подскочил.

— Что он говорит? — спросил комиссар. Секретарь закрыл трубку рукой.

— Он спрашивает, не избили ли мы его.

Комиссар воздел руки к небу, а секретарь между тем ответил:

— Нет, господин генерал. Нет, разумеется.

— Жаль, — сказал генерал.

Секретарь позволил себе подобострастно хихикнуть.

— Что он сказал? — спросил комиссар.

Но выведенный из терпения секретарь повернулся к нему спиной и склонился над аппаратом.

— Я приду сегодня вечером или завтра. До тех пор держите его взаперти; это ему будет уроком.

— Хорошо, господин генерал. Генерал повесил трубку.

— Что он сказал? — спросил комиссар.

— Он хотел, чтобы мы вздули этого сопляка. Комиссар раздавил сигарету в пепельнице.

— Ишь ты! — насмешливо сказал он.

Половина седьмого. Солнце еще не покидает моря, оса продолжает жужжать, война продолжает приближаться; Одетта небрежно и монотонно отгоняет осу; Жак у нее за спиной маленькими глотками попивает виски. Она подумала: «Жизнь бесконечна». Отец, мать, братья, дяди и тети пятнадцать лет кряду собирались в этой гостиной прекрасными сентябрьскими днями, чопорные и безмолвные, как семейные портреты; каждый вечер она ждала ужин, сначала под столом, потом на маленьком стульчике, занимаясь рукодельем, непрестанно думая: «Зачем жить?» Они все были здесь, все потерянные послеполуденные часы, в рыжем золоте этой бесполезной поры. Отец был здесь, сзади нее, он читал «Тан». Зачем жить? Зачем жить? Муха неуклюже карабкалась по стеклу, скатывалась и снова поднималась; Одетта следила за ней глазами, ей хотелось плакать.

— Иди сядь, — сказал Жак. — Сейчас будет говорить Даладье.

Она повернулась к нему: он плохо спал; он сидел в кожаном кресле с ребяческим видом, который принимал, когда чего-то боялся.

Она присела на ручку кресла. Все дни будут одинаковы. Все дни. Она посмотрела в окно и подумала: «Он был прав, море изменилось».

— Что он скажет? Жак пожал плечами:

— Сообщит, что объявлена война.

Она получила маленький толчок, но не такой уж сильный. Пятнадцать ночей. Пятнадцать тревожных ночей она умоляла пустоту; она бы отдала все — дом, здоровье, десять лет жизни, чтобы спасти мир. Но пусть она начинается, черт возьми! Пусть война начинается. Пусть наконец что-то произойдет: пусть зазвонит гонг к ужину, пусть молния сверкнет над морем, пусть мрачный голос объявит вдруг: немцы вошли в Чехословакию. Муха. Муха, утонувшая на дне чашки; она утоплена этой спокойной губительной послеполуденной порой; она смотрела на редкие волосы мужа и уже не очень хорошо понимала, зачем нужно предохранять людей от смерти, а их дома от разрушения. Жак поставил стакан на столик. Он грустно сказал:

— Это конец.

— Конец чего?

— Всего. Я уже и не знаю, чего желать, победы или поражения.

— А-а… — вяло протянула она.

— Если мы проиграем, то будем онемечены, но уверяю тебя, немцы сумеют восстановить порядок. Коммунистам, евреям и франкмасонам останется только паковать чемоданы. Зато победив, мы будем оболыпевичены, это будет триумф Frente Crapular[66], анархия, а может быть, и хуже… Эх! — продолжал он жалобным голосом. — Не нужно было объявлять эту войну, не нужно было ее объявлять!

Одетта не вслушивалась в то, что он говорил. Она думала: «Он боится, он злой, он одинок». Она наклонилась к нему и погладила его по волосам. «Мой бедный Жак».

— Мой дорогой Борис.

Она ему улыбалась, у нее был бесхитростный вид, и Борис почувствовал угрызения совести, нужно бы все-таки ей сказать.

— Это глупо, — продолжала Лола, — я взвинчена, я хочу знать, что он скажет, но, понимаешь, ты же все-таки не прямо сейчас уезжаешь.

Борис смотрел себе под ноги и начал насвистывать. Лучше сделать вид, что не услышал, иначе она его обвинит, кроме всего

прочего, в лицемерии. С минуты на минуту это становилось все труднее. Она скорчит бедную растерянную мину, она ему скажет: «Ты сделал это? Ты сделал это, не сказав мне ни слова!» «Я не готов», — заключил он.

— Дайте мне мартини, — сказала Лола. — А ты что выпьешь?

— То же.

Он снова принялся свистеть. После обращения Даладье, может быть, представится случай: она узнает, что объявлена война, это ее все же немного оглушит; тогда Борис, не теряя ни минуты, ей скажет: «Я записался добровольцем!», и не даст ей времени опомниться. Бывают случаи, когда избыток несчастья вызывает неожиданные реакции: смех, например; будет забавно, если она начнет смеяться. «Мне будет все-таки немного досадно», — беспристрастно подумал он. Все постояльцы собрались в холле отеля, даже два кюре. Они погрузились в кресла и приняли довольный вид, потому что чувствовали, что за ними наблюдают, но им было не по себе, и Борис заметил, как многие тайком смотрят на часы. Ладно! Ладно! Вам ждать еще полчаса. Борис был недоволен, он не любил Даладье, и ему было противно думать, что по всей Франции были сотни тысяч пар, многочисленные семьи и кюре, готовые принимать, как манну небесную, речь этого типа, который торпедировал Народный фронт. «Дешевый тип!» — подумал он. И, повернувшись к радиоприемнику, он подчеркнуто зевнул[67].

Было жарко и хотелось пить, трое спали: двое рядом с коридором и маленький старичок, скрестивший руки с видом молящегося; четверо остальных расстелили на коленях носовой платок и играли в карты. Они были молоды, вполне симпатичны, под сетками они развесили свои пиджаки, те раскачивались за их затылками и ворошили им волосы. Время от времени Матье искоса смотрел на загорелые, покрытые курчавыми волосами руки своего соседа, маленького блондина, пальцы которого с широкими черными ногтями ловко управлялись с картами. Он был наборщик; рядом с ним сидел слесарь. Из двух других на скамейке напротив, один, ближе к Матье, был адвокатом, другой — скрипач в кафе «Буа-Коломб». Купе пахло мужчинами, табаком и вином, пот катился по их жестким лицам, менял их и придавал им блеск; на раскачивающемся подбородке старика между жесткой белой щетиной его щек выступал пот, жирный

и едкий: экскремент лица. По другую сторону окна под тусклым солнцем тянулось серое и плоское поле.

Наборщику не везло, он проигрывал; он наклонялся над картами, поднимая брови с удивленным и упрямым видом.

— Ах, черт возьми! — говорил он.

Адвокат собирал карты и тасовал их. Наборщик внимательно следил, как они переходят из руки в руку.

— Я невезучий, — с обидой произнес он.

Они играли молча. Через некоторое время наборщик взял взятку.

— Козырь! — торжествовал он. — Эх! Сейчас все изменится, ребятки. Просто я немножко подергаюсь!

Но стряпчий уже раскрыл карты:

— Козырь, козырь и еще козырь. Вот так: дама не играет.

Наборщик оттолкнул карты.

— Я больше не играю: я слишком много проигрываю.

— Ты прав, — сказал слесарь. — И потом, сильно трясет. Стряпчий сложил платок и положил его в карман. Это был высокий толстый мужчина с бледной кожей, дряблым лягушачьим лицом, широкими скулами и узким черепом. Трое остальных говорили ему «вы», потому что у него было образование и он был сержантом. Он же им тыкал. Бросив недоброжелательный взгляд на Матье., он, покачиваясь, встал.

— Пожалуй, я выпью стаканчик.

— Неплохая мысль.

Слесарь и наборщик вынули из рюкзаков бутылки; слесарь отпил из горлышка и протянул свою бутылку скрипачу:

— Глотни-ка!

— Не сейчас.

— Много ты понимаешь.

Они замолчали, изнемогая от жары. Слесарь надул щеки и тихо вздохнул, стряпчий закурил «Хайлайф». Матье думал: «Я им не нравлюсь, они считают меня гордым» Однако они были ему интересны, даже спящие, даже стряпчий; они зевали, спали, играли в карты, качка раскачивала их пустые головы, но у них была судьба, как у королей, как у мертвых. Изнуряющая судьба, которая смешивалась с жарой, усталостью и жужжанием мух: вагон, закрытый, как парильня, забаррикадированный солнцем, скоростью, покачиваясь, уносил их к

одному и тому же испытанию. Блеск света окаймлял пунцовое ухо наборщика; мочка уха была похожа на кровавую землянику. «Это ими делают войну», — подумал Матье. До сих пор она ему представлялась переплетением искореженной стали, разбитых балок, чугуна и камня. Сейчас кровь дрожала в лучах солнца, рыжий свет заполнил вагон: война будет кровавой судьбой; ее будут вести кровью этих шести человек, кровью, застаивающейся в их мочках, кровью, которая, голубея, текла под их кожей, кровью их губ. Их раскроют, как бурдюки, все отбросы выскочат наружу; резвые кишки слесаря, которые урчали и иногда выпускали газы, будут волочиться в пыли, трагические, как кишки вспоротой на арене лошади.

— Что ж! Пойду разомну ноги, — сказал как бы сам себе наборщик, Матье посмотрел, как он встает и идет к коридору: эта фраза была уже исторической. Ее вполголоса произнес мертвец одним летним днем, еще будучи живым. Мертвец или, что одно и то же, переживший. Мертвецы — уже мертвецы. Оттого-то мне и нечего им сказать. Он смотрел на них с каким-то головокружением, он хотел бы быть втянутым в их великое историческое испытание, но он был исключен. Он загнивал в их жаре, он будет обливаться кровью на тех же дорогах, и однако он был не с ними, он был только бледным и вечным сиянием: у него не было судьбы.

Наборщик, куривший в коридоре, вдруг повернулся к ним.

— Самолеты. — А?

Стряпчий наклонился. Его грудь касалась толстых ляжек, и он поднимал голову и брови. — Где?

— Там, там! Бомбардировщики.

— Я…А! Ого…Ого! Скажи-ка, — пробормотал слесарь.

— Это французы? — спросил скрипач, поднимая на наборщика красивые блуждающие глаза.

— Они высоко, не видно.

— Конечно, французы, — сказал слесарь. — Кому же еще быть? Война пока не объявлена.

Наборщик наклонился к ним, держась двумя руками за косяки.

— Что ты об этом знаешь? Ты уже одиннадцать часов сидишь в поезде. Ты, может быть, думаешь, что все подождут, пока ты приедешь, и тогда объявят ее?

Слесарь, казалось, изумился:

— Черт! Ты прав, чертенок. Слушайте, ребята, а может, мы уже с утра воюем?

Они повернулись к стряпчему.

— Что вы скажете? Вы думаете, война уже началась? У стряпчего был мирный вид. Он высокомерно пожал

плечами:

— Что вы выдумываете? Неужели мы пойдем воевать за Чехословакию? Вы ее видели на карте, эту Чехословакию? Нет? А я видел. И не раз. Дерьмо это, вот что. И размером с носовой платок. Там, может быть, жалких миллиона два, которые даже не говорят на одном языке. Вы рассуждаете о том, плюет ли Гитлер на Чехословакию. А Даладье? Прежде всего Даладье — это не Даладье: это двести семей. И эти двести семей тошнит от Чехословакии.

Он пробежал взглядом по своей аудитории и заключил:

— Дело в том, что и у нас, и у них все назревало с тридцать шестого года. И что тогда сделали Чемберлены, Гитлеры и Даладье? Они решили: «Этих людей мы заставим замолчать», и они заключили хороший секретный договорчик. Гитлер придумал такую штуку: когда рабочие буянят, загнать их на военную службу. Вот так, молчок, рот на замок. Будешь рыпаться — два часа на плацу. Будешь еще рыпаться? Схлопочешь шесть часов. После этого парни на коленях, они думают только о том, чтобы завалиться спать. Ладно, другие министры решили: «Сделаем, как он». И вот итог: войны нет и в помине. Ни ради Чехословакии, ни ради кого-нибудь еще — хоть турецкого султана. Только мы мобилизованы, потянут три, четыре года, а за это время там, в тылу, сломают хребет пролетариату.

Они растерянно смотрели на него; они не слишком ему верили, или, может быть, не совсем его поняли. Слесарь философски заметил:

— Одно ясно — паны дерутся, а у холопов чубы трещат.

Скрипач одобрительно покачал головой, и они погрузились в молчание, наборщик отвернулся и приник лбом к одному из больших оконных стекол коридора. «Очевидно, — подумал Матье, — они не горят желанием воевать». Он думал о людях четырнадцатого года, об их широко раскрытых глотках и ружьях, украшенных цветами. Ну и что дальше? Правы эти. Они говорят пословицами, но слова их выдают, в их голове есть нечто, что не может быть выражено словами. Их отцы участвовали в бессмысленном побоище, и вот уже двадцать

лет им объясняют, что война — это разорение. После этого от них хотят, чтобы они кричали: «На Берлин!» Тем не менее, все, что они говорили, все, что они думали, не имело никакого значения: крошечные тайные мерцания на полях их судьбы. Скоро будут говорить: «солдаты тридцать восьмого года», как говорили: «солдаты одиннадцатого года», «солдаты четырнадцатого года». Они будут рыть траншеи, как другие, не лучше, не хуже, а потом лягут в них, потому что таков их жребий. «А ты! — вдруг подумал он. — Что ты лезешь в свидетели, хотя никто тебя об этом не просил; кто ты? Что ты там будешь делать? И если ты выживешь, кем ты станешь?»

Наборщик ткнул пальцем в стекло.

— А они все еще там.

— Кто? — вздрогнув, спросил скрипач.

— Самолеты. Они кружат вокруг поезда.

— Кружат? Ты не спятил?

— Ну я же их вижу!

— Ну и ну! — сказал слесарь. — Ну и ну! Проснулся маленький старичок.

— Что случилось? — спросил он, приставляя к уху ладонь.

— Самолеты.

— А-а, самолеты!

Он бессмысленно улыбнулся и снова заснул.

— Идите сюда! — позвал наборщик. — Идите сюда! Их, может, штук тридцать. Я столько никогда не видел со времен авиапарада в Виллакубле.

Слесарь и стряпчий встали. Матье вышел за ними в коридор. Он увидел десятка два маленьких прозрачных существ, креветок в воде неба. Казалось, они существуют переменно: когда они не были под солнцем, они исчезали.

— А если это фрицы?

— Не каркай. Все будет в порядке. Иначе выходит, мы мишени.

Теперь в коридоре было человек двадцать, и все задрали головы.

— Дело нешуточное, — сказал стряпчий.

У всех был обеспокоенный вид. Один барабанил по стеклу, другой нервно постукивал ногой. Эскадрилья сделала крутой вираж и исчезла над поездом.

— Уф! — вздохнул кто-то.

— Смотрите! — воскликнул наборщик. — Смотрите! Они уже своего добились, говорю вам, они кружат над составом.

— Вот они! Вот они!

Высокий усатый молодец опустил стекло и высунул голову наружу. Самолеты снова появились, один оставил за собой белую полосу.

— Это фрицы, — выпрямляясь, объявил усатый.

— Повезло.

Позади Матье вдруг вскочил скрипач: он начал трясти двух спящих.

— В чем дело? — еле ворочая языком, спросил один из них, приоткрывая покрасневшие глаза.

— Войну объявили! — говорил скрипач. — Сейчас фрицы будут бомбить поезд — над нами их самолеты.

Лола нервно сжала запястье Бориса.

— Слушай, — сказала она, — слушай. Жак позеленел.

— Слушай. Он сейчас будет говорить.

Это был медленный, тихий и глухой голос, немного гнусавый.

«Ранее я объявил, что сегодня вечером сделаю сообщение о международном положении, но сегодня днем я был извещен о приглашении немецкого правительства встретиться в Мюнхене с рейхсканцлером Гитлером, а также господами Муссолини и Чемберленом. Я принял это приглашение.

Надеюсь, вы поймете, что накануне таких важных переговоров я обязан отложить те объяснения, которые намеревался представить. Но сейчас я считаю необходимым адресовать французскому народу мою благодарность за его поведение, полное мужества и достоинства.

Я считаю необходимым особенно поблагодарить тех французов, которые были мобилизованы, за их хладнокровие и решительность, столь ярко ими продемонстрированные.

Моя задача тяжела. С самого начала сложностей, которые мы переживаем, я не переставал трудиться изо всех сил ради сохранения мира и жизненных интересов Франции. Завтра я продолжу эти усилия с мыслью о том, что я в полном согласии со всем народом»[68].

— Борис! — позвала Лола. — Борис! Он не ответил. Она его тормошила:

— Проснись, дорогой, что с тобой? Объявили мир: завтра будет международная конференция!

Она, красная и возбужденная, повернулась к нему. Он тихо выругался сквозь зубы:

Черт бы все побрал! Чтоб им всем… Радость Лолы угасла:

— Что с тобой, дорогой? Ты весь позеленел…

— Я же завербовался в армию на три года, — сказал Борис.

Поезд шел, самолеты кружили.

— Машинист рехнулся! — крикнул кто-то. — Чего он ждет, почему не останавливается? Если начнут бомбить, нас перебьют, как скот.

Наборщик был бледен и совершенно спокоен; задрав голову, он не переставал следить за самолетами.

— Придется прыгать, — процедил он.

— Еще чего! — вскинулся стряпчий. — Прыгать на такой скорости! — Он вытащил платок и промокнул лоб. — Лучше сорвать стоп-кран.

Наборщик и слесарь переглянулись.

— Давай-ка! — предложил наборщик.

— А вдруг это наши? Хороши же мы будем!

Матье толкнули в спину: какой-то толстяк бежал к дверям и кричал:

— Он сбавляет ход: все к выходу!

Наборщик повернулся к стряпчему; у него были странные, медленные и неуверенные движения, на губах играла злая улыбочка.

— Вот видите, и этот храбрец замедляет ход: значит, фрицы. «Это для вида, это для вида!» — сказал он, передразнивая стряпчего. — Что ж, смотрите, для какого это вида…

— Я этого не говорил, — вяло возразил тот, — я сказал-…

Наборщик повернулся к нему спиной и направился вперед по ходу поезда. Из всех купе выскакивали люди, они спешили в коридор, чтобы первыми выпрыгнуть в поле. Кто-то тронул Матье за руку — это был маленький старичок, он поднимал к нему лицо и в замешательстве смотрел на него.

— Что случилось? Что случилось?

— Ничего, — раздраженно ответил Матье. — Спите дальше.

Он высунулся в окно. Два человека спустились на подножку вагона. Один из них с криком прыгнул, сделал два шага по инерции, ударился плечом о телеграфный столб и головой вперед покатился по откосу. Поезд уже прошел мимо него. Матье повернул голову и увидел, как человек встал, совсем маленький издали, поднял руки и побежал через поле. Другой колебался, свесившись вперед, и держался одной рукой за медный поручень.

— Не толкайтесь там, черт побери, — произнес сдавленный голос. — Тут задохнуться можно.

Поезд еще больше замедлил ход. Во всех окнах торчали головы, а на подножках висели люди, готовые прыгать. На повороте появился вокзал, он был в трехстах метрах, вдали Матье заметил маленький городок. Еще два человека спрыгнули и перемахнули через переезд. Поезд уже подходил к перрону. «Вот из таких, — подумал Матье, — будут делать героев».

Из здания вокзала исходил нараставший гул, светлые платья сверкали на солнце, поднимались руки в белых нитяных перчатках, девушки в соломенных шляпках махали платками, вдоль перрона, смеясь и крича, бегали дети. Скрипач грубо оттолкнул Матье и наполовину высунулся из окна. Он рупором приложил руки ко рту:

— Бегите! — крикнул он в толпу. — Самолеты! Люди на вокзале, не понимая, смотрели на него, они улыбались и кричали. Он поднял руку над головой, показывая на небо пальцем. Ему ответил общий громкий крик. Сначала Матье толком не расслышал, потом вдруг понял:

— Мир! Мир, ребята! Весь поезд гудел:

— Самолеты! Самолеты!

— Ура! — кричали девушки. — Ура!

В конце концов они посмотрели на небо и, подняв руки, замахали платками, приветствуя самолеты. Стряпчий нервно грыз ногти.

— Не понимаю, — бормотал он, — не понимаю…

После двух-трех толчков поезд окончательно остановился. Вокзальный служащий поднялся на скамью, держа под мышкой свой красный флажок, он крикнул:

— Мир! Конференция в Мюнхене. Даладье уезжает сегодня вечером.

Поезд притих, неподвижный, непонимающий. И потом внезапно завопил:

— Ура! Да здравствует Даладье! Да здравствует мир!

Платья из голубой и розовой тафты исчезли в массе коричневых и черных пиджаков; толпа заволновалась и зашумела, как листва, солнечные блики мелькали повсюду, фуражки и соломенные шляпы кружились, кружились, это был вальс, Жак закружил в вальсе Одетту посередине гостиной, госпожа Бирненшатц прижимала к груди Эллу и стонала:

— Я счастлива, Элла, дочь моя, дитя мое, я счастлива. Под окном краснолицый молодой парень хохотал как сумасшедший, он налетел на крестьянку и расцеловал ее в обе щеки. Она тоже смеялась, вся растрепанная, со сползшей назад соломенной шляпой, и кричала «Ура!» между поцелуями. Жак поцеловал Одетту в ухо, он ликовал:

— Мир! Теперь они наверняка не ограничатся урегулированием судетского вопроса. Пакт четырех держав. Именно с этого надо было начинать.

Горничная приоткрыла дверь:

— Мадам, я могу подавать?

— Подавайте, — сказал Жак, — подавайте! А потом сходите в погреб за бутылкой шампанского и бутылкой шамбертена.

Высокий старик в темных очках вскарабкался на скамью, одной рукой он держал бутылку красного, другой — стакан.

— Стакан вина, парни, стакан вина за мир!

— Мне! — крикнул слесарь. — Мне! Да здравствует мир!

— Ах, господин аббат, я вас поцелую!

Кюре попятился, но старуха опередила его и в самом деле поцеловала, Грессье погрузил разливательную ложку в супницу: «Ах, дети мои, дети мои! Кончился этот кошмар». Зезетта открыла дверь: «Значит, это правда, мадам Изидор?» «Да, детка, правда, я сама слышала, так сказали по радио, ваш Момо вернется, я же вам говорила, что небо над вами сжалится». Он затанцевал на месте, сдрейфил, сдрейфил, Гитлер сдрейфил; я-то думаю, что это мы сдрейфили, но как мне на это наплевать, раз мы не воюем, но нет, но нет, я был предупрежден, в два часа я все скупил, это двести тысяч векселей, послушайте меня, мой друг, это ис-клю-чи-тель-но-е обстоятельство, в первый раз война, казавшаяся неизбежной,

предотвращена четырьмя главами государств, значимость их решения далеко превосходит текущий момент: теперь война уже невозможна, Мюнхен — первый вестник мира. Боже мой, Боже мой, я молилась, я молилась, я говорила: «Боже, возьми мое сердце, возьми мою жизнь», и ты внял моей мольбе, Боже мой, ты самый великий, ты самый мудрый, ты самый добрый», аббат высвободился — но я вам всегда это говорил, мадам: бог всеблаг. А эти чертовы чехи пусть сами выпутываются. Зезетта шла по улице, она пела, все птицы в моем сердце, у людей были добрые улыбающиеся лица, они молча здоровались друг с другом, даже если не были знакомы. Он знал, она знала, они знали, что знают все, у всех была одна и та же мысль, все были счастливы, оставалось только быть вместе со всеми; прекрасный вечер, эта женщина, которая идет мимо, я читаю в глубине ее сердца, а этот добрый старик читает в моем, все открыто всем, все составляют одно целое, она заплакала, все любили друг друга, все были счастливы, и Момо там, со всеми, он должен быть все-таки доволен, она плакала, все смотрели на нее, и это грело ей спину и грудь, чем больше все эти люди на нее смотрели, тем больше она заливалась слезами, она чувствовала себя гордой и щедрой, как мать, кормящая грудью свое дитя.

— Ну и здорово же ты пьешь! — заметил Жак. Одетта вдруг рассмеялась. Она сказала:

— Думаю, скоро резервистов демобилизуют?

— Через две недели или через месяц, — предположил Жак.

Она снова засмеялась и сделала еще глоток. Внезапно кровь прилила к ее щекам.

— Что с тобой? — спросил Жак. — Ты стала совсем пунцовой.

— Пустяки. Просто я выпила лишнего.

Я бы никогда его не поцеловала, если бы знала, что он так быстро вернется.

— Садитесь, садитесь!

Поезд медленно тронулся. Люди, крича и смеясь, побежали к нему; они гроздьями висли на подножках. В окне появилось лицо слесаря, он двумя руками цеплялся за подоконник.

— Черт возьми! — кричал он. — Подсобите мне, а то я сорвусь.

Матье подхватил его, и тот, перекинув ноги через подоконник, спрыгнул в коридор.

— Уф, — выдохнул он, вытирая лоб. — Я уж думал, что оставлю там обе ноги.

Тут появился скрипач.

— Что ж, все в сборе.

— Сыграем в бел от?

— Согласен.

Они вернулись в купе; Матье через стекло смотрел на них. Они начали с того, что выпили красного, затем стряпчий вынул платок и разложил его на коленях.

— Тебе сдавать. Слесарь громко пукнул.

— Прямо в небо полетела! — пошутил он, показывая на воображаемую ракету на потолке.

— Фу, козел! — весело сказал наборщик.

«Что они здесь делают? — подумал Матье. — А я, что здесь делаю я?» Их судьбы разметались, время снова потекло наугад, без цели, по привычке; вдоль поезда тянулась равнодушная дорога; теперь она больше никуда не вела, это была всего лишь полоса асфальтированной земли. Самолеты исчезли; война исчезла. Бледное небо, становившееся все более мирным к вечеру, оцепенелая долина, игроки в карты, спящие пассажиры, разбитая бутылка в коридоре, окурки в луже вина, сильный запах мочи, все эти ординарные остатки… «Как на следующий день после праздника», — подумал Матье со сжавшимся сердцем.

Дус, Мод и Руби поднимались по улице Канебьер. Дус была очень оживлена: у нее всегда была склонность к политике.

— Кажется, это недоразумение. Гитлер думал, что Чемберлен и Даладье строили против него козни, а в это время Чемберлен и Даладье опасались, что на них нападут. Но их собрал Муссолини и дал им понять, что они ошибаются; теперь все улажено: завтра они все четверо обедают вместе.

— Какая пирушка, — вздохнула Руби.

У Канебьеры был праздничный вид, люди шли мелкими шагами, некоторые смеялись. Мод хандрила. Конечно, она была довольна, что все так хорошо уладилось, но она особенно радовалась за других. Как бы то ни было, она проведет еще одну ночь в вонючей клетушке отеля «Женьевр», а потом вокзал, поезда, Париж, безработица, скверные столовые и боли в желудке: встреча в Мюнхене, каков бы ни был ее

исход, ничего не изменит. Ей было одиноко. Проходя мимо кафе «Риш», она вздрогнула.

— Что случилось? — спросила Руби.

— Это Пьер, — ответила Мод. — Не смотри. Он за третьим столиком слева. Ну вот, он нас увидел.

Пьер встал, он блистал в льняном костюме, у него был весьма мужественный и вальяжный вид. «Конечно, — подумала она, — теперь-то опасность миновала». Пока он шел к ней, она попыталась восстановить в памяти его зеленое лицо в той пропахшей рвотой каюте. Но запах и лицо выдуло морским ветром. Он поздоровался с ней, он казался абсолютно в себе уверенным. Она хотела повернуться к нему спиной, но дрожащие ноги понесли ее к нему помимо воли. Он, улыбаясь, сказал ей:

— Значит, мы вот так расстаемся, даже не выпив рюмки? Она посмотрела ему в лицо и подумала: «Трус». Но этого не было заметно. Она видела его насмешливые, смело сжатые губы, мужественные щеки, выступающее адамово яблоко.

— Пошли, — прошептал он. — Все это старая история. Она подумала о гостиничном номере, пропахшем нашатырным спиртом. Она сказала:

— Тогда пригласи Дус и Руби.

Он подошел к ним и улыбнулся. Руби он нравился, потому что был изысканным мужчиной. Три цветка сели кружком на террасе кафе «Риш». Это была целая цветочная клумба, цветы, солнечные оживленные лица, знамена, фонтаны, солнце. Она опустила взгляд и глубоко вздохнула: у нее перед глазами вращалось солнце, нельзя судить о человеке только по приступу морской болезни. Для нее тоже наступил Мир.

«Почему они меня не любят?» Он был один в сером помещении, он наклонился вперед, положив локти на колени, поддерживая руками тяжелую голову. Рядом с собой на скамейку он положил сандвичи и поставил чашку кофе, которые в полдень ему принес полицейский; зачем есть: все кончено. Его захотят силой взять в армию, он откажется, это означает либо виселицу, либо все двадцать лет тюрьмы; так или иначе, его жизнь кончилась здесь. Он смотрел на нее с глубоким удивлением: от начала до конца неудавшаяся затея. Его мысли текли направо и налево, бесцветные и жидкие: одна оставалась

неизменной, вопрос, на который не было ответа: почему они меня не любят? В соседней комнате раздался взрыв смеха, полицейские веселились. Кто-то низким голосом крикнул:

— Это надо обмыть!

Возможно, есть полицейские, которые любят друг друга, или люди на улице и в домах, они улыбаются друг другу, они помогают один другому, они разговаривают друг с другом почтительно и вежливо, вероятно, есть среди них такие, кто любит друг друга изо всех сил, как Зезетта и Морис. Наверно, все потому, что они старше: у них было время привыкнуть друг к другу. Молодой человек — это путник, который ночью заходит в полупустое купе: люди его ненавидят и рассаживаются так, чтобы он подумал, будто места нет. Однако мое место обозначено, потому что я родился. Иначе я просто гниль. Полицейские за дверью снова засмеялись, один из них произнес слово «Мюнхен». Улицы, дома, вагоны, комиссариат: доверху переполненный мир, мир людей, и Филипп не мог туда войти. Он на всю жизнь останется в камере вроде этой, в норе, которую люди придерживают для тех, кого не признают. Он увидел маленькую женщину, полную и смешливую, с гладкими руками, наложницу. Он подумал: «Как бы то ни было, она будет носить по мне траур». Дверь вдруг открылась, и вошел генерал. Филипп отодвинулся на скамье в самый темный угол и крикнул:

— Оставьте меня! Я хочу отбыть наказание, мне не нужно вашего покровительства.

Генерал разразился смехом. Быстрым сухим шагом он пересек камеру и стал перед Филиппом.

— Отбыть наказание? За кого ты себя принимаешь, олух?

Локоть поднялся помимо воли Филиппа и расположился перед щекой, чтобы отразить удары. Но Филипп туг же опустил его и твердым голосом сказал:

— Я дезертир.

— Дезертир! Гитлер и Даладье завтра подписывают мирный договор, мой бедный друг: войны не будет, и дезертиром ты не был и не будешь.

Он с издевкой рассматривал Филиппа.

— Даже для того, чтобы совершить зло, нужно быть мужчиной, Филипп, нужно иметь волю и твердость. Ты же всего лишь вздорный

и плохо воспитанный мальчишка; ты проявил неуважение ко мне и вверг мать в страшное беспокойство: вот и все, на что ты оказался способен.

Смеющиеся полицейские заглядывали в полуоткрытую дверь. Филипп вскочил, но генерал взял его за плечо и принудил сесть.

— Ты куда? Нет уж, выслушай меня до конца. Твоя последняя выходка доказывает, что твое воспитание надлежит исправить. Теперь твоя мать согласна, что она проявляла к тебе чрезмерную слабость. Теперь я беру на себя заботу о тебе.

Он еще ближе подошел к Филиппу. Филипп поднял локоть и закричал:

— Если вы меня тронете, я покончу с собой!

— А вот это мы еще посмотрим, — сказал генерал. Он левой рукой опустил его локоть, а правой дал ему две пощечины. Филипп рухнул на скамью и заплакал.

В коридоре царило веселое оживление, какая-то женщина напевала «Иди, маленький юнга». Он их всех ненавидел, они мне до смерти надоели. Вошла медсестра, неся на подносе обед.

— Я не хочу есть, — сказал он.

— Нет, нужно поесть, месье Шарль, а то вы еще больше ослабнете. А вот вам хорошие новости для аппетита: войны не будет; Даладье и Чемберлен будут встречаться с Гитлером.

Он недоуменно посмотрел на нее: и правда, ведь эта история с Судетами все еще тянется. Она немного покраснела, глаза ее блестели:

— Что? Вы недовольны?

Меня сорвали с места, унесли, как мешок, измучили, а сами и не собираются воевать! Но он не разгневался: все это было так далеко.

— А что, по-вашему, мне веселиться? — спросил он.

НОЧЬ С 29 НА 3 °СЕНТЯБРЯ

1 час 30 минут.

Господа Масарик и Мастный, члены чехословацкой делегации, ждали в комнате сэра Горация Вильсона в обществе господина Эштон-Гуоткина. Мастный был бледен и потел, под глазами у него были темные круги. Масарик шагал взад-вперед; господин Эштон-Гуоткин сидел на кровати; Ивиш забилась в угол кровати, она его не чувствовала, но ощущала его тепло и слышала его дыхание; она не могла заснуть и знала, что он тоже не спит. Электрические разряды пробегали по ее ногам и бедрам, она умирала от желания повернуться на спину, но если она шевелилась, то прикасалась к нему; пока он думает, что она спит, он оставит ее в покое. Мастный обернулся к Эштон-Гуоткину и сказал:

— Как долго…

Господин Эштон-Гуоткин виновато и безразлично покачал головой. Масарик покраснел и глухо сказал:

— Обвиняемые ожидают приговора.

Господин Эштон-Гуоткин, казалось, не слышит его. Ивиш думала: «Неужели эта ночь никогда не закончится?» Она вдруг почувствовала на своем бедре очень нежную плоть, он пользовался ее сном, чтобы притронуться к ней, не нужно шевелиться, иначе он заметит, что я проснулась. Плоть скользнула вдоль бедер, она была горячая и мягкая, это была его нога. Она сильно прикусила нижнюю губу, а Масарик продолжил:

— Чтобы сходство было полным, нас встречала полиция.

— Каким образом? — скроив удивленную мину, спросил Эштон-Гуоткин.

— Нас доставили в отель «Регина»[69] в полицейской машине, — пояснил Мастный.

— Ай-ай-ай, — неодобрительно произнес Эштон-Гуоткин.

Теперь это была рука; она спускалась вдоль бедер, легкая и как бы рассеянная; пальцы легко коснулись ее живота. «Это ничего, — подумала она, — это насекомое. Я сплю. Я сплю. Я грежу; я не пошевелюсь». Масарик взял карту, которую ему вручил сэр Гораций

Вильсон. Территории, которые немедленно оккупировались немецкой армией, были помечены голубым. Он какое-то время смотрел на нее. потом гневно бросил на стол.

— Я… я все еще не понимаю, — сказал он, глядя в глаза господину Эштон-Гуоткину. — Мы еще суверенное государство?

Господин Эштон-Гуоткин пожал плечами; он, казалось, хотел сказать, что он ни при чем; но Масарик понял, что тот был взволнован больше, чем хотел показать.

— Переговоры с Гитлером очень трудны, — заметил он. — Учитывайте это.

— Все зависело от твердости великих держав, — резко ответил Масарик.

Англичанин слегка покраснел. Он выпрямился и торжественным тоном произнес:

— Если вы не примете этого соглашения, вам придется улаживать дела с Германией без нас. — Он прочистил горло и уже мягче добавил: — Может быть, французы вам это скажут в более надлежащей форме. Но поверьте, они того же мнения; в случае отказа они потеряют к вам интерес.

Масарик недобро засмеялся, и они замолчали. Послышался шепот:

— Ты спишь?

Она не ответила, но тотчас же почувствовала губы на своем ухе, а потом все тело навалилось на нее.

— Ивиш! — прошептал он. — Ивиш…

Не нужно ни кричать, ни отбиваться; меня же не насилуют. Она повернулась на спину и четким голосом сказала:

— Нет, я не сплю. Что дальше?

— Я люблю тебя, — сказал он.

Бомба! Бомба упадет с высоты пяти тысяч метров и убьет их наповал! Открылась дверь, и вошел сэр Гораций Вильсон: он смотрел в пол; с самого их приезда он опускал глаза, он говорил с ними, глядя в пол. Время от времени он, должно быть, сам это чувствовал: он резко поднимал голову и погружал в их глаза пустой взгляд.

— Господа, вас ждут.

Трое мужчин последовали за ним. Они прошли по длинным пустым коридорам. Коридорный спал на стуле; отель казался

мертвым; его тело было горячим, он прижался грудью к груди Ивиш, и она услышала глухой шлепок клапана, она была залита их потом.

— Если вы меня любите, — сказала она, — отодвиньтесь, мне слишком жарко.

— Это здесь, — посторонившись, сказал сэр Гораций Вильсон. Он не отодвинулся, одной рукой он сорвал одеяло, другой крепко держал ее за плечо, теперь он лежал на ней и сильными руками мял ей плечи и руки, этими хищными руками, и при этом детским и умоляющим голосом шептал:

— Я люблю тебя, Ивиш, любовь моя, я люблю тебя. Это был маленький, низкий и живо освещенный зал.

Господа Чемберлен, Даладье и Леже стояли за столом, покрытым бумагами. Пепельницы были полны окурков, но никто уже не курил. Чемберлен положил обе руки на стол. Вид у него был усталый.

— Здравствуйте, господа, — сказал он с приветливой улыбкой.

Масарик и Мастный молча поклонились. Эштон-Гуоткин быстро отстранился от них, как будто больше не мог выносить их общества, и стал за Чемберленом, рядом с сэром Горацием Вильсоном. Теперь перед двумя чехами по другую сторону стола было пять человек. Позади них была дверь и пустые коридоры отеля. Некоторое время стояла тяжелая тишина. Масарик по очереди смотрел на каждого из них, а потом поискал взгляд Леже. Но Леже укладывал в портфель документы.

— Соблаговолите сесть, господа, — сказал Чемберлен.

Французы и чехи сели, но Чемберлен продолжал стоять.

— Что ж… — сказал Чемберлен. У него были красные после сна глаза. С неуверенным видом разглядывал он свои руки, затем резко выпрямился и сказал:

— Франция и Великобритания подписали соглашение, касающееся немецких притязаний по поводу Судет. Это соглашение, благодаря доброй воле всех, может рассматриваться как некоторый прогресс по сравнению с меморандумом Годесберга.

Он кашлянул и умолк. Масарик держался в кресле очень напряженно, он ждал. Чемберлен, казалось, хотел продолжать, но передумал и протянул листок Мастному.

— Будьте любезны ознакомиться с этим соглашением. Может быть, будет лучше, если вы прочтете его вслух?

Мастный взял листок; кто-то легкими шагами прошел по коридору. Потом шаги удалились, и где-то в городе башенные часы пробили два удара, Мастный начал читать. У него был гнусавый монотонный выговор; он читал медленно, как бы размышляя между фразами, и листок дрожал у него в руках:

«Четыре державы: Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия, учитывая уже реализованное в принципе соглашение о передаче Германии территории Судетских немцев, условились о следующих предписаниях и условиях, регламентирующих указанную передачу, и о мерах, которые она содержит. Этим соглашением каждая из сторон обязуется выполнить необходимые условия, чтобы обеспечить ее исполнение.

1. Эвакуация начнется 1 октября.

2. Соединенное Королевство, Франция и Италия договариваются, что эвакуация из названных территорий должна быть закончена 10 октября без разрушения любого из существующих предприятий. Чехословацкое правительство будет нести ответственность за осуществление этой эвакуации и препятствовать какому-либо ущербу указанным предприятиям.

3. Условия этой эвакуации будут определены в деталях международной комиссией, составленной из представителей Германии, Соединенного Королевства, Франции, Италии и Чехословакии.

4. Последовательная оккупация германскими войсками территорий немецкого подчинения начнется 1 октября. Четыре указанные на прилагаемой карте зоны будут оккупированы немецкими войсками в следующем порядке:

Зона 1–1 и 2 октября. Зона 2–2 и 3 октября. Зона 3–3, 4 и 5 октября. Зона 4–6 и 7 октября.

Другие территории немецкого подчинения будут определены международной комиссией и оккупированы германскими войсками до 10 октября».

Монотонный голос звучал в тишине уснувшего города. Он спотыкался, он безжалостно останавливался, немного дрожал, а вокруг него миллионы немцев спали насколько хватает глаз, в то время

как он тщательно излагал приемы исторического убийства. Умоляющий, шепчущий голос, моя любовь, мое желание, я люблю твои груди, я люблю твой запах, ты меня любишь, поднимался в ночи, и руки над ее горячим телом убивали.

— Я хотел бы задать один вопрос, — сказал Масарик. — Что нужно понимать под «территориями немецкого подчинения»?

Он обращался к Чемберлену, но Чемберлен, не отвечая, посмотрел на него со слегка оторопевшим видом. Он явно не слушал, что тут читали. Леже заговорил сзади Масарика, Масарик повернулся вместе с креслом и увидел Леже в профиль.

— Речь идет, — сказал Леже, — о рассчитанном большинстве в соответствии с предложениями, принятыми вами.

Мастный вынул платок и вытер лоб, затем продолжил читать:

«5. Упомянутая в параграфе 3 международная комиссия определит территории, где должен быть проведен плебисцит.

Эти территории будут оккупированы международным контингентом вплоть до окончания плебисцита…»

Он прервался и спросил:

— Этот международный контингент будет действительно международным, или это будут только английские войска?

Чемберлен зевнул, прикрываясь рукой, и по его щеке скатилась слеза. Он отвел руку:

— Этот вопрос еще полностью не уточнен. Рассматривается также участие бельгийских и итальянских соединений.

«Эта комиссия, — продолжал Мастный, — также определит условия, при которых должен быть проведен плебисцит, беря за основу условия плебисцита в Саарской области. Кроме того, она назначит для начала плебисцита дату не позднее конца ноября».

Он еще раз остановился и насмешливо мягко спросил у Чемберлена:

— Чехословацкий член этой комиссии будет иметь такое же право голоса, как и остальные?

— Естественно, — доброжелательно ответил Чемберлен. Липкое, как кровь, волнение пачкало бедра и живот Ивиш, оно проскользнуло ей в кровь, меня же не насилуют, она открылась, позволила причинить себе острую боль, но в то время как ледяная и огненная дрожь

поднималась до самой ее груди, голова ее оставалась холодной, она спасла голову, и она кричала ему там, в голове: «Я тебя ненавижу!»

«6. Окончательное установление границ будет сделано международной комиссией. Эта комиссия будет также иметь компетенцию рекомендовать четырем державам — Германии, Соединенному Королевству, Франции и Италии — в некоторых исключительных случаях изменения в ограниченных пределах строго этнографических определений зон, передаваемых без плебисцита».

— Должны ли мы, — спросил Масарик, — рассматривать эту статью в качестве оговорки, обеспечивающей защиту наших жизненных интересов?

Он повернулся к Даладье и настойчиво смотрел на него. Но Даладье не ответил; у него был подавленный вид, он весь как-то постарел. Масарик заметил, что в уголке рта у него торчит потухший окурок.

— Такая оговорка была нам обещана, — настаивал Масарик.

— В каком-то смысле, — сказал Леже, — эта статья может рассматриваться в качестве оговорки, о которой вы говорите. Но для начала нужно проявлять скромность. Вопросы гарантии ваших границ будут в компетенции международной комиссии.

Масарик коротко засмеялся и скрестил руки.

— И ни единой гарантии! — сказал он, качая головой.

«7. — прочел Мастный. — Будет право выбора, позволяющее быть включенным в переданные территории или исключенным из них.

Этот выбор должен быть сделан в течение шести месяцев начиная со дня настоящего соглашения.

8. Чехословацкое правительство освободит в течение четырех недель, начиная от заключения настоящего договора, всех судетских немцев, которые этого пожелают, от службы в военных формированиях или полиции, которую они несут на данный момент.

В тот же отрезок времени чехословацкое правительство освободит немецких узников из Судет, которые отбывают наказание по политическим мотивам.

Мюнхен, 29 сентября 1938 г»

— Вот так, — сказал он, — это все.

Он смотрел на листок, как будто еще не закончил читать. Чемберлен широко зевнул и начал похлопывать по столу.

— Вот так, — еще раз сказал Мастный.

Это был конец, Чехословакия 1918 года перестала существовать. Масарик следил глазами за белым листком, который Мастный клал на стол; затем повернулся к Даладье и Леже и пристально посмотрел на них. Даладье осел в кресле, опустив подбородок на грудь. Он вынул из кармана сигарету, с минуту смотрел на нее и положил ее обратно в пачку. Леже слегка покраснел, он выглядел несколько раздраженным.

— Вы ожидаете, — обратился Масарик к Даладье, — декларацию или ответ моего правительства?

Даладье не ответил. Леже опустил голову и очень быстро сказал:

— Господин Муссолини должен вернуться в Италию сегодня утром; мы практически не располагаем временем.

Масарик все еще смотрел на Даладье. Он сказал:

— Даже никакого ответа? Следует ли это понимать так, что мы обязаны согласиться?

Даладье устало махнул рукой, и из-за его спины ответил Леже:

— А что вам еще остается?

Она плакала, отвернувшись лицом к стене, она плакала беззвучно, и рыдания сотрясали ее плечи.

— Почему ты смеешься? — неуверенно спросил он.

— Потому что я вас ненавижу, — ответила она. Масарик поднялся, Мастный тоже встал. Чемберлен зевал так, что у него свело скулы.

ПЯТНИЦА, 3 °СЕНТЯБРЯ

Маленький солдатик шел к Большому Луи, размахивая газетой.

— Мир! — кричал он. Большой Луи поставил ведро:

— Парень, ты о чем это?

— Мир объявили, вот что!

Большой Луи недоверчиво посмотрел на него:

— Не может быть мира, коли войны не было.

— Мир подписали, дядя! На, посмотри сам.

Он протянул ему газету, но Большой Луи оттолкнул ее:

— Я не умею читать.

— Эх ты, дурень! — с жалостью сказал паренек. — Ну тогда хоть посмотри на фотографию!

Большой Луи с отвращением взял газету, подошел к окну конюшни и посмотрел на фотографию. Он узнал улыбающихся Даладье, Гитлера и Муссолини; у них был вид добрых друзей.

— Ну и ну! — удивился он. — Ну и ну!

Он, хмуря брови, посмотрел на солдатика, потом вдруг развеселился.

— Вот уже и помирились! — смеясь, говорил он. — А я даже не знаю, почему они ссорились.

Солдат засмеялся, и Большой Луи тоже засмеялся.

— Привет, старина! — сказал солдат.

Он ушел. Большой Луи подошел к черной кобыле и начал гладить ее по крупу.

— Ну, ну, красотка! — приговаривал он. — Ну, ну! Он как-то растерялся. Он сказал:

— Ладно, а что мне теперь делать? Что мне делать? Бирненшатц прятался за газетой; было видно, как над развернутыми листами прямо поднимается дымок, госпожа Бирненшатц вертелась в кресле.

— Мне нужно увидеть Розу — из-за этой истории с пылесосом.

Она в третий раз говорила о пылесосе, но не уходила. Элла недовольно посматривала на нее: она хотела бы остаться наедине с отцом.

— Как ты думаешь, у меня его заберут? — спросила госпожа Бирненшатц, поворачиваясь к дочери.

— Ты у меня все время это спрашиваешь. Но я не знаю, мама.

Вчера госпожа Бирненшатц плакала от счастья, прижимая к груди дочь и племянниц. Сегодня она уже не знала, что делать со своей радостью; это была толстая радость, дряблая, как она сама, которая вот-вот обратится в пророчество, если ее с ней никто не разделит. Она повернулась к мужу.

— Гюстав, — прошептала она. Бирненшатц не ответил.

— Ты сегодня совсем тихий.

— Да, — признал Бирненшатц.

Тем не менее, он опустил газету и посмотрел на жену из-под очков. Он выглядел усталым и постаревшим: Элла почувствовала, как у нее сжимается сердце; ей хотелось поцеловать его, но лучше было не начинать излияния чувств при матери, которая и так была к ним сильно расположена.

— Ты хотя бы доволен? — спросила госпожа Бирненшатц.

— Чем? — сухо спросил он.

— Ну как же, — уже стеная, проговорила она, — ты мне сто раз говорил, что не хочешь этой войны, что это была бы катастрофа, что нужно вести переговоры с немцами, я думала, что ты будешь доволен.

Бирненшатц пожал плечами и снова взял газету. Госпожа Бирненшатц на минуту остановила полный удивления и упрека взгляд на этом бумажном укреплении, ее нижняя губа дрожала. Потом она вздохнула, с трудом встала и направилась к двери.

— Я больше не понимаю ни мужа, ни дочь, — выходя, сказала она.

Элла подошла к отцу и нежно поцеловала его в макушку.

— Что с тобой, папа?

Бирненшатц положил очки и поднял к ней лицо.

— Мне нечего сказать. Я уже не в том возрасте, чтобы участвовать в войне, не так ли? Поэтому я лучше промолчу.

Он старательно сложил газету; он пробормотал как бы самому себе:

— Я был за мир…

— В чем же дело?

— В чем же дело…

Он наклонил голову направо и поднял правое плечо смешным детским движением.

— Мне стыдно, — мрачно сказал он.

Большой Луи вылил ведро в уборную, тщательно подобрал всю воду губкой, затем положил губку в ведро и отнес на конюшню.

Он закрыл дверь конюшни, перешел через двор и вошел в корпус Б. Общая спальня была пуста. «Они совсем не торопятся уезжать; наверное, им здесь нравится». Он вытащил из-под кровати свои гражданские брюки и пиджак. «А мне не нравится», — сказал он, начиная раздеваться. Он еще не смел радоваться, он говорил: «Вот уже восемь дней, как ко мне тут все цепляются». Он надел брюки и старательно разложил на кровати свои военные вещи. Он не знал, возьмет ли его обратно хозяин. «А кто же теперь пасет баранов?» Он взял рюкзак и вышел. Около умывальника стояли четыре человека, они смеялись, глядя на него. Большой Луи поприветствовал их рукой и пересек двор. Теперь у него не было ни гроша, но вернуться можно и пешком. «Я буду помогать на фермах, и мне дадут чего-нибудь перекусить». Вдруг он снова увидел бледно-голубое небо над вересковыми зарослями Канигу, снова увидел маленькие подвижные зады баранов и понял, что он свободен.

— Эй, вы! Куда вы идете?

Большой Луи обернулся: это был сержант Пельтье, толстяк. Он, задыхаясь, подбежал к Большому Луи.

— Что это такое! — на бегу говорил он. — Что это такое! Он остановился в двух шагах от Большого Луи, багровый от гнева и удушья.

— Куда вы направляетесь? — повторил он.

— Я ухожу, — сказал Большой Луи.

— Вы уходите? — изумился сержант, скрестив руки. — Вы уходите!.. И куда же вы уходите? — с безнадежным негодованием спросил он.

— Домой! — ответил Большой Луи.

— Домой! — вскричал сержант. — Он идет домой! Ну конечно, ему не нравится еда, или же койка скрипит. — Он снова стал угрожающе серьезным и приказал:

— Доставьте мне удовольствие, сделайте полуоборот и назад — рысью марш! И я вами займусь, мой мальчик.

«Он еще не знает, что они помирились», — подумал Большой Луи. Он сказал:

— Господин сержант, подписан мир.

Сержант, казалось, не верил своим ушам.

— Вы строите из себя дурака или хотите меня купить?

Большой Луи не хотел сердиться. Он повернулся и продолжал свой путь. Но толстяк побежал за ним, дернул его за рукав и загородил ему дорогу. Он уперся в него животом и закричал:

— Если вы сейчас же не подчинитесь, вас ждет военный трибунал!

Большой Луи остановился и почесал голову. Он думал о Марселе, и у него заболела голова.

— Вот уже восемь дней, как ко мне тут все цепляются, — тихо произнес он.

Сержант вопил и тряс его за куртку:

— Что вы говорите?!

— Вот уже восемь дней, как ко мне тут все цепляются! — громовым голосом крикнул Большой Луи.

Он схватил сержанта за плечо и ударил его по лицу. В следующий момент ему пришлось просунуть руку сержанту под мышку, чтобы поддержать его, и он продолжил избиение; он почувствовал, как сзади его обхватили, а затем заломили руки. Он отпустил сержанта Пельтье, который, не охнув, упал на землю, и начал трясти типов, вцепившихся в него, но кто-то подставил ему подножку, и он упал на спину. Они начали его тузить, а он, уклоняясь от ударов, вертел головой налево и направо и повторял, задыхаясь:

— Дайте мне уйти, парни, дайте мне уйти, я же вам говорю: объявили мир.

Гомес выскреб дно кармана ногтями и извлек оттуда несколько крошек табака, смешанного с пылью и кусочками ниток. Он набил всем этим трубку и зажег ее. У дыма был острый и удушающий вкус.

— Запасы табака уже кончились? — спросил Гарсен.

— Вчера вечером, — ответил Гомес. — Если б я знал, то привез бы побольше.

Вошел Лопес, он нес газеты. Гомес посмотрел на него, затем опустил глаза на трубку. Он все понял. Он увидел слово «Мюнхен» большими буквами на первой странице газеты.

— Значит?… — спросил Гарсен. Вдалеке слышалась канонада.

— Значит, нам крышка, — сказал Лопес.

Гомес сжал зубами мундштук трубки. Он слышал канонаду и думал о тихой ночи в Жуан-ле-Пене, о джазе на берегу моря: у Матье будет еще много таких вечеров.

— Сволочи, — пробормотал он.

Матье на миг остановился на пороге столовой, затем вышел во двор и закрыл дверь. На нем была гражданская одежда: на складе обмундирования больше не осталось военной формы. Солдаты прогуливались маленькими группками, у них был ошеломленный и беспокойный вид. Двое молодых парней, которые приближались к нему, начали одновременно зевать.

— Ну что, веселитесь? — спросил их Матье.

Тот, что помоложе, закрыл рот и, как бы извиняясь, ответил:

— Не знаем, чем заняться.

— Привет! — сказал кто-то позади Матье.

Он обернулся. Это был Жорж, его сосед по койке, у него было доброе и грустное лунообразное лицо. Он ему улыбался.

— Ну что? — спросил Матье. — Все нормально?

— Нормально, — ответил тот. — Вот ведь как идут дела.

— Не жалуйся, — сказал Матье. — При другом раскладе ты бы уже был не здесь. Ты был бы там, где стреляют.

— Что ж, да, — согласился тот. Он пожал плечами: — Здесь или в другом месте.

— Да, — подтвердил Матье.

— Я доволен, что увижу дочку, — сказал Жорж. — Если бы не это… Я снова вернусь в контору; я не очень лажу с женой… Будем опять читать газеты, волноваться из-за Данцига; все начнется, как в прошлом году. — Он зевнул и добавил: — Жизнь везде одинакова, правда?

— Везде одинакова.

Они вяло улыбнулись. Им больше нечего было друг другу сказать.

— До скорого, — сказал Жорж.

— До скорого.

По другую сторону решетки играли на аккордеоне. По другую сторону решетки был Нанси, был Париж, четырнадцать часов лекций

в неделю, Ивиш, Борис, может быть, Ирен. Жизнь везде одинакова, всегда одинакова. Он медленным шагом пошел к решетке.

— Осторожно!

Солдаты сделали ему знак отойти: они на земле провели линию и без особого пыла играли в расшибалочку. Матье на минуту остановился: он увидел, как катились монетки, а потом другие, а потом еще одна. Время от времени монета вращалась вокруг своей оси, как волчок, спотыкалась и падала на другую монету, наполовину закрывая ее. Тогда солдаты выпрямлялись и вопили. Матье пошел дальше. Столько поездов и грузовиков бороздили Францию, столько мук, столько денег, столько слез, столько криков по всем радио мира, столько угроз и вызовов на всех языках, столько сборищ — и все пришло к тому, чтобы кружить по двору и бросать монеты в пыль. Все эти люди сделали над собой усилие, чтобы уехать с сухими глазами, все вдруг посмотрели смерти в лицо, и все, после многих затруднений или же смиренно приняли решение умереть. Теперь они ошалели и, опустив руки, были втянуты этой жизнью, которая нахлынула на них, которую им еще оставляли на миг, на малый миг, и с которой они уже не знали, что делать. «Это день обманутых», — подумал Матье. Он схватил прутья решетки и посмотрел наружу: солнце на пустой улице. На торговых улицах городов уже сутки был мир. Но вокруг казарм и фортов оставался смутный военный туман, который никак не рассеивался. Невидимый аккордеон играл «Ля Мадлон»; теплый ветерок поднял на дороге вихрь пыли. «А моя жизнь, что я с ней буду делать?» Это было совсем просто: в Париже на улице Юнгенс была квартира, которая его ждала: две комнаты, центральное отопление, вода, газ, электричество, зеленые кресла и бронзовый краб на столе. Он вернется к себе, вставит ключ в замочную скважину; он снова займет свою кафедру в лицее Бюффон. И ничего не произойдет. Совсем ничего. Привычная жизнь ждала его, он ее оставил в кабинете, в спальне; он проскользнет в нее без затруднений, никто не причинит ему затруднений, никто не намекнет о встрече в Мюнхене, через три месяца все будет забыто, останется всего лишь маленький невидимый шрам на непрерывности его жизни, маленький излом: воспоминания об одной ночи, когда он посчитал, что уходит на войну.

«Я не хочу, — подумал он, изо всех сил сжимая прутья решетки. — Я не хочу! Этого не будет!» Он резко обернулся и,

улыбаясь, посмотрел на блестящие от солнца окна. Он чувствовал себя сильным; в глубине души появилась маленькая тревога, которую он начинал узнавать, маленькая тревога, которая придавала ему уверенности. Неважно кто; неважно где. Он больше ничем не владел, он больше ничем не был. Мрачная позавчерашняя ночь не будет потеряна; эта большая суматоха не будет совсем бесполезной. «Пусть они вложат в ножны свои сабли, если хотят; пусть начинают войну, пусть не начинают, мне наплевать; я не одурачен». Аккордеон умолк. Матье снова закружил по двору. «Я останусь свободным», — подумал он.

Самолет описывал широкие круги над Бурже, черная волнообразная смола покрывала половину посадочной полосы. Леже наклонился к Даладье и крикнул, показывая на нее:

— Какая толпа!

Даладье, в свою очередь, посмотрел; он в первый раз после их отлета из Мюнхена заговорил:

— Они пришли набить мне морду![70]

Леже не возразил. Даладье пожал плечами:

— Я их понимаю.

— Все зависит от службы охраны порядка, — вздыхая, сказал Леже.

Он вошел в комнату с газетами. Ивиш сидела на кровати, опустив голову.

— Так и есть! Сегодня ночью подписали.

Она подняла глаза, у него был счастливый вид, но он замолчал, внезапно смутившись от взгляда, который она на нем остановила.

— Вы хотите сказать, что войны не будет? — спросила она.

— Ну да.

Войны не будет; не будет самолетов над Парижем; потолки не рухнут под бомбами: нужно будет жить.

— Войны не будет, — рыдая, говорила она, — не будет, а у вас довольный вид!

Милан подошел к Анне, он спотыкался, у него были красные глаза. Он дотронулся до ее живота и сказал:

— Вот кому не повезет.

— Что?

— Малыш. Я говорю, что ему не повезет.

Он, прихрамывая, дошел до стола и налил себе стакан. С утра это был пятый.

— Помнишь, — сказал он, — ты однажды упала с лестницы? Я тогда подумал, что у тебя будет выкидыш.

— Ну и что? — сухо спросила она.

Он повернулся к ней со стаканом в руке; у него был вид человека, произносящего тост.

— Это было бы лучше, — усмехаясь, ответил он.

Она посмотрела на него: он подносил ко рту стакан, и рука его мелко дрожала.

— Может быть, — сказала она. — Может быть, это было бы и лучше.

Самолет сел. Даладье с трудом вышел из салона и поставил ногу на трап; он был бледен. Раздался дикий вопль, и люди побежали, прорвав полицейский кордон, снося барьеры; Милан выпил и, смеясь, провозгласил: «За Францию! За Англию! За наших славных союзников!» Потом он изо всех сил швырнул стакан о стену; они кричали: «Да здравствует Франция! Да здравствует Англия! Да здравствует мир!», они размахивали флагами и букетами. Даладье остановился на первой ступеньке; он ошеломленно смотрел на них. Он повернулся к Леже и процедил сквозь зубы:

— Ну и мудаки!

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Оставить отзыв о книге

Все книги автора

---

notes

Примечания

1

Второй раунд переговоров Гитлера и Чемберлена по вопросу Судет прошел в курортном местечке Годесберге, в отеле «Дрезен». Сэр Чемберлен остановился в отеле «Петерсберг», на противоположном берегу Рейна. На первой странице «Пари-Суар» от 23 сентября 1938 г. помещена фотография этих мест и подробная статья, чем Сартр, видимо, воспользовался при работе над романом. В период мюнхенского кризиса тираж «Пари-Суар» достиг 2 миллионов экземпляров — рекорд для тогдашней французской прессы. По словам Сартра, он стирался на публикации в нескольких газетах и журналах, а также — судя по наличию многих идентичных отрывков — пользовался книгой «Хроника сентября» Поля Низана, опубликованной в марте 1939 г.

2

Сартр дословно приводит слова радиообращения (его слушают Милан и Анна) г-на Вавречки, министра пропаганды чехословацкого правительства, от 21 сентября 1938 г.

3

Пожалуйста, говорите по-немецки (нем.).

4

Свинячья морда! (нем.).

5

Брюне, разговаривая с Морисом, как бы цитирует статью Габриеля Пери, опубликованную в «Юманите» 21 сентября 1938 г.

6

Сторонники «революционного пацифизма»; лидер — Марсо Пивер.

7

Вилла Жака по описанию совпадает с виллой г-жи Морель в местечке Жуан-ле-Пен, где Сартр и С. де Бовуар проводили летние каникулы 1939 г. Во время мюнхенского кризиса Сартр был один в Париже, после путешествия с С. де Бовуар по Марокко. По словам Сартра, для «Отсрочки» он соединил впечатления от лета 1938 и 1939 гг., поскольку в 1938 г. он не был мобилизован.

8

В местечке Берк (департамент Па-де-Кале) в 30-е годы располагался санаторий по лечению заболеваний костей. В сентябре 1937 г- Сартр и С. де Бовуар навещали там бывшего ученика Сартра Лионеля де Руле, который подробно рассказал им о местных нравах, в частности, о любовных похождениях пациентов и медсестер. Эти реалистичные рассказы и сама атмосфера Берка вдохновили Сартра на некоторые эпизоды романа «Отсрочка». В сентябре 1938 г. Л. де Руле уже не было в Берке, поскольку всех пациентов эвакуировали.

9

Большой Луи, пастух из Нижних Альп, воплощает некоторые идеи Сартра относительно проблемы войны и мира. Как вспоминает С. де Бовуар, в начале 1939 г. Сартр задавался вопросом: если бы решение зависело от нас, послали бы мы пастухов из Нижних Альп погибать ради наших свобод? В тексте романа есть и более прямое упоминание: в разговоре с Гомесом Матье оправдывает свой пацифизм тем, что «пастух из Севенн» (горы на юге Франции) не понимает, ради чего ему сражаться.

10

В разговоре с Марсель старуха упоминает св. Маргариту, девственницу и мученицу, которая, как считается, помогает при родах.

11

По воспоминаниям С. де Бовуар, приблизительно в 1935 г. в Руане, на террасе кафе «Виктор» она, Ольга Козакевич и Сартр слушали женский оркестр, который напомнил им оркестр из кафе в Туре; позднее Сартр ввел его аналог в роман «Отсрочка».

12

Доктор Пауль Шмидт был переводчиком Гитлера на переговорах в Годесберге и затем в Мюнхене. Он оставил книгу воспоминаний о том периоде.

13

Полковник Ив-Эмиль Пике (1862–1938), ветеран Первой мировой войны, был основателем и первым президентом Общества ветеранов войны с лицевыми ранениями, девиз которого был: «Все-таки улыбаемся».

14

В «Пари-Суар» от 26 сентября 1938 г. опубликована статья «Господин Чемберлен, бывший коммивояжер, предпочитает во всем убедиться лично», в которой упоминается, что в начале карьеры британский премьер-министр был коммивояжером, а затем главой крупной фирмы в Бирмингеме.

15

Весь эпизод с объявлением ложной всеобщей мобилизации в селении Кревиль не выдуман Сартром: в «Пари-Суар» от 26 сентября 1938 г. помещена статья о реальном анекдотичном происшествии; тем не менее, в действительности селение называлось, скорее всего, Крейи.

16

Весь марокканский эпизод написан Сартром на основе личных впечатлений от путешествия по Марокко, которое Сартр предпринял летом 1938 г. вместе с С. де Бовуар.

17

Сартр почти дословно приводит текст плаката о мобилизации некоторых групп резервистов, за исключением часа (на плакате стояло «4 часа»).

18

МИД Франции.

19

Ненужное вычеркнуть.

20

Idem.Тоже (лат.).

21

Хотя Матье в разговоре с Одеттой говорит, что Борису 19 лет, в романе «Возраст зрелости» сам Борис утверждает, что родился в 1917 г., следовательно, в 1938 г. ему должен быть 21 год.

22

Сартр, как и Матье, призывался в Нанси (точнее, в Эссе-ле-Нанси) в сентябре 1939 г.

23

Прототипом персонажа Эллы Бирненшатц отчасти послужила Бьянка Бьяненфельд, бывшая ученица С. де Бовуар, с которой та была близка. Этот персонаж должен был играть более важную роль в намечавшемся продолжении «Дорог свободы».

24

Знаменитый дуэт кинокомиков.

25

Печатный орган крайне правых во Франции, основан в 1930 году, его публикации следовали нацистской пропаганде.

26

В разговоре с Матье Жак приводит промюнхенские аргументы в том виде, как их излагала правая пресса.

нейтральная полоса (англ.).

28

Подчеркивая некоторые буквы, в октябре 1939 г. Сартр сообщил С. де Бовуар, что находится в Брюмате.

29

Внутренний флот (англ.).

30

Господи, по что ты меня оставил (древнеевр) — мольба Христа на Голгофе.

31

По словам Сартра, персонаж Питто полностью выдуман им на основе того, что он знал о небольших группировках пацифистов, действовавших в тот период.

32

Любопытно отметить сходство семейной ситуации Филиппа и Бодлера — мать последнего также вторично вышла замуж за генерала Опика, когда сыну было семь лет. Биографию Бодлера Сартр изучал во время работы над романом «Отсрочка». Кроме того, Сартр узнал о судебном процессе над неким молодым человеком, пацифистом, что также натолкнуло Сартра на создание персонажа Филиппа.

33

Аллюзия на стихотворение А.Рембо.

34

Эпизод нападения Марио и Стараче на Большого Луи отчасти основан на личном опыте Сартра: аналогичный случай произошел с Сартром в Неаполе.

35

Французский поэт-романтик второй половины XIX века, псевдоним — Лотреамон.

36

Персонаж из стихов Лотреамона (Цюкасса).

37

Французский генерал и администратор. Отличился в Судане и организовал французскую колонию на Мадагаскаре.

38

Генерал Галлиени скончался в 1916 г-, Сартр вместе с семьей присутствовал в Париже на его похоронах и был свидетелем описанного происшествия.

39

По словам Сартра, Ирен, которая разговаривает с Рене, это та же Ирен, которая появится на страницах романа далее. Внешность ее частично списана с внешности молодой женщины по имени Лола — ее Сартр знал как подругу одного своего приятеля.

40

Название популярной в 1930-е годы венгерской песенки, которая, как считалось, толкает людей на самоубийство.

41

В этом квартале жили воры, проститутки, нищие, бродяги и т. п.

42

Первая строка «Могилы Эдгара По» С. Малларме.

43

На сей раз (см. размышления Бориса) Сартр делает Бориса на три года моложе по сравнению с предыдущим упоминанием его возраста.

44

Дворец спорта (нем.).

45

Фактически (лат.).

46

Я больше тебя не люблю (исп.).

47

Я ищу Салли (англ.).

48

Говяжье филе, нарезанное кусками.

49

Сартр дословно приводит текст французского коммюнике от 24 сентября.

50

Лорд Галифакс — секретарь министерства иностранных дел Великобритании; сын Томаша Масарика, Ян Масарик, — посол Чехословакии в Великобритании.

51

Воспоминание о стихотворении Ш. Бодлера «Малабарке».

52

По утверждению Сартра, Даладье не стеснялся в выражениях, и его грубость была хорошо известна.

53

Радио Штутгарта, которое слушает Жак, передавало на Францию немецкую пропаганду.

54

«Медовый месяц» (англ.).

55

По словам Сартра, Жак-Лоран Бо, прототип Бориса, задолго до 1938 г., когда он был еще в Гавре, был уверен, что рано или поздно разразится война, на которой он будет убит. Эту уверенность в ранней смерти Сартр объяснял психологическими причинами.

56

Если луна позеленеет (англ.).

57

Сартру очень нравился Стендаль, однако — в отличие от Матье — он никогда не планировал написать статью о Стендале.

58

Война (нем.).

59

Пожалуйста, музыку, маэстро (англ.).

60

«У меня был товарищ» (нем.). — Популярная немецкая песня XIX века, которую позднее часто пели нацисты.

61

Удостоверение личности для беженцев и лиц без гражданства.

62

Укулеле — четырёхструнный щипковый музыкальный инструмент.

63

Личные воспоминания Сартра (кресло-качалка и проч.); подростком он вместе с дедом останавливался в отеле «Арен» в Ниме, а в детстве не раз бывал в курортном городке Аркашоне.

64

Юго из пьесы Сартра «Грязные руки», имеющий определенное сходство с Филиппом, выбрал в качестве псевдонима фамилию героя «Преступления и наказания» Раскольникова.

65

Именно такая «чудовищная улыбка», которая упоминается в письме Даниеля, была, как считал Альфред де Мюссе, у Вольтера.

66

Фронт негодяев (искаж. исп. «Народный фронт»).

67

В отношении Даладье Сартр питал те же чувства, которые в романе приписаны Борису.

68

Сартр приводит текст заявления Даладье, переданного по радио 28 сентября в 19 часов.

69

На самом деле описываемая встреча делегаций состоялась не в отеле «Регина», а в мюнхенском Фюрерхаусе в 1 час 30 минут.

70

Возвращаясь из Мюнхена, Даладье еще с борта самолета увидел огромную толпу в аэропорту Бурже и подумал, что его собираются освистать. Он велел пилоту покружить над аэродромом, чтобы выиграть время и обдумать свое заявление и поведение. Много позже, в 1961 г., Даладье вспоминал об этом эпизоде: «Меня изумила эта огромная толпа, обезумевшая от радости». По некоторым источникам, Даладье сказал не «Мудаки!» а просто «Идиоты!» В любом случае эта история красноречиво говорит о состоянии духа Даладье на пути домой из Мюнхена.